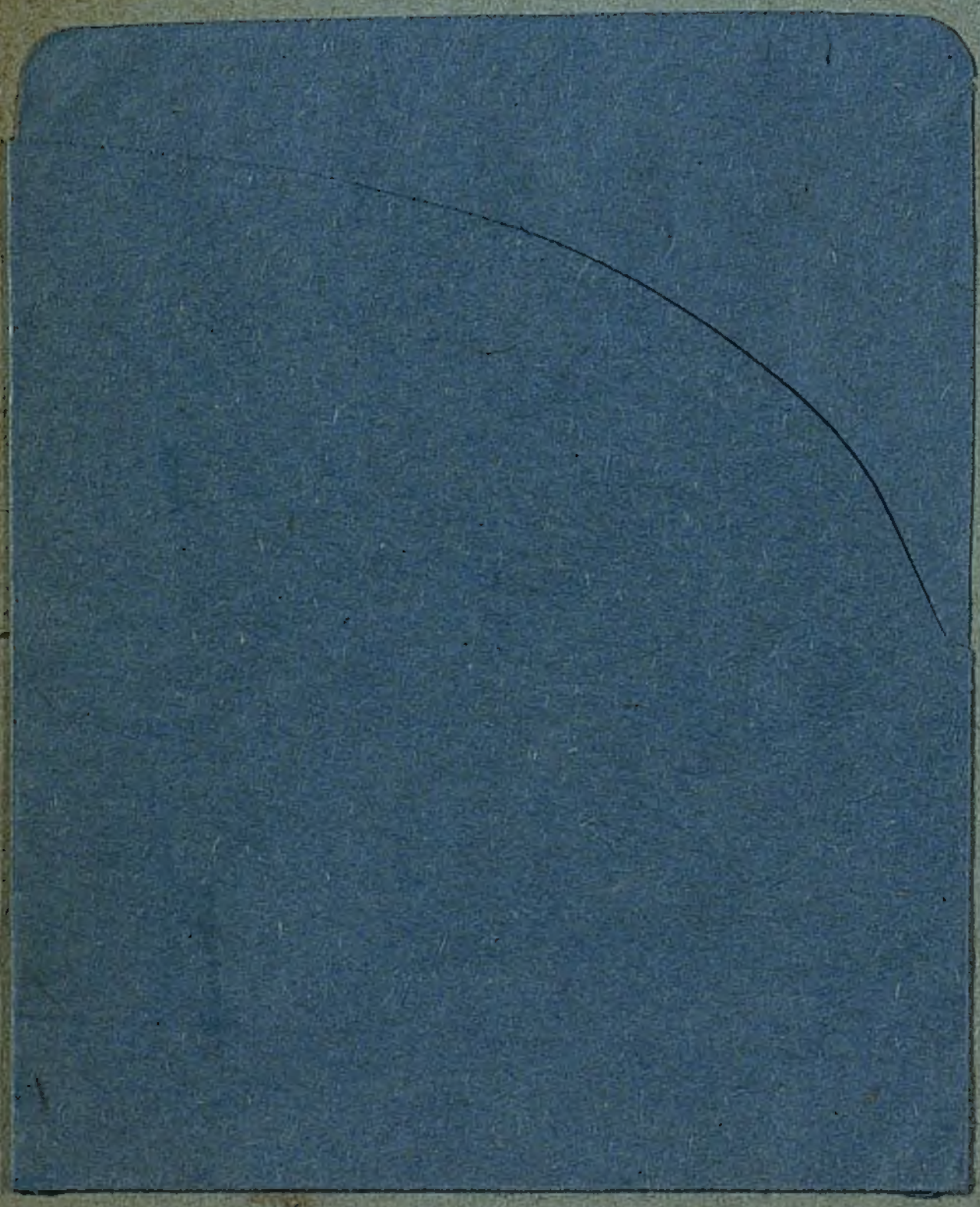
ДБ
350
П84
Процесс
Чернышевск
Саратов, 1939

ПРОЦЕСС ЧЕРНЫШЕВСКОГО



Д5
350
П84

ПРОЦЕСС
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Редакция и примечания
Н. А. АЛЕКСЕЕВА

Вводная статья „Процесс Н. Г. Чернышевского и его значение“
члена-корреспондента Академии наук.
А. М. ПАНКРАТОВОЙ

1939

САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ

9 дек 3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 1
Главные архивные источники 8
Документы III отделения 10
Бумаги, изъятые при обыске квартиры, и письма к Чернышевскому, задержанные после его ареста 51
Письма Н. Г. Чернышевского из крепости, задержанные Следственной комиссией 69
Материалы следствия по делу Н. Г. Чернышевского 73
Всеволод Костомаров и его „разоблачения" 101
Показания В. Костомарова в Следственной комиссии 170
Допросы Н. Г. Чернышевского и очные ставки в связи с „разоблачениями" Костомарова 182
Допросы П. Яковлева, И. Сороко и В. Костомарова по делу Н. Г. Чернышевского 189
Очная ставка Н. Г. Чернышевского с В. Костомаровым и П. Яковлевым . 195
Процесс Чернышевского в сенате 254
Приговор по делу Н. Г. Чернышевского и исполнение приговора 321
Приложения 338

Вклейки на отдельных листах:

1. Часть объяснений Н. Г. Чернышевского, в которых он разоблачает подложность приписываемой ему записки.
2. Мнение государственного совета с резолюцией Александра II.
3. 4, 5. Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского (по рисункам очевидцев).

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
586632

ПРОЦЕСС Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Саратовское областное государственное издательство 1939 г.

Редактор изд-ва *А. Абрамович* Уполномоченный Облгита № А/438.
Техн. редактор *И. Фомин* Корректоры *Л. Маранова и З. Чуднова*
Переплет *А. Скворцова*

Сдано в набор 29/III-1939. Подписано к печати 15/IX-1939 Индекс Эк-1в. Изд. № 71. Тираж 7000 Учетн.—изд. л. 30,55. Печ. л. 23 3/4 + 5 вклеек. Форм. бум. 60×92 1/16. Бум. л. 11 7/8 + 5/16. Знаков в бум. л. 94400.
Цена 8 р. 25 к. Переплет 1 р. 25 к.

Саратов. Типография Облместпрома, Проспект им. Кирова. Заказ № 1412.

А. М. ПАНКРАТОВА

ПРОЦЕСС ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

I

7 июля 1862 г., около 2½ часов дня, в своей квартире, в Петербурге, на Большой Московской улице № 4 был арестован Н. Г. Чернышевский. Жена Николая Гавриловича — Ольга Сократовна с двумя детьми была в это время в Саратове. Туда же вскоре собирался и Н. Г. Чернышевский.

В связи с тем, что „Современник" был запрещен на 8 месяцев, Чернышевскому представилась возможность от журналистики перейти к серьезной научной работе. Поэтому он спешно ликвидировал квартиру и готовился к сдаче дел по журналу. Арест он принял спокойно, уверенный, что полиция не имеет против него серьезных улик. Чернышевский был увезен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Его бумаги и некоторые книги были отправлены в III отделение. Книги—2400 томов, корректуры и другие материалы были опечатаны в запертом кабинете.

Арест Чернышевского произвел на всех сильнейшее впечатление. Но в условиях начинавшейся реакции широких протестов не последовало.

Изоляция Чернышевского—самого ярого врага царизма, идеолога крестьянской революции, вождя и вдохновителя революционно-демократического течения в общественном движении—должна была облегчить полную победу надвигавшейся реакции.

Дело Чернышевского было передано особой следственной комиссии.

О том, что этот процесс Н. Г. Чернышевского только прикрывал расправу царизма с писателем-революционером, известно давно, хотя царское правительство не решалось опубликовать материалы следствия. Только за границей революционная эмиграция, в особенности Герцен, смело разоблачила судебную расправу царизма с Чернышевским. В 1875 г. был впервые опубликован на французском языке полный текст обвинительного акта. Автор перевода и предисловия к „Примечаниям" к Миллю Чернышевского—Тверитинов подверг уничтожающей критике юридическую необоснованность обвинительного акта и приговора. Французская передовая пресса, ознакомившись с делом Чернышевского, реагировала на него несколькими сочувственными статьями. В органе германских социал-демократов, издаваемом В. Либкнехтом („Die Neue Welt"), появилась статья под названием „Заживо погребенный" и портрет Н. Г. Чернышевского.

Маркс также был хорошо осведомлен о деле Чернышевского и о расправе с ним царского правительства.

Указывая с возмущением о подлогах и фальсификации царского „правосудия", Маркс писал Энгельсу: „Чернышевский, как я узнал от Лопатина, был

присужден в 1864-м году к 8 годам каторжных работ в Сибирских рудниках, следовательно, ему терпеть еще два года.

Первый суд был достаточно честен, чтобы заявить, что против него нет абсолютно ничего, и что мнимые заговорщические конспиративные письма представляют собою очевидные подлоги (что и было на самом деле). Но Сенат, по императорскому приказу, отменил этот приговор и послал в Сибирь этого „хитрого" человека, который „так ловок", как значилось в приговоре, что „сохраняет в своих сочинениях неуязвимую с точки зрения закона форму и вместе с тем открыто изливает в них яд". Вот оно русское „правосудие!" (Маркс. Соч., т. XXIV, стр. 349).

Маркс и Энгельс призывали все прогрессивное человечество протестовать против чудовищного приговора царских палачей. Медленное убийство Н. Г. Чернышевского, писал Энгельс „долголетней ссылкой среди сибирских якутов навеки останется позорным пятном на памяти Александра II „Освободителя". (Маркс, Энгельс, XVI, ч. 2, стр. 389).

Имя Чернышевского, его сочинения и, конечно, материалы процесса целые десятилетия находились под запретом. Только в 1907 г. появилась большая публикация М. Лемке: „Политические процессы М. И. Михайлова, Л. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского". Отдельные статьи того же автора с материалами о процессах 60-х годов появлялись в журнале „Былое" в 1905 и 1906 гг.

После победы Октябрьской социалистической революции, когда стали доступны тайные царские архивы, раскрылась и та чудовищная провокация царизма, жертвой которой стал великий русский писатель и революционер-демократ Н. Г. Чернышевский.

Юридическая сторона этого беззаконнейшего из процессов теперь уже достаточно выяснена. Собранные Н. А. Алексеевым документы, касающиеся процесса Чернышевского, с большой наглядностью раскрывают эту сторону вопроса.

Слабее разработана в нашей литературе политическая суть и историческое значение этой баззаконной (даже с точки зрения царских законов) судебной инсценировки, помогшей царизму устранить Чернышевского с арены общественной борьбы в период формирования буржуазной России. В огромной литературе, посвященной одному из наиболее напряженных периодов истории России XIX века—60-м годам, вопрос о роли и участии Чернышевского в революционном движении является наименее исследованным.

Общеизвестна большая конспиративность Н. Г. Чернышевского. Об его участии в тайных революционных организациях своего времени не осталось никаких прямых и достаточных документов и архивных материалов. Свидетельства, воспоминания и письма современников разноречивы и скудны. Наиболее обширный и ценный материал по истории революционного движения 60-х годов дают процессы. Но нельзя забывать их специфичности. Попав в руки царизма и его следственных и судебных органов, революционеры, конечно, стремились уменьшить как размеры движения, так и степень своего личного участия в нем. Иногда показания давались (если не было прямых и достаточных улик) с целью запутать следствие, повести его по иному пути. Чтобы не дать правительству материала для обвинения его в участии в революционном движении, Чернышевский решительно отрицал свое участие в нем. Он стремился умалить свою роль в этом движении, чтобы сохранить себя для неизбежной будущей революции. Он скоро понял, что правительство не имеет серьезных улик, но усердно ищет их.

Изучение материалов процесса Чернышевского показывает, какую гнусную систему провокации, фальсификации и подлога пустили в ход царские чиновники, судьи, жандармы, министры.

Перед читателем материалов, касающихся процесса Чернышевского, возникают два вопроса: 1) почему правительство с таким остервенением охотилось за Чернышевским и так беспощадно расправилось с ним и 2) как оно сфабриковало процесс Чернышевского—один из самых позорных памятников царского „правосудия".

Публикуемые в настоящей книге документы дадут исчерпывающий ответ на второй из этих вопросов. На первый вопрос должна, по возможности, ответить настоящая статья.

II

Н. Г. Чернышевский был передовым представителем того нового по своему классовому положению поколения, которое шло на смену дворянским революционерам-декабристам и Герцену. Это было поколение революционных разночинцев, происходивших из тех социальных слоев, которые особенно быстро расслаивались под влиянием общего кризиса феодально-крепостного строя и вступления России на путь буржуазного развития. Здесь были и выходцы мелкопоместного дворянства, и городского мещанства, малоимущей части духовенства, и с трудом вырвавшегося из неволи, недавно крепостного крестьянства. По положению это была быстро формирующаяся прослойка мелкобуржуазной интеллигенции. По политическим взглядам и настроениям разночинцы 60-х годов были революционными демократами, их революционность определялась горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям (в том числе, и прежде всего, к самодержавию) и глубокой верой в необходимость для России европейских форм жизни, в особенности просвещения.

Революционеры-демократы 60-х годов были, по выражению Ленина, носителями „мужицкого демократизма". Они выступали, во главе с Н. Г. Чернышевским, за действительное и полное освобождение крестьянства от крепостнического гнета, за демократическое переустройство политического строя самодержавной России, за просвещение и свободу трудящихся народных масс. Они ратовали за победу крестьянской революции и объективно являлись выразителями американского пути развития капитализма в русском сельском хозяйстве. Ленин называл их революционерами-просветителями и высоко ценил их.

В 50—60-х годах социализм и демократизм еще сливались. Демократы-просветители не только добивались революционного разрешения аграрно-крестьянского вопроса в интересах всего крестьянства, но и мечтали, что крестьянская революция приведет народ к социализму. Основой социалистического переустройства общества они считали старую русскую общину. Будучи социалистами-утопистами, революционеры-разночинцы, однако, главное свое внимание уделяли не социальным утопиям, а борьбе за реальные интересы крестьянства и за политическое преобразование царской, крепостнической России.

В противоположность революционным демократам, отстаивавшим путь крестьянской революции, путь насильственного ниспровержения помещиков и царизма, буржуазные либералы добивались только реформ, в меру добровольных уступок помещиков.

„Либералы 1860-х годов и Чернышевский—писал Ленин, характеризуя социальный и политический смысл происходившей в обществе дифференциации,—суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил,

которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию" (Ленин. Соч., XV, стр. 143—144). В условиях крепостнической, царской России, ставшей уже на путь буржуазного развития, борьба крестьянской демократии и буржуазно-дворянского либерализма с особенной остротой происходила в журналистике. Литература, несмотря на цензурные стеснения, являлась единственной легальной формой выражения общественных взглядов и настроений. Выразителем передовых идей революционной демократии начала 60-х годов был журнал „Современник", направляемый Чернышевским. Идейное содержание „Современника" с конца 50-х и в начале 60-х годов определяла быстро-назревавшая революционная ситуация в России. Громадную роль в формировании революционного сознания России сыграли и события в Европе.

Война Италии с Австрией 1859 г. вызвала революционное восстание против австрийского владычества. В апреле 1860 г. вспыхнуло крестьянское восстание в Сицилии. В Италии развернулось национально-освободительное движение. В 1861—1862 г. национальное движение вновь поднялось и в Польше. К нему стали примыкать польские крестьяне, добивавшиеся революционного решения вопроса о наделении крестьян землей.

В конце 50-х годов в Америке началась борьба буржуазии севера против рабовладельцев юга, перешедшая в 1861—1862 г. в открытую гражданскую войну.

В Англии, Франции и Германии стало быстро расти рабочее движение, оживилось и демократическое движение.

Подъем общественного и революционного движения в Европе отразился и на России.

Громадный толчок накоплявшемуся общественному возбуждению дали Крымская война и ее неудачи. Поражение царизма в Крымской войне не только привело к утрате прежней командующей роли жандарма Европы — русского царизма, но и к настоящему взрыву общественного недовольства внутри страны.

Н. В. Шелгунов очень красочно и ярко описывает в своих воспоминаниях, какое впечатление произвели на русское образованное общество сначала неожиданная и таинственная смерть Николая I, затем героическая и бесплодная оборона Севастополя и, наконец, полное поражение царизма в Крымской войне.

„Война кончилась, всем стало легче; но за этим чувством скрывалось чувство стыда и злобы, обидное чувство побежденного народа, до сих пор привыкшего только побеждать... В том, что после Севастополя все очнулись, все стали думать, и всеми овладело критическое настроение — и заключается разгадка мистического секрета шестидесятых годов" (Н. В. Шелгунов. „Воспоминания", стр. 67, 68. Гос. изд. 1923 г.).

Это общественное оживление, прежде всего, нашло отражение в небывалом еще в России развитии журналистики.

Передовое и боевое положение занял в русской журналистике 60-х годов издававшийся в Петербурге И. И. Панаевым журнал „Современник", во главе с Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Михайловым и другими писателями-демократами.

Никогда еще передовой писатель не приобретал в России такого общественного значения, как в 60-е годы. Он становился учителем масс и руководи-

телем общественного движения, показывая ему идеалы и цели, к которым должны стремиться все прогрессивные силы общества.

В стране, лишенной каких бы то ни было возможностей организации и самодеятельности передовых классов общества, печать стала не только выразителем политических настроений различных слоев общества, но и организатором общественной активности этих слоев. Впервые зазвучал и голос защиты интересов поднимающейся к общественной жизни крестьянской демократии. Этот голос принадлежал журналу „Современник" и его идейному руководителю—писателю-демократу и революционеру Н. Г. Чернышевскому.

Для самодержавия — правительства помещиков-крепостников — это был самый опасный и самый ненавистный голос.

III

Почему правительство так боялось и так ненавидело Н. Г. Чернышевского?

Оно понимало, что в лице Чернышевского имеет своего идеолога и вождя грозно приближавшаяся крестьянская революция. Годы 1859—1861 были годами революционной ситуации. Обусловленная всем ходом экономического развития страны, ставшей на путь буржуазного развития, в России назрела неотложная необходимость отмены крепостного права. Поражение в Крымской войне еще настойчивее подчеркнуло эту настоятельную необходимость. Ликвидировать крупнейший тормоз на пути развития капиталистической промышленности, строительства железных дорог и парового флота, введения новейшей европейской техники, повышения производительности труда в промышленности и в сельском хозяйстве — это значило отменить крепостное право и основанные на нем отношения в экономическом и политическом строе страны. Эту же неотложность сигнализировала и возраставшая с каждым годом стихийная борьба закрепощенного крестьянства, заставившая даже первого помещика в государстве — царя Александра II признать, что лучше освободить крестьян сверху, чем ждать, покуда они станут действовать снизу.

Угроза крестьянского восстания стала особенно опасной во время и после Крымской войны. За годы 1855—1860 произошло 474 серьезных крестьянских волнения. Крестьянские волнения, в связи с указом 3 апреля 1854 года о морском ополчении и манифестом 29 января 1855 г. о народном ополчении, вызвали массовый уход крестьянства от помещиков с намерением записаться в ополчение и получить волю. Слухи о возможности таким путем выйти из крепостного ярма не оправдались. Крепостных крестьян, явившихся добровольно в ополчение, наказывали розгами за самовольную отлучку из имений и гнали назад. На почве упорного отказа от повиновения помещикам произошли серьезные волнения в губерниях Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Симбирской, Воронежской и Киевской.

Волнения подавлялись войсками. „Зачинщиков" наказывали шпицрутенами, прогоняли сквозь строй. Это не останавливало движения. Бурные крестьянские восстания перерастали в революцию. Созданный, по указанию нового царя Александра II, Секретный „комитет для обсуждения мер по устройству быта крестьян"—на первом же заседании 3 января 1857 г. постановил приступить к отмене крепостного права.

Так началась пресловутая „крестьянская реформа", с помощью которой царизм надеялся предотвратить крестьянскую революцию. Вокруг этого решающего вопроса — крепостническая реформа или крестьянская рево-

люция — и произошло решительное расслоение русского общества. Во главе немногих тогда сторонников крестьянской революции стал Н. Г. Чернышевский. С юношеских лет, как показывают его дневники, он верил в неизбежность революции и ждал ее. В ходе всей подготовки „реформы" Н. Г. Чернышевский выступал, как яростный враг крепостничества и царизма. Именно в это время царское правительство задумало свою беспощадную расправу с вождем крестьянской революции, ожидая для этого лишь удобного случая и подходящей обстановки. Н. Г. Чернышевский усиливал свою конспиративность, но не ослаблял ударов против помещиков-крепостников, против либералов и самодержавия.

Подготовка реформы проводилась в глубокой тайне, в дворянских губернских комитетах, в бюрократических редакционных комиссиях. В общество проникали сведения, что на рассмотрение Секретного комитета представлено до 100 проектов, что все дворянские проекты стремятся ограбить крестьянство, предлагая освободить его без земли и с большим выкупом. Разоблачить этот враждебный крестьянству заговор крепостников и либералов против народа и задумал Чернышевский. Искусно обходя запрещение обсуждать в печати крестьянский вопрос и обсуждать условия реформы, Чернышевский воспользовался дискуссией по вопросу об общине, чтобы сформулировать требования крестьянства, голоса которого до сих пор не было слышно и интересы которого не принимались во внимание при обсуждении условий отмены крепостного права.

Чернышевский разоблачает сговор либералов и крепостников, намеревавшихся лишить освобождаемых крестьян земли, и твердо заявляет, что „освобождение помещичьих крестьян без земли породило бы сильные смуты, потому что русский крестьянин по своим убеждениям не может ни принять, ни понять освобождение без земли".

Несмотря на непрерывные стеснения цензуры, обсуждение крестьянского вопроса в „Современнике", под непосредственным руководством Чернышевского, принимало все более решительное направление. Уже в 1859 г. Чернышевский убедился, что подготовлявшаяся реформа — „обман" и „мерзость".

В статье „Материалы к решению крестьянского вопроса" (в октябре 1859 г.) Чернышевский прямо доказывает, что помещики не имеют права ни на какой выкуп земли при освобождении крестьян.

В статье того же года: „Суеверие и правила логики" Чернышевский рисует картину отсталости России, как результат крепостного права и „дурного управления" (самодержавия).

Между тем, подготовка реформы подходила к концу. 10 октября 1860 г. редакционные комиссии закончили работу. Проект „Положения" поступил в Государственный совет. 19 февраля 1861 года был утвержден, а 5 марта опубликован новый царский закон об отмене крепостного права.

Оправдались самые худшие опасения Чернышевского. Крестьяне за оставленные им клочки земли должны были заплатить около двух миллиардов выкупных платежей. В пользу помещиков отрезалось у крестьян свыше трети из той земли, которой они пользовались до отмены крепостного права. Сохранялись кабальная аренда, отработки, телесные наказания и другие пережитки крепостничества.

Крестьяне не могли удовлетвориться таким решением вопроса. И подлинный выразитель крестьянских интересов бросается в новый бой с крепостническим самодержавием. Но теперь требовались новые методы и формы борьбы.

Если в 1858—1859 г., когда основы реформы только еще вырабатывались, Н. Г. Чернышевский употреблял все усилия, чтобы громко раздался его голос в защиту крестьянских интересов, то теперь, когда выработка „реформы" была закончена, а интересы крестьянства не были приняты во внимание, надо было организовать борьбу против крепостнического самодержавия в более решительных, революционных формах.

Прежде всего, Н. Г. Чернышевский считал необходимым полное освобождение от всяких иллюзий на возможность мирного исхода борьбы за крестьянское дело. С исключительной страстностью он выступает против всяких компромиссов и, особенно, против всяких либеральных шатаний.

В этой связи необходимо вспомнить и поездку Н. Г. Чернышевского в Лондон для объяснения с Герценом по поводу его статьи: „Very dangerous" („Очень опасно"). Не называя Чернышевского, Герцен в этой статье несомненно имел в виду именно его, когда осуждал „битье по либералам", проводившееся в „Современнике" под руководством Чернышевского. Лондонское свидание Чернышевского и Герцена, как известно, кончилось их полным расхождением. В письме из-за границы к Добролюбову Чернышевский по поводу либеральных колебаний Герцена в этот период писал с оттенком горечи: „Кавелин в квадрате—вот вам все".

В 1860 г. произошел и окончательный разрыв „Современника", все более решительно превращавшегося в орган революционной демократии, с либерально-настроенным Тургеневым. Видимо, не без влияния Тургенева была написана в октябре 1860 г. новая статья Герцена против редакции „Современника": „Лишние люди и желчевики".

Усиливали свои нападки на „Современник" и на Чернышевского и журналисты близкого к правительству лагеря, а также стала еще более свирепствовать цензура. „Современник", руководимый Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым, был признан правительством и цензурой журналом „опасным". Для просмотра статей журнала были поставлены самые „бдительные" и беспощадные цензоры. С особенным ожесточением цензура взялась за разбор знаменитой статьи Чернышевского „Антропологический принцип в философии", в которой заключалась опасная для режима проповедь революционного материалистического мировоззрения.

Подвергнув цензурному обстрелу три статьи Чернышевского в первых четырех книгах „Современника" за 1860 г., цензор сделал общий вывод о том, что в них заключается намерение автора к „потрясению основных начал власти монархической, значения безусловного закона, семейного назначения женщины, духовной стороны человека и возбуждения ненависти одного сословия к другому".

Редакция „Современника" получила предупреждение III отделения, грозившего закрытием журнала, если он не изменит направления. Обстановка становилась напряженной. Необходимо было не только отбиваться от нападений печати либералов и крепостников, от правительственной цензуры и полиции, но и организовать революционные силы для решительной борьбы с силами старого порядка.

IV

До 1860 г. лучшие силы передовых общественных кругов были заняты вопросом об освобождении крестьян. В конце 1860 г. стали, в основном, известны контуры разработанной правительством „реформы". Однако не все еще

были в состоянии так ясно понять крепостнический и грабительский ее характер, как это понял Чернышевский. В образованном обществе царило возбуждение. Идея свободы охватила всех. Никогда еще не было такого всеобщего стремления к просвещению и прогрессу. Огромную роль стали приобретать университеты. В Петербургском университете число студентов возросло с 300 до 1500 человек. Началась борьба за допущение женщин к высшему образованию. Был поднят вопрос об организации вольного университета. В литературе, в журналистике, в музыке, в области просвещения, в различных областях общественной, экономической и политической жизни выдвигались смелые, энергичные, идейные люди.

„Современник" приобрел еще большую популярность. Могучая революционная проповедь Чернышевского находила горячий отклик. „Современник" становился, как тогда говорили, „учебником жизни". В центре внимания, по-прежнему, стояла горькая, бесправная жизнь крестьянства. Писатели-демократы искали путей и средств для его освобождения. Литература была для таких писателей революционной трибуной. „Наша литература должна говорить правду",—писал Некрасову один из писателей-демократов Решетников. В условиях свирепой цензуры особую роль приобретали правдиво изложенные факты. „Чтобы ваши труды не пропали в цензуре,—писал Добролюбов к С. Т. Славутинскому в апреле 1860 г.,—необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже называя их именами, противоположными их существенному характеру".

С 1859 г., как приложение к „Современнику", стал выходить знаменитый „Свисток", руководимый Добролюбовым. Сатира в начале 60-х годов приобрела роль исключительно-острого оружия в борьбе за свободу. Сатира в эпоху нарастания революции становилась средством протеста и критики существующего строя. Как известно, такую же роль играли в это время и критические статьи Добролюбова, замечательная статья которого „Темное царство" долго волновала всех. Наряду с темой о крестьянстве, в начале 60-х годов особенно широко обсуждалась проблема воспитания новых людей. И здесь идейными застрельщиками была группа передовых писателей из „Современника", во главе с Чернышевским. С большой силой здесь развернулась борьба за свободу женщины, против домостроевских порядков в семье. Первая статья в защиту прав женщины была написана в „Современнике" в 1859 г. близким к Чернышевскому поэтом-революционером Мих. Михайловым. Она произвела потрясающее впечатление. Статью читали нарасхват.

Все это широкое освободительное движение начала 60-х годов возглавлял Чернышевский. Он пользовался, по признанию всех современников, громадным влиянием. Он стал „властителем дум" молодого поколения. Он умел найти и объединить вокруг своего знамени самых лучших и самых талантливых людей своего времени. Кроме ближайших сотрудников—Добролюбова и Некрасова, к нему близко стояли такие известные в революционном движении люди, как поэт М. И. Михайлов, братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи, Н. В. Шелгунов, Н. Н. и В. А. Обручевы, А. Слепцов, М. Антонович, польский революционер С. Сераковский. Из молодежи, особенно, были ему близки Н. Утин и А. Студенский.

Кружок Чернышевского старался сблизиться и с передовыми офицерами, среди лучшей части которых после поражения в Крымской войне росли революционные настроения. Самым выдающимся из таких офицеров был польский революционер Сераковский, выведенный в романе „Пролог" под именем

Соколовского. Чернышевский был знаком и с другим крупным польским революционером—Иосафатом Огрызко.

Полнее всего революционная активность этих близких к Чернышевскому передовых людей проявилась в 1861—1862 г. — наиболее революционном этапе 60-х годов.

„Положение" 19 февраля 1861 г. принесло глубокое разочарование даже тем, кто до его опубликования верил в реформы правительства.

Обсуждение и критика в печати манифеста об освобождении были запрещены. В то время, как либеральная печать встретила отмену крепостного права славословиями в честь правительства, „Современник" не обмолвился о нем ни одним словом. Лишь в конце мартовской книжки, в виде особого приложения, был помещен чисто-официальный материал. „Внутреннее обозрение" журнала начиналось следующим многозначительным предупреждением читателей: „Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе. Напрасно. Вы ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете"...

Но обходя абсолютным молчанием крестьянскую реформу в России, в той же мартовской книжке „Современника" были помещены „Песни о неграх" Лонгфелло в переводе М. И. Михайлова, в которых с негодованием рассказывается об алчных бессердечных рабовладельцах.

Там же помещена и статья В. Обручева: „Невольничество в Северной Америке". Автор с большим сочувствием говорит в этой статье о возможности восстания рабов, которые „будут драться из-за великой идеи, из-за священных и существенных прав".

Это предупреждение „Современника" приобретало тем больший политический смысл, что уже в апреле 1861 г. начались известные восстания крестьян в с. Кандиевке, Пензенской губернии, и в с. Бездна, Казанской губ. Общее число волнений в 1861 г. дошло до 200. Из 47 губерний России оно захватило 45.

Угроза крестьянской революции вспыхнула с новой силой. И как символ этой приближающейся революции, в апрельской книжке „Современника" зазвучали сильные стихи яркой революционной поэмы украинского поэта-демократа Тараса Шевченко „Гайдамаки", в которой рисуется борьба крестьянства против панов-угнетателей.

Летом и, особенно, осенью 1861 г. недовольство среди революционной демократии стало выливаться в самых решительных антиправительственных формах. В июне появилась первая в России печатная прокламация: „Великорусс". В августе была распространена в столице боевая прокламация: „К молодому поколению".

Еще ранее (до опубликования „Положения 19 февраля 1861 г.") была написана, но не получила распространения прокламация „Барским крестьянам". Н. Г. Шелгунов в своих „Воспоминаниях" рассказывает, что зимой 1860 г. приехал из Москвы в Петербург уланский корнет Всеволод Костомаров, переводчик Гейне. Он явился к М. Михайлову с рекомендательным письмом поэта Плещеева и заявил ему, что имеет печатный станок и готов на нем печатать революционные, бесцензурные сочинения. „В ту же зиму, т. е. в 1861 г.,—пишет Шелгунов,—я написал прокламацию „К солдатам", а Чернышевский — прокламацию „К народу" и вручил их для печатания Костомарову. Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым,

то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву" (Н. В. Шелгунов. „Воспоминания", стр. 33).

Вот все, что известно об авторстве Чернышевского. Прокламация начинается словами: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", дает резкую критику реформы и призывает крестьян начать организованную подготовку к восстанию.

Прокламация, как известно, не получила распространения, так как была захвачена полицией при аресте корнета Вс. Костомарова. В мае 1861 г. московский митрополит Филарет написал самому царю письмо-донос, в котором сообщал, что в Москве распространяются переведенная с польского прокламация с призывом к восстанию Литвы и Польши и четыре брошюры, нелегально литографированные в Московском университете.

В июле 1861 г. были арестованы студенты Московского университета Петр Зайчневский и Перикл Аргиропуло, у которых были найдены литографированные стихи Шевченко и статьи Герцена и Огарева, перепечатанные из „Колокола". Переписка Зайчневского и Аргиропуло свидетельствовала, что они оба считают себя социалистами, сочувствуют крестьянскому движению, с похвалой отзываются об Антоне Петрове, расстрелянном правительством руководителе восстания крестьян с. Бездны.

В августе 1861 г. III отделение получило донос Николая Костомарова, с приложением двух рукописных прокламаций: „Русским солдатам" и „Барским крестьянам". Доносчик сообщал, что брат его Всеволод Костомаров организовал печатание тайных прокламаций.

Во втором доносе Николай Костомаров сообщал и имена заговорщиков: поэта А. Н. Плещеева, поэта Михайлова, студентов Зайчневского, Сороко, Сулина и др. Так оказались известным образом связаны все первые процессы начала 60-х годов: процесс Зайчневского и „первой вольной типографии в Москве", процесс Михайлова, процесс Чернышевского.

Прокламация „К молодому поколению", написанная Шелгуновым, была напечатана Михайловым в Лондоне — в „русской печатне" Герцена, который, кстати, отнесся к ней отрицательно. Михайлов в чемодане с двойным дном привез в августе 1861 г. часть прокламаций (250 из 600 напечатанных) в Петербург и при содействии Шелгунова довольно широко и смело распространил их.

В том же 1861 г. появились не только революционные прокламации, но и тайные организации. В июне, августе и октябре 1861 г. вышли три листка тайного общества „Великорусс".

По словам А. Слепцова, воспоминания которого приводятся М. Лемке в комментариях к XVI тому сочинений Герцена, членами этой организации были Н. Н. Обручев, его племянник В. А. Обручев, В. Ф. Лугинин; имели к нему отношение А. В. Захарьин и П. И. Боков. На том основании, что некоторые из членов этого общества были близко знакомы с Н. Г. Чернышевским,— М. Лемке делал вывод, что „есть серьезное основание предполагать, что „Великорусс" был отчасти делом рук Чернышевского". Позднейшие исследователи это предположение, с большой долей основания, опровергают.

Самым крупным из тайных обществ начала 60-х годов было общество „Земля и Воля", инициатива основания которого, как сообщает в своих воспоминаниях Слепцов, принадлежала Огареву, а название — Герцену. Статья Огарева: „Что нужно народу" стала, якобы, программой нового общества.

X

Однако, больше вероятия, что идея создания общества „Земля и Воля" возникла в России, а инициатива его принадлежала Николаю Серно-Соловьевичу, человеку в это время также близкому к Н. Г. Чернышевскому.

В 1859 г. Серно-Соловьевич участвовал в работе Калужского комитета по подготовке губернской реформы. Убедившись на практике, что реформа готовится в интересах помещиков, он послал царю „Записку", в которой смело писал о нарушении интересов крестьянства. В то же время он оставил официальную службу и заявил о своем переходе в демократический лагерь, возглавляемый Чернышевским. „Современнику", — писал он в письме Н. С. Кашкину 25 ноября 1859 г.,—отдаю полное предпочтение перед „Русским вестником"... Чернышевского ставлю положительно во главе наших публицистов" („Литер. наследство" № 25—26, 1936 г.,ст. „Из наследия револ. поэзии 60-х годов").

В июне 1861 г., разочаровавшись в реформе, Н. А. Серно-Соловьевич опубликовал в Берлине брошюру под заглавием: „Окончательное решение крестьянского вопроса". В брошюре излагался проект выкупной операции и описывались крестьянские волнения, вызванные введением „Положения 19 февраля". Автор сопровождал эти материалы следующими замечаниями: „Я публикую проект потому, что крестьянский вопрос, не разрешенный или правильнее искаженный положениями 19 февраля, разрешим только двумя способами, или общею выкупною мерой или топорами. Третьего исхода нет". Свою брошюру Н. Серно-Соловьевич заканчивал призывом к „людям, достаточно смелым" осознать положение России и „собирать силы для создания нового, лучшего порядка".

По возвращении из-за границы он и приступил к организации тайного общества „Земля и Воля". Он устроил книжный магазин и библиотеку при нем для распространения лучшей просветительной легальной и нелегальной литературы, открывал воскресные школы, организовывал публичные лекции и диспуты. К работе по распространению передовой литературы был привлечен двоюродный брат Н. Г. Чернышевского—С. Н. Пыпин, назначенный по рекомендации Николая Гавриловича заведующим магазином „Земли и Воли" (см. „Переписка Пыпиных". „Литерат. наследство" № 25—26, 1936 г.). Братья Н. и А. Серно-Соловьевичи привлекли в общество „Земля и Воля" Н. Обручева и А. Слепцова, на которых Чернышевский также оказал большое влияние. А. Слепцов познакомился с Н. Г. Чернышевским в июле 1861 г., явившись к нему с рекомендательным письмом Н. Обручева.

В беседе со Слепцовым Чернышевский и толкнул его на мысль о создании тайного общества. „Чернышевский ,—рассказывает Слепцов в своих воспоминаниях,— интересовался работой нарождавшегося общества (тогда еще не имевшего названия) и при свиданиях с бывшими у него братьями и со мной, всегда притом в отсутствие своей жены, то подвергал критике наши очередные проекты, то давал советы". Чернышевский, таким образом, и дальше оставался идейным руководителем тех людей, которые были организаторами тайного общества.

Слепцов рассказывает, что Чернышевский не вступил в общество „Земля и Воля" так как считал в этот период более важным посвятить свои силы целиком „Современнику". „Когда я увижу, что не в состоянии работать попрежнему,—говорил Чернышевский братьям Серно-Соловьевичам,—то через месяц-другой я с вами, но все-таки и с „Современником": он мне дорог, как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас, поскольку вы разделяете общий его тон".

В июле 1862 г. был арестован Н. Г. Чернышевский и непосредственный руководитель общества Н. Серно-Соловьевич. Слепцов уехал за границу. К 1864 г., в результате ареста нескольких членов и усилившейся реакции, общество „Земля и Воля" распалось.

V

Вторая половина 1861 г. и начало 1862 г. характеризуются стремлением реакции перейти в наступление против революционных сил общества.

После усмирения вооруженной силой крестьянских восстаний правительство обрушило свой удар на студенческую молодежь.

В 1855—1861 г. студенчество Петербургского университета добилось фактической автономии и даже издало в 1857 и в 1860 гг. два сборника студенческих статей и заметок.

Разочарование в крестьянской реформе усилило политическое недовольство демократической молодежи, которое вылилось в студенческие демонстрации 1861 г.

Первые демонстрации петербургских студентов произошли на университетском акте 8 февраля 1861 г., вследствие отмены речи популярного профессора Н. И. Костомарова, и в марте того же года во время панихиды по убитым польским революционерам. В апреле 1861 г. студенты Казанского университета устроили демонстративную панихиду после расстрела крестьян в с. Бездне. После панихиды профессор истории Щапов произнес революционную речь, за которую был арестован, а впоследствии выслан в Сибирь.

Для борьбы со студенческим революционным движением в мае 1861 г. были опубликованы новые университетские правила. Они не только лишали студентов завоеванной автономии, но и ставили их под опеку полиции и властей, Вместе с тем, майские правила стремились изменить социальный состав студенчества, предписав освобождать от платы только двух студентов от каждой губернии, входящей в состав учебного округа.

Петербургские студенты, недовольные новыми правилами, устроили 25 сентября 1861 г. демонстрацию, направившись с протестом к попечителю учебного округа. К демонстрантам присоединились учащиеся других учебных заведений и офицеры. Демонстрация, растянувшаяся на целую версту, произвела огромное впечатление. Напуганные власти видели в этом выступлении молодежи начало революции. Университет был закрыт. Для усмирения студентов, собиравшихся на сходки к университету, была выслана военная сила. В ночь на 26 сентября были арестованы „зачинщики". Студенческая масса, собравшись 27 сентября, потребовала освобождения арестованных. 12 октября произошло столкновение студентов с солдатами-преображенцами, под командой полковника Толстого. Около 300 студентов было арестовано и отправлено в Кронштадтскую крепость. Многие студенты были ранены.

Возбуждение в обществе, вызванное расправой со студентами, было огромно. Сочувствие было целиком на стороне студентов. В официальной и реакционной прессе появилась статья: „Учиться или не учиться?", в которой правительство стремилось взвалить ответственность за закрытие университета на студенчество.

Н. Г. Чернышевский ответил на нее резкой статьей „Научились ли?", в которой показал истинных виновников событий. Он горячо протестовал против превращения студентов в школьников и показал справедливость недовольства студентов „правилами", лишавшими большинство их возможности учиться. В той

же статье Чернышевский протестовал против полицейского преследования воскресных школ, которые „подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать".

Результатом расправы со студентами был демонстративный уход из университета его лучших профессоров: Кавелина, Пыпина, Стасюлевича, Б. Утина и др.

Но правительство уже не стеснялось в своих действиях. Пять студентов, выбранных депутатами для переговоров с властями, были высланы, многие уволены из университета и отданы под надзор полиции.

В сентябре 1861 г. по доносу предателя Вс. Костомарова был арестован и Мих. Ил. Михайлов. Вскоре начавшийся процесс революционного поэта-демократа произвел на передовое общество того времени громадное впечатление.

Даже петербургские литераторы-либералы послали депутацию к министру с ходатайством об освобождении Михайлова. Этот первый политический процесс в пору всеобщего общественного возбуждения правительство провело в спешном порядке. Михайлова обвиняли „в сношении с лондонскими пропагандистами-эмигрантами" и в распространении прокламации „К молодому поколению". Через два месяца дело закончилось приговором Михайлова к 15 годам каторжной работы на рудниках, уменьшенной царем до 7 лет.

Процесс Михайлова был, однако, только репетицией более грандиозного и, с точки зрения правительства, более важного процесса Чернышевского. Процесс начал подготовляться именно в это время.

VI

Правительство правильно считало Чернышевского идейным вдохновителем революционно-демократического движения в стране.

Разгром этого принявшего опасные размеры и формы движения можно было бы облегчить, изъяв его руководителя и вдохновителя. К этой цели и были направлены теперь все усилия правительства. Ему усердно помогала в этом деле вся реакционная и либеральная печать. Застрельщиком кампании против Чернышевского в печати выступил Катков в „Русском вестнике". В январской и затем в февральской книжке своего журнала Катков открыл генеральное сражение против философских основ взглядов Чернышевского—его материалистического мировоззрения.

Кампанию, начатую Катковым, дополнила полемика против „Современника", открытая в важнейшем органе российских либералов—„Отечественные записки".

Пользуясь, как и Катков, брошенным Герценом презрительным словечком „свистуны" (сотрудники „Современника" и „Свистка"), либерал Громека обвинял революционных демократов в том, что „они свергают идолов и авторитеты для того только, чтобы самим занять их место". Чернышевский, не имея возможности по цензурным условиям открыто изложить свою политическую программу, сначала отвечал на одностороннюю полемику презрительным молчанием. Затем в июньской и июльской книжках „Современника" появился отдел: „Полемические красоты", первая „коллекция" которых была посвящена „Русскому вестнику" и вторая—„Отечественным запискам". Ответ Чернышевского был выдержан в тоне холодного презрения.

Появление „Полемических красот" привело уже в полное неистовство политических врагов Чернышевского. Все они наперебой стремились доказать

„неблагонамеренность" ненавистного им писателя-демократа. Статьи стали носить характер доносов. В статье „Кое-что о прогрессе" Катков писал: „Наши, так называемые, прогрессисты воображают, что чем больше будет поломано, побито и уничтожено, тем больше окажется и прогресса. Увы! Они ошибаются". Тот же характер доноса имела и статья Ламанского в славянофильской газете „День", обвинявшая Чернышевского в том, что он „работает на пользу политических врагов русских".

С протестом против этой статьи выступил историк Н. И. Костомаров, который писал Аксакову, что результатом таких статей может явиться то, что „Чернышевского посадят в крепость, либо сошлют в Вятку, как проповедника безбожия, социализма, революции, а вам дадут орден за разоблачение зловредного учения".

Журнальная полемика 1861—1862 г. против Чернышевского своим прямым результатом имела такие жестокие преследования цензуры, каких „Современник" еще никогда не испытывал.

В марте 1861 г. один из наиболее реакционных членов Главного управления цензуры Берте представил „Особую записку" о „вредном направлении" журнала „Современник", который, будто бы, стремится разрушить все установившиеся убеждения и „создать новые основы для законодательства, философского мышления, политического положения общества, социальной и семейной жизни, значения женщины и т. д." Берте особенно подчеркивал весь „враждебный колорит" журнала, с которым так трудно бороться царской цензуре. 18 марта после обсуждения этой „записки" Главное управление цензуры постановило: объявить цензору „Современника" строгий выговор, а редакции—сделать предостережение,—если она не изменит направления, журнал будет запрещен.

После этого строгости еще усилились. В сентябре 1861 г., в связи со студенческими волнениями, распространением прокламации „К молодому поколению", арестом Михайлова, Берте представил в Управление цензуры новую записку—обзор июльской и августовской книг „Современника" и снова констатировал, что журнал „сохраняет свое отрицательное направление". Особенного порицания, по мнению цензора, заслуживает „разрушительное направление" статей Чернышевского „Полемические красоты".

В то же время усилились нападки цензуры и против органа политических радикалов „Русское слово", в котором в 1861—1862 г. активно сотрудничал находившийся в Петропавловской крепости Писарев. „Русское слово" идет по стопам „Современника",—писал в своей „Записке" для Управления цензуры А. В. Никитенко.—Это его идеал, образец; а главный из сотрудников последнего Чернышевский для него есть величайший, единственный ум не только в России, но и во всей Европе".

Редакциям обоих журналов снова были сделаны предупреждения. Зимой 1861 года наступило, однако, некоторое облегчение, в связи с увольнением реакционного министра просвещения гр. Путятина и назначением более либерального А. В. Головнина. Но нападки против Чернышевского в печати не прекращались. Не смягчала своих стрел и цензура. В начале 1862 г. она запретила статью Чернышевского „Письма без адреса", предназначенную для февральского номера. Это была последняя статья Чернышевского по крестьянскому вопросу. По тону и политическому замыслу эти критические „Письма без адреса" (адресованные, как можно было легко догадаться, царю Александру II) как бы противопоставлялись тем верноподданническим адресам, которые в это время принимались либералами на дворянских собраниях.

Работать Чернышевскому становилось все труднее. В ноябре 1861 г. умер ближайший друг и самый любимый человек Чернышевского— Н. А. Добролюбов. В декабре, после исполнения обряда гражданской казни, увезли в Сибирь на каторгу Михайлова.

В феврале 1862 г. похоронили Панаева. По пятам следовали полицейские агенты III отделения за Чернышевским, Серно-Соловьевичем, Шелгуновым. Усердно плел свои нити провокации предатель Костомаров. Свирепствовала цензура. Травили либеральные и реакционные литераторы. Но Чернышевский не сдавался. Он знал, что прямых улик, раскрывающих его революционную деятельность, нет.

2 марта 1862 г. в пользу сосланного Михайлова состоялся литературный вечер. На нем выступал с воспоминаниями о Добролюбове и Чернышевский. Вечер имел печальные последствия. На вечере прочитал свою статью „Тысячелетие России", предварительно просмотренную цензурой, профессор-историк П. В. Павлов. Он прочел ее с такими ударениями и с таким воодушевлением, что присутствовавшая публика устроила ему овацию. Через два дня Павлова пригласили к министру просвещения и заявили о запрещении его лекций. Его квартира и бумаги были опечатаны. Сам он сослан в Ветлугу.

Чернышевский пытался организовать протест против расправы с профессором Павловым. Но депутацию профессоров организовать не удалось. В пользу Павлова была собрана студентами небольшая сумма. Появилась и прокламация, призывавшая к протесту.

Ответом на реакцию были крепнущие и более оформленные революционные выступления. Одним из них—была прокламация „Молодая Россия", вышедшая в мае 1862 г. в Москве. Она была написана П. Г. Зайчневским, сидевшим в это время в заключении в Тверской части в Москве.

„Молодая Россия" подчеркивала, что все русское общество делится на две непримиримо-враждебные силы: императорскую партию и народ. Выход для народа один: „революция, кровавая и неумолимая". Надо поголовно истребить династию Романовых и установить республику. Авторы прокламации возлагают свои надежды на армию и революционный народ. Они призывали эти силы организовать революционную партию и готовиться к решающим боям с самодержавием.

Прокламация настолько близко излагала программу Чернышевского, что многие из современников и, особенно, реакционная пресса объявили Чернышевского автором „Молодой России". В связи с этим, травля против Чернышевского еще более усилилась. Именно в это время начались в Петербурге провокационные пожары. Сгорели Апраксин и Щукин дворы, Толкучий рынок, целые переулки с домами бедняков. Пожар рынков разорил мелких торговцев. В городе началась паника. Распространился слух, что виновники пожаров— студенты и революционеры.

Чернышевский понимал смысл полицейской провокации. Возможно, что именно им была внушена новая прокламация той же группы под названием „Предостережение", найденная в рукописи при аресте Баллода.

„История свидетельствует,—писалось в этой прокламации,—что демократы никогда не действовали ни поджигательствами, ни другими подобными средствами... Перевороты совершаются народами. Русский народ—накануне восстания. Правительственная реакция, подогреваемая сплетнями и паникою обывателей, только придаст народному восстанию более жестокий характер и помешает революционерам смягчить его".

„Предостережение" не появилось. Его авторы были арестованы. Правительство отдало распоряжение приостановить на 8 месяцев выход журналов „Современник" и „Русское слово". Почти через месяц, 7 июля 1862 г., был арестован и Чернышевский.

VI

Но арестовать вождя революционной демократии было недостаточно: надо было организовать процесс и найти улики, чтобы навсегда избавиться от Чернышевского. Именно этого требовали от III отделения авторы анонимных писем, писавшие о Чернышевском. „Чернышевский — это коновод юношей. Если не удалите его, будет революция: избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия"—таков был тон этих анонимных писем против Чернышевского.

Решению этой нелегкой задачи III отделение отдало не мало сил и средств. Еще в октябре 1861 г. за Чернышевским было установлено агентурное наблюдение. Сведения собирались более полугода. До дня ареста, 7 июля 1862 года, было представлено 113 донесений. Однако результат их был ничтожен, ибо материала для обвинений и ареста Чернышевского агенты не давали. Они прибегали к всевозможным способам получения компрометирующих Чернышевского материалов. Они не только поставили „наружное наблюдение", наблюдая за выездами Чернышевского и за приезжающими к нему людьми, но и попытались поставить на квартиру Чернышевского всю прислугу, находящуюся на службе III отделения. Все эти усилия, однако, благодаря осторожности и конспиративности Чернышевского, ни к чему не приводили.

„Записка" III отделения от 27 апреля 1862 г. вынуждена констатировать: „Юридических фактов к обвинению Чернышевского в составлении возмутительных воззваний и в возбуждении враждебных чувств к правительству, в III отделении не имеется". Вместе с тем „Записка" констатирует, что Чернышевский пользуется, как литератор-публицист, широкой известностью в обществе и популярностью среди молодежи. „Записка" приводит имена близких к Чернышевскому лиц с революционными взглядами: Михайлова, Обручева, Добролюбова, Шелгунова, братьев Серно-Соловьевичей, Огрызко и др.

Руководители III отделения предлагали „для противодействия вредным замыслам" Чернышевского и его друзей усилить тайное и явное наблюдение за всеми подозрительными лицами, произвести одновременный обыск у всех сомнительных лиц, а перед тем—вызвать этих лиц порознь к петербургскому генерал-губернатору Суворову и „предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят, и что всякий предосудительный поступок подвергнет их сильному наказанию". Такая неожиданная „заботливость" высшего полицейского органа вызвала раздраженную резолюцию царя: „По моему мнению, подобное предварение не приведет ни к чему, а напротив, даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить".

Правительство было явно недовольно медлительностью полиции, так долго не находившей достаточно улик и поводов для ареста Чернышевского. Вот почему, когда начались пожары в Петербурге, сам министр внутренних дел подсказал в своей записке от 9 июля 1862 г. начальнику III отделения Потапову мысль использовать пожары для ареста видных революционеров и указать на „связь между пожарами и возмутительными прокламациями".

Валуев внес и второе предложение, в виде следующего, упреком звучавшего вопроса: „Разве не достаточно для задержания некоторых известных лич-

ностей факта их общеизвестных сношений с Лондоном, их связей с другими арестованными лицами и т. п.?"

В то же время шел торг полиции с предателем Всеволодом Костомаровым, который уже „помог" создать процесс Михайлова, выдал участников тайной типографии в Москве и теперь обещал раскрыть деятельность видных революционеров, в том числе Чернышевского, если полиция надлежащим образом его обеспечит.

Кто такой был В. Костомаров? Из „Воспоминаний" Шелгунова и „Записок" Михайлова фигура этого гнусного предателя вырисовывается довольно выпукло.

Вс. Костомаров был уланским корнетом. Несмотря на кавалерийский мундир, имел вид жалкий и бедный. Внешность его была непривлекательна: несколько сжатый кверху, ровный и холодный лоб, исподлобья глядевшие или опущенные вниз глаза. Сухой, нервный, мрачный, он много рассказывал о своей бедности и тяжелой домашней обстановке. Ему удалось вызвать сочувствие. Чернышевский, с которым Костомарова познакомил поэт Михайлов, дал ему работу в „Современнике". Наличие у Костомарова печатного станка прежде всего и привлекло к нему Чернышевского, Михайлова, Шелгунова.

Таким образом царское правительство всеми способами стремилось арестовать Чернышевского. Ему помог в этом случай.

Весною 1862 г. в Лондоне открылась всемирная выставка. В связи с нею Герцена посещало большое количество русских. Одним из них был Ветошников, приятель эмигранта Кельсиева. Огарев и Герцен послали с Ветошниковым письма в Россию. Из письма Огарева к Серно-Соловьевичу приводилась в обвинении следующая, не совсем точная фраза: „Мы готовы издавать „Современник" здесь с Чернышевским или в Женеве—печатать предложение об этом? Как вы думаете?"

На границе Ветошников был арестован. Упоминание в письме Герцена и Огарева имени Чернышевского было сочтено достаточно удобным предлогом для его ареста и заключения в крепость.

Дальнейшие события и методы гнусной провокации, жертвой которой стал Н. Г. Чернышевский, а также его мужественная борьба и разоблачение царских тюремщиков и „судей", ярко рисуют документы, публикуемые в настоящей книге.

После двухлетней упорной самозащиты Чернышевский был признан виновным „в злоумышлении к ниспровержению существующего порядка". Сенат определил и наказание: ссылка на каторжные работы на рудниках на 14 лет и поселение в Сибири навсегда. 7 апреля Александр II на решении Сената наложил резолюцию: „Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину".

19 мая 1864 г. на Мытнинской площади над Чернышевским был совершен обряд гражданской казни. На другой день он был увезен в Сибирь. В конце 1864 г. Чернышевский прибыл на рудник Кадая на китайскую границу (в Забайкалье), а в конце лета 1865 г. был из рудников переведен на Александровский завод и, наконец, в Вилюйский острог.

Так закончился процесс Чернышевского. Этот процесс, суд и приговор произвели громадное впечатление на современников в России и за границей.

Когда приговор стал известен в Лондоне, Герцен поместил в № 186 „Колокола" статью под заголовком: „Н. Г. Чернышевский". В ней он писал с горячим возмущением: „Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накли-

кала это гонение, раздула его из личностей... А тут жалкие люди, люди—трава, люди—слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами! И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!...“

Рассказав о гражданской казни над Чернышевским, Герцен заканчивает: „Поздравляем всех различных Катковых—над этим врагом они восторжествовали! Ну, что, легко им на душе? Чернышевский был вами привязан к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье и, если возможно,—месть!“

В следующем номере „Колокола“ Герцен пишет в статье „VII лет“ о тяжелой реакции в России и снова вспоминает расправу с Чернышевским. Герцен подчеркивает, что процесс Чернышевского будет иметь глубочайшее историческое значение. Новая Россия, за которую так стойко и мужественно боролся революционер-демократ Чернышевский, становится во весь рост рядом с Белинским, с петрашевцами, с Михайловым, Обручевым: „Эту новую Россию Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор“.

Герценовский „Колокол“ был первым органом печати, ознакомившим общество с материалами процесса. В № 193 Герцен напечатал негласную сенатскую записку. Теперь всем стала ясна расправа с революционным писателем—**юридическое преступление** царизма при помощи подлога и провокации.

В „Письме к Александру II“ № 197 Герцен пишет: „Вы с беспримерной свирепостью осудили единственного замечательного публициста, явившегося в ваше время, а знаете ли, что писал Чернышевский, в чем состояло его воззрение, в чем опасность, преступность? Можете ли вы на этот вопрос ответить самому себе? Из нелепейшей сенатской записки вы ничего не могли понять“.

Верную и острую характеристику процесса дал впоследствии философ-идеалист Владимир Соловьев: „Было решено изъять человека из среды живых—и решение исполнено. Искали поводов,—поводов не нашли, обошлись и без поводов“.

Процесс Чернышевского, как и последовавшие за ним 27 мужественных лет в тюрьме и ссылке, не только разоблачали преступления царизма. Они будили и на борьбу с ним. Поведение Чернышевского на суде стало ярким образцом поведения несгибаемого революционера.

Позднее народники с гордостью говорили о своей готовности „пострадать за народ“.

Чернышевскому было чуждо такое внешне-революционное отношение к борьбе за народное дело. Наоборот, он считал, что долг борца-революционера состоит в том, чтобы он избегал всякого безрассудства, позы, внешнего героизма, чтобы он хранил себя, умело сочетая глубокую конспиративность с использованием всякой возможности для революционной пропаганды, для организации революционеров. Сочетание революционной смелости и разумной трезвости—вот что характеризовало поведение Чернышевского на суде и следствии. Именно поэтому царскому правительству и не удалось собрать юридически веских улик против Чернышевского, высокая революционная активность которого и руководящее положение среди русских революционеров 60-х годов были для всех вне всякого сомнения.

Целые поколения, шедшие на смену Чернышевскому, не только глубоко усваивали его идеи, но и учились у великого революционера-демократа великому искусству революционной борьбы.

ВВЕДЕНИЕ

Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. Задолго до этого дня он привлек к себе внимание III отделения. С осени 1861 г. он был взят под постоянное пристальное наблюдение. Изо-дня в день отмечалось, кто у него бывал и куда он сам отлучался. Были подкуплены швейцар, кухарка. Порою перехватывали и прочитывали доставлявшиеся почтой письма. Агенты III отделения собирали всякие слухи и россказни о нем. Министром внутренних дел было сделано распоряжение о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. Власти были убеждены в наличии революционного духа в народе, а в Чернышевском видели „главу радикального оркестра" (выражение министра внутренних дел Валуева), человека, тем более опасного, что, по признанию самого III отделения, никаких юридических улик против него не было.

6-го марта 1862 г. шеф жандармов князь В. А. Долгоруков в своем отчете Александру II за 1861 год подчеркивал напряженность внутреннего политического положения государства. 27 апреля он представил Александру II специальный доклад о мерах борьбы с революционным духом. К этому докладу был приложен составленный III отделением список лиц, у которых предполагалось сделать одновременно строжайший обыск. В этом списке первое место занимает литератор Чернышевский, подозреваемый „в составлении воззвания „Великорусс", в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству"; затем следует длинный ряд фамилий лиц, подозреваемых в преступных сношениях с Чернышевским...

Не одни власти считали Чернышевского опаснейшим человеком. Какой-то дворянин написал ему письмо—без подписи—с предупреждением, что с ним расправятся, так как дворяне не хотят „видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова"... „Неужели мы не видим вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам, которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с Маратовским восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства??"—восклицал автор письма.—„Не вверимся же мы вам, человеку или совершенно непрактичному, или совершенно подлому: вспомните в какую цену вы оценили наши имения. Кого вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого вы надеетесь? На полудикое сословие мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях.—Мы хладнокровно встретили разыгравшиеся страсти временно-обязанных, опьяневших от данной им свободы, и, действуя снисходительно, добросовестно, мужественно, сохранили и сохраним мужественное спокойствие. Мы люди благородные и потому бесстрашно встретим смерть, защищая права законные, несомненные"... Другой аноним взывал к III отделению: „Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия.—Неужели не найдете средств спасти нас от такого зловредного человека?—Ежели вы не удалите его, то быть беде, будет кровь.—Сорванцы бездомные на все готовы, и вам дремать нельзя; на вас грех падет, коли допустите их до резни, а

она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Время николаевское ушло — распустили однажды, теперь не совладаете, выхода другого нет, как Земская дума, боитесь дворянства—пошумят только,—если потребуют конституции, то путем законным она не страшна для царя, а эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов и пойдет напролом, не пренебрегайте ею".

Даже много лет спустя после ареста и ссылки Чернышевского бывший московский профессор Б. Н. Чичерин, умеренный либерал, близкий к высокопоставленным кругам, писал в своих мемуарах: „...Еще до преобразований в 1861 г. нигилизм был в полном разгаре. Гнет николаевского царствования накопил горючие материалы; брожение, вызванное Крымскою войною, дало им новую силу. Внезапное облегчение тяжести, последовавшее в новое царствование, обнаружило только то, что таилось внутри. Долго сдавленное общество, выпущенное на свежий воздух, шаталось, как человек, вышедший из многолетней тюрьмы и впервые увидевший свет божий. Бродячие элементы всплывали наверх и увлекали умы, в особенности молодежи. В то время уже издавались прокламации, взывавшие к истреблению всех высших слоев общества. Чернышевский держал в своих руках все нити этого движения, организуя и поджигая своих единомышленников".

Петербургский военный генерал-губернатор кн. Суворов, слывший рыцарем, пользовавшийся общим уважением как просвещеннейший из тогдашних администраторов, личный друг Александра II, не гнушался в целях раскрытия и искоренения революционной крамолы вступить при посредстве проходимца Путилина, агента III отделения, в сношения с провокатором Всеволодом Костомаровым, молодым поэтом-переводчиком, печатавшим свои стихи в „Современнике". Арестованный по доносу родного брата в конце августа 1861 г. в Москве по делу о печатании запрещенных сочинений, Всеволод Костомаров в начале сентября того же года предложил свои услуги начальнику III отделения гр. Шувалову, выдал доверившегося ему сотрудника „Современника" М. И. Михайлова, дал другие откровенные показания и, сойдясь с Путилиным, для повышения себе цены сочинил „Революционный союз" оппозиционных партий, жаждущих свержения самодержавия, с разветвлениями по всей России, с военной организацией, складами оружия, и т. д. Путилин из своих видов верил измышлениям Костомарова и докладывал их Суворову, а тот в свою очередь Александру II, который не только придавал им вес, но и согласился даровать Костомарову и его семье разные милости, если Костомаров действительно раскроет крамолу. Сменившему гр. Шувалова на посту начальника III отделения ген. Потапову Костомаров указал в январе—феврале 1862 г. на крамольную деятельность Чернышевского и Добролюбова (который тогда уже был покойником). Но с раскрытием крамолы полностью Костомаров медлил, торгуяс о вознаграждении и ставя непременным условием, чтобы сам он не фигурировал ни в роли доносчика, ни в роли свидетеля, иначе его честное имя будет запятнано...

Надо было арестовать Чернышевского, хотя, по признанию самого III отделения, юридических улик против него оно не имело. Ждали только благовидного повода. Он отыскался в привезенных из Лондона Ветошниковым письмах к разным лицам, обнаруженных при задержании Ветошникова в Кронштадте. В одном из этих писем Герцен сообщал Н. А. Серно-Соловьевичу, что предполагает издавать приостановленный властями „Современник" в Лондоне или Женеве вместе с Чернышевским.

7 июля 1862 г. был произведен арест Чернышевского и ряда других лиц.

В ночь с 7 на 8 июля Потапов донес шефу жандармов кн. Долгорукову: „В городе, благодаря бога, все благополучно. С кн. Суворовым, конечно, не без прений согласились, и арестования сделаны удачно... Чернышевский ожидал, взят здесь на своей квартире... Все прямо отправлены в Алексеевский равелин; надеюсь, что в понедельник (т. е. 9 июля) им уже будут даны вопросы. Виделся с П. А. Валуевым (министр внутренних дел) и Ахматовым (обер-прокурор синода), а также с Путилиным, и условились о совещаниях. Завтра еду в Знаменское к е. и. в. великому князю“ (Михаилу Николаевичу, брату Александра II, председателю Государственного совета). Долгоруков отвечал: „Кн. Суворов писал мне по этому поводу лично. Он согласен, после ваших объяснений, в необходимости принятых нами мер и желает быть освобожденным, без гнева, от путилинских действий. Я думаю, что это будет хорошо, и потому прошу вас сообразить к моему возвращению, как удобнее вести путилинское дело. Надобно будет связать его с нашим и, следовательно, вероятно придется держаться нашей собственной системы. Не полезно ли будет, согласно с прежним мнением кн. А. Ф. Голицына (председатель учрежденной незадолго перед тем Александром II Следственной комиссии), вытребовать Костомарова в СПБ и воспользоваться его указаниями тем способом, который признается наиболее успешным. Переговорите об этом предварительно с князем. Окончательно мы решим вопрос при свидании. P. S. Суворов просит, между прочим, не забыть трех его обещаний по путилинскому делу: 1) 500 руб. на поездку Костомарова, 2) содержание его семейства на несколько лет, 3) причисление Путилина или к нему, кн. Суворову, или к мин. вн. дел. Все три обещания можно иметь в виду“.

В приведенных словах Долгорукова уже предвкушается будущая инсценировка обвинения Чернышевского и роль в ней Вс. Костомарова.

Процесс против Чернышевского начался. Он должен был пройти чрез следующие инстанции. 1) Следственную комиссию, 2) Сенат, 3) Государственный совет. Дело затянулось за отсутствием юридических улик. Вопреки предположению Потапова, даже первые „вопросы“ Чернышевскому могли быть заданы не на третий день после его ареста, а почти четыре месяца спустя. Надо было хоть к чему-нибудь прицепиться, а зацепки не было. Ее искали в бумагах Чернышевского, взятых при обыске его квартиры. Среди них было обнаружено письмо Герцена и Огарева к неизвестному адресату,—но в нем были нападки на Чернышевского и не было ничего, свидетельствующего о криминальных действиях или замыслах Чернышевского. Было обнаружено также несколько страниц из саратовского дневника Чернышевского 1853 г., писанных якобы шифром, и четыре картонных полоски с цифрами и буквами против каждой цифры,—якобы ключ к мнимому шифру; но министерство иностранных дел, куда эти страницы были посланы для расшифровки, сообщив, что они писаны не шифром, медлило с самой расшифровкой. Прибавился еще материал—письма Чернышевского жене после ареста; Следственная комиссия задержала их и приобщила к делу, но и они не представляли ничего уголовного по своему содержанию. Первый допрос Чернышевского, произведенный 30 октября—11 ноября 1862 г., оказался безрезультатным. Убежденный, что никаких юридических улик против него не существует, Чернышевский даже обратился 20 ноября к Александру II и кн. Суворову с письмами, в которых заявлял, что содержится под арестом без законного основания, и просил об освобождении. Шеф жандармов кн. Долгоруков представил оба письма Александру II, который велел письмо Чернышевского Суворову не передавать ад-

ресату и даже не говорить ему о нем, а по содержанию писем запросить председателя Следственной комиссии кн. Голицына. В своем объяснении Голицын настаивал на подозрительном характере отношений между Чернышевским и Герценом, ссылался на агентурные сведения о Чернышевском, и затяжной характер следствия по его делу оправдывал необходимостью определить литературные тенденции Чернышевского и добиться уличающих Чернышевского данных от Всеволода Костомарова. А последний продолжал торговаться с властями, тем более, что приговор по его собственному делу еще не был официально объявлен, и он боялся длительного заключения в крепости по миновании в нем надобности по делу Чернышевского. 2 января 1863 г. был наконец объявлен в Сенате приговор Костомарову: полгода крепости и разжалование из отставных корнетов в рядовые. О разжаловании просил сам Костомаров,—чтобы чересчур мягкая кара не оставила пятна на его честном имени... Но заключение в крепость хотя бы на полгода нисколько ему не улыбалось. Мать Костомарова просила Александра II не держать сына в крепости. Александр II положил резолюцию: „будет иметься в виду, когда исполнит новые свои обещания". Костомарову приходилось выполнить задание III отделения до конца.

Однако он все еще надеялся и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Чтобы уличить Чернышевского, он даст конкретное письменное показание против него, но в форме письма к некоему задушевному другу, которое будет перехвачено властями... И вот с ведома и одобрения самого Александра II была проделана требовавшаяся инсценировка, запротоколированная в секретнейших документах Следственной комиссии и III отделения: Костомаров написал длиннейшее письмо несуществующему задушевному другу, со стихотворными цитатами на разных языках, как и подобало поэту-полиглоту, с жалобами на то, что ему приходится отвечать за чужие грехи, и с откровенным рассказом о том, как Шелгунов пытался использовать его для напечатания своей прокламации к солдатам, а Чернышевский—для напечатания своей прокламации к барским крестьянам (раньше авторство прокламации к барским крестьянам Костомаров приписывал Михайлову, а Путилин—самому Костомарову...). Помеченное 5-м марта письмо Костомарова было рассмотрено комиссией в четкой писарской копии 18 февраля, а 20 февраля о нем было доложено Александру II, который высочайше одобрил и дальнейшую инсценировку. Для изготовления этого письма Костомарову были доставлены из комиссии подходящие материалы из бумаг Чернышевского, а редактировать его помогал надлежащими указаниями сам Потапов.

Для подтверждения лжесвидетельских показаний Костомарова требовался еще лжесвидетель. Подыскали и его в лице московского мещанина Яковлева, переписчика литературных произведений Костомарова.

Но и этого было мало. Требовалось еще, чтобы Чернышевский собственноручно уличил себя. Это было неосуществимо. Поэтому Костомаров изготовил записку к себе—якобы от Чернышевского, о внесении в текст воззвания к барским крестьянам одной терминологической поправки.

Затем—только в марте—апреле 1863 г.—последовали допросы Костомарова, Яковлева и Чернышевского, очные ставки последнего с Костомаровым и Яковлевым и подведение Следственной комиссией итогов своей работе по данному делу. После того, как они были доложены Александру II, дело перешло в середине мая 1863 г. в Сенат. Но Сенату были сообщены далеко не все документы, фигурировавшие в комиссии. Материалы, изобличавшие гнусную роль

Костомарова и пятнавшие неизгладимым позором не только комиссию, но и самого Александра II, были переданы для хранения в III отделение собственной его императорского величества канцелярии и пролежали под спудом несколько десятков лет.

В длительный интервал между первым и последующими допросами Чернышевский ждал, ждал, переводил Шлоссера, Маколея, писал роман „Что делать?", писал записки коменданту крепости, язвя комиссию, требовал допущения свидания с женой—и, наконец, прибег к голодовке. Это героическое средство подействовало. Прецедента подобному образу действий обвиняемого, сидящего в крепости, не было. Свидание с женой было дано. Первые же слова жены показали Чернышевскому, что его держат в крепости, не предъявляя обоснованных обвинений, потому что таковых не имеется. Только после нового допроса в комиссии он увидел, что теперь его обвиняют уже не в сообщничестве с Герценом, — обвинение голословное, — но в составлении и даче для напечатания бунтовщического воззвания к крестьянам, на основании показаний Костомарова...

В Сенате, куда дело Чернышевского перешло в середине мая 1863 г., оно должно было разбираться с соблюдением всех установившихся в практике этого учреждения обрядностей и форм. Это давало обвиняемому возможность подробно ознакомиться с документальной стороной своего дела (за исключением особо секретных документов) и аргументировать юридическими доводами в свою защиту. Предварительно Сенат должен был решить, подлежит ли подсудимый во время разбора дела содержанию в крепости или же может быть выпущен из нее. Поданное Чернышевским в Сенат пространное объяснение по взведенным на него обвинениям было по существу обвинительным актом против Следственной комиссии и III отделения, показывавшим, что Чернышевский разгадал их махинации. Если бы он, оставаясь под судом, был выпущен из крепости, эти махинации получили бы весьма неудобную для властей огласку. Когда двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин написал ему 27 июня, что „на нынешней неделе Сенат должен был рассуждать об освобождении или нет на поруки", III отделение всполошилось; шеф жандармов кн. Долгоруков распорядился переслать письмо Пыпина управляющему министерством юстиции Замятнину; последний вернул письмо обратно, но для успокоения шефа жандармов сообщил, что „призывал обер-прокурора Чемадурова и дал ему надлежащее относительно обстоятельства об отдаче Чернышевского на поруки наставление". Впрочем, Сенат еще 24 июня нашел, что „подсудимый сей во время производства о нем суда должен оставаться под арестом в крепости". Для воздействия на Александра II ему был представлен 13 июля (в копии) новый документ, уличавший Чернышевского в государственном преступлении — изготовленное Всеволодом Костомаровым письмо якобы Чернышевского к А. Н. Плещееву. Это фальшивка была затем направлена шефом жандармов кн. Голицыну, который за переходом дела в Сенат переслал ее по принадлежности.

Сенат, соблюдая формальности, производил допросы и очные ставки, но оставался глух ко всем объяснениям Чернышевского, разбивавшего с неопровержимой логикой все обвинения, доказывавшего полную юридическую необоснованность их. Изготовленных Костомаровым поддельных документов, признанных Сенатом за подлинные, оказалось достаточно, чтобы Сенат признал 2 декабря 1863 г. несомненно доказанным „существование противуправительственного заговора и принятие Чернышевским деятельного участия в сем заговоре и в приготовлениях к возмущению", а потому и определил: „отставного титуляр-

ного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за участие в составленном заговоре, за принятие мер к возмущению, за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири навсегда". По первоначальному обвинению—„в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и в участии в его преступных замыслах" — Сенат признал Чернышевского оправданным.

Управляющий министерством юстиции предложил заменить в приговоре слово „заговор" более мягким термином „злоумышление" и внести в текст всего сенатского определения кое-какие поправки и дополнения. Сенат, конечно, не возражал. Окончательная редакция приговора была зачитана и принята Сенатом 6 февраля 1864 г.

По рассмотрении сенатского приговора Государственным советом, последний признал Чернышевского „по уликам и обстоятельствам дела, виновным в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для напечатания, с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления", а потому „мнением положил: утвердить по настоящему делу заключение Правительствующего сената и, вследствие сего отставного титулярного советника Чернышевского, на основании приведенных в том заключении узаконений, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири навсегда".

7 апреля 1864 г. Александр II положил на „мнении" Государственного совета следующую резолюцию: „Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен на половину".

После этого возник было вопрос: не надежнее ли будет похоронить Чернышевского заживо, заключив его в Шлиссельбургскую крепость? Но это было бы явное беззаконие. 15 апреля шеф жандармов доложил Александру II следующие соображения: „Находящимся на каторжных работах по особо установленным правилам разрешается переписка с родными. Заключенным же в секретный замок Шлиссельбургской крепости не дозволяется ни с кем свидание и переписка, без особого высочайшего разрешения; заключение их остается даже неизвестным их родственникам. Заключение в секретном замке преступника, законно осужденного, лишая его сношений с родными, предоставляемых законом ссыльно-каторжным, возбудит справедливое нарекание на пренебрежение законов самим правительством".

4 мая Чернышевский дал в Сенате подписку в том, что приговор ему объявлен.

19 мая состоялся обряд публичного чтения приговора Чернышевскому, преломления над его головою шпаги, выставления его к позорному столбу.

20 мая 1864 г. Чернышевского повезли на долгие, долгие годы в Сибирь...

***

Правительством Александра II было опубликовано только заключение Сената по делу Чернышевского. Самый ход процесса и относящиеся к нему документы были окутаны десятки лет глубокой тайной. Только революция 1905 г. открыла исследователям доступ к части этих документов, и покойный М. К. Лемке впервые дал подробное изложение процесса Чернышевского по архивным данным в журнале „Былое" в 1906 г. Позднее он дополнил это

изложение новыми материалами, которые стали доступны исследователям только после Октябрьской революции. Но его работа, напечатанная в его книге: „Политические процессы 1860-х годов“ (П.—М., 1923), содержит далеко не все архивные документы, относящиеся к процессу Чернышевского, многие из них он излагает своими словами, а те которые приводятся полностью изобилуют пробелами и ошибками, тем более досадными, что в книге нет указаний на то, какими именно архивными делами пользовался автор. Ряд документов остался неизвестен М. К. Лемке или не обратил на себя его внимания. Некоторые были опубликованы в разных изданиях уже после его смерти.

В настоящем издании мы печатаем все официальные материалы, освещающие и характеризующие ход процесса Н. Г. Чернышевского, тщательно сверив их с архивными оригиналами. Некоторые из них печатаются впервые.

Прежде всего мы даем доклад шефа жандармов Александру II, сделанный в конце апреля 1862 г., и другие документы, характеризующие тогдашнее напряженное политическое положение страны, как оно представлялось правительству, и намеченные меры борьбы с „революционным духом народа в России“. Затем следуют документы, относящиеся к аресту Н. Г. Чернышевского и производству дела о нем в Следственной комиссии, причем мы выделяем в особый отдел материалы, уясняющие роль Всеволода Костомарова в этом деле. Далее мы помещаем сенатское „определение о Чернышевском“, состоящее из „записки“, излагающей весь ход суда, и заключительной части, содержащей мотивировку приговора по делу и самый приговор.

Все материалы мы располагаем по возможности в хронологическом порядке. Протоколы допросов, очных ставок, заявления Н. Г. Чернышевского и вообще все сколько-нибудь важные документы мы печатаем полностью. Для сбережения места мы опускаем повторяющиеся подписи, употребляем сокращенные обозначения чинов разных лиц и названий учреждений и в протоколах допросов ставим вопросы и ответы одни после других, а не одни против других, в два столбца, как в оригинале. Само собою разумеется, документы повторяющиеся (как, например, протоколы допросов в Следственной комиссии и буквальное изложение их в сенатском „определении“) мы даем полностью лишь один раз, а затем ссылаемся на соответствующие страницы. Что касается орфографии и пунктуации, то мы по возможности следуем принятой в настоящее время.

Не вошедшие в другие отделы материалы мы даем в дополнениях.

Н. А. Алексеев

Москва, июнь 1939 г.

ГЛАВНЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Всеподданнейшие отчеты шефа жандармов за 1861, 1862 и 1863 г.г.

Дело III отделения I экспедиции 1861 г. № 212. Об издании и распространении злоумышленных сочинений и о лицах, участвующих в этом, студентах Московского университета Аргиропуло, Заичневском, Ягуенко и отставном корнете Костомарове.

Начато 15 июля 1861 г. На 721 листах.

Дело III отделения I экспедиции, 1862 г., № 230. О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю революционных воззваний. Часть I. О предположениях к составлению правил для полицейских судов и действий полиции относительно могущих быть беспорядков по случаю революционного духа в народе России (тут же мнение о войсках, офицерах, чиновниках и проч.).

Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии 1862 г. № 2. Сведения, сообщенные III отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Начато 20 мая 1862 г.

Кончено 17 июля. на 94 листах.

Дело III отделения I экспедиции № 230. О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю возмутительных воззваний. Часть 176. О разжалованном из корнетов в рядовые Всеволоде Костомарове.

Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии по объявлению разжалованного из отставных корнетов в рядовые Всеволода Костомарова, об известных ему злоумышленных действиях разных лиц.

К делу № 230 ч. 176

Дело Департамента полиции о литераторе Чернышевском.

Начато 5 июня 1862 г.

На 223 листах.

Фонд III отделения, I экспедиции, 1862 г., № 230, ч. 26.

Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском.

Начато 6 июня 1862 г.

Кончено 14 мая 1863 г. На 472 листах. №13.

Производство высочайше учрежденной в С. Петербурге Следственной комиссии об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, рядовом из дворян,

Всеволоде Костомарове и московском мещанине Петре Яковлеве.

№ 28 1862 г. на 56 листах.

Дело 5-го департамента I отделения Правительствующего сената об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, судимом за государственное преступление. 13 т., 1863

Началось мая месяца 1863 года.

Решено.

Том I-й на 290 листах, 2-й на 295 листах, 3-й на 402 листах.

Дело канцелярии С.-петербургского военного генерал-губернатора о содержащемся в С.-Петербургской крепости титулярном советнике Чернышевском, преданном суду по высочайшему повелению в Правительствующем сенате.

Началось 20 февраля 1863 г.

Кончено 16 декабря 1865 г.

на 179 листах.

стол секретный.

ИЗ ОТЧЕТА ШЕФА ЖАНДАРМОВ В. А. ДОЛГОРУКОВА АЛЕКСАНДРУ II ЗА 1861 ГОД

О внутреннем политическом состоянии России. Обращаясь к переходному состоянию, в которое Россия вступила по случаю изменения одной из главных основ ее гражданского устройства, нельзя не видеть, что оно сопряжено с неизбежным болезненным ощущением, проявляющимся, с разными оттенками, во всех слоях общества. — Земледельцы, понимая, что в настоящую минуту решается вековая их судьба, и питая свойственное всем людям желание стяжать по возможности большие выгоды, как бы не сознают пожертвований, делаемых в их пользу помещиками, не доверяют им и по сие время не оставляют надежды на предоставление им правительством постепенно еще значительнейших льгот. Таковое настроение умов крестьян нарушает между ними и земледельцами согласие, столь необходимое при устройстве новых обоюдных их отношений. Без посредничества и твердости правительства оно могло бы повести к плачевным последствиям.

Дворянство, повинуясь необходимости отречься от старинных прав своих над крестьянами и от многих связанных с оными преимуществ, жалуется вообще на свои вещественные потери, которые оно считает несправедливыми и проистекающими от положения государственной казны, не дозволяющего ей доставлять им удовлетворение. Таким образом все бремя мудрой впрочем меры предупреждения в России пролетариата, составляющего главное бедствие прочих государств Европы, падает ныне исключительно на русское дворянство, угрожая ему чувствительным расстройством.

Неудовольствие дворян не произвело еще, в большинстве сословия, явных помыслов о каком либо политическом перевороте. Отдельные личности, первенствующие в разряде дворянских либералов, выступили однако ж из сельского их уединения на политическое поприще, распространяя печатным и изустным словом мысли свои о свободе, гораздо далее намерений самого правительства. — Мыслители эти принадлежат к образовавшейся в России, в последние годы, партии прогресса, которая составлена преимущественно из молодых литераторов, наполняющих статьями своими периодические русские издания. Число сих последних возрастает постоянно, и надзоров за ними цензуры весьма нередко оказывается недействительным, частью по искусству авторов избегать применения к их изворотливым

выражениям строгости правил, частью же по невольной уступке ценсоров усиливающейся с каждым днем стихии либерализма. Периоды обширной свободы всегда выдвигают вперед подобных народных руководителей, которые во времена большей строгости держатся в стороне, не, скрываясь, смотрят неприязненно на необходимые связи общественного благоустройства. — Нет сомнения, что этот класс людей в России действует под влиянием заграничной русской революционной пропаганды, посредством главных ее органов, но вместе с тем и по вдохновению либерально-мятежной эпохи в прочих европейских государствах. К сожалению, под сим пагубным влиянием находится более или менее все юное поколение России, не исключая воспитанников казенных гражданских и военных учебных заведений, откуда политическая язва проникает в присутственные места и в ряды армии. Не мало к тому содействует также распространившийся у нас повсюду польский элемент, умевший в последнее время снискать расположение русских либералов. Подтверждением выраженного убеждения служили в минувшем году события во всех российских университетах, в Николаевской инженерной академии и в Технологическом институте, как равно сочувствие, оказанное нарушителям порядка и закона не только со стороны воспитанников прочих главных училищ, но и со стороны молодых людей, состоящих на службе, которые увлеклись публично к необдуманным словам и действиям.

В 1861 году обнаружились в столицах империи в высшей степени преступные происки, распространение там, посредством подкидывания на улицах и в домах, возмутительных воззваний, под заглавиями: „Великоросс“ и „К юному поколению“. — Замечательно, что мятежный замысел этот вызвал в отдаленной Европе радость известного демагога Мадзини, прославлявшего оный в статье, за его подписью, в Миланской газете как доказательство зрелости России к политическому перевороту, с низвержением царствующей династии. К счастию, Мадзини и русские подражатели его ошиблись на счет степени этой зрелости; воззвания не произвели никакого особенно дурного действия; — некоторые же из главных распространителей оных были открыты и преданы суду.

Из вышеизложенного обозрения оказывается, что настоящее внутреннее политическое положение чрезвычайно натянуто. Оно делается некоторым образом опасным потому еще, что общее безденежье, застой в торговле и промышленности и предвидимая, по примеру истекшего года, неуспешность полевых работ, в продолжение неопределенного времени, угрожают России бедствиями пауперизма, на которые обыкновенно рассчитывают злоумышленные руководители народов. Все это подтверждает необходимость продолжать неусыпное наблюдение за расположением умов. Сверх того правительство, составляя стражу государства, должно употреблять все средства, дабы удержать в руках своих знамя начатого им передового движения, неук-

лонно руководствуясь правилом подавлять преступные замыслы возмутителей систематическою последовательностью действий, беспристрастною справедливостью и силою закона.

Генерал-адьютант князь Долгоруков

6 марта 1862 года.

ДОКЛАД ШЕФА ЖАНДАРМОВ В. А. ДОЛГОРУКОВА АЛЕКСАНДРУ II [1]

Общий обзор. Во всеподданнейшем отчете моем за минувший год я поставил себе долгом обратить внимание вашего императорского величества на напряженное политическое состояние государства и на сильное раздражение умов, все более и более проникающее в различные слои общества. Последовавшие недавно события в самой столице подтвердили шаткость нашего общественного положения, обличая возрастающую с каждым днем смелость революционных происков, которая в особенности проявляется в сфере литераторов, ученых и учащейся молодежи, зараженных идеями социализма, при преступном, необузданном подстрекательстве со стороны находящихся за границею русских возмутителей.

Наблюдая за свойством настоящего политического движения в России, даже не с точки полицейской предусмотрительности, но с полным желанием отдать справедливость выражаемой повсеместно любви к просвещению, нельзя, к сожалению, не заметить в двигателях на этом пути скрытых, опасных мыслей и целей, несогласных с основными законами империи, с возможностью сохранения спокойствия и с должным благоговением к самодержавной власти.

Двигатели эти понимают дух правительства; они видят искренность его намерений способствовать умственному развитию русского народа и соразмерному, в пределах возможности, расширению личных его прав; они слишком прозорливы, чтобы, не знать, какой осторожности требует подобное действие со стороны правительства, которому не прощают ни одной ошибки и на вековой ответственности которого лежит общий правильный ход государственной жизни. Зная все это, вместо того, чтобы служить просвещенными, благонамеренными органами высшей власти в великом деле развития умственных и материальных средств русского народа, означенные передовые, как они себя называют, люди не заботятся о поддержании необходимого для достижения сей благой цели доверия и уважения к престолу, но, напротив, стараются искажать превратными толкованиями все предначертания, проистекаю-

---

[1] Пометка Александра II вверху доклада: „С главными мерами, изложенными в шести пунктах, я совершенно согласен". Кроме собственноручных замечаний Александра II на этом докладе и приложенных к нему записках, о полицейских и чрезвычайных мерах в деле № 230, ч. 1, имеется еще несколько записей словесных замечаний его, на отдельных лоскутках бумаги, на русском и французском языке. Приводим те и другие в выносках.

щие свыше, и даже в случаях явного отступления их от прямого долга они каждый раз употребляют оказываемое им снисхождение во зло, дабы сделать разрушительный шаг вперед на пролагаемом ими пути государственного переворота в духе социально-демократического их направления.

Если справедливость такого взгляда могла еще прежде сего подлежать сомнению и возбудить упрек в односторонности или излишнем опасении, то невозможно не утвердиться в высказанном убеждении теперь, когда предоставленное правительством разрешение публичных чтений, несомненно доказавшее всю снисходительность его и попечение о народном просвещении, привело к тем же печальным результатам. Чтения производились по особым правилам. Со стороны главного учебного начальства были приняты некоторые, нисколько не стеснительные меры предосторожности только при предоставлении на оные права. Дозволения хотя были предъявлены полиции, но со стороны главного городского начальства оказывалось профессорам особое доверие. Им предоставлено было читать свои лекции в самом центре столицы, в здании Градской Думы, при открытых, так сказать, дверях, и без всякого от полиции надзора. Между тем, сия последняя могла и даже была обязана официально смотреть за соблюдением порядка во время этих чтений, к которым нельзя было применять правил, существующих для учебных учреждений, ибо они подошли под разряд обыкновенных публичных собраний. Следовательно, при этом случае правительство доказало вполне свою либеральность и доверчивость. Каким же образом поступили профессоры? Они избрали себе депутатами-помощниками студентов, между коими были известные им по участию в беспорядках в здешнем университете. Депутаты эти распоряжались хозяйственною частью и наружным порядком при публичных чтениях; кроме того, они произвольно составили из себя род комитета под руководством одного из профессоров. В самых чтениях профессоры довольно часто проводили мысли, в которых явно высказалось социальное направление их учения. Мысли эти направлены были преимущественно против исторического права, служащего основанием государственных учреждений; против святости государства и его представителей, с особенным же оживлением против абсолютизма или неограниченной власти, как источника всего зла и бедствия народов.

Подобные рассуждения при многочисленной публике более чем неуместны;—они опасны и не могут быть названы иначе, как революционною пропагандою демагогов [1].

Хотя наружный порядок на лекциях в продолжение двух месяцев и не был нарушаем, но тем не менее должно заметить, что студентское на оных распоряжение было неправильно, и что студенты в собраниях, совершенно чуждых университетскому

---

[1] Эти строки отчеркнуты Александром II, с пометкой: **„к несчастию совершенно справедливо!“**

характеру, не должны были представлять особой корпорации. Здесь нельзя также не припомнить, что и на Варшавских улицах, при торжественной погребальной церемонии, порядок был сохраняем учениками; но спрашивается: рациональна ли и безопасна ли подобная передача полицейской власти в руки школьной молодежи? Конечно, нет, особенно в эпоху политического раздражения. В отношении к лекциям вред подобной меры доказывается тем, что происходило на вечере 2 марта, данном обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым. На этом вечере предосудительные выражения в речи профессора Павлова „О тысячелетии России" произвели со стороны студентской партии неистовство и беспорядки; а в Думе она же вытеснила с кафедры профессора Костомарова и освистала его за то, что он хотел продолжать свои чтения, несмотря на отказ прочих профессоров, отказ, вынужденный депутатами—студентами после арестования Павлова и удаления его из столицы. При сих беспорядках, по вышеобъясненной причине, полиции не было[1]. Между тем в Думе они 8 марта могли бы иметь важные последствия, предупрежденные только прибытием вызванного туда в скорости, чрез членов Думы, градского головы, которому удалось удалить из залы столпившуюся в ней, с зажженными сигарами, шайку дерзких крикунов.

Произведенные при этих случаях шум и буйство усилили раздражение и смелость партии, противодействующей правительству. Павлов выставлен ею перед обществом как невинный мученик за правду; ссылку его в Ветлугу признали мерою несправедливою и произвольною; вместе с тем, как выше сказано, решено было прекращение всех публичных лекций. Профессоры обратились с прошением к управляющему министерством народного просвещения и ходатайствовали в резких выражениях о возвращении Павлова и освобождении его от всякого преследования, дабы тем удовлетворить нравственное чувство оскорбленного общества. При сем подписавшие прошение вероятно не захотели вспомнить, что в минувшем году литераторы предлагали свое ручательство и за невинность арестованного Михайлова, который, несмотря на изобличение его в преступлении государственном, повидимому, и ныне еще близок их сердцу, ибо доход с литературного вечера 2 марта, простиравшийся до 2400 руб., предназначался, по дошедшим сведениям, в пользу его, Михайлова. Сверх сего возник проект о поднесении насчет возвращения Павлова адреса[2] вашему величеству, для которого собирались многочисленные подписки, и в то же время стали распространять по домам столицы печатные безыменные воззвания возмутительного содержания. Между тем, ссылка Павлова последовала не без основания, а по высочайшему повелению и согласно с прибавлением к 62 статье Уложения о наказаниях.

---

[1] Эта фраза подчеркнута Александром II с замечанием: **„причина эта не оправдывает бездействие полиции"...**

[2] **„Не говорите об адресах—я их запретил их не было"..:**

Вредное учение, о коем упомянуто выше и которое не ограничивается одною здешнею столицею, произвело, к прискорбию, грустные плоды. Чрез зараженных оным студентов, поступающих в учители низших заведений, в домашние наставники и в разные другие должности, оно более и более распространяется по всей империи. Следующие обнаружившиеся уже случаи служат тому подтверждением:

В Перми открыто в начале сего года существование кружка из бывших семинаристов, исключенных из университетов казанского и харьковского студентов и из лиц разного звания, с целью распространять возмутительные идеи и воззвания. Затем обнаружилась близкая связь пермского кружка с такими же подобными в Казани, и хотя участие в сем последнем обвиненных в том некоторых казанских профессоров ясно не доказано, но тем не менее подтвердилось, что они служили проводниками, в своих аудиториях, начал западного либерализма. Оказались также следы сношений пермско-казанского кружка с разными лицами в Харькове, в столицах и с австрийскими славянами. Почти в то же время задержаны были в пермской губернии в Соликамском уезде и на заводах Нысвинском и Чермоском несколько уволенных на праздник рождества христова из пермской духовной семинарии воспитанников, которые распространяли там революционные мысли, склоняя к разрушению настоящего порядка вещей и подкрепляя свои слова статьею Герцена „Пора“ и воззванием Михайлова „К молодому поколению“. Следствие ведет к заключению, что они заразились в пермской семинарии, особенно от учителя Моригеровского, одного из главных руководителей пермского кружка, и что они получали запрещенные книги из библиотеки, заведенной в Перми чиновником особых поручений при военном губернаторе Иконниковым, бывшим семинаристом. — Вскоре после того подвергнуты были аресту и следствию в Нижегородской губернии бывшие ,студенты казанского университета Курбановский и Блудоров, замеченные в неуместных внушениях ученикам сергачского уездного училища, где они состояли учителями. Бумаги Курбановского обнаружили ненависть его к верховной власти и ложное сочувствие к „несчастным детям, будущим страдальцам рабства“. Показания сего 20-летнего юноши изливают яркий свет на пагубное направление духа наших высших учебных заведений. Он объявил, что к выражениям, им употребленным в одном письме к товарищу против высшей власти, побудили его хаотический наплыв революционных идей, льющихся с кафедр казанских профессоров, отрицание авторитетов в журналах и товарищество студентов; что университет указал ему только на одно зло, на один источник угнетения — императора, а студентское общество отуманило его голову убаюкивающим убеждением, что молодое поколение призвано и что за ним исключительно состоит право вести Россию по пути прогресса. Первым же препятствием оного, по логике студентов и профессоров, есть монархическое неограниченное правление, которое образовалось против склонности народа к демократиче-

ской республике и при котором держится вредное кастовое, сословное разделение, рождающее неравенство прав[1].

Между тем, как превратное учение с кафедры распространяет яд в молодых сердцах учащегося поколения, с другой стороны, столь же пагубно действует на оное и на всю массу читающей публики журналистика. Она сделалась в России, по примеру Западной Европы, сильным и опасным орудием в руках быстро размножающегося класса мелких, отчасти даровитых писателей-преобразователей, которые ищут себе славы и выгод чрез наполнение периодических изданий статьями в духе ложного патриотизма и прогресса, противном правительству, престолу и законному порядку. Ловко выраженные в этих статьях революционные мысли отчасти ускользают от внимания цензуры, отчасти же не подходят прямо под ее правила запрещения, а настоящий обильный наплыв оных, подобно непрерывающемуся потоку, одолел уже всеми плотинами, его сдерживавшими. Даже самые строгие цензора поставлены в затруднительное положение перед обществом, зараженным распространяемыми идеями либерализма и карающем стеснение печати своим негодованием и презрением.

Из редакторов издаваемых в здешней столице наиболее либеральных журналов (Современника, Русского слова, Русского мира, Века, Морского сборника, Экономиста, Искры и других) и сотрудников их, литераторов и педагогов, возникло незаметным образом русское литературное общество, которое, желая иметь ежедневные сходки, основало в минувшем году Шах-клуб. Некоторые члены сего клуба, как то: Чернышевский, Гиероглифов, Благосветлов, Некрасов, Утин, Спасович, Костомаров и другие, скрытною политическою деятельностью и обширными сношениями своими возбуждают подозрение в неблагонамеренности.—Главный предмет рассуждений их в клубе составляют необходимость введения в России конституционного правления и уничтожения цензуры. При литературном обществе образовалось общество студентское, совещающееся с более замечательными личностями Шах-клуба.—Студенты разделены в своих

[1] В черновике имеется еще следующее место: Кроме приведенных примеров умственного развращения и увлечения молодежи следует упомянуть здесь еще об одном необыкновенном в сем отношении явлении, то-есть о поручике Бейдемане, который по окончании курса в Константиновском военном училище скрылся за границу и, быв при возвращении из Швеции арестован в Финляндии, объявил добровольно и хладнокровно о замысле своем посягнуть на цареубийство, дабы произвесть переворот в России, возбудив общее восстание крестьян против землевладельцев.

Пред ужасным замыслом Бейдемана, составляющим верх человеческого исступления, бледнеют даже преступления распространителей в минувшем году возмутительных воззваний: „К молодому поколению“ и „Великорусс“, хотя эти преступления, быв не только задуманы, но и приведены в исполнение, произвели действительный вред и возбудили подражания, как видно по неоднократному с того времени появлению новых воззваний, из коих последнее (зачеркнуто:“ появилось даже в императорском дворце в ночь на светлое христово воскресение“); вставлено на поле: „К офицерам“ и „Земская Дума“ были распространяемы с необычайною смелостью и даже в императорских театрах.

мнениях, смотря по направлению избранных теми или другими руководителей, но все они стремятся поддерживать то возмутительное начало, которое развилось последнее время в С.-Петербургском университете.

В здешней Медицинской академии также существует между студентами общество прогрессистов и нигилистов, старающееся о распространении запрещенных сочинений посредством тайного перепечатывания. У них почти несомненно есть сношения с внутренними губерниями, и они, повидимому, предполагают отправить в Нижний Новгород типографский станок и ручной пресс для перепечатывания в большом числе возмутительных воззваний. Между профессорами, литераторами и студентами, с одной стороны, учителями и воспитанниками военных учебных заведений—с другой, существуют связи семейные, дружественные, ученые, а следовательно, и политические. Этим объясняется отчасти вредный дух, проявляющийся в военных академиях и некоторых училищах. Подобный дух весьма естественно переходит чрез выпускаемых офицеров в войска, чрез что ослабляется единственная опора государственного порядка в наступившую эпоху великих преобразований нашего отечества. Конечно, при сих преобразованиях имеются в виду благо и преуспеяние русского народа, но тем не менее, затрагивая права и выгоды многих, а именно класса землевладельцев, участвующих во всех отраслях управления и наполняющих ряды гвардии и армии, они возбуждают с их стороны противу правительства неудовольствие и ропот, встречающие отголосок в прочих сословиях по случаю общего недостатка в деньгах, упадка торговли и промышленности и сильного расстройства финансов. Таким образом оппозиционная партия растет и усиливается с каждым днем при совокупности стекающихся в оную различных народных элементов, а правительство отделяется, приближаясь более и более к разрушению, приготовляемому для него неутомимым старанием революционной пропаганды и наступательными действиями недовольных. Здесь нельзя не упомянуть и о том влиянии, которое производят на затруднительное положение империи политические обстоятельства в Царстве Польском и западных губерниях.

Столь прискорбный, но, смею думать, верный очерк политического состояния империи приводит к убеждению, что усиливающаяся раздражительность умов и увеличивающаяся от безнаказанности дерзость злоумышленников угрожают опасностью общественному спокойствию и престолу[1]. Действительные

---

[1] „Один умный русский сказал мне в январе ваше величество нужны, потому что вы не маршируете в ногу с другими, вы в конце концов заставите любить правительство Но я слабый тормаз (более чем тормаз быть не могу) если я **один** буду стараться приковывать любовию людей не зараженных к ногам царя—давно никто об этом не думал да и теперь меня не понимают когда я говорю, что отделяю и отделю людей справедливо недовольных от злоумышленников отделивши их совершено я и без советов, без содействия одною своею законною силою **задавлю** революцию но я все таки **тормаз** если в других местностях иначе поступать будут, т. е. поступать как **всегда, да и ныне**".

меры для охранения государства от внутренних врагов необходимы.—Правительство пыталось уже, как объяснено выше, действовать на нравственную сторону народных двигателей, с тем, чтобы, уверив их в благонамеренности своих стремлений и в невозможности дать, вдруг, еще больший у нас простор либеральным идеям века, расположить их к системе постепенного развития, принятой законною властью. Применение сего способа, посредством снисходительности к виновным и неуклонного, несмотря ни на какие революционные козни, усовершенствования государственных учреждений, не произвело желанного впечатления на противников законного порядка, которые лишь усилили после подобных примеров смелость возмутительного своего направления. В случаях более важных правительство прибегало и к строгости, но она возбуждала повсюду нарекания на несправедливость и произвол; и так как в настоящее время крутое введение строгих мер, вдруг, после того как было допущено продолжительное развитие раздражительности умов, могло бы вызвать внезапный взрыв, то, к сожалению, применение означенных мер не имело надлежащей последовательности и не принесло желаемой пользы [1].

Принимая все вышеизложенное во внимание, нельзя не притти к заключению, что для предупреждения возрастающего с каждым днем политического зла общий объем дальнейших действий правительства должен быть подчинен твердой программе.

Главными основаниями государственной программы надлежало бы постановить [2].

I. Необходимость употребить все возможные средства, административные и финансовые, к скорейшему решению крестьянского вопроса, с которым тесно связаны важнейшие интересы общества и который поэтому служит возбуждением самых опасных возмутительных замыслов. Устранив жалобы дворянства и удовлетворив крестьян в меру справедливости, правительство получит сильный вес в обоих сословиях[3]. Вместе с сим, по тесному союзу между крестьянами и принадлежащими к их среде солдатами, равно между поместным дворянством и офицерами,

---

1 В черновике: Правительство прибегало в случаях более важных и к мерам строгости, но исполнение оных делаемо было со стороны соответственных властей с какою-то неоткровенностью, имевшею вид боязни, и затем возникли повсюду нарекания правительства в несправедливости и произволе. Итак, меры строгости могли бы оказаться полезными только при согласии мнений насчет неуклонного их применения, которого согласия однакож в среде правительственных лиц не существует. Сверх того в настоящее время крутое введение оных вдруг, после продолжительного допущения развития раздражительности умов и неоднократных послаблений, могло бы вызвать внезапный взрыв и повлечь к наказаниям в больших размерах, производящих всегда невыгодное впечатление на общество и на отголоски в остальной Европе.

2 Следующие дальше шесть пунктов отчеркнуты Александром II с пометкой в конце: **„совершенно согласно с тем, что я желаю"**.

3 В черновике несколько иначе: Установив жалобы дворянства и удовлетворив крестьян в меру справедливости, оба эти сословия, имеющие ныне сходною точкою неудовольствие их на распоряжения правительства, окончательно разойдутся между собою.

должно от устройства земских дел ожидать улучшение и духа армии, на котором основана безопасность империи.

2. Удовлетворительное устройство гражданской и духовной учебных частей, не стесняя развития просвещения, но отняв у высших учебных учреждений политическое значение, присвоиваемое себе студентскими корпорациями.

3. Исполнение того же в соответственной степени по военно-учебным заведениям, бдительно следя за духом воспитанников и за направлением преподавателей.[1]

4. Ограничение свободы журналистики законом карательным и ответственностью редакторов.

5. Устранение по возможности всякого повода к упрекам правительству в несправедливости и произволе и твердое действие по смыслу законов, но без излишнего снисхождения к виновным в нарушении оных.

6. Строгое наблюдение за благоразумною дисциплиною в войсках.

Кроме сих главных начал, которые, хотя и имеются в виду, но требуют более настойчивого труда, выбора хороших деятелей и единодушного сочувствия всех правительственных властей,—некоторые другие меры представляются весьма полезными и частью даже крайне нужными для сохранения общественного спокойствия.

Меры сии изложены в двух отдельных записках, при сем представляемых, и так как для осуществления предположений, до коих они относятся, нет надобности в особенно продолжительном времени, возрастающее же зло может неожиданно принять обширные размеры, то рассмотрение означенных предположений казалось бы необходимым без отлагательства.

27 апреля 1862 года.

О полицейских мерах[2]

Одно из важнейших и опаснейших явлений последнего времени в нашем отечестве есть почти всеобщее неудовольствие и недоверие к правительству. Неудовольствие это, доходящее до раздражения и к несчастию возрастающее во всех почти сословиях, возбуждается еще сильнее злонамеренными людьми, которые всячески стараются восстановить против правительства народ, распространяя пагубные для общественного спокойствия мысли, и привлечь на свою сторону войска. Сначала движение умов можно было отнести к желанию необходимых преобразований, и предосудительными казались только средства, которые предпринимались для достижения цели; но теперь в этом движении нельзя уже не видеть

---

[1] Военно-учебные заведения и заражены и зараз **пора** это высказать да и понять.

[2] Вверху Александр II написал: „**По должном совещании, с мин. внутр. д. и кн. Суворовым, приступить немедленно к составлению предполагаемой комиссии**“ (см. пункт 4).

посягательства на изменение существующего образа правления и стремление к государственному перевороту.

При столь грустном положении дел в России опасность, угрожающая ее спокойствию, могла бы, конечно, быть предупреждена такими правительственными действиями, которые послужили бы к ослаблению общего неудовольствия, то-есть скорейшими по возможности усовершенствованиями в управлениях, преобразованием судопроизводства, соответственным назначением лиц в высшие должности, справедливостью начальства, удалением произвола, часто возбуждающего справедливый ропот, и проч. Распоряжения правительства, которыми бы народ осязательно убеждался, что оно деятельно стремится к улучшению быта всех вообще сословий, — неминуемо остановили бы настоящее брожение и успокоили бы людей благомыслящих; но окончательный вывод многих из этих распоряжений требует времени. Между тем, злонамеренные и увлеченные ложными идеями люди не захотят сознать пользы, ожидаемой от мероприятий правительства, и, оставаясь верными принятым ими преступным началам, не перестанут действовать оному во вред. Для предотвращения опасных последствий, могущих от того произойти, необходимо самое внимательное везде наблюдение и безотлагательные действия против обнаруженной злонамеренности. Наблюдение, по возможности бдительное, имеется и ныне со стороны как III отделения, так и гражданского начальства, но это наблюдение оказывается при настоящих обстоятельствах недостаточным.

Что касается гражданского начальства, то, имея в своих руках распорядительную власть, оно не обладает нужными средствами для наблюдения, а может быть и не считает оного по делам политическим прямою своею обязанностию, полагая, что это принадлежит одной наблюдательной полиции, какою разумеют III отделение и корпус жандармов. Неудобства сего разъединения полиции наблюдательной от исполнительной убеждают в необходимости без промедления принять следующие меры[1]:

1. Преобразовать исполнительные полиции обеих столиц соответственно потребностям настоящего времени.

2. При канцеляриях с.-петербургского и московского обер-полициймейстеров учредить секретные отделения, на содержание которых с секретными агентами отпускать в распоряжение г. г. обер-полициймейстеров необходимую сумму.

---

[1] Я еще прочел только предисловие — не читал еще о мерах. — Статья начинающаяся словами **При столь грустном** и т. д. прекрасно начата но мое заключение немножко разнится от вашего. Прогоните людей глупых, слабых, неопытных, уничтожьте наконец **соображения**... (не разборчиво) **довольно теории** возьмемся **за практику** — назначьте практичных людей, но людей преданных, убежденных,—и можете ей богу все исправить с нашими земствами и с указаниями или лучше с Волею Царя.—

Не ожидая новых мер—дайте только новых людей, но единственно таких которые преданы принципу чистейшего **самодержавия**, а не личному раздробляющему автократизм **самоволию**! Dixi.

3. В губернских городах, усилив полицию исполнительную, предоставить в распоряжение начальников губерний там, где ощущается уже в том надобность, как, например, в западном крае, в университетских городах, исключая Дерпт, и в городах приволжских, начиная от Нижнего Новгорода, суммы, нужные на содержание секретных агентов.

4. Определение подробностей по предположениям, заключающимся в предыдущих пунктах, возложить на комиссию из лиц, известных своею опытностью, по соглашению шефа жандармов с министром внутренних дел и с.-петербургским военным генерал-губернатором.

Затем общее по всей России наблюдение должно оставаться попрежнему на обязанности III отделения, которое, кроме сведений, доставляемых ему жандармскими штаб-офицерами, должно получать таковые прямо от начальников губерний и иметь своих секретных агентов во всех тех местностях, где это окажется нужным.

Только подобного рода тайное наблюдение, установленное повсеместно и соединенное с предоставленною полиции властию законно преследовать зло, может служить надежным противодействием злонамеренности; — но сколько учреждение такого наблюдения требует осторожности, негласности и разборчивости при назначении агентов, столько же необходимы осторожность, предусмотрительность и добросовестность при поверке донесений сих последних, а еще более при распоряжениях и действиях полиции, которые будут следовать за таковыми донесениями.

Наконец, хотя и желательно, чтобы как в столицах, так и в других городах России наружные беспорядки не возобновлялись; но при раздражительном направлении умов, особенно в молодежи, ручаться за это невозможно и потому полагалось бы весьма полезным заблаговременно составить правила для полицейских судов[1] и действия полиции при означенных беспорядках, по примеру тех, которые были утверждены для западных губерний, но с изменениями, указанными опытом. Труд сей мог бы поручен быть той же комиссии, о которой упомянуто выше.

О чрезвычайных мерах[2]

Либеральные стремления молодого поколения обнаруживаются с некоторых пор необыкновенным брожением умов, усилившимся в особенности со времени бывших осенью минувшего года студентских беспорядков, которые встретили

---

[1] Замечание Александра II: **„Полицейские суды преждевременны, не будем компрометировать себя перед Европой, будем мыть еще наше грязное белье в семье".**

[2] Вверху Александр II написал: **„Необходимо условиться по этому с мин[истром] вн[утренних] д[ел] и к[нязем] Суворовым. Но я решительно против предв[арительного призыва подозреваемых лиц к к[нязю] Суворову, и непонимаю как подобная мысль могла быть предложена, ибо это есть лучший способ все скрыть и не добиться ничего".**

большое сочувствие во всех почти учебных заведениях, военных и гражданских, преимущественно же в С.-Петербургской Медико-хирургической академии. Молодые люди образованных сословий, офицеры военных академий, литераторы, некоторые профессоры явили себя защитниками студентов и готовили протесты против мер, которые правительство сочло нужным принять в отношении сопротивляющихся законоположениям и власти. Проникающие притом в Россию из-за границы разные возмутительные сочинения, отчасти перепечатываемые здесь тайно; распространение воззваний „Великорусс“ и „К молодому поколению“, арестование и наказание литератора **Михайлова**, на которого многие смотрели как бы на невинную политическую жертву, и революционное направление некоторых журналов, не говоря уже о скрытных подстрекателях, — беспрерывно возбуждали воспламененное воображение молодежи. Выходка на публичном чтении профессора **Павлова**, удаление его из столицы и беспорядки затем на лекции профессора Костомарова дали сильное развитие обнаруживавшемуся против правительства неудовольствию и вызвали новые манифестации со стороны возмутителей, именно: протесты против высылки Павлова из С.-Петербурга и адресы как об его возвращении, так равно о прощении Михайлова.

Подача сих протестов и адресов была приостановлена; но в составлении их нельзя не подозревать некоторые лица, прежде уже обращавшие на себя внимание своими действиями против государственного порядка, и существование в столице тайных кружков, стремящихся произвести политический переворот, почти несомненно. Предположение это подкрепляется еще более: a) секретными наблюдениями за лицами, обнаруживающими неприязненные чувства к правительству; b) замеченными в разных местах подозрительными собраниями; c) учреждением в конце минувшего года особенного клуба, в котором, под предлогом игры в шахматы, члены оного, почти исключительно литераторы, собираются для обсуждения современных вопросов, и, наконец, d) появлением в последнее время новых воззваний возмутительного содержания: „К офицерам“, „Земская Дума“ и „Русское правительство под покровительством Шедо-Феротти“.

Таковое расположение умов, при враждебных чувствах к власти и существующим учреждениям, угрожает в будущем пагубными последствиями. Для противодействия вредным замыслам необходимо, как выражено в особой записке, усилить явное и тайное наблюдение за подозрительными лицами в тех местах, где революционный дух более укоренился. Но это сопряжено с продолжительностью времени, тогда как настоящее положение дел требовало бы действия безотлагательного. При таком убеждении и при неудаче стараний, употребленных к отысканию тайных типографий, казалось бы полезным, не ожидая предполагаемого усиления полицейских средств, произвести одновременный строжайший обыск в квартирах сомнительных лиц; но успех подобной меры может быть действителен только при

сочувствии и искусстве тех, которым она поручена. Кроме того, прежде, нежели на то решиться, надобно будет, по соглашению с министром внутренних дел и с.-петербургским военным генерал-губернатором, определить, в каких местах содержать лиц, которые, может быть, придется арестовать в значительном числе, и каким образом должно будет вести дело после их задержания.

Подробное обсуждение сих вопросов чрезвычайно важно, ибо малейшая неловкость или неудача в правительственных распоряжениях столь обширного размера может преждевременно произвести взрыв, коего последствий нельзя вперед исчислить. Последствия эти будут особенно чувствительны, если главные власти поколеблются в своих намерениях, перейдут от строгости к снисходительным уступкам[1], а не поддержат самым сильным образом начатого образа действий.

Взвесив все вышеизложенное и основываясь на опыте, может быть, окажется менее опасным и более удобным прежде всего воспользоваться общественным расположением к князю Суворову, дабы предоставить ему, призвав к себе порознь вышеупомянутых сомнительных лиц и проникнув в их предположения, предварить их, что они подозреваются, что за ними строго следят и что всякий предосудительный проступок подвергнет их сильному наказанию[2].

После подобного предварения никакой обыск не должен уже возбудить укора. Притом, так как, по всему вероятию, у весьма немногих найдутся явные улики виновности, то их следовало бы, если обыск состоится, заранее разделить на категории и, с тем вместе, определить меры взыскания, а именно:

1) на лица, у которых окажутся собственноручные возмутительные сочинения или адресованные к ним письма, доказывающие, что они принимали или принимают участие в преступных происках;

2) на лица, у которых, хотя и найдены будут возмутительные сочинения, но которых невозможно уличить в участии сосоставления оных,

и 3) на лица, у которых ничего подозрительного не откроется.

Первых надлежало бы беспрекословно подвергнуть формальному следствию и предать суду; вторых удалить административным порядком из столицы на жительство в разные губернии под надзор полиции, а третьих оставить в С.-Петербурге с учреждением за ними явного полицейского наблюдения, дабы им дать возможность оправдаться в падающем на них подозрении.

Одновременно с исполнением вышеуказанного предположения насчет внезапного обыска следовало бы учредить комиссию как для определения приведенных категорий, так и для разбора бумаг, которые могут быть забраны у лиц, подвергаемых обыску.

---

[1] Уступок никогда но и прошу предостеречь от неосторожности.

[2] Против этого места Александр II написал: **„По моему мнению, подобное предварение не поведет ни к чему, а и напротив того даст возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить“.**

Комиссию эту казалось бы полезным составить под председательством доверенного высшего чиновника из членов от министерства внутренних дел, юстиции, военного, от с-петербургского военного генерал-губернатора и от корпуса жандармов[1].

27 апреля 1862 г.

Список лицам, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск[2]

1. Литератор Чернышевский.	Подозревается в составлении воззвания „Великорусс", в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству.
2. Подполковник Шелгунов.	Подозревается в том же и, кроме того, был в тесной дружбе с преступником Михайловым.
3. Полковник Обручев.	Подозревается в участии составления воззвания „Великорусс" и находится в беспрестанных сношениях с Чернышевским.
4. Два брата Серно-Соловьевичи.	То же.
5. Профессор Пыпин.	То же.
6. Захарьин, служащий в пароходном обществе „Кавказ и Меркурий".	Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским.
7. Огрызко, типографщик.	Находится в подозрительных сношениях с Чернышевским; кроме того, последние воззвания отпечатаны шрифтом, находящимся в его типографии.
8. Рычков, артиллерийский офицер.	Родственник Чернышевского, подозреваемый в сообщничестве с ним.
9. Боков, доктор, находящийся под судом по делу поручика Обручева и распространения „Великорусс".	Подозревается в преступных сношениях с Чернышевским, к которому имеет во всякое время доступ.
10. Елисеев, литератор.	То же

---

1 Вскоре и была учреждена Следственная комиссия под председательством кн. Голицына.

2 При списке записка Долгорукова: Время, в которое обыск может быть произведен с некоторою надеждою на успех и без особенно вредных последствий, должно быть определено не иначе как по самом зрелом обсуждении.

Александр II написал: Разумеется, вот почему необходимо условиться как с министром внутр. дел, так в особенности с кн. Суворовым, под наблюдением которого г. л. Анненков уже следит за разными подозрительными лицами.

11. Студенский, бывший студент университета.	Родственник Чернышевского, который употребляет его постоянно для письма.
12. Благосветлов, литератор.	Обнаруживает постоянно враждебные чувства к престолу и правительству и первенствует в Шах-клубе, где ведет разные разговоры.
13. Антонович, литератор.	Приятель и сотрудник Чернышевского, которому приписывается составление некоторых воззваний.
14. Лавров, полковник.	Бывал на студентских сходках, изъявлял сочувствие студентам, обратил на себя внимание нерасположением к правительству.
15. Милюков, учитель.	Находится в переписке с издателем в Берлине предосудительного русского журнала „Свободное слово“ и обнаружил опасный образ мыслей.
16. Семевский, литератор, бывший офицер л.-гв. Павловского полка.	Постоянно обнаруживает весьма предосудительный образ мыслей и имел в своей квартире подозрительные собрания.
17. Гиероглифов, литератор.	Раздавал до 70 экземпляров воззвания „Великорусс“ и вообще обращает на себя внимание нерасположением к престолу и правительству.
18. Рошковский, артиллерийский офицер.	У него замечены ночные сходки экстернов Константиновского военного училища, и о нем упоминается в одном частном письме, что он имеет предательские намерения.
19. Керсновский, артиллерийский офицер.	У него бывают сходки офицеров и экстернов Константиновского военного училища и у него в квартире находится, как полагать должно, библиотека запрещенных книг.
20. Вериго, артиллерийский офицер. 21. Скопин, студент медицины.	Оба бывали на всех студентских сходках, и в квартире первого происходит что-то особенно подозрительное.
22. Утин Николай 23. Печаткин 24. Гогоберидзе — бывшие студенты здешнего университета.	Принимали участие в студентских беспорядках, сделали демонстрацию на лекции профессора Костомарова, находятся в предосудительных сношениях с Чернышевским и сильно подозреваются в напечатании воззвания в пользу Павлова и в распространении других воззваний.

25. Бобровский, офицер Николаевской инженерной академии.	Обнаруживал предосудительный образ мыслей и подозревается в преступных замыслах по тому поводу, что брат его—скрывшийся из Киева студент — перепечатывал воззвание „Великорусс“ и другие опасные сочинения.
26. Гюбнер 27. Мультановский 28. Ложеницын 29 Березин 30. Рымаренко — медицинские студенты	Положительно известно, что они заказали здесь ручной типографский станок, который намерены отправить в Нижегородскую губернию для печатания воззваний к народу, имеющих быть выпущенными к тысячелетию России.
31. Дом Колпакова на Выборгской стороне.	В этом подозрительном доме живут студенты Медико-хирургической академии, из коих некоторые обратили на себя внимание предосудительным поведением. Есть подозрение, что там скрывается библиотека запрещенных книг и многие возмутительные сочинения.
32. Евреинов, студент московского университета.	Подозревается в распространении воззваний.
33. Аверкиев, артиллерийский офицер.	Замечен в возбуждении ненависти к правительству в разных публичных местах.
34. Дозе, учитель Ларинской гимназии.	Раздавал воззвание к офицерам.
35. Моригеровский, учитель.	Главный виновник беспорядков, бывших в Технологическом институте.
36—37. Полетика, два брата, горные инженеры.	Подозреваются в преступных действиях против правительства.
38. Костенко 39. Самарин 40. Подосский 41. Левенталь 42. Киселев 43. Дрызло 44. Босе 45. Кун 46. Виноградский	Сильно подозреваются в печатании и распространении воззваний.
47. Тиблен, заведывает типографией, принадлежащей его брату.	На него падает подозрение в распространении и даже печатании воззваний.

48. Девицы Блюммер и 49. Александровская	У них собираются студенты, и они занимаются распространением воззваний.
50. Волков, бывший студент здешнего университета.	Живет в Петербурге праздно и подозревается в неблагонамеренных действиях.

27 апреля.

Карандашные заметки на лоскутках бумаги:

Чернышевский (нужен еще)

Шелгунов смелее его, его нельзя приобресть, но он дружбу с Михайловым не скрывает:

Пыпин (сумневаюсь)

Боков—лечит Чернышевского семейство.

СВЕДЕНИЯ III ОТДЕЛЕНИЯ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ И О ДРУГИХ ЛИЦАХ

№ 1. Чернышевский

а) Сведения официальные.

При арестовании в ноябре 1861г. бывшего поручика В. Обручева, сознавшегося впоследствии в распространении воззвания „Великорусс“, в бумагах его оказалось письмо к нему Чернышевского о каких-то денежных расчетах Обручева с Серно-Соловьевичем, а также неотправленное письмо Обручева к Чернышевскому, в котором Обручев писал: „Вы чрезвычайно бы меня обязали, давши мне возможность обстоятельно переговорить с вами о том, что мне делать и чем заниматься, чтобы подняться выше типа либерального господина. Собственно говоря, с тех пор, как мы с вами знакомы, я еще ни разу не говорил с вами о том, к какой цели мне итти“.

Спрошенный по этому письму Обручев объяснил, что Чернышевский был руководителем первых шагов его на литературном поприще и что этим письмом он хотел просить у него совета, каким именно литературным сочинением ему заняться, кроме перевода истории Шлоссера.

б) Сведения частные.

Юридических фактов к обвинению Чернышевского в составлении возмутительных воззваний и в возбуждении враждебных чувств к правительству в III отделении не имеется. Но он подозревается в том, на основании тех данных, которые поступили о нем в III отделение совершенно частным путем. Так, оказывается, что, будучи автором журнальных статей политического и экономического содержания, он приобрел известность литератора-публициста и пользовался авторитетом преимущественно между молодым поколением, которое он старался возвысить в глазах общества и в которых видел лучших деятелей настоящего времени. Таким образом, приобретая все более и более по-

читателей, он незаметно составил отдельный круг знакомых из людей молодых и притом таких, которые были на невыгодном счету у правительства, и, наконец, таких, которые впоследствии оказались государственными преступниками. Вот имена особенно близких ему лиц: 1) Михайлов, распространитель воззвания „К молодому поколению“; 2) Обручев, распространитель „Великорусса“; 3) покойный Добролюбов, смерть которого приписывали политическим убеждениям, им разделяемым; 4) Шелгунов, Боков и полковник Обручев, родственник преступника Обручева; 5) профессор Пыпин, два брата Серно-Соловьевичи, Антонович, Захарьин, Огрызко, Рычков, Елисеев, заподозренные в преступлении и составлении воззваний; 6) студенты Студенский, Утин, Печаткин, Гогоберидзе, Кюн и др., в том же заподозренные.

Кроме того, Чернышевского часто посещали студенты, замеченные в университетских беспорядках, и экстерны Константиновского корпуса. К нему приходили рабочие из разных типографий и какие-то подозрительные лица, с которыми он имел подозрительные свидания. Самые собрания знакомых у Чернышевского (всегда не в большом числе) отличались всегда таинственностью какою-то и бывали большею частью в ночное время. Доступ же к нему людей посторонних чрезвычайно затруднителен. Он имел обширную корреспонденцию не только в России, но и за границею; письма от него отправлялись обыкновенно при содействии жившего с ним Студенского, который лично отвозил их на почту (вероятно, из предосторожности).

Сочинение воззвания, найденного в с.-петербургском университете 6 октября прошедшего года и имевшего целью возбудить студентов к беспорядкам, приписывали Чернышевскому.

В Шах-клубе, члены которого отличались либеральным направлением и где Чернышевский играл важную роль оратора, он говорил, что 26 августа настоящего года будет манифест и конституция в России.

Видели также надпись его на адресе, несостоявшемся, о помиловании Михайлова.

На одном публичном литературном вечере Чернышевский читал статью о Добролюбове и, как говорили, с целью, чтобы возбудить к нему и его другу, преступнику Михайлову, участие общества.

Чернышевский, получив пакет с воззванием „Великорусс“, спрашивал девицу Блюммер, не она ли прислала этот пакет, запечатанный печатью, похожею на ее перстень.

22 марта настоящего года студент Студенский, провожая Утина из квартиры Чернышевского, сказал ему: „У нас все идет отлично, мы уже более половины для солдат сделали“.

Жена Чернышевского привезла откуда-то домой несколько бумаг, в коих оказалось воззвание к народу, читанное их кучером.

2.

Государственный преступник Михайлов, сознавшийся в распространении воззвания к „Молодому поколению,“ жил до арестования в квартире подполковника **Шелгунова**. При арестова-

нии Михайлова взяты были и некоторые бумаги Шелгунова, в числе коих оказался № 101 „Колокола". Шелгунов не был привлечен к производившемуся тогда делу о Михайлове; взятые же у него бумаги, не заключавшие ничего подозрительного, хранятся до настоящего времени в III отделении.

По частным сведениям, он подозревается в составлении воззваний, как друг Михайлова. Ему же приписывают заказ и распространение портрета Михайлова, изображенного в арестантской одежде и в кандалах. Шелгунов находился в близких и постоянных сношениях с литератором Чернышевским. Недавно Шелгунов вышел в отставку и поехал в Сибирь, чтобы иметь возможность видеться с Михайловым. Предположение это у него было давно, но служба мешала исполнить это, и потому он решился наконец пожертвовать ею для своего друга.

3.

Полковник **Обручев**, состоя наставником-наблюдателем в военных школах, внушал нижним чинам, как по частным сведениям известно, идеи о равенстве. Он также часто бывал у Чернышевского.

4.

В 1860 г. надворный советник Николай Александрович **Серно-Соловьевич** письменно заявлял о замеченных им на улицах С.-Петербурга злоупотреблениях, допускаемых нижними полицейскими чинами. За это извещение объявлена была ему благодарность здешнего обер-полициймейстера.

В 1861 г. находившийся в Калуге в отпуску г. Серно-Соловьевич, состоявший тогда на службе в министерстве народного просвещения, во время обеда, данного в Калуге 12 января того же года в память основания московского университета, провозгласил два тоста: один за освобождение крестьян и другой— за здоровье помилованных декабристов: Оболенского и Батенкова, бывших на том обеде.

Г. Серно-Соловьевич имел денежные расчеты по какому-то изданию с государственным преступником Обручевым, до арестования его. Посредником в этом деле между ними был Чернышевский. По частным секретным сведениям известно, что Серно-Соловьевич находился в письменных сношениях с изгнанником Долгоруковым.

Николай Серно-Соловьевич и другой брат его, Александр, часто посещали Чернышевского и находились в близких сношениях с студентом Утиным, партию которого они поддерживали. Пресс, заказанный будто бы студентом Гюбнером, был, как говорили, препровожден в читальню Серно-Соловьевича.

5.

По частным сведениям известно, что профессор **Пыпин**, женатый на сестре г. Чернышевской, находился с мужем сей последней не только в близких и давнишних, но родственных сношениях. Подобно ему последнему, у него бывали также собра-

ния заподозренных лиц. Его считают корреспондентом Герцена. Составители адреса и воззвания о профессоре Павлове совещались по этому предмету с Пыпиным. По отъезде профессора Пыпина у Чернышевского оставался брат его.

6.

Служащий в обществе „Кавказ и Меркурий“ некто Захарин был доверенным лицом Чернышевского.

7.

Содержатель типографии и редактор журнала на польском языке „Слово“ **Огрызко** за напечатание в 1857 г. в № 15 этого журнала двух писем эмигранта Лелевеля и статьи о нем заключен был в Петропавловскую крепость, с воспрещением ему издавать тот журнал; Огрызко также один из близких знакомых Чернышевского. Было сведение, что наборщики его типографии разносили воззвания. Кроме того, некоторые воззвания были напечатаны, как кажется, шрифтом, имеющимся в типографии Огрызко.

8.

Артиллерийский офицер **Рычков** один из родственников Чернышевского, часто у него бывавший и знакомый с лицами его посещавшими. По отъезде жившего у Чернышевского студента Студенского, Рычков поселился к Чернышевскому, и хотя подозревался в противуправительственном направлении, но держался очень осторожно.

9.

В бумагах арестованного бывшего поручика Обручева оказалось письмо зятя его лекаря **Бокова**, в конверте с такою же печатью (буквы I. A.), какою запечатаны были некоторые из конвертов, разосланных с воззванием „Великорусс“. Спрошенный об этой печати Боков дал отзыв, что печать эта не его и что он не помнит, где и чьею печатью запечатал означенное письмо, так как оно могло быть писано в доме одного из больных им пользуемых. Рассмотренные бумаги Бокова не заключали в себе ничего подозрительного и были возвращены ему. Тем не менее, он по высочайшему повелению предан суду правительствующего сената. Последствия сего III отделению неизвестны. Лекарь Боков пользовал семейство Чернышевского и последнее время в особенности часто посещал его, хотя повидимому в нем, как докторе, особой надобности не было.

10.

Елисеев в марте месяце сего года принял редакцию журнала „Век“, прежде же статьи свои помещал в „Современнике“. Он часто посещал Чернышевского.

11.

Бывший вольнослушатель с.-петербургского университета Алексей Студенский за участие в университетских беспорядках содержался в крепости, а по освобождении отдан на поручи-

тельство. Он родственник Чернышевского, проживая у которого занимался переписыванием бумаг его. 22 марта Студенский, провожая Утина из квартиры Чернышевского, сказал ему: „У нас все идет хорошо, мы уже более половины для солдат сделали". Живя у Чернышевских, Студенский давал их кучеру читать возмутительную брошюру „Что нужно народу".

12.

В 1855 г. учитель Пажеского корпуса кандидат университета Григорий **Благосветлов** оказался неспособным передавать воспитанникам учение в выражениях приличных, а потому и уволен был от службы. В 1856 г., состоя учителем Мариинского института, он в одном частном письме позволил себе выражения, исполненные злобы и негодования против правительства. По доведении о сем до сведения государя императора, высочайше повелено было: уволить Благосветлова от занимаемой им должности и впредь на службу по учебной части не определять.

В 1858 г. у одного из воспитанников Константиновского корпуса отобрана была записная книжка, в которой упоминалось, что Благосветлову, находившемуся тогда в Париже, было отправлено какое-то либеральное письмо для передачи Искандеру. Благосветлов заведывал типографиею журнала „Русское слово"; в Шах-клубе он был одним из сильных порицателей настоящего порядка, на адресе о помиловании Михайлова видели подпись Благосветлова. Как близкого знакомого Утину, его считают покровителем так называемой утинской партии. Из разговоров его в некоторых обществах, а равно из отзывов о нем некоторых лиц можно заключить, что он не чужд издания воззваний: „Великорусса" и „Земской думы". Есть сведение, что Благосветлов находится в сношениях с изгнанниками—Герценом и Долгоруковым.

13.

Литератор **Антонович** был всегда дружен с Чернышевским и часто посещал его. Некоторые приписывают ему составление воззвания „Земской думы".

14.

Полковник **Лавров** особенно сочувствовал самовольным действиям студентов и даже печатал статьи в защиту студентов. Он был одним из либеральных и деятельных членов Шах-клуба; видели его подпись на адресе о Михайлове; равным образом он подписал составленный в Шах-клубе, в апреле месяце сего года, адрес государю императору о необходимости даровать России конституцию; на этом адресе кроме Лаврова было 15 подписей. Он был также распорядителем некоторых публичных чтений и сам участвовал в них чтением статей в либеральном духе.

15.

Литератор **Семевский** обращает на себя внимание предосудительным образом мыслей и был в близких отношениях с Чернышевским.

16.

Вследствие полученных в 1859 г. сведений, что отставной титулярный советник **Гиероглифов** (из духовного звания) имеет запрещенные сочинения на русском языке и дает их читать другим, он был арестован и вместе с бумагами и книгами, найденными у него, доставлен в III отделение. Гиероглифов показал, что, находясь за границею, он читал запрещенные сочинения, но не распространял их. Так как в бумагах его не оказалось ничего подозрительного, то он был освобожден, со взятием от него расписки, что впредь не будет иметь запрещенных сочинений. В настоящем году, в бытность Гиероглифова издателем журнала „Гудок", когда запрещена была подозрительная виньетка на этом журнале, получено было сведение, будто бы Гиероглифов отпечатал несколько экземпляров этой виньетки и продавал их тайно. По частным сведениям известно также, что Гиероглифов покровительствует утинской партии и что он роздал до 70 экземпляров воззвания „Великорусс". Впрочем в литературном кругу он не пользуется хорошей репутациею, да и сам, оказывается, человек такого рода, что готов быть и консерватором, и либералом, лишь бы нажить деньги. Это вся задача его жизни, и он разрешает ее всеми способами.

17.

Относительно степени виновности студента Николая **Утина** по делу о беспорядках, бывших в здешнем университете, обнаружены следующие обстоятельства:

Утин, по собственному его сознанию, на сходке студентов 23 сентября 1861 г. прочел с кафедры прошение редакторов студентского сборника (Утин был одним из редакторов) в совет университета, резюмировал выраженные на сходках и ходившие в студентском обществе мнения относительно новых дисциплинарных правил, протестовал против мнения принять матрикулы и не повиноваться им и наконец говорил о единодушии, которое должно быть у студентов для успешного хода их учреждений—студентской кассы и сборника. Некоторые же из других арестованных показали, что Утин предлагал студентам о единодушном поддержании порядка и о законном выражении желания студентов в случае надобности; что речь Утина направлена была против дисциплинарных правил и в ней предлагались меры к их изменению; что Утин объявлял о решении сходки не принимать новых правил и поднести адрес государю императору. Утин исключен из университета и отдан на поручительство родителей.

Кроме сего, по сведениям, имеющимся в III отделении, известно следующее: 1) Накануне демонстрациии 8 марта была у

Утина сходка, на которой совещались о том, какую бы сделать демонстрацию по поводу высылки Павлова. Беспорядки, бывшие на лекции Костомарова, по общему убеждению студентов, произошли из утинской партии. 2) Утин, по собственному его отзыву, был в протестовавшей против прекращения публичных лекций партии главным лицом в числе содействовавших прекращению лекций; он был также главным депутатом на лекции Костомарова. 3) Воззвание на счет Павлова составлено, без сомнения, партиею Утина, что подтверждали девицы Блюммер и Александровская, а также студент Самарин. 4) Ходившее в Шахклубе по рукам воззвание „Земская Дума", как рассказывал там полковник Лавров, составлено этою же партиею. 5) Утин находился в близких и постоянных сношениях с Чернышевским; партию его, кроме того, поддерживали: Благосветлов, Иероглифов и Серно-Соловьевич. 6) В начале мая месяца Утин выехал в Москву и, как можно предполагать, с преступною целию.

18.

Печаткин Евгений задержан был в сборище пред университетом в сентябре месяце 1861 г., впрочем участия его в университетских беспорядках не обнаружено, а потому по освобождении из крепости он отдан на поручительство. По частным сведениям известно, что он, вместе с Николаем Утиным, произвел беспорядки на публичной лекции Костомарова и составлял адрес в защиту Павлова и воззвание о нем.

Печаткин был также распорядителем публичных лекций и, как говорили, раздавал некоторым лицам воззвание к офицерам.

19.

Гогоберидзе Виссарион за участие в университетских беспорядках исключен из числа студентов. По освобождении из крепости он жил в квартире Чернышевского. Подобно Утину и Печаткину, Гогоберидзе подозревается в составлении воззвания в пользу Павлова.

20.

Преподаватель в разных учебных женских заведениях коллежский ассесор **Моригеровский** состоял в 1861 г. учителем русской словесности в с.-петербургском Технологическом институте; но вследствие возбужденного подозрения, что он развивал в воспитанниках института вредные идеи о религии и правительстве, он был уволен от должности учителя.

В начале нынешнего года произошли в Технологическом институте беспорядки между воспитанниками, и причиною этих беспорядков, как по частным сведениям было известно, было то, будто бы Моригеровский давал читать воспитанникам листки „Колокола", „Будущности" и „Великорусса" Моригеровскому сделано в III отделении внушение и отобрана от него подписка, что впредь он не будет иметь никаких сношений с воспитанниками Технологического института.

21.

Типографщик Тиблен знаком с Чернышевским. Было сведение частное, что рабочие Тиблена разносили воззвания.

1862 г.

Доклад о необходимости учреждения следственной комиссии

Усиливающая дерзость злоумышленников, выказывающаяся последнее время преступными действиями: Карамышева—в Кавалергардском полку, студента Яковлева — в лейб-гвардии саперном баталионе и вновь появившимся воззванием „Молодая Россия", по содержанию своему превышающим все, что до сих пор являлось,—вынуждают принять решительные меры для пресечения дальнейшего развития зла.

Необходимо было бы ныне же решиться привести в исполнение предложенное в записке о чрезвычайных мерах и для сего безотлагательно учредить особую комиссию.

Комиссия эта могла бы быть составлена под председательством статс-секретаря действительного тайного советника князя Александра Федоровича Голицына из членов: от III отделения собственной его императорского величества канцелярии и министерств—военного, юстиции, внутренних дел и от с.-петербургского военного генерал-губернатора[1].

15 мая 1862 г.

Пометка: Высочайше утверждено 16 мая.

Записка, представленная шефу жандармов кн. Долгорукову

В виду совершающихся фактов нельзя не придти к положительному убеждению, что в настоящий момент ведется открытая война противу правительства не только демагогами и социалистами, но и людьми, заявляющими свое либеральное направление,—людьми, которые состоят на службе у того же правительства и даже в войсках. Против той и другой стороны должны быть направлены в подобных обстоятельствах меры, к сожалению, репрессивные, не стесняясь нисколько предшествующею системою действий, заключавшеюся главным образом в духе преобразований, соответственных потребностям времени; при этом первым условием должно быть:

[1] В состав Следственной комиссии вошли следующие лица: тайный советник Семен Романович Жданов, генерал-лейтенант Иван Васильевич Анненков, с.-петербургский обер-полициймейстер, генерал-майор Константин Ильич Огарев—от управления с.-петербургского военного генерал-губернатора, свиты е. в. генерал-майор Александр Максимович Дренякин, начальник 1 округа корпуса жандармов, свиты е. в. генерал-майор Александр Львович Потапов, управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии, свиты е. в. генерал-майор Павел Николаевич Слепцов—от военного министерства, действительный статский советник Михаил Федорович Гелда, обер-прокурор 4 департамента сената—от министерства юстиции, действительный статский советник Михаил Николаевич Гурунов—от министерства внутренних дел.—Комиссия начала свою деятельность 25 мая.

1. Единство в распоряжениях, а как движение революционного духа обнаруживается и внутри империи, коего исходною точкою С.-Петербург, то все распоряжения к подавлению беспорядков должны быть сосредоточены в лице министра внутренних дел, дав ему в настоящем случае чрезвычайное уполномочие, с тем, что в действиях своих он не стесняется существующими для обыкновенного времени законами, особый наказ министру внутренних дел, в котором должны быть поименованы случаи, в коих он действует по данному уполномочию, должны быть по соглашению в совете министерства обнародованы.

2. Необходимо спасти войско от прививающейся заразы к нему, и для этого нужно прежде всего привести в известность все те личности, на которые правительство не может рассчитывать, и из них влиятельных немедленно удалить, а увлекающихся разместить в те части, где зараза не может привиться.

3. Офицеры военных академий и стрелковой школы в последнее время обратили на себя внимание своим не только зловредным образом мыслей, но и самыми действиями, а потому при излишестве их в войсках можно было бы прекратить теперь же приемы в академии, а затем самые эти заведения закрыть впредь до преобразования оных, с тем, чтобы потом учредить их вне столиц, в центре расположения войск и соответственных их специальностям местах, как, например, артиллерийскую—при одном из арсеналов, инженерную—в одной из первоклассных крепостей, горную—в центре заводов, морскую — в одном из портов с верфью, генерального штаба и стрелковую школу—во внутренних губерниях центрально расположению войск и там, где нет университетов.

4. Равным образом тот же дух проник и в военно-учебные заведения и здесь также начальство должно рассортировать воспитанников, недостойных делаемых им благодеяний правительством—исключить, затем с 17-тилетнего возраста выпустить в войска юнкерами, а из младшего класса корпусов образовать закрытые гимназии, подчинив их министерству народного просвещения.

5. Так как в числе служащих чиновников много есть таких, которые вместо добросовестного исполнения своих обязанностей в отношении к правительству не только тайно, но даже явно порицают его действия, то таковых немедленно уволить от службы. В особенности обращают на себя внимание в этом отношении преподаватели и лица, занимающиеся публицистикою, а также служащие по ведомствам: железных дорог, пароходств и телеграфному.

6. Впредь до приведения в действие новых судебных учреждений, о преобразовании полиций и правил о книгопечатании закрыть: а) воскресные школы, б) бесплатные классы, в) народные читальни, г) Шах-клуб в С.-Петербурге, д) второй отдел общества для вспоможения литераторов и ученых.

Равным образом не дозволять учреждения вновь обществ и товариществ под каким бы то ни было названием они ни составлялись, разумеется исключая торговых и промышленных.

В заключение следует сказать несколько слов о почтовом управлении. Теперь почты привозят и разносят все то, что нарушает общественное спокойствие и безопасность, и нет сомнения, что это происходит от того, что самое управление находится в совершенном разрыве с полицейскими учреждениями, между тем, как оно должно бы находиться в прямом подчинении ведомству министерства внутренних дел.

Письмо министра внутренних дел Валуева Потапову

Я узнал, дорогой Александр Львович, что вы послали одного из ваших офицеров в Петрозаводск. Имеете ли вы известия и что сказал он по поводу г. Философова и пр.?

Сегодня решено, что университет не будет открыт, кроме математического факультета, воскресные школы закрыты во всей империи до преобразования их, отделы помощи студентам будут закрыты и журналы „Современник“ и „Русское слово“ приостановлены на 8 месяцев. Наконец, южный университет будет в Одессе, а не Николаеве.

Весь ваш *Валуев*.

7 VI [1862]

Записка Валуева 9 июня 1862

1. Не следует ли напечатать в газетах о производящихся следствиях? Можно бы, указав на невозможность подробных сообщений во время следственного производства, избрать для распубликования несколько данных, с целию обозначить то направление и тот дух, которые наконец вынудили правительство к принятию мер строгости и к следственным разысканиям. — Например, тот отрывок из бумаг одной дамы, где говорится о пожаре 28 мая, с присовокуплением заметки: „что пожары имеют то утешительное свойство, что уравнивают состояния“? Затем факт о найденных у разных студентов горючих материалах и мундирах телеграфного ведомства, о найденных у них возмутительных бумагах, о лужском учителе и его поджогах и бумагах и т. п., **в особенности все то, что обнаруживает связь между пожарами и возмутительными прокламациями.**

2. Разве не достаточно, для задержания некоторых известных личностей, факта их общеизвестных сношений с Лондоном, их связей с другими арестованными лицами и т. п.?

Арестованные лица

1. Ученик Академии художеств Михаил **Карамышев.**

Арестован 6 мая 1862 г. за намерение возмущать нижних чинов в Кавалергардском полку.

2. Поручик I гренадерского стрелкового батальона Иван **Аверкиев.**

Арестован с 7 на 8 мая по подозрению в распространении возмутительных воззваний.

3. Учитель мариинской гимназии надворный советник Федор **Дозе.**

Арестован с 7 на 8 мая по подозрению в распространении возмутительных воззваний.

4. Бывший студент московского университета Дмитрий **Евреинов.**

5. Бывший студент с.-петербургского университета Алексей **Яковлев.**

6. Бывший студент с.-петербургского университета Сергей **Сычевский.**

7. Жена коллежского ассесора Варвара **Александровская.**

8. Дочь отставного штабс-капитана девица Антонина **Блюммер.**

9. Домашняя учительница Елисавета **Павлова.**

10. Студент Медико-хирургической академии **Ляпустин** (жил с Мультановским).

11. Студент Медико-хирургической академии Сергей **Рымаренко.**

12. С.-петербургский купец, содержатель типографии Илья **Марков.**

13. Студент Медико-хирургической академии Помпей **Мультановский** (жил с Ляпустиным).

14. Коллежский регистратор Иван **Рыбаловский.**

15. Студент московского университета Павел **Шипов.**

16. Поручик **Ушаков.**
17. Студент Медико-хирургической академии **Владимиров.**

Арестован с 7 на 8 мая 1862 г. по подозрению в распространении возмутительных воззваний.

Арестован 10 мая 1862 г. за намерение возмущать нижних чинов лейб-гвардии саперного баталиона.

Жил в одной квартире с поручиком Аверкиевым и арестован 14 мая 1862 г. по собственному желанию.

Арестована 17 мая 1862 г. по подозрению в участии с распространителями возмутительных воззваний.

Арестована 17 мая 1862 г. по подозрению в участии с распространителями возмутительных воззваний.

Арестована 29 мая 1862 г. по объявлению унтер-офицера лейб-гвардии уланского полка Николаева о принадлежности ее к злоумышленному тайному обществу.

Арестован 30 мая 1862 г. по доносу о заказе им, с другими студентами, отличительных знаков на верхнее свое платье.

Арестован 30 мая 1862 г. за заказ двух типографских станков.

Арестован 31 мая 1862 г. за участие с студентом Рымаренко в заказе двух типографских станков.

Арестован с 2 на 3 июня 1862 г. по доносу о заказе им, с другими студентами, отличительных знаков на верхнее платье.

Арестован 4 июня 1862 г. по случаю требования от городского сигналиста объяснения секретов в телеграфе.

Арестован в Москве и доставлен в С.-Петербург 11 июня 1862 г. по подозрению в участии с распространителями возмутительных воззваний.

Содержатся в с.-петербурской крепости, но **о причине ареста сведений комиссии не доставлено.**

Анонимные письма о Чернышевском

III отделение с. е. и. в. канцелярии, экспедиция I, С.-Петербург, 5 июня 1862 г. № 1212.

В комиссию, высочайше учрежденную, по делу о распространении возмутительных воззваний.

Полученное мною безыменное письмо о литераторе Чернышевском считаю долгом препроводить на усмотрение сей комиссии.

Управляющий отделением свиты его величества
генерал-маиор Потапов.

Что вы делаете, пожалейте Россию, пожалейте Царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский—это коновод юношей—направление корпусных юношей дано им—это хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. проф.), что „я настолько умен, что меня никогда не уличат". За пустяки сослали Павлова и много других промахов делаете, а этого вредного агитатора терпите. Неужели не найдете средств спасти нас от такого зловредного человека! Никто вам в глаза не скажет, что Чернышевский—язва всему, потому что сочтут его доносчиком—я вам пишу, не подписываясь, потому что вы бы спросили, кто говорил—а вы знаете, что многое говорят в обществе—сказали бы Потапову—но никогда не скажут жандарму. Передаю вам впечатление, вынесенное из общества людей, десятки лет знающих Чернышевского —бывших его приятелей,—но теперь, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, все весьма либеральные люди, но настолько благоразумные, что они сознают необходимость существования у нас монархизма—отдалились от него и убеждены, что ежели вы не удалите его, то быть беде—будет кровь —ему нет места в России—везде он опасен—разве в Березове или Гижигинске—не я говорю это, говорили ученые дельные люди, от всей души желающие конституции, но путем закона —Земской думы, но по призыву Царя—не даст Царь ни того, ни другого, Господь ему судья, а крови не минуете и нас всех сгубите—это шайка бешеных демагогов, отчаянные головы—это „Молодая Россия" выказала вам в своем проспекте все зверские ее наклонности быть может их перебьют, а сколько невинной крови за них прольется! Тут же слышал, что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове, везде есть комитеты из подобных социалистов и везде они разжигают молодежь. Ник. Утин—правая рука Чернышевского—юношу бы за границу, но навсегда, а Николая Гавриловича—куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать.

Я сам не знаком с этим злодеем—пишу, что вчера случайно слышал—не доискивайтесь кто я—к чему вам? В доносчики не гожусь, а услышу что-либо подобное—напишу—теперь каждый честный человек обязан указывать правительству все, что слышит знает, ибо общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы и вам дремать нельзя; на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Время николаевское ушло—распустили однажды, теперь не совладаете,—выхода другого

нет, как Земская дума; боитесь дворянства—пошумят только, если потребуют конституции, то путем законным она не страшна для Царя, а эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов и пойдет на пролом, не пренебрегайте ею.

Избавьте нас от Чернышевского—ради общего спокойствия.

Следственная комиссия 6 июня 1862 г. положила: „письмо сие приобщить к делу и иметь в виду для соображения".

* * *

R. de Deux Mondes 15 Janvier 1862 p. 271 La Russie etc.

Читали ли Вы, Александр Львович, эту статью? Заметьте, что говорится о „Современнике", чистая правда.—Летопись Рус. Вест., статья Билюстина и вообще вся разумная литература с ужасом отзывается о наших С. Жюстах. Благонамеренной литературе давайте ход, не тесните, это хуже, но Чернышевского с братьею и с „Современником" уничтожьте,—не по чувству личной вражды—я его не знаю, а по чувству самосохранения твержу вам: избавьте нас от Чернышевского и его учения—это враг общества и враг опасный—опаснее Герцена. От домашнего вора не упасешься, так и с ним—он осторожен, хитер и зол,—прислушайтесь к толкам ученого кружка, все того мнения, что я говорю, то я вынес из бесед с учеными—где верчусь иногда.

Царь боится Земской думы, а она-то и спасет его—там будет преобладать дворянство, а оно консервативно потребует себе льгот, правда, но без Царя жить не может—и дума всех и все займет и поглотит социялистов.—Не послушаетесь и нас и себя згубите—на свои силы не надейтесь—враг хитер, смел, он подкапывается невидно и ловко, ошибся в пожарах и примет иное направление—пойдет тише, но все же пойдет, и Горе доверчивым.

Прислушивайтесь не к болтовне салонной—там иллюзии—имейте ухо в массах, в чиновничестве, в полках, в среднем круге.— Помоги вам Господь—это желание всех благомыслящих. Скорее выкуп, а коли нужно—Думу и все Дворянство за Царя и теперь оно не так страшно, как социялисты, но все же не жалует его за эмансипацию.—

Для чего даете волю Дену бесноваться в Курске—не для чего раздражать дворян—он честный человек, но заносчив, груб и дерзок.—Теперь не время так поступать и целое сословие неразумно восстановлять против власти, и без того потерявшей многое обаятельное.

Не велите теснить День, он полезен—пусть себе славянствует, это безвредная для нас мечта.

Успокойте народ, что-нибудь напечатайте о суде над поджигателями—от вашего молчания басень не оберешься. Поймите наконец, что таинственность в десять раз хуже гласности, особенно откровенности[1].

---

[1] На конверте адрес: Его Превосходительству Александру Львовичу Потапову. Начальн. штаба III отделения в СП-бурге. Почтовый штемпель—14 июня 1862 г.

Вызов Н. Г. Чернышевского в III отделение

Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, свиты его величества генерал-майор Потапов, свидетельствуя совершенное почтение его высокоблагородию Николаю Гавриловичу, имеет честь покорнейше просить пожаловать к нему, генерал-майору Потапову, в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, завтра, 16-го числа, в два часа пополудни.
15 июня 1862 г.

Распоряжение III отделения

Признается необходимым сделать распоряжение о невыдаче, без особого разрешения, заграничного паспорта литератору Николаю Чернышевскому.
27 июня 1862 г.

Акт обыска и ареста Н. Г. Чернышевского

1862 года июля 7 дня мы, нижеподписавшиеся, исполняя распоряжение высшего начальства, прибыв в квартиру литератора отставного титулярного советника Чернышевского, состоящую Московской части 2 квартала в доме Есауловой по Б. Московской улице, осматривали самым строжайшим образом всю занимаемую им квартиру и найденные у него в разных помещениях письма, рукописи и другие бумаги, часть недозволенных книг, сложив в холщевой мешок и опечатав оный, передали г. полковнику Ракееву, вместе с самим Чернышевским для представления в III отделение собственной его величества канцелярии, а как у г. Чернышевского оказалось весьма много книг на разных языках, и по отзыву его 2400 экземпляров 2 тома сочинения Добролюбова, перевозка и просмотр которых не на месте затруднителен, и требует много времени, почему и положили, опечатав кабинет его с сими книгами, записать в сей акт, предоставив наблюдение за целостию их местному надзирателю.

Полковник Ракеев.

Московской части 2 квартала надзиратель Мадьянов

При этом находился Н. Чернышевский,

Рапорт об аресте Н. Г. Чернышевского

Секретно.

Управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии, свиты его величества г-ну генерал майору и кавалеру Потапову

Полковника Ракеева.

Рапорт.

Исполняя приказание вашего превосходительства обыском квартиры литератора Чернышевского обще с местным надзира-

телем, имею честь представить составленный о том акт, запечатанные бумаги и самого г. Чернышевского.

Полковник Ракеев.

№ 690
7 июля 1862 г.
В III отделении[1].

Рапорт коменданта крепости

Его императорскому величеству

Коменданта Санкт-петербургской крепости
генерал-лейтенанта Сорокина

Рапорт.

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что доставленные по высочайшему вашего императорского величества повелению, объявленному в отношении начальника штаба корпуса жандармов за № 1620, коллежский секретарь Павел Ветошников и чиновники Чернышевский и Серно-Соловьевич сего числа в С.-петербургской крепости приняты и заключены в доме Алексеевского равелина в покоях под №№:—первый в 9-м, второй—11-м и последний—16-м.

Генерал-лейтенант Сорокин.

№ 80
7 июля 1872 г.[2]

Управляющий III отделением Потапов—шефу жандармов кн. Долгорукову

В городе, благодаря бога, все благополучно. С кн. Суворовым, конечно, не без прений, согласились и арестования сделаны удачно; Ветошников и Серно-Соловьевич очень сконфужены; Чернышевский ожидал, взят здесь на своей квартире; когда приехали его арестовать, у него были Антонович и доктор Боков, которые ушли в другие двери. Все прямо отправлены в Алексеевский равелин; надеюсь, что в понедельник им уже будут даны вопросы... Хсфафов был также арестован, но у него решительно ничего не только подозрительного, но даже сомнительного не найдено, сам он решительно не при записке, письмо было адресовано ему для передачи Набалдину—его земляку из Нахичевани, об арестовании его, равно как Белозерского в Самаре и Жуковских в Уфе сделано распоряжение. Дренякин уез-

---

[1] Пометка Потапова: Г. Чернышевского отправить в Алексеевский равелин. Акт и все бумаги в высоч. учрежд. Следственную комиссию. 7 июля.

[2] Пометка: Государь император изволил читать 9 июля.

жает завтра. Виделся с П. А. Валуевым и Ахматовым, а также с Путилиным, и условились о совещаниях. Завтра еду в Знаменское к е. и. в. великому князю.
7 июля, 3 часа ночи. Свиты его величества генерал-майор Потапов.

Долгоруков — Потапову

Кн. Суворов писал мне по этому предмету лично. Он согласен, после ваших объяснений, в необходимости принятых нами мер и желает быть освобожденным, без гнева, от путилинских действий. Я думаю, что это будет хорошо, и потому прошу вас сообразить к моему возвращению, как удобнее вести Путилинское дело. Надобно будет связать его с нашим и, следовательно, вероятно придется держаться нашей собственной системы.

Не полезно ли будет, согласно с прежним мнением князя А. Ф. Голицына, вытребовать Костомарова в СПБ и воспользоваться его указаниями тем способом, который признается наиболее успешным? Переговорите об этом предварительно с князем. Окончательно мы решим вопрос при свидании.

10 июля.

P. S. Кн. Суворов просит, между прочим, не забыть трех его обещаний по Путилинскому делу: 1) 500 руб. на поездку Костомарова, 2) содержание его семейства на несколько лет, 3) причисление Путилина или к нему, кн. Суворову, или к мин. вн. дел. Все три обещания можно иметь в виду.

10 июля.

Потапов—кн. А. Ф. Голицыну

9 июля 1862 г., № 1642 Секретно

Милостивый государь князь Александр Федорович! В конце прошедшего месяца получено было в III отделении с. е. и. в. канцелярии сведение о выезде в С.-Петербург из Лондона находившегося там некоторое время отставного коллежского секретаря Павла Ветошникова, который, как известно было сему отделению, имел сношения с Герценом и Бакуниным и неоднократно участвовал в собраниях, бывающих у Герцена. Поэтому сделано было распоряжение, чтобы с прибытием Ветошникова из-за границы он подвергнут был тщательному таможенному осмотру, и как при таковом осмотре оказались у него издания Герцена, Огарева и другие запрещенные сочинения, то он доставлен был в III отделение со всеми имевшимися у него книгами и бумагами. В бумагах его, рассмотренных в сем отделении, оказалось несколько писем, обнаруживающих сношения Лондонской Русской пропаганды с некоторыми лицами, проживающими в России, и намерение распространять в империи сочинения, которые предполагают издавать в Лондоне, с явною целию нарушить общественное спокойствие. Письма сии

указали необходимость немедленного арестования здесь литератора Чернышевского, надворного советника Николая Серно-Соловьевича, которые, равно как и Ветошников, отправлены 7-го сего месяца по высочайшему повелению в крепость, для содержания в Алексеевском равелине; кроме того, сделано распоряжение об арестовании некоего Белозерского в Самарской губернии, и командирован в Москву, по воле государя императора, свиты его величества генерал-маиор Дренякин для распоряжений к арестованию проживающих там Владимирова, Петровского и других лиц, задержание которых генерал-маиор Дренякин признает необходимым по содержанию писем, адресованных к этим двум лицам. Вместе с тем арестован был также в С.-Петербурге армянин Хафафов, на имя которого было письмо из Лондона (Бакунина) с надписью на конверте: „Для Налбанова". Армянин этот, по осмотре его бумаг, не заключающих в себе ничего подозрительного, и по отобрании от него объяснений, удостоверяющих, что означенное письмо принадлежит не ему, а Налбанову, освобожден от ареста, с подпискою не выезжать из С.-Петербурга без особого разрешения и не сообщать Налбанову, что он, Хафафов, был спрашиваем о нем; распоряжения же к арестованию Налбанова, выехавшего недавно отсюда в Москву с намерением отправиться на родину, в Нахичевань, предоставлены г.-м. Дренякину.

За отсутствием г. генерал-адьютанта князя Долгорукова считаю долгом сообщить о вышеизложенном вашему сиятельству, имея честь препроводить при сем: 1) показания Ветошникова, данные им в III отделении; 2) привезенные им письма: а) Герцена (два письма в одном конверте) к Серно-Соловьевичу; б) к нему же от Кельсиева; в) Бакунина к Наталье Семеновне Бакуниной; г) его же к Хафафову (для Налбанова); д) Кельсиева к Михаилу Николаевичу Владимирову; е) его же к Николаю Федоровичу Петровскому и в том же конверте другое, писанное к Ивану Ивановичу и к Олимпию Михайловичу Белозерскому (последнее за подписью Хратова); 3) показания, отобранные в сем отделении от Хафафова; 4) опись книгам, привезенным Ветошниковым, и оказавшиеся между ними десять книг неизвестного содержания (вероятно те самые, о коих упоминается в письме к Налбанову); 5) три акта обыска квартиры и библиотеки Серно-Соловьевича; и 6) акт обыска Чернышевского.

Бумаги же Ветошникова, Серно-Соловьевича и Чернышевского препровождены мною вместе с сим в комиссию, высочайше учрежденную под вашим, милостивый государь, председательством.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть вашего сиятельства

А. Потапов.

Постановление следственной комиссии

Управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии от 9 сего июля сообщает комиссии, что 7 июля подвергнут аресту титуляр-

ный советник Чернышевский и отправлен в крепость, по высочайшему повелению, для содержания в Алексеевском равелине. Вместе с этим свиты генерал-маиор Потапов препровождает в комиссию акт об обыске квартиры Чернышевского. Присланные бумаги его председателем поручены для разбора д. с. с. Каменскому, но из акта обыска видно, что кроме сих бумаг опечатаны в квартире Чернышевского кабинет его с значительным количеством книг. **Положено**: бумаги сии и книги, равно и опечатанный кабинет, подвергнуть тщательному осмотру, возложив сие на г. члена комиссии д. с. с. Турунова, но как для этого занятия необходимо иметь несколько чиновников, которых комиссия из своего состава представить не может, то представить г. председателю отнестись к г. министру внутренних дел о командировании трех или четырех благонадежных чиновников вверенного ему министерства в ведение г. Турунова[1].

9 июля 1862 г.

Анонимное письмо Потапову

Спасибо Вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского — спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск — что-нибудь в этом роде — это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием. — Одна беда, что вы ловите только наружное, упуская направление, — не тесните благонамеренную ценсуру, не гоняйтесь за фразой, за словом — что сделал Д е н ь? — За резкую речь не должно преследовать — не беда, что он расходится с Вами во мнениях — это противник благородный, откровенный — бояться должно врага тайного, действующего из-за кулис — как „Современник" — у которого ценсура не умела разглядеть социялистское направление, — а мы все давно видели и плечами пожимали — вникните в набор статей — не нужно много проницательности, чтобы понять направление — вот где яд для юношества — а писание Станицкой — такая штука молодых девиц совсем собьет с толку. Вот где положительный вред, а не в славянофильстве Д н я. Аксаков может ошибаться, кто же из нас непогрешим, но он благородный патриот — честный человек, из-за угла камня не бросит. Таких людей умное пр-во не теснит. Зачем напрасно мучите Тверитян — не разумно — открытый враг не опасен, положим, что они увлеклись — за это подержали в крепости и довольно. Не хотите пожертвовать мерзавцами, боитесь вздернуть парочку, пусть и не совсем виновных в поджоге, — но народ бы успокоился и видел бы энергию пр-ва. Тысячи невинных страдают от безумцев, а Вы с ними церемонитесь. Гуманность вещь хорошая но в пр-ве она не у места — лучше палец отрубить, чем после руку резать. Не стесняйте свободу

---

[1] Осмотр был произведен 17 июля. В акте осмотра говорится: „При подробном обозрении всего находящегося в кабинете признали нужным отложить: восемь книжек, три пакета с письмами, тетрадь, писанная стенографическим способом, и алфавитный ключ на 4 картонных палочках".

слова в печати, пусть Аксаковы говорят смело — они вам же многое откроют — но зорко проникайте в такие писания, где таится принцип разрушения общественного порядка — смотрите, чтобы в пустых книжонках для народа не проскакивали идеи гибельные — против нападающего открыто можно защищаться, но когда червь подтачивает в корне, тут не спасешься — он разрушает организм. Уничтожьте официальных жандармов — это произведет эффект, а держите немного, но очень умных, сметливых агентов и вы будете лучше и более знать — не хочу называть, а то бы я вам мог указать, что за дрянь у вас ходит в голубых мундирах — что могут они сообщать Вам — самый обыкновенный хитрец проведет любого из них за нос — а между тем эффект дурной. Поучитесь у Наполеона — он все знает и без жандармов. Приглядывают ли у вас за Н. Утиным — демагог и решительная голова.

Успокойте публику—напечатайте что-нибудь, как идет следствие поджигателей — все ждут и ропщут на медленность, на слабость вашу. Не должно пренебрегать мнением общества.

Пошли вам Господь терпения, умения, успеха и разума — ум хорошо, но разум лучше.

Я писал несколько раз А. Адлербергу, но он верно бросает мои письма — напрасно — я не покупной мушар — ничего не ищу — как человек досужий, много странствующий по России — много вижу и слышу — и считаю долгом помогать пр-ву — это обязанность каждого, кто желает порядка, тишины и общего спокойствия.

Записка из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском

(была представлена III отделением в Следственную комиссию 1 августа 1862 г.)

Отставной титулярный советник Николай Гаврилович Чернышевский, будучи автором многих журнальных статей политического и экономического содержания, в которых постоянно проводились свободные идеи, приобрел себе известность литератора—публициста и пользовался авторитетом между молодым поколением, которое он, с своей стороны, старался возвысить в глазах общества, как, по его мнению, деятелей. Он составил себе отдельный круг знакомства, по преимуществу из молодых людей, и притом недовольных правительством, лжепрогрессистов и лиц, сделавшихся государственными преступниками; собрания у него постоянно отличались какою-то таинственностию и большею частию происходили в ночное время. Доступ к нему посторонних лиц был чрезвычайно затруднителен. Корреспонденцию он имел огромную и вел ее не только в России, но и за границею. Внимание правительства обращено на Чернышевского после беспорядков, происходивших в с.-петербургском университете осенью 1861 г., когда получено было сведение,

что появившаяся между студентами прокламация, возбуждавшая молодежь к сопротивлению властям, была составлена Чернышевским. С тех пор за ним учреждено было постоянное наблюдение, которым обнаружено:

В конце 1861 года Чернышевский почти постоянно бывал дома и спал не более 2-3 часов в сутки, иногда он уходил из дому рано утром, чуть свет, но в 10 часов уже возвращался; по вечерам же уходил почти постоянно в 10 час. и возвращался в 12, принося часто с собою бумаги. Писем он рассылал очень много, большею частию по почте, но иногда с поваром или швейцаром; 14 ноября он отправил два довольно толстых письма в Москву по железной дороге; 16 ноября Чернышевский противу всякого обыкновения ушел со двора в 12 час. дня и воротился в 7 часов вечера. Когда же за несколько перед этим времени Чернышевский потерял ключи от своего письменного стола, то, не выходя из кабинета, велел позвать слесаря подобрать к столу ключ и, вместе с тем, приделать замок к двери кабинета, который с тех пор и запирал, когда уходил со двора. Напрасно жена его делала ему замечание, что это лишняя предосторожность, он все-таки продолжал запирать комнату. Между тем замечено было, что Чернышевский переменился, стал задумчив, угрюм и мало разговорчив, избегал прислуги, тогда как прежде был ласков с нею. Оказалось, что перемена эта произошла в нем после поездки в августе месяце в Самарскую деревню его. 26 сентября Чернышевский явился на сходку студентов около квартиры бывшего попечителя округа генерала Филипсона. 20 ноября, в день похорон литератора Добролюбова, Чернышевский говорил речь, в которой, видимо, старался выразить, что Добролюбов был жертвою правительственных распоряжений, мученик, убитый нравственно, одним словом, что правительство уморило его.

Замечательно обстоятельство: за несколько пред сим времени двери к Чернышевскому в комнату стала отпирать жена его, тогда как прежде это делала их гувернантка; когда же потом г-жа Чернышевская уехала, то двери к себе отпирал уже сам Чернышевский. 8 декабря Чернышевский получил из Парижа письмо следующего содержания:

„Прошу Вас, Николай Гаврилович, постарайтесь выслать мне деньги. Мне очень деньги теперь надобны. Пишу Вам опять на всякий случай, может быть, Вы уже в Петербурге. Прошу Вас— не медлите. Уважающая Вас *М. Маркович*". Вскоре после этого Чернышевский вдруг стал чрезвычайно осторожен: он стал запирать кабинет свой, когда не только выходил со двора, но даже шел обедать или чай пить в столовую, он никому не доверял, и единственное лицо, которое пользовалось еще тогда доверием его, был метранпаж из типографии Вульфа, Иван Михайлов Стругалев.— Между литераторами составилось даже убеждение, что Чернышевский и Некрасов находятся под влиянием какого-то панического страха, который, впрочем, распространился и на других. Поздно вечером 22 декабря к Черны-

шевскому пришли четверо мужчин, из коих один в волчьей шубе, не покрытой сукном, которые занимались с ним в кабинете до утра. В час ночи он приказал принести самовар, но людям велел лечь спать, и посетителей выпустил по черной лестнице. Судя по наружности, означенный посетитель в волчьей шубе был, вероятно, из простого звания. Около же этого времени сестра г-жи Чернышевской принесла три пачки каких-то бумаг и сама сожгла их, оставаясь перед печкою до тех пор, пока они сгорели, и мешая собственноручно в печке. Через несколько дней подобное же сожжение бумаг было повторено.

Впоследствии сделалось известным, что жена г. Чернышевского развозила по городу какие-то небольшие книжки, завернутые в бумагу, и поручала кучеру своему Никите Тимофееву спрятать их в сарае, но потом опять потребовала их к себе. Тогда полагали, что это были воззвания Герцена, под заглавием „Что нужно народу“ и т. п. Справедливость этого подтверждается тем, что через несколько после сего времени брат жены его, студент Студенский, давал кучеру Чернышевских брошюру „Что нужно народу“, и тот читал ее в кухне в присутствии всей прислуги и даже посторонних. Оказалось, что книжки эти г-жа Чернышевская возила Вас. остр. в 8 линию, на подворье к монахам. В марте сего года Чернышевский, будучи у Некрасова, рассказывал, что к 26 августа готовятся по всей России манифестации, в которых будут выражены следующие желания всего образованного сословия:

Прощение политических преступников, всех без исключения, какие только находятся в живых; дарование конституции; свобода печати и уничтожение ценсуры; ответственность министров; гласное судопроизводство и т. п. Он говорил также, что он виделся с многими лицами—коноводами в провинциях этих манифестаций, как-то: из Киева, Харькова, Владимира и других городов. В апреле месяце разнесся слух об адресе в пользу преступника Михайлова, и главными двигателями этого называли: Чернышевского и подполковника Шелгунова; на адресе видели даже в числе других подпись Чернышевского. В мае Чернышевский получил из-за границы письмо от проф. Пыпина, который уведомлял его, что он начал заниматься своими специальными изучениями, но более отрицательно, что берлинские матрикулы народного образования лучше путятинских, и что он приготовляет для „Современника“ статью о прусском законе печатания. В заключение же Пыпин просил отвечать ему немедленно.

Наконец Чернышевский утратил совершенно сочувствие к себе в литературном кругу. Там положительно уверяли, что если все беспорядки в городе и произведены молодежью, то, конечно, вследствие тех идей, которые были развиты в ней партиею Чернышевского, Иероглифова, Елисеева и всех его сотрудников. Арестации некоторых из посещавших Чернышевского лиц и студентов, им образовываемых, подействовали на него: он расстался со всеми, отправил жену в деревню, распро-

дал вещи, экипажи и намеревался уехать, но в это время открыты положительно его сношения с Герценом—и он арестован. Посещавших Чернышевского в продолжение этого времени лиц было чрезвычайно много, по преимуществу литераторы-студенты и молодые офицеры артиллерийского и инженерного ведомства. Покойный Добролюбов и Михайлов были его друзьями; полковники Лавров и Шелгунов пользовались особым расположением его. Вообще Чернышевского можно считать главою партии либеральных литераторов.

Кроме сего, известно, что в июне месяце 1859 г. Чернышевский ездил за границу, был в Лондоне у Герцена, который до того, по денежным делам Огарева с Панаевым, бывшим редактором „Современника", был враждебен этому журналу, с поездки же Чернышевского за границу со стороны лондонской русской прессы стало проявляться сочувствие к оному.

1 августа 1862.

Список лиц, посещавших Чернышевского

Лица, имевшие во всякое время доступ: Некрасов, Панаев (умер), Антонович, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Огрызко, Добролюбов (умер), Кожанчиков, Боков, Воронов.

Лица, посещавшие его в разное время; из них многие бывали очень часто: Рычков, артиллерийский офицер, с Кавказа; Пыпин; Захарьин из Нижнего-Новгорода; Шелгунов, подполковник; Обручев, полковник; Сокальский из Москвы; Гросс из Нижнего-Новгорода; Студенский, студент, родственник Чернышевского; Утин, студент; Гогоберидзе, студент; Стралер, студент; Стасевич, студент; Попов Василий, Попов Михаил, студенты; Советов, студент; Лунин, студент; Ососов, студент; Бутузов; Костомядзе, поручик, из Москвы; Пеньковский, офицер, преподаватель в Павловском кадетском корпусе; Скопин, студент-медик; Песцов, студент; в сопровождении экстерна Константиновского училища; Масальский из Новгорода; Соловьев из Москвы; Нечепуренко; Спасович; Гарбабонов, студент; Ковалевский; Троицкий, студент; Позняков; Спасский, студент; Коханов, студент; Блюм; Гусев; Белов из Саратова; Пиотровский, студент (застрелился); Соханов, студент; Горячков, офицер; Рехневский, полковник генерального штаба; Плаксин, студент; Санников; Петров; Жемчужников Владимир.

N. B. Кроме означенных лиц, бывали еще многие, имена коих неизвестны.

Постановление следственной комиссии о бумагах Н. Г. Чернышевского

Выписка из журнала С. К. 7 августа 1852 г.

V1. Д. с. с. Каменский, по поручению г. председателя комиссии, разобрав бумаги, принадлежащие арестованному титуляр-

ному советнику Чернышевскому, представил те из них, которые могут относиться к порученному комиссии делу. Положено: шифрованные бумаги, для распоряжения о прочтении оных, передать члену комиссии, управляющему III отделением с. е. и. в. канцелярии[1].

Постановление следственной комиссии о дневнике Н. Г. Чернышевского

Выписка из журнала Следственной комиссии 16 ноября 1862 года.

Управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии, при отношении от 15 сего ноября № 3539, препровождая в комиссию переданные ему, согласно постановлению ее, изъясненному в журнале 7 августа, шифрованные две тетради содержащегося под арестом тит. сов. Николая Чернышевского, уведомляет, что т. с. Муханов с возвращением их, по рассмотрении в министерстве иностранных дел, вместе с разбором части оных, отозвался, что рукописи эти писаны не шифром, а только с сокращением и употреблением вместо слов, слогов и букв особых знаков, что по множеству спешных дел в министерстве могла быть разобрана только часть оных, но что уже из содержания разобран-

---

[1] Потапов отправил бумаги для расшифровки в министерство иностранных дел, и 10 августа товарищ министра иностранных дел Муханов уведомил его, что „приложенный к оным указатель, повидимому, совершенно к ним не принадлежит; к тому же он весьма не полон; за сим не представляет возможности разобрать написанное в бумагах, но должно полагать, что они составлены вовсе не шифром, но только с условными сокращениями, и потому будут сделаны еще некоторые опыты для раскрытия смысла оных. Исполнить это вскоре нельзя и даже обещать вполне успех невозможно, но будут приложены все старания". Три месяца подозрительная рукопись оставалась в министерстве иностранных дел и только после напоминания Потапова была возвращена при следующем отношении от 14 ноября 1862 г. за № 189: „Вследствие отношения вашего превосходительства от 2 сего ноября за № 3381, препровождая при сем доставленные мне при отношении вашем за № 2079 две тетради и равно разбор части оных, имею честь присовокупить, что рукописи эти, как предполагалось и прежде, писаны не шифрами, но только с сокращениями и употреблением часто вместо слов, слогов и букв особых знаков. — При всем желании, при множестве текущих, не терпящих отлагательства дел, не было никакой возможности разобрать до настоящего времени всю рукопись, но из содержания разобранного можно думать, что слог сей имеет условный смысл. Между тем, в предположении, что кроме видимого содержания рукописи, могло находиться написанное симпатическими чернилами, были употреблены разные способы для открытия этого, но такового письма не оказалось.

О получении прилагаемых тетрадей покорнейше прошу ваше превосходительство почтить меня уведомлением.

Товарищ министра иностранных дел Н. Муханов.

ного можно заключить, что слог этот имеет смысл условный.— **Положено:** передать означенные две тетради, с следующим к оным указателем и разбором министерства иностранных дел, для рассмотрения члену комиссии С. Р. Жданову [1].

---

[1] Побывавшая в министерстве иностранных дел рукопись — часть саратовского дневника Чернышевского 1853 г. Расшифровано было начало 2-й тетради „Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье" (до слов: „Да будешь ты счастлива, как ты того заслуживаешь" и записи, сделанной 4 марта). В расшифровке, сделанной чиновниками министерства, много пропусков и погрешностей. Следственная комиссия обратила внимание на следующий отрывок, который мы даем в расшифровке министерства и в более правильной:

„Хорошо, я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю... Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные. Что могу я другое делать? сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться... Я не могу, не в праве связать чьей бы то ни было судьбы с моею.

Хорошо, я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться... Я не могу, не в праве связать чьей бы то ни было судьбы с моею.

Дефекты расшифровки и заключение министерства иностранных дел, что „слог сей имеет условный смысл", позволили Чернышевскому утверждать, что данная рукопись повествует вовсе не о нем самом, а является черновым материалом для будущих беллетристических произведений (см. его заявление в сенат, от 25 сентября 1863 г.)

БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ПРИ ОБЫСКЕ КВАРТИРЫ И ПИСЬМА К ЧЕРНЫШЕВСКОМУ, ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОСЛЕ ЕГО АРЕСТА

Письмо Н. П. Огарева и А. И. Герцена [1].

(15 августа 1861 г.) Суббота

Ну, милый ( )[2] долго я думал и ждал, не поедет ли кто к вам, но не дождался и решил писать просто. С чего начать? Да уж начну с того, что стряхну злобу с сердца. Истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Черн. поручил тому господину, который в ( )[3] не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Конечно, никто так не уважает скептицизм, как я. Рассекая мир до математической точки, я дохожу до формулы 0∞; но это не мешает мне знать, что нуль также результат $и = +-$, и собственно есть предел. Что я не в состоянии наполнить бездну или черту, разделяющую логические определения от живого мира, не могу показать, каким образом предел переходит в действительность, и чему, какой формуле $= 0\infty$, из этого не следует, чтоб я в ту минуту, когда надо дело делать, задал бы себе задачу: ну, а если из этого ничего не выйдет? Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество; на что ж это похоже? Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в „Современнике“ (уже прежде смекнувши из довольно плохой критики в „Петерб. Ведом.“) статью[4] прямо против нас, т. е. что напрасно, мол, говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало — вздор, что Европа не умирает, потому что одному человеку 60 лет, то зато другому 20 (как будто историческая смерть есть вымирание людей, а не разложение общественных химических соединений известного порядка!), и что те, кто это говорят—дураки и лжецы, с намеком, что речь идет о нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим да еще действительно с преднамеренной ложью? Плохо дело! ( )! ( )! горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-ни-

---

[1] Адресат письма, полковник Николай Николаевич Обручев, тогда профессор Академии генерального штаба, остался властям неизвестен. Многие слова в письме выскоблены. Отмечаем их скобками.

[2] Вероятно, „Николай Николаевич“.

[3] Вероятно, Лондон.

[4] Статья Ч. „О причинах падения Рима“ в Современнике“ за 1861 г.

будь патрона[1]! Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа правды и доблести из-за личных страстишек и видов; продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок в этой статье сказано, что растение не умирает оттого, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться? Хорош скептицизм! Нет! поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело, нельзя. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Ну! будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а помехой делу, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружеским, но военным кулаком по такой дребедени.

Вы видели: что ( )[2] приложено, а теперь со стороны потребовали еще издания. Доказательство, что промаха не было. Теперь вот что: о ( )[3] людях написать было бы ( )[4] дело, ( )[5] язык известнее. Тройная форма присяги дело очень важное. Раз, присяга по природе или по породе: родившийся в Москве по породе присягнул не продавать Москвы татарам. Другое, присяга по истине: родившийся человеком, по рождению присягнул не продавать того, что считает за истину. Третье, присяга по службе,—дело приказанное, невольное, без внутреннего согласия и которому до такой степени никто не верит, что все крадут.

Долго я думал о ( ) подписке ( ). Я, как величайший приверженец мелких капиталистов, думаю, что 50 челов., жертвуя по 5 рублей в месяц, жертвуют в год 3000 руб. На этот капитал много можно сделать. Можно дать трем приказчикам по 500 руб. для учреждения контор на трех самых торговых пунктах, как Нижегородская ярмарка, которая-нибудь из днепровских ярмарок и, смотря по надобности, Ирбит или иной уралосибирский пункт. Можно на 500 или 1000 руб. ( ) и 500 или 1000 оставить на разъезды. Заметьте, что это ежегодно и что число акционеров будет расти и что чуть ли ни на 2-й год можно уже будет производить не только комиссионерство, а пустить капитал в настоящую торговлю. Для этого капиталы не нужно отправлять за границу; достаточно небольшую разъездную сумму для комиссионеров-заподрядчиков. Вы заметьте, что петербургская торговля не требует ежегодных пожертвований, потому что сама компания налицо, что пожертвования

---

[1] Намек на Некрасова, которого Герцен и Огарев несправедливо обвиняли в присвоении денег Огарева.

[2] Вероятно—„Что нужно народу?“ в № 102 „Колокола“ от 1 июля 1861 г. было выпущено отдельно.

[3] Вероятно—военных.

[4] Вероятно—хорошее.

[5] Вероятно—вам этот. Вопрос о присяге поставлен в прокламации „Что нужно делать войску?“ в № 111 „Колокола“ 1861 г.

требуются только для учреждения ярмарочных контор и выписок материалов из-за границы; петерб. компания всегда может вести свою изолированную торговлю на имеющийся капитал, но что действительное развитие оборотов все свое значение получит от контор и от общности торговых интересов. Надо вызвать капиталы, существующие около ярмарочных центров[1].

Думал я еще о плюсе и минусе, об отрицательном и положительном. Мне кажется, что кроме отрицания в наше время прожектерства надо развивать положительную сторону в проектах о будущем устройстве. Я страстно думаю о проекте местных банков; одной маленькой буквы не достает, чтобы поставить формулу совершенно ясно; я ее чувствую, она близка, месяц-два работы—и алгебраическая формула постановится; останется только сделать ее наглядною арифметически. Но есть и другие задачи, не экономические, но требующие также положительной формы. Напр., система рекрутства. Я рассчитываю так, что каждый холостой, с 17 лет, должен выучиться военному ремеслу в продолжение 6 мес., без всякой особой солдатской одежды, кроме дружинных значков; таким образом он будет одет на свой счет, а содержан на счет волости, где его maestro будет обучать строю и стрельбе в цель. Оружие от государства. А постоянная регулярная армия, 1000 чел. на милл. душ, сведет число постоянного войска на 50 или 60 тыс., откуда будут взяты учителя для дружин и артиллерии. Это войско наемное из охотников. Рассчитав, сколько это даст военной силы вообще и как мало будет стоить, очевидно будет превосходство и народность такого устройства против существующего.

Также нужны положительные проекты администрации и судебных учреждений. Теперь составляются при министерстве юстиции многие. Говорят, сенат будет только высшим апелляционным судом, а правительство берет себе только право смягчать приговоры. Госуд. совету дадут иную физиономию. Я надеюсь напечатать министерские проекты с разбором[2]. Но, кроме того, надо, чтоб кто может подумал и о положительной стороне, т. е. о проектах, более идущих к делу. Помещение их в печати при самом популярном изложении чрезвычайно важно. Если возможно ввести их в полемику, то вопросы уяснились бы быстро и язык становился бы с каждым днем доступнее. Поверьте, что мудренность языка лежит в не доскональной ясности мысли. Пока человек ищет, он не может сойти с научного изложения в популярное. Пока я развиваю алгебраическую формулу, я употребляю обычные знаки; когда я ее развил и уяснил себе досконально, я берусь при небольшом таланте рассказать ее на словах понятно каждому, хотя это и длинный перифраз. Но до окончательного развития формулы это невозможно. От этого так мало (и еще меньше удачных) популярных книг: наука сама еще не пришла в ясность, она живет сво-

---

[1] Этот абзац говорит о сборе денег для предполагав. тайного общества.
[2] После того печатались в „Колоколе".

ими средствами, специальными приемами и только ими может развиваться, иначе совсем запутается; где же выражаться общими приемами, всем неподготовленным понятными?

В ( ) поместили по поводу статьи ( ) статью о государств. банке. Прелесть! Хоть и видно, что кое-где цензура мешала, но какое благородство тона, определенность и я с н о с т ь изложения! Просто — я его помянул, как мать сына, с таким удовольствием и любовью.

Вопрос: я кончил разбор Положений и думаю, что он весьма полезен. В нынешних №№ местные пол.; оно, может, и посуше, но небесполезно. В будущем и еще одном №—администрация. Это опять очень интересно. Не напечатать ли все отдельной брошюрой? Мне кажется, что это было бы полезно. Как вам? Дайте сейчас ответ, ибо пока станок не разобран, перепечатание будет стоить ничего.

Ну, засим прощайте. Устал; пожалуй, и вы устали читать. Лучше в другорядь напишу. Отвечайте немедленно для успокоения моей души. „Кол.“ посылаю.

Приписка Герцена:

( ) такую бездну написал, что я из любви к ближнему не буду писать много. Мы никогда бы не догадались, что Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником. Это я обязан „Спб. Ведомостям“ — они указали. Впрочем, ( ) слишком серьезно это принимает. Я тут, как в преслóвутом письме Чич., больше всего дивлюсь ненужной запальчивости выражений; ругаться слишком простое средство и не есть патент на особую эстетичность. Если вы увидите ( ), кланяйтесь ему от меня; мне очень досадно, что я его не мог навестить ( )—хлопот была бездна.

Читал повесть Печерского (Мельникова) „Гриша“. Ну, скажите, что же это за мерзость — ругать раскольников и делать уродливо смешными. Экой такт! A propos, рекомендую вам небольшую статейку мою об открытии мощей Тихона.

Анонимное письмо к Н. Г. Чернышевскому

Г-н Чернышевский! О пропаганде Вы знаете; Вы ей сочувствуете; поговорим о ней. Вы, наконец, пересилили себя, нехотя; Вы говорите о наших собраниях, протягиваете руку дворянству; но кого Вы этим обманете? Неужели Ваша приветливая улыбка скрасит Вашу медузину голову? Неужели мы не видим Вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление вашего журнала нам понятно, да и „Великорусс“—ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с маратовским восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства?! Кто во главе движения? Желчный, злобный социалист-мужикофил Искандер, хитро упрятавший в свои карманы миллиона два русских денег и спокойно поджигающий вдали несчастную

русскую молодежь. А Вы? да Вы его лакеи. У Вас не станет духу обречь себя даже на изгнание. Скажите, пожалуйста, неужели же Вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собой ради социализма, признанного наукою несчастным произведением больного ума?! Допустим, что идеи социализма осуществимы, то все-таки они осуществимы в стране, где нравственное развитие всей массы слишком велико, но никак не в стране монголов, шапсугов и т. д. Поверьте, мужички наши мало чем нравственнее этих милых народов. В нашем народе есть добрые начала, но они еще в зародыше, и за развитие их нужно взяться умно, практично, без нежностей, а нежностей ваших они не поймут, наплюют они на Вас и найдут себе другого Антона Петрова, о котором так искренно сожалеет Ваша хамская натура. Не вверимся же мы Вам, человеку или совершенно непрактичному, или совершенно подлому: вспомните, в какую цену вы оценили наши имения. Кого Вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого Вы надеетесь? На полудикое сословие мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях. Вы хотите безусловной демократии. Мы видим, до чего довела грязная демократия Францию, до чего доводит она великую республику Вашингтона. Да, дворянство—лучшее сословие: нашими деньгами поддерживается журналистика; при всей непрактичности нашего воспитания, в чем виноваты наши сентиментальные наставники, мы улучшили и улучшаем сельское хозяйство; мы давали и даем честнейших должностных лиц. Обратите внимание на громадную разницу между выборными и коронными; взгляните на добросовестную деятельность взятых из среды нашей мировых посредников. Вы этого не знаете. Вы говорите о провинции, не потрудившись даже узнать о ней. Мы, то-есть наши офицеры-дворяне, сделали из русской армии силу, наводящую ужас воспоминанием о Севастополе и на хвастливых французов, и на стоических англичан. Вы скажете, что мы же обокрали Россию. Ложь: обокрали ее бюрократы, а истые дворяне дальше поручика не служат. Мы хладнокровно встретили разыгравшиеся страсти временно обязанных, опьяневших от данной им свободы и, действуя снисходительно, добросовестно, мужественно, сохранили и сохраним мужественное спокойствие. Кого же вы пугаете: ха, ха, ха!.. Мы люди благородные и потому бесстрашно встретим смерть, защищая права законные, несомненные. Совесть у нас чиста. Вашей хамской натуре это непонятно. Впрочем, опасности большой нет. Вникнем в дело: кто угрожает и кем угрожает? Вы, господа-социалисты, двух родов: социалисты бесштанные, которые, как плотоядные птицы, нетерпеливо ждут поживиться мертвечиной, и социалисты сентиментальные, которые за несчастные писульки попадают под розги, а иногда и в каторгу. Как это трогательно, но как же пошло и глупо. Кровожадность у вас тигриная, да слабость овечья. Есть рьяные, да их немного. Вы не умеете вооружить Петербург и думаете взволновать

целую Россию. Вы сами никуда не годитесь и думаете, что грязная лапа мужика выведет Вас на дорогу. Заметьте впрочем, что мы с Вами поступать будем покруче, чем поступают с Вами в столице. Нас много, теперь мы настороже и, поверьте, не станем с Вами нежничать. Кем вы угрожаете и на кого хотите действовать? На студентов. Действительно, прекрасная молодежь; но ведь по окончании курса эти мотыльки, по большей части, наперекор зоологии обращаются в червячков. В особенности семинаристы, которые и в аудитории вносят свой собственный запах. На купцов и мещан,—но им нет времени: обмерить, обвесить, рассыропить водку—это нелегко, всего вдруг не сделаешь. Дальше что: духовенство—это сословие ни рыба, ни рак; полудикие мужики?—я уже о них сказал; они могут и должны быть пока в ежовых,—понимаете... Притом же, государственные крестьяне не только без участья, но, кажется, даже с некоторою злобою смотрят на временно-обязанных. Да и временно-обязанные начинают понимать, что быт их значительно улучшен, и что нельзя же ограбить одних в пользу других. Притом, нужно сказать, они никогда не разделяли ваших литературных убеждений, а потому и не смотрели на нас как на злодеев. Дворовые оставляют нас неохотно; крестьяне не спешат заводить новые порядки.

Одним словом, мы всего ожидаем от государя, которому не мешает, впрочем, вспомнить свои же слова московскому дворянству: „движение должно начинаться сверху, а не снизу". Мы будем просить его избавить нас от нашей болячки—Польши, которая, вместе с отзейскими губерниями, взяла, кажется, подряд на поставку нам чиновников-бюрократов. Считаем нелишним заметить Вам, г-н Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и, если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем Вас, Искандера или кого-нибудь из Вашего семейства, и, вероятно, Вы не успеете еще запастись телохранителями...

Карандашная заметка Н. Г. Чернышевского

Вчера было высочайшее повеление оставить без рассмотрения дело о манифестации в Думе. Беспокоить по этому делу никого не будут. Костомаров согласился не читать лекций. Павлов весьма вероятно будет отдан или на поруки князю Г. А. Щербатову, или получит разрешение жить в Нижнем у родственников.

Листок с вопросами

1. Было ли во вторник 6 марта, на квартире профессора В. Д. Спасовича, собрание профессоров, читающих публичные лекции?

2. Было ли на этом собрании принято профессорами решение прекратить чтение публичных лекций?

3. Были ли даваемы профессорами формальные записки, сообщавшие распоряжавшимся лекциями студентам это намерение дававших записки профессоров прекратить чтение лекций?

Письма Н. Г. Чернышевского к проф. И. Е. Андреевскому

1

М. Г. И. Е. Отзывы большинства читающих лекции профессоров и рассказы депутатов не сходятся между собою. Некоторые пункты разногласия так важны, что не следует оставлять их без разъяснения.

Мне и некоторым моим литературным друзьям кажется, что легчайшим способом к разъяснению дела был бы следующий: профессоры, читающие лекции, и депутаты студентов собрались бы у кого-нибудь на квартире, та и другая сторона пригласила бы свидетелей в равном числе с каждой стороны (напр. от 5 до 10). Эти свидетели выслушали бы рассказы и объяснения, как профессоров, так и студенческих депутатов, и вероятно было бы лучше всего, если б по окончании прений произнесли свое мнение о характере спорных пунктов формальным образом. Те из свидетелей, которые не согласились бы с решением большинства, могли бы вписать в протокол свое отдельное мнение.

С истинным уважением имею честь Ваш покорн. слуг. *Н. Ч.*

15 марта 1862.

P. S. Это письмо имеет характер формального заявления желаний некоторой части публики. Потому прошу Вас почтить меня ответом, во-1-х, соглашаетесь ли Вы быть посредником между этою частью публики и профессорами, читающими лекции, т. е. сообщить им мое письмо и спросить у них формального ответа на него; во-2-х, если Вы найдете это удобным для себя сделать это сообщение, то каков будет ответ профессоров. Мой адрес...

2

М. Г. Иван Ефимович, Из Вашего ответа на мое письмо от 17 марта я должен вывесть следующее заключение:

Разъяснение формальной стороны дела о прекращении лекций было бы невыгодно для профессоров, читавших лекции;

если бы Вы не находили этого, Вы, вероятно, не затруднились бы сообщить им желание, выраженное в моем письме.

Этот вывод так натурален, что я буду считать его верным, пока не будет доказано противное, и присваиваю себе формальное право публично выражать это мнение.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский.*

18 марта 1862 г.

Посылая формальный ответ на Ваше письмо, И. Е., я собственно для Вас должен сказать, что Вы не принадлежите к числу того большинства профессоров, действиями и в особенно-

сти рассказами которых недовольны студенты. Писать на бумаге все подробности слишком долго, но Спасович, с которым имел я длинный разговор об этом письме, может объяснить Вам, в чем сущность дела. Она такова, что надобно было бы как-нибудь заставить профессоров прекратить рассказы, положительно вредные. Я выбрал для этого—не знаю, удачно ли, способ, быть может ставящий в некоторые неприятности с товарищами то лицо, к которому я обратился с своим письмом. Что же делать? Лучше жь это, чем давать продолжаться рассказам, имеющим слишком опасный характер.

Не шутя теперь я буду говорить, что Вы единственный человек из профессоров, сохраняющий хорошие отношения к студентам, подали мне основание находить, что действия большинства профессоров были нелепы и что они клевещут на студентов собственно из досады на то, что осрамились сами, как мне формально и признался в этом Спасович.

Письма Андреевского

1.

Милостивый государь Николай Гаврилович,

Формальный, юридический способ, который вы предлагаете в полученном мною сегодня от вас письме, для разъяснения разногласий о причине прекращения публичных лекций, мне не представляется достаточно удобным; я смею думать, что подобные формальные объяснения двух сторон, в присутствии некоторых свидетелей, могут ограничиться формальною стороною дела и не коснуться, или коснуться весьма мало ее существенной стороны; я полагаю, что время наилучшим образом разъяснит его и примирит разногласия. С своей стороны, я не считаю себя вправе воспользоваться вашим предложением быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами, так как сам принадлежу к числу последних.

С полнейшим уважением и совершенною преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугою.

И. Андреевский.

17 марта 1862 г.

2.

Милостивый государь Николай Гаврилович. Считаю долгом ответить на ваше последнее письмо и представить, что вывод который вы делаете из моего письма от 17 марта, совершенно несправедлив. Я вовсе не сказал, и не думал сказать, что разъяснение формальной стороны дела о прекращении лекций было бы невыгодно для профессоров, читавших лекции; я только заметил, что способ, вами предложенный,—не может выяснить существа дела; а [кого] в деле закрытия лекций можно упрекнуть, я никакого мнения не подавал, да и не считал себя вправе по-

дать. И если вы присвоиваете себе формально право выражать со(ставленное) вами об этом обстоятельстве мнение публично, [то мо]рально не можете его нисколько основывать на моем письме.

Примите уверение в истинном уважении вашего покорного слуги.

И. Андреевский.

19 марта 1862 г.

Письмо профессора Н. И. Костомарова к Н. Г. Чернышевскому[1]

Посещение Ваше навело на меня грусть... мне стало больно, мне глубоко запали в душу Ваши слова... да, мы были когда-то друзьями. Три часа я боролся сам с собой и наконец решился, и написал уже формулу, и готовился с нею ехать к Вам... Вдруг курьер от Делянова с извещением, что лекции мои прекращены по распоряжению министерства н. просвещения.

Прощайте, Николай Гаврилович; во многом, что Вы говорили мне сегодня, я слышал голос любви и правды... хотя все-таки не знаю, в чем бы Вы могли укорить мое поведение в прошедшей печальной истории с публичными лекциями: я действовал логически и справедливо: мне так кажется; я так уверен... а между тем Ваши слова так встревожили меня... неужели я ошибался? Я не вижу этого. А между тем Ваши слова звучали любовью и правдою...

Прощайте, Николай Гаврилович; мы, действительно, были когда-то друзьями... что развело нас? Не знаю. Но знаю, что более никогда не будем! Наши дороги разные. Вы меня раз, другой обругаете в вашем „Свистке", как уже было, со всеми возможнейшими извращениями дела, сообразно иезуитской мудрости, освящающей всякое средство для цели, а я в своих нервных увлечениях сделаю два-три шага, которые удалят меня еще более от Вас, и так будет между нами пропасть поглубже, чем та, которая разделяла богача от убогого Лазаря. О лекциях я ни мало не сожалею. И, однако, мне ужасно грустно, так грустно, что хоть в воду...

Скучно на этом свете. Вы приезжали обвинять меня в самолюбии, в измене прежним убеждениям: последнее совершенно ложно; первое мне кажется ложным... Да неужели же правее меня те, которые теперь спасены прекращением (министерским предписанием) моих лекций от последствий, какие постичь их могли за свистки, ругательства и бросание яблоками, как они обещали? Неужели Вы можете ожидать чего-нибудь в будущем от таких **общественных деятелей**? Неужели, наконец, мы должны преклоняться перед всякою пошлостью потому только, что она одевается в либеральную одежду? Воля Ваша, Николай Гаврилович: мне кажется, уж если кому, так именно Вам следовало бы таких героев бить по носу, а Вы их по го-

---

[1] См. в приложении рассказ Н. Г. Чернышевского о посещении им Н. И. Костомарова.

ловке гладите. Неужели Вы разделяете такое мнение, что закрытие лекций есть полезное дело, а не ребяческий фарс, каприз дитяти, которое, рассердившись на няньку, разобьет об пол чашку, стакан, что ему попадется под руки? Неужели не было бы лучше, если б лекции продолжались и публика приучилась бы к серьезному живому свободному слову? Утвердились бы они в Петербурге, принялись бы в провинциях, вошли бы в обычай, после вошло бы в обычай говорить публично и слушать. Мне кажется, это было одно из великолепнейших орудий обновления нашего общества, которого мы равно желаем. Смотря с такой точки зрения, я старался, во что бы то ни стало, удержать от падения учреждение, так недавно воздвигнутое... Оно пало; я хотел поднять его; я возобновлял свои лекции; за мною уже готовилось делать то же три человека; может быть, снова все связалось бы, машина пошла бы попрежнему... Итак, вот что, а не мелкое самолюбие руководило мною, как Вы хотели обличить меня. Хотите—верьте, хотите—нет; но я высказываю Вам свое убеждение; может быть, и ошибаюсь, но по крайней мере говорю, что думаю. Прощайте, но знайте, что поругания и клеветы право не хуже ссылки в Саратов или в Ветлугу, чем может наделить Третье от[деление].

Страничка из дневника Н. А. Добролюбова

5 июня. Сегодня в три часа утра Н., воротясь из клуба, сообщил мне, что И р в Кол [Колколе] напечатал статью против Совр-ка [Современника] за то, что в нем предается поруганию священное имя гласности[1]. В статье есть будто бы намек на то, что Совр. подкуплен триумвирным бюро. Если это правда, то Герцен человек вовсе не серьезный: так легкомысленно судить о людях в печати—ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Н-ву только так показалось и что в сущности намека этого нет. Нужно поскорее достать К-л и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае надо писать к Г. письмо, с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает как туда попавшие... Однако хороши наши передовые люди! Успели ужь пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уже у них на уме мир-

---

[1] Имеется в виду статья „Very dangerous!!!", напечатанная в №44 „Колокола" (от 1 июня 1859 г.) за подписью И—р (Искандер, т. е. Герцен). Н. Г. Чернышевский ездил объясняться с Герценом по поводу этой статьи. Он выехал из Петербурга около 17 июня старого стиля, а из Лондона в обратный путь—около 30 июня. Об этой поездке упоминается в „Записке из частных сведений" о Чернышевском, однако, Следственная комиссия почему-то не спрашивала его о ней.

Отмеченные Добролюбовым инициалами: Н.—Некрасов, Г.—Герцен, И. М—ч—Иван Максимович Сорокин, Борд.—Бордюгов, Ч.—Чернышевский; установить с точностью, к кому относятся прочие инициалы, нельзя.

ный прогресс, при инициативе сверху, под покровом законности! Я лично не очень убит неблаговолением Г., с которым могу померяться, если на то пойдет; но Н. обеспокоен, говоря, что это об тоятельство свяжет нам руки, так как значение Г. для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро оскорбляет его, т[ак] ч[то] он чуть не решается ехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую, и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Г. печатно же от него отказался и взял назад свои слова. Но мне все кажется, что вся эта история—чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение.

Сказал сегодня И. М-чу об этой истории: смеется и отзывается неуважительно о всем К[олоко]ле, попрекая им Г-на. Уверяет, что молодые люди понимают тенденции С[овременни]ка и им сочувствуют. Я сам то же думаю, да только много ли проку-то от этого?

От С. Н. Ф. получил письмо с водянистыми выражениями сочувствия, да от Борд. (Бордюгова) довольно горячее письмо, вот и все пока. А здесь настоящее сочувствие только и нашел в Z., O., да C(?). Есть правда еще Н., Ст., Д.,—да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае—мало нас; если и семеро,—то составляем одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет.

Письмо М. А. Маркович.

Где Н. К.? Что вы делаете? Благополучны ли вы оба? Здесь все ходят слухи разные—тот одним придет попугает, другой другим. Пожалуйста, почаще пишите, благополучны ли вы. Получили вы вторую часть „Сестер“? Я скоро пошлю вам третью, а за ней повесть—поместите тоже в „Совр“. Спросите „Совр.“, может ли он платить мне 300 или хотя 250 за лист? Если нет, то все-таки поместите ее в Совр. Деньги присылайте как можете—мне очень надобны. Я не знаю, когда выберусь—надо еще много заплатить. Пожалуйста, пишите, как получите это письмо хоть две строчки—что благополучно ли у вас.

Преданная вам *М. Маркович.*

29 октября [1861].

Письмо М. Е. Салтыкова.

Милостивый государь Николай Гаврилович. Вероятно, вам известно, что я вместе с Унковским и Головачевым задумал издавать с будущего года в Москве журнал, который будет выходить два раза в месяц. Независимо от официальной программы, уже поданной в московский цензурный комитет, мы предполагаем с августа приступить к напечатанию объявления, в котором с большою ясностью выразится как цель издания

журнала, так и самое направление его. Препровождая при сем проект этого объявления, мы просим вас сообщить нам ваше искреннее мнение об нем и не оставить нас вашими советами. Глубоко ценя и уважая вашу честную общественную деятельность, мы заранее можем ручаться, что замечания ваши будут приняты нами с величайшею благодарностью. Не думайте, прошу вас, чтобы я писал это письмо лишь от своего имени: А. И. Европеус может удостоверить вас в противном, но дело в том, что я и будущие мои соредакторы покуда рассеяны в разных местах по лицу России. Если вы найдете свободную минуту, чтоб удовлетворить нашей покорнейшей просьбе, то письмо ваше прошу адресовать на имя Плещеева, для передачи мне, так как я на будущей неделе уезжаю из Твери в деревню и не могу еще положительно определить свой адрес. Впрочем, до 19 числа еще пробуду в Твери.

Вместе с тем позвольте нам заявить надежду, что хотя по отношениям своим к „Современнику“ вы и не можете принять деятельного участия в нашем журнале, но не откажете нам в сотрудничестве, которое для нас особенно важно, как доказательство вашей симпатии к задуманному нами делу.

Теперь позвольте мне обратиться к вам с просьбой, лично до меня относящейся. Н. А. Некрасов, с которым я виделся в Москве, сообщил мне, что редакция „Современника“ предполагает находящиеся в ее распоряжении три моих рассказа разделить на два нумера, т. е. напечатать их в апрельской и майской книжках. По словам Некрасова, это сделано в том внимании, что рассказы займут много места. Но я убежден, что все рассказы, вместе взятые, не займут более 3½ печатных листов, и если это только возможно, то просил бы вас убедительнейше пустить их все в апрельской книжке. Это для меня необходимо по многим соображениям, которые я объяснил лично Н. А. Некрасову. Но каково бы ни было решение ваше по этому предмету, во всяком случае прошу вашего распоряжения насчет высылки ко мне цензорских корректур: или в Тверь, если они уже готовы, или на имя Плещеева, если они будут готовы не раньше 19 числа. Я возвращу их с первой почтой. Еще одна просьба: так как я выезжаю из Твери, то нельзя ли прекратить высылку „Современника“ на мое имя, а вместо того прислать мне билет на получение журнала из московской конторы.

С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою.

М. Салтыков.

14 апреля 1862 г.

Тверь.

Письмо И. Чацкина

Милостивый государь Николай Гаврилович. Я не могу не быть вам от всей души благодарным за ваши старания облегчить мне работу, хотя повторяю, эта работа для меня совсем

не обременительна. Но у меня действительно много занятий, а для всякой работы, даже для самой приятной, нужно время. Поэтому, чтоб не задерживать печатания перевода, я из двух ваших предложений выбираю первое, т. е. оставляю за собою последние главы, начиная с XXII-ой (включительно) до конца. Это по моему расчету составит приблизительно 10 листов „Современника". Боюсь только, чтоб у двух переводчиков не вышло слишком большой разладицы в терминах, которых в этом романе бездна.

Очень благодарен вам также за предложение **черной** работы. Правда, случалось, что я нуждался в ней; но теперь я надолго обеспечен медицинской черной работой, именно переводом медицинской книги.

Но самое большое спасибо я должен сказать вам за ваши теплые слова об умершей. Немногие умели ее оценить как вы. Тяжело встречаться каждый день с людьми, которые ее знали, но которых смерть ее так же мало поразила, как известие об неурожае в иркутской губернии. Вы правы, Николай Гаврилович, совестно становится, что мы еще наслаждаемся светом и воздухом, когда люди, которые во сто раз лучше нас, гниют под землею. Но ведь и переживать иных людей едва ли не тяжелее, чем умирать самому. Не думаю, чтоб нашей участи позавидовали умершие, если б они могли еще завидовать.

Я останавливаюсь только потому, что когда я пишу к вам, я всегда имею в виду, что вы очень заняты и получаете много писем. В вашем последнем письме есть однакож слова, хотя и не ваши собственные, которых я не могу оставить без протеста, иначе вы можете подумать, что я согласен с ними. Это слова о медицине. Знаю, что, возражая на них, я рискую показаться вам холодным резонером, но все-таки я обязан на них возразить. Ваш друг Сорокин, говорите вы, не мог говорить о медицине иначе как с презрением и негодованием. Оба эти чувства в отношении к медицине в высшей степени несправедливы. Всякому сильному горю свойственно сваливать вину за случившееся несчастие на первого или на первое, что подвернется. На этом основании если кто-нибудь умирает, обвиняют почти всегда медика. Но если медиков было несколько, притом хороших, то остается только обвинить медицину в абсолютном бессилии, что обыкновенно и делают. Этим путем и медик, потерявший близкого человека, может дойти до презрения и негодования против медицины. Можно даже наверное сказать, что тот медик не человек, у которого в иные минуты не могут вырваться подобные слова против медицины. Если так случилось с Сорокиным, то в словах его можно видеть только естественное выражение горя. Но если это мнение обратилось у него в постоянное, если он выдает его за результат спокойного изучения медицины, не верьте ему. Медицина, правда, еще бессильна в очень многих случаях и навсегда останется бессильна в некоторых, но во многих других она могущественна. Во всяком случае она сама по себе не хуже и не лучше других наук, не дальше

ушла и не больше отстала. Только людские требования от нее непомерны. Не бойтесь, что я заставлю вас прочесть рассуждение „о пользе медицины". Мне не до того, да и вам вероятно тоже. Я хотел только заявить свое несогласие с мнением Сорокина, потому что подобные слова медика о медицине всегда имеют особенный вес в глазах не-медиков и сильно содействуют к распространению ложных понятий о медицине, и без того уже слишком распространенных.

Простите мне эту тираду, если она покажется вам скучною и неуместною. Я ее написал чисто по чувству обязанности. Еще раз благодарю вас за теплые искренние слова вашего письма и жму вашу руку.

Преданный вам И. Чацкин.

P. S. Для избежания недоразумения повторю еще раз, что я начну переводить с 22-о-главы, начинающейся словами: D'abord sa rêverie fut vague et mélancolique". Так как вы хотите издать перевод в октябре, то я думаю не поздно будет, если я последние листы пришлю в начале сентября.

(без даты).

Письма Л. И. Мечникова

Ливорно $\frac{20}{8}$ июня [1862]

I

Препровождаю при этом первую часть биографии Мадзини. Следующую пришлю непременно к августовской книжке журнала. В настоящее время я в Ливорно, но надолго ли—не знаю. Прошу покорнейше все письма и посылки адресовать моему корреспонденту в Сьену—Sr Emilio Genovesi in Via del Diceotto Casa Tiberi для передачи мне (Leone M). Надеюсь, что не буду вынужден совсем оставить Италию. Надеюсь также, что редакция исполнила мою просьбу насчет высылки денег. Мне весьма неприятно было беспокоить ее, но в настоящем моем положении я не мог избежать этого.

С совершеннейшим уважением и преданностью готовый к услугам *Л. Мечников.*

Сьена, $\frac{12 \text{ июля}}{30 \text{ июня}}$ [1862]

II

Вчера получил я письмо Ваше с векселем на 1000 fr. от $\frac{3 \text{ июля}}{21 \text{ июня}}$. Меня удивляет, что Вы не получили моего уведомления о получении мною первой 1000, посланной Вами в апреле. Я писал об этом и на Ваше имя, и в редакцию.

Suspension [приостановка] „Современника" подействовала на меня весьма неприятно во всех отношениях. К сожалению для меня, переписка сколько-нибудь интимная между нами невозможна и необходимо (?) писать только о делах, т.е. более или менее о деньгах.

Ваше доброе письмо ко мне—которое я никак не хочу считать за комплимент—дает мне право обратиться к Вам с откровенностью и искренно.

Дело мое по поводу Брешии окончилось хотя и не так худо, как можно было ожидать, судя по самовластью здешних префектов и министерских чиновников с эмигрантами, т[ем] не менее тоже положение оч[ень] дурно. У меня отобрали редакцию „Flagello", и для личной безопасности я должен уехать из Италии, где не могу жить не действуя. Мне впрочем предоставлено право оставаться здесь и даже в Сьену, из которой меня выпроводили было mit Skandal und Trompetten, опять впустили для окончания дел на срок. Я впрочем здесь останусь, пока опять не выпроводят. Это случится вероятно не так еще скоро, потому что префект здешний уехал и на его место едет новый. Тем не менее все эти треволнения расстроили мое здоровье, а всего больше кошелек. Т[ак] к[ак] от неимения денег может зависеть моя свобода (если при новой интимности [?] я не уеду, меня запрут в тюрьму), то я прежде всего вынужден вновь просить Вас выслать мне денег, сколько можете авансировать за находящиеся в Ваших руках статьи.

Если Вы можете, Вы, конечно, не откажете, но можете ли Вы?.. Во всяком случае прошу Вас не медлить ответом; я его буду ждать с большим нетерпением, как имеющий для меня слишком существенное значение.

Впрочем это мера временная, и я имею сказать Вам следующее: я кажется писал уже Вам о намерении написать ряд статей об итальянском движении с 1848 г. Статьи след.:

1. Манин—Венеция в 1848 и 9 годах.
2. Мадзини—глава движения и Рим в 1849 г.
3. Каганес (?)—Ломбардия в 1848 г.
4. Три высадки—Бандиера, Тункале [?] (эпизоды оч[ень] мало у нас известные) и Гарибальди.
5. Винч. Джиоберти
6. Цезарь Бальбо
7. Кавур

} Пьемонтск[ое]правительство в отношении к итал. [?] единству, конституционализм и итальянская народность. Пьемонт в 1848 г.

8. Неаполь в 1848 г. (министр Трол [?], радикалы, Поерио и пр).
9. Сицилия в 1848 г.
10. Леопарди и Джиусти.
11. Тосканский триумвират (Гверацци, Монтанелли, Мадзини).
12. Южная Италия в 1862 г. (партия движения и партия застоя).

Все эти статьи должны составить одно целое и связаны между собою одною общей мыслью: Италии нет спасенья в буржуазно-христианском мире, она должна возродиться, сродниться с новым элементом—славянским и начать с ним универсальный союз, который затрет [?] все эти незаконные порождения христианского феодализма и мещанства, до того чахлые и не-

способные к конкретной жизни [?], что вынуждены прятаться за абстрактную идею государственного величия и какого-то тоже абстрактного общества.

Все эти статьи я бы непременно хотел поместить в „Современнике“ и оч[ень] благодарен Вам за проявленнную готовность их печатать. Но как быть с суспенсией [приостановкой „Современника“]?.. Мое положение теперь такого рода, что работать, не получая тотчас же [?] платы, я не могу. А потому я придумал следующее:

Я буду высылать Вам эти статьи с обязательством не меньше ш е с т и печатных листов в месяц. Вы со своей стороны будете высылать мне за них по 1000 фр. в месяц. И так во все время суспенсии журнала. Затем по напечатании статей Вы мне пришлете счет статьям и доплатите, что будет следовать, считая по 200 fr. за лист. На будущее же время, т. е. с началом издания „Современника“, мы опять станем на прежнем основании, и за статьи исторического и биографического содержания Вы мне будете платить по 75 р. с. за лист, как в „Русск. Вестнике“.

Я думал было предложить Вам издавать во время суспенсии мои статьи отдельными выпусками, чтобы составить сборник под заглавием „Итальянское движение“, но об возможности этого Вы можете судить лучше меня. Если Вы примете предложенные мною условия, то за Вами, конечно, право делать из моих статей то употребление, которое признаете лучшим.

Если условие будет принято, то расчет следующий. Я вышлю Вам на-днях 12 листов Мадзини. С прежними они составят 30, т. е. приблизительно 10 печат. листов. Вы мне вышлете за них 2000 фр. или сколько следует. Потом каждый месяц по получении от меня 6 печат[ных] листов будете высылать мне по 1000 фр.

Если же предложения мои Вам не подходят, уведомьте, что думаете Вы?

Еще повторяю в этом случае прошу Вас авансировать мне, сколько можете.

От души благодарю Вас за Ваше доброе ко мне расположение и прошу извинить меня, если je vous mets trop à l'épreuve. Я не могу избежать этого пока. Что же делать?

Позвольте же мне искренно пожать Вашу руку, ожидая времени, когда отношения между нами получат возможность стать полнее и теснее [?].

Преданный Вам *Л. Мечников.*

III

Посылаю при этом в редакцию вторую статью о Мадзини. Не зная хорошенько участи, которая ее ждет, я сам с нетерпением жду ответа на последнее мое письмо к г. Чернышевскому.

Я на-днях уезжаю на о-в Эльбу (надеюсь, что оттуда не придется по кр[айней] мере ехать на св. Елену), но куда именно я оттуда двинусь и долго ли там пробуду—не знаю. А потому

прошу попрежнему адресовать мне в Сьену на имя S r Emilio Genovesi per rimettere al S-r Leone M—ff.

С совершеннейшим уважением и преданн[остью] *Л. Мечников.*

Сьена $\frac{16}{4}$ июля.

IV

Портоферрайо $\frac{14}{2}$ августа [1862]

M-r Чернышевский

Месяц тому назад я писал Вам и с большею м[ожет] б[ыть] откровенностью, чем имел право. Тем не менее я не думаю, чтобы Вы оставили поэтому без ответа мое письмо.

Не имея до сих пор от Вас ни строчки, я еще раз покорнейше прошу Вас вывести меня из положительной неизвестности насчет судеб „Современника" и моих статей. Вам это не будет стоить большого труда, а мне принесет весьма существенную пользу.

Здешние журналы молчат о La [Russie?]. По последним известиям я узнал об аресте многих из моих прежних знакомых, т[ак] ч[то] я не знаю даже, застанет ли это мое письмо Вас там, куда я Вам его адресую. От души желаю Вам лучшей участи и всяких благополучий.

Преданный Вам *Л. Мечников.*

Адрес мой попрежнему: В Сьену:
S-r Emilio Genovesi (для передачи мне).

P. S. У меня уже готово несколько печатных листов, но послать их не решаюсь до получения Вашего ответа.

Письмо П. А. Гайдебурова

Николаев, 8 июля (1862).

Необходимость почти постоянно разъезжать по разным концам Малороссии заставляет меня обратиться к вам, Николай Гаврилович, с покорнейшею просьбою — поторопиться высылкою следуемых мне денег. Они для меня весьма нужны, и я буду очень благодарен, если вы не замедлите исполнить мою покорнейшую просьбу. Запрещение „С вр." и других журналов произвело какое-то странное впечатление на публику вообще и на подписчиков в особенности. Фразы: „этак, пожалуй, скоро и читать будет нечего" и „теперь ни на какой журнал подписаться нельзя, потому что он каждую минуту может быть запрещен" — слышны повсеместно. В последнем предположении я разуверяю говорящих насчет „Отечественных записок" и „Библиотеки для чтения".

Может быть вы позабыли мой адрес, так вот он: Павлу Александр. Гайдебурову в Николаев.

До свидания — пока.

Душевно преданный вам *П. Гайдебуров.*

Письмо И. Захарьина

Милостивый государь Николай Гаврилович, 16-го июня я имел удовольствие послать две тетради на ваше имя, чрез

контору „Современника“, с просьбою напечатать их, если признаете достойными печати, — в „Современнике“; но так как к крайнему сожалению журнал этот на некоторое время прекращен, то покорнейше прошу вас не откажите передать мои тетради в редакцию журнала „Время“ для напечатания, если г-н редактор примет их.

Смею надеяться, что вы не откажете известить меня, если только это не стеснит вас.

Примите уверение в глубоком уважении и искренней готовности к услугам.

Ив. Захарьин.

12 июля [1862],
г. Кузнецк, Сарат. губ.

(на конверте — от поруч. Захарьина).

Письмо А. Н. Плещеева.

Июля 12. Москва.

Добрейший друг, Николай Гаврилович. В бытность Суворина в Петербурге вы сказали ему, между прочим, чтобы он свою повесть доставил Вам. Это подало нам с ним некоторую надежду на возможность близкого возобновления „Современника“. Будьте добры, напишите, в какой степени эта надежда осуществима. Дело вот в чем. У Суворина повесть готова. Он, конечно, желал бы всего более отдать ее в „Соврем.“ Но он в то же время в таком положении, что едва-едва имеет насущный хлеб. С Краевским он, разумеется, не сошелся по очень уважительным причинам; и в Петербург, вероятно, не переселится. Значит, — ему прежде всего нужны деньги за повесть. Если б он мог теперь же получить их, то отдал бы свою повесть в редакцию „Соврем.“ и готов бы был ждать ее напечатания сколько угодно. Мне самому никуда не хотелось бы отдавать ничего своего. А у меня теперь кое-что накопилось. Если „Соврем.“ будет выходить, то я никуда и не пошлю. Будьте добры, дорогой мой, не поленитесь написать. Нам необходимо знать что-нибудь верное, особливо Суворину. И еще напишите, в Петербурге ли Некрасов? У меня есть до него дело.

Ваш весь *А. Плещеев.*

P. S. Белов писал мне недавно, что едет в Нижний и будет на-днях в Москве.

Письмо М. Шемановского

Пользуясь тем, что теперь каникулярное время и что большая часть учителей уехала из городов, я из Царицына переехал на Дон, а потом спустился по нему в Новочеркасск. Теперь сижу в Бахмуте Екатеринославской губернии. Намерен ехать на Харьков, Курск, Орел и Тулу. Прошу вас, Николай Гаврилович, прислать к 20 августа в Курск 200 рублей; думаю, что их достанет до Москвы. Впрочем, если ошибаюсь, то, конечно, принужден буду написать об этом. Ваш М. Шемановский.

2 августа

ПИСЬМА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ИЗ КРЕПОСТИ, ЗАДЕРЖАННЫЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

Письма Н. Г. Чернышевского к О. С. Чернышевской

5 октября 1862 г.

Милый мой друг, моя золотая, несравненная Ляличка.

Целую тебя, мой ангел. Я получил твои письма от 19 и 22 сентября. Теперь я имею основание думать, что доверенность тебе вышлю на-днях,—тогда, моя милая, делай, как тебе угодно, нисколько не сомневаясь в том, что мне будет казаться наилучшим именно то, что ты сделаешь: если не станешь продавать дом и останешься дожидаться меня в Саратове,—значит, так было лучше; если продашь дом и приедешь в Петербург,—самое лучшее то, что для тебя лучше. Ведь ты знаешь, моя милая, что для меня самое лучшее то, что для тебя лучше. Ты умнее меня, мой друг, и потому я во всем с готовностью и радостью принимаю твое решение.—Об одном только прошу тебя: будь спокойна и весела, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все—вздор. У тебя больше характера, чем у меня,—а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время,—тем больше следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь.—В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомною „Историею материальной и умственной жизни человечества,“—историею, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет „Критический словарь идей и фактов,“ основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю „Энциклопедию знания и жизни“,—это будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей пуб-

лике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель.—А, впрочем, я заговорил о своих мыслях: они секрет, ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной (тех, которые будут читать это письмо прежде тебя, я не считаю, потому что они этими вещами не занимаются). Но я рассказал тебе это для того, чтобы ты видела, как далек я от всякого уныния,—о, нет, мой друг, редко когда бывал я так спокоен и доволен, как в это время. Смотри же, будь и ты спокойна и бодра. Ты здорова—только это и нужно мне, чтобы я был в хорошем расположении духа.

Но что тебе сказать о положении вздорного дела, которое служит причиною твоего огорчения и лишь по этому одному неприятно мне? Решительно ничего не мог бы я тебе сказать об этом, если бы даже говорил с тобою наедине, потому что сам ровно ничего не знаю: до сих пор мне не сказано ни одного слова об этом деле, и оно остается для меня секретом, которого не разгадал бы я при всем своем уме, которым так горжусь, не разгадал бы, если бы и захотел думать о вздоре, о котором и не думаю, будучи уверен, что важного тут не может быть ничего. Когда это дело кончится?—тоже не знаю; но вероятно скоро—ведь не годы же оно будет тянуться. Ну, может быть, протянется еще месяц, другой,—ведь три целых месяца уже прошло,—а может быть и одного месяца не протянется,—я ровно ничего не знаю, мой дружочек. Можно только судить по здравому смыслу, что большая половина нашего времени разлуки уже прошла. Будь же умница, мой дружочек, будь весела и спокойна,—за это я поклонюсь тебе в ножки и расцелую их.—Быть может, мой милый ангел, ты вздумаешь, что лучше тебе дождаться в Саратове доверенности, и выехать уже по продаже дома,—если так, то так; а впрочем, тебе виднее это; ведь тут все зависит от денег,—продав дом, ты будешь иметь их; а теперь имеешь ли? Напиши об этом. Когда мне скажут что-нибудь, я уведомлю тебя, а теперь ровно ничего не знаю и уж по этому одному должен все предоставлять единственно твоему рассуждению, моя золотая Ляличка, если бы не был всегда расположен во всем думать, что ты лучше меня можешь судить, как и что надобно сделать. Ведь ты у меня золотая умница, и за это я целую тебя. Твой *Н. Ч.*

Чуть не забыл приписать, что я здоров. Целую детишек. Будь здорова и спокойна. Тысячи и миллионы раз целую твои руч-

ки, моя несравненная умница и красавица, Ляличка,—не тоскуй же смотри, будь... А какая отличная борода отросла у меня: просто загляденье.

* * *

12 октября 1862 г.

Милый друг мой,

Вот посылается наконец и доверенность тебе, вместе с этим письмом. Теперь Ты, мой милый ангел, вольный казак, — получишь деньги за дом и можешь распорядиться, как тебе угодно: в Саратове ли оставаться, ехать ли куда хочешь — делай, моя золотая, как сама думаешь, и как Тебе лучше, — я вперед во всем с Тобою согласен, будь уверена.

Я, мой дружочек, занялся теперь работою, — перевожу, как писал Тебе, XV и XVI томы Шлоссера. Кроме того, я могу теперь покупать книги по своему выбору, и некоторые уже купил. Поэтому, голубочка моя, я провожу время уже совершенно без всякой скуки, и если б не забота о Тебе, каково-то Ты живешь без меня, — то мог бы сказать, что провожу время даже и приятно. Ведь сидел же я по пяти и шести суток безвыходно в своей комнате, ведь всегда был я дикарем, — вспомнив это, Ты поверишь, моя милая голубочка Ляличка, собственно для меня самого заключение ровно ничего не значит. Не тоскуй же, мой ангел, из напрасного участия ко мне.

Если ты собираешься ехать, мой друг, то умоляю Тебя, дождись, пока установится сносная дорога, и пожалуйста купи хороший экипаж.

Но во всяком случае, поедешь ли Ты в Петербург или нет, полагаю, моя милая, что Ты для меня будешь беречь себя и постараешься не грустить о вздоре, о котором не стоит думать и который ведь не бог же знает сколько еще времени будет тянуться. Будь же здорова и весела. Целую Тебя, мой друг Ляличка.

Твой *Н. Ч.*

Я здоров, целую детишек и еще и еще Тебя.

Вздумал я приписать еще вот что, мой ангел: пожалуйста, не подумай что я сколько-нибудь утаиваю перед Тобою свои желания, что, например, мне хотелось бы звать Тебя в Петербург, только я не говорю, или наоборот, что я не одобрял бы твоего намерения ехать в Петербург, только я опять не говорю, — нет, мой дружочек, поверь, что я говорю всю правду, когда говорю, что как Тебе покажется лучше, так и мне понравится. Не вздумай также руководиться обыкновенными толками глупых людей, что жена обязана поступать вот как или вот как, — нечего обращать внимания на такие толки: никто не обязан делать ничего кроме того, что ему самому будет лучше.

Не подумай тоже, мой дружочек, что я обманываю Тебя, когда говорю, что я провожу свое время без скуки, не чувствуя никакого обременения собственно по себе, — это правда, мой друг, мне стыдно было бы притворяться перед Тобою, когда я

знаю, что Ты передо мною никогда ни в чем не притворялась и не будешь притворяться. Уверяю Тебя, что мое состояние вовсе не таково, чтобы нужно Тебе было жалеть или грустить обо мне; верь мне, мой друг, не обманываю.

И опять я думаю: как бы не показалось Тебе, что мне не сильно хотелось бы поскорее увидеться с Тобою, — да нет, как же это можно, Тебе не должно это показаться, — ведь у меня только и радости на свете, что Ты. А только мне бы хотелось, чтобы обо мне-то Ты как можно меньше беспокоилась. Ну, жму Твою ручку и целую Тебя. Будь здорова и весела.

Вот видишь, как часто я писал Тебе в эти дни. Смотри же, не тревожься, если теперь письма пойдут не так часто, а по прежним промежуткам. — Ничего, погоди, все уладится и будем мы с Тобою жить и спокойнее и лучше прежнего, — это, поверь, правда. Ну, развеселись же, мое милое сокровище.

Допрос Н. Г. Чернышевского в следственной комиссии

1862 года октября 30 дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии содержащийся под арестом Николай Чернышевский на предложенные ему вопросы показал:

I.

Вопрос.[1] Как ваше имя, отчество и фамилия, из какого звания вы происходите и в каком чине состоите; сколько вам от роду лет; какого вы вероисповедания, бываете ли ежегодно на исповеди и у св. причастия, а если не бываете, то почему; на ком вы женаты и если имеете детей, то какого они возраста и где находятся; где вы воспитывались; когда окончили воспитание; после сего где именно вы проживали и чем занимались; по какому ведомству состояли на службе и какие занимали должности; числитесь ли вы теперь в службе, а если находитесь в отставке, то с которого времени; имеете ли вы или жена ваша недвижимую собственность, где и какую; не были ли до настоящего арестования под судом или следствием, если были, то когда, за что, где дело производилось и чем кончилось?

Ответ. Николай Гаврилович Чернышевский. Происхожу из духовного звания; имею чин титулярного советника и нахожусь в отставке; вероисповедания православного. На исповеди и у св. причастия бывал, но не ежегодно, пропуская иногда обычное время говения по множеству занятий. Женат на дочери покойного коллежского (или статского — не помню) советника Сократа Евгеньевича Васильева, служившего врачом при Саратовской удельной конторе; имя моей жены Ольга Сократовна. Мы имеем двух сыновей: Александра, 8 лет, и Михаила, 4 лет. Жена и дети мои находятся ныне в Саратове.

От роду мне 34 года. Воспитывался сначала в Саратовской духовной семинарии, потом в петербургском университете, в котором кончил курс в 1850 или 1851 году (кажется, в 1850, но не ручаюсь, что именно тогда, а не годом позже.)

По окончании курса служил сначала преподавателем во 2-м кадетском корпусе, потом (весною 1851 года, кажется) уехал учителем гимназии в Саратов; весною 1853 года возвратился в Петербург и служил года два опять преподавателем во 2-м кадетском корпусе; прослужив срок, требующийся для утверждения в чине, вышел в отставку, — кажется в начале 1856 или,

[1] В оригинале вопросы и ответы идут параллельно в два столбца.

может быть, и в начале 1855 года (последняя цифра, вероятно, точнее, но не помню хорошенько); потом, через год или год с небольшим, причислился на службу в С.-Петербургское губернское правление, не принимая никакой должности в нем, лишь бы считаться на службе, в угождение отца, которому это нравилось. Такое зачисление на службу устроил тогдашний петербургский вице-губернатор, г. Муравьев; когда он был переведен из Петербурга, и поступил новый вице-губернатор, незнакомый мне, разумеется, нельзя стало мне числиться на службе, не неся никаких занятий по ней, и я вышел в отставку—кажется, в 1858 году, а может быть и в 1859, — не припомню хорошенько.

Недвижимую собственность я имею: по наследству отца своего и своей матушки дом в городе Саратове и несколько десятин земли (должно быть, 25 или 30 десятин в Аткарском уезде Саратовской губернии).

Под судом не был.

С 1854 года, т. е. почти с самого возвращения в Петербург из учительства в Саратове, занимался литературою.

Вопрос. С кем вы знакомы в Петербурге, Москве и других местах России, равно за границею; и по какому случаю с каждым из них познакомились и в каких находились отношениях?

Ответ. Занимаясь в течение нескольких лет редакциею одного из больших журналов, я должен был быть знаком с сотнями или тысячами лиц в России. Пересчитывать их всех здесь было бы слишком долго, да и напрасно,—напрасно потому, что нужно только пересчитывать людей, писавших в журналах петербургских и московских, и тот, кто потрудится пересчитывать их, будет пересчитывать почти всех знакомых мне. Отношения эти у меня к ним были чисто литературные,—по помещению статей в журнале „Современник“ и по плате денег за статьи.— По случаю помещения статей г. Мечникова в „Современнике“ я писал ему раза два или три в Италию, где он тогда (в первой половине 1862 года) жил. Содержание писем моих к г. Мечникову было таково: „такая-то статья ваша получена или напечатана мною. Деньги за нее вам посылаются или будут посланы“.

Вопрос. По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетесь в сношениях с находящимися за границею русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду против нашего правительства, и сообщниками их в России; равно в содействии им к достижению преступных их целей.

Объясните: с кем именно из этих лиц вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши вследствие оных действия, а также, кто участвовал с вами в этом деле?

Ответ. Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было. Под русскими изгнанниками тут, вероятно, разумеются г.г. Герцен и Огарев (это предположение я высказываю здесь потому, что их фамилии мне были сказаны лицом, предлагавшим мне изустные вопросы), всему литературному миру известно, что я нахожусь в

личной неприязни с ними по делу Огарева с г-жею Панаевою из-за имения, которым управляла г-жа Панаева по доверенности г. Огарева. Неприязнь эта давнишняя.

Каких соумышленников имеют и имеют ли или нет каких соумышленников в России г.г. Герцен и Огарев—мне неизвестно.

Я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагаются подобные вопросы.

Прибавлю, что и по делу г. Огарева с г-жею Панаевой я не имел ни с Огаревым, ни с Герценом никаких сношений. Точно также не имел я сношений ни с кем другим из русских изгнанников.

Второй допрос Н. Г. Чернышевского

1862 года ноября 1 дня в высочайше учрежденной в С-Петербурге Следственной комиссии отставной титулярный советник Чернышевский на предложенный ему вопрос показал:

Вопрос. На предложенный вам комиссией 30 минувшего октября, на основании имеющихся в оной сведений, вопрос: с кем из находящихся за границей русских изгнанников и других лиц, распространяющих злоумышленную против нашего правительства пропаганду, равно с сообщниками их в России, вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши, вследствие оных, действия, а также кто участвовал с вами в этом деле, вы вместо прямого и категорического ответа обратились к комиссии с вопросом, выразив его следующими словами: „Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было“ и далее говорите: „я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагают подобные вопросы“. Комиссия, признавая эти выражения в ответе на вопрос ее совершенно неуместными и имея в виду 182 ст. 2 кн. XV тома Св. зак. уголов., по которой ответы должны излагаться без всяких околичностей,—предлагает вам по содержанию вышеприведенного вопроса дать объяснение, согласное с требованием закона.

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Ответ. Ни с кем из лиц, распространяющих злоумышленную против правительства пропаганду и ни с кем из находящихся за границей русских изгнанников и ни с кем из их сообщников в России я не был ни в каких сношениях.

Отставной титул. сов. Н. Чернышевский.

Прибавлю, что мне неизвестно, находятся ли таковые сообщники у них в России.

Отст. титул. сов. Н. Чернышевский.

Письмо Н. Г. Чернышевского к Александру II

Всемилостивейший Государь.

Я был арестован 7-го июля. Меня призвали к допросу 30-го октября, почти через четыре месяца после моего ареста. Если

бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его. О чем же меня спросили? О том, „в каких отношениях я нахожусь к русским изгнанникам, Огареву и Герцену".—Я отвечал: „в неприязненных, это всем известный факт; он должен быть известен и комиссии".—Ничего не нашли сказать мне, ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва ли продолжался 10 минут. Я подождал еще 2 недели, не имеют ли о чем спросить меня, кроме этого; меня не призывали. Тогда я выразил сам желание, чтобы меня пригласили в Следственную комиссию; ждал приглашения 4 дня; не получил его и обратился к его превосходительству г. коменданту С.-Петербургской крепости с запискою, по которой мне разрешено теперь писать к вашему величеству.

Государь, не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения,—я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно и других обвинений нет. Вот первое мое основание. Вот второе: когда я выразил желание, чтобы меня пригласили в комиссию, я хотел через нее просить разрешения писать к вашему величеству; но это не было известно комиссии, она не могла знать, зачем я желаю быть приглашен. В подобных случаях самое естественное предположение всякого следователя то, что арестованный желает сделать признание или показание, открывающее какую-нибудь тайну. Если бы комиссия имела это предположение, она поспешила бы пригласить меня. Но она не пригласила; следовательно, она не имела такого предположения. А не иметь его она могла потому только, что из самого дела ей было очевидно, что мне не в чем признаваться и нечего открывать.

Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену, значит, показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературою, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую имел Огарев с одним из знакомых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но ваше величество может увидеть эту причину

из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте, в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним à la baron Vidil (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит вашему величеству самое письмо их.

Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений,—если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего величества подданный *Н. Чернышевский*

20 ноября 1862.

Письмо к кн. А. А. Суворову

20 ноября 1862.

Ваша Светлость,

В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается,—обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть.

Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать, как угодно: или за выражение действительного моего уважения и доверия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь другое дело.

Осмеливаюсь напомнить вашей светлости два случая. Однажды, вы сказали мне, чтобы я постарался остановить подписывание адреса о Михайлове. Я сказал, что не слышал о таком адресе и что едва ли он существует, но что спрошу об этом. Я спрашивал и оказалось, что, действительно, никакого адреса не существовало. А ведь ясно было, что вашей светлости говорили, что в числе хлопочущих о подписывании адреса нахожусь и я.—В другой раз, вашей светлости было сказано, что я собираю у себя офицеров,—это было прошлой зимой. Вы были так добр, что передали мне это, предостерегая меня. А у меня во всю зиму не было никаких собраний.

Эти два обстоятельства могут свидетельствовать, что не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда, год тому назад,

умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100 000 р., по другим—400 000 р. Или другой слух—даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича „Школа гостеприимства"; я в ней выведен под именем Черневского, которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо,—то есть я,—выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодный: я не ем почти ни одного блюда франц. кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю.

Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не-политическим, в роде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых.

Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромен, потому скажу просто: я был человек, очень заметный в литературе. Как о всяком человеке, которым много занимаются, говорят много пустого, так говорили и обо мне.

Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его—неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его,—излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. Это главное. А притом, ваша светлость не раз говорили мне совершенно справедливо, что закону и правительству нет дела до образа мыслей, что закон судит, а правительство принимает в соображение только поступки и замыслы. Я смело утверждаю, что не существует и не может существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству.

Должен ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их не может существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне—завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу, и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте:

опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года.

Или нужно доказывать, что я знал очень давно, что за мною следят? Теперь: правдоподобно ли, чтобы человек, уже не молодой (мне далеко за тридцать лет), заваленный работой, живущий в изобилии, с каждым годом имеющий больше дохода (в 1860 г. я получил до 10 000 рублей, в 1861 г. до 12 000 р.— это можно видеть из счетных книг журнала „Современник"—в нынешнем, если бы не арест, получил бы, по крайней мере, 15 000 р.; это можно видеть из расчетов, находящихся в моих бумагах; остановка издания „Современника" расстраивала мои доходы месяца на два, на три; когда я был арестован, я изготовил издания, которые дали бы мне больше дохода, чем давал журнал)— следовательно, человек, не имеющий личной надобности желать перемены вещей,—человек, имеющий на своих руках семейство,—человек, которого еще никто не считал дураком,—чтобы такой человек стал ввязываться в опасное дело,—правдоподобно ли это, ваша светлость? Правдоподобно, чтобы он стал это делать, зная, что за каждым его шагом следят?

Прося вашу светлость представить государю мое письмо к его величеству, я должен объяснить вам, что смягчил рассказ о моем допросе, отчасти для краткости, а больше потому, что считал неуместным говорить в этом письме о канцелярских промахах, вероятно, неумышленных. Выражение письменного допроса было не „объясните, в каких отношениях находились вы к Огареву и Герцену",—а „объясните ваши сношения, о которых имеются в комиссии сведения", но прежде, нежели дали мне эту бумагу для письменного ответа, один из членов комиссии делал мне изустный допрос (который и продолжался не более 10 минут). Это лицо не решилось сказать в глаза мне того, что было написано в бумаге, а употребило именно те слова, которые привожу я в письме к его величеству: „объясните, в каких отношениях" и проч., и не решилось заговорить о „сведениях, имеющихся" и проч. Итак, в письме к его величеству я говорю об изустном допросе. Что же касается письменного, то я, прочитав выражение об „имеющихся сведениях", вспыхнул и написал горячие слова: „очень интересно было бы знать, какие могут быть сведения о том, чего не было. Я принужден выразить свое удивление тому, что подобные вопросы предлагаются мне". Через два дня меня призвали в комиссию, сказали, что по закону нельзя допустить таких резких выражений, попр сили на другом листе повторить прежний ответ без этих выражений,—я с гласился, потому что не люблю тягаться из пустяков. Но и тут мне не отважились ничего сказать о каких-то „имеющихся сведениях" о небывалых „сношениях". А тут ведь уже нельзя, кажется, было бы не сказать о них, если бы было, что сказать, Напротив, тут уже были со мною любезны, мы даже об енялись несколькими шутками,—почему же и не шутить? Я это люблю. Словом сказать, очевидно, что и „имеющиеся сведения" просто была кан-

целярская фраза, употребленная, вероятно, и не по злому умыслу, а только по машинальной привычке. Не стоило бы и говорить о ней, но на всякий случай говорю, сожалея о том, что утруждаю вашу светлость такими дрязгами.

В письме к его величеству я упоминаю о тяжбе Огарева с „одним из знакомых мне лиц"; это лицо—г-жа Панаева. Тяжба кончилась года два тому назад. Я не имею к ней никакого отношения.

Я упоминаю также о лицах, которым во время моего арестования выражал, что обвинений против меня быть не может и что все дело состоит, без сомнения, в недоразумении или ошибке. Эти лица, по порядку времени: г-н полицейский чиновник, находившийся при моем арестовании; чиновник, с которым я ехал из дома III отделения собственной его величества канцелярии в С.-Петербургскую крепость, и, наконец, его превосходительство, господин комендант крепости.

Следовало бы мне благодарить вашу светлость за то, что вы приняли на себя ходатайство по моему делу; но не хочу теперь делать и этого, чтобы не могло быть ничего, могущего заставить вашу светлость думать, что в моих словах не все говорится для правды, а хотя что-нибудь и для одного вида. Отлагаю выражение моей правдивой благодарности к вашей светлости и за это ходатайство и прежнюю вашу благосклонность ко мне до того времени, когда опять буду вне прямой зависимости от вас.

С глубоким уважением и искреннейшею преданностью имею честь быть вашей светлости покорнейший слуга *Н. Чернышевский*

Письмо председателя следственной комиссии шефу жандармов [1].

Милостивый государь, князь Василий Андреевич. Ваше сиятельство, препровождая ко мне, по высочайшему повелению, два письма Чернышевского, из коих одно на имя государя импе-

---

[1] К письму кн. Голицына была приложена следующая „записка" „о литераторе отставном титулярном советнике Николае Чернышевском":

„Литератор Чернышевский арестован по распоряжению III отделения собственной его императорского величества канцелярии и 7-го июля 1862 г. по высочайшему повелению отправлен в крепость для содержания в Алексеевском равелине.

Поводом к арестованию Чернышевского послужили привезенные из Лондона в Петербург отставным коллежским секретарем Ветошниковым письма от Герцена, Бакунина и Кельсиева к разным лицам, в том числе к отставному надворному советнику Николаю Серно-Соловьевичу.

Письма эти обнаруживали сношения лондонской русской пропаганды с некоторыми лицами, проживающими в России, и намерение распространить в империи сочинения, которые предполагают издавать в Лондоне, с явною целью нарушить общественное спокойствие.

В письме к Серно-Соловьевичу Герцен писал: „мы готовы издавать „Современник" здесь с Чернышевским или в Женеве—печатаем предложение об этом. Как вы думаете?".

При обыске у Чернышевского найдено письмо без подписи и без обращения, к кому оно написано, с выскобленными в нем многими словами.

Письмо это, судя по содержанию, писано Герценом. В нем, между прочим, говорится: „истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому что наши шалят.

ратора, а другое на имя князя Суворова, сообщили мне, что его величеству угодно, чтобы я, не говоря о сих письмах ни князю Суворову, ни кому другому, возвратил их вам, с надлежащими справками и с моим собственным заключением, для всеподданнейшего доклада.

Во исполнение сей высочайшей воли, прилагая при сем подробную записку о Чернышевском, составленную из всех бывших о нем производств, я по содержанию сих писем долгом считаю отдельно объяснить здесь следующее. Сущность их заключается в разборе медленных действий комиссии относительно его личности и свойства вопросов, которые ему были даны. Приняв основанием эти два предмета, Чернышевский в пространных и разнообразных рассуждениях приходит к заключению, что не

Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Чер. поручил тому господину, который в... (слово выскоблено) не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество; на что это похоже? Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в „Современнике" статью прямо против нас, т. е. что напрасно так говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало вздор, что Европа не умирает потому, что когда одному человеку 60 лет, то зато другому 20, и что те, кто это говорят — дураки и лжецы, с намеком, что речь идет об нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще действительно с преднамеренною ложью? Плохо дело. Горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона. Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа правды и доблести из-за личных страстишек и видов; продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок к этой статье сказано, что растение умирает оттого, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться. Хорош скептицизм! Нет! Поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело — непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Но, будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а помехой делу, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружески, но военным кулаком по такой дребедени". — Далее в письме говорится о требовании со стороны издания, о тройной форме присяги, о подписке на сбор денег, об учреждении контор на трех торговых пунктах, как-то: Нижегородской ярмарке, которой-либо при приднепровских и в Ирбите или в ином урало-сибирском пункте; о проекте местных банков, системе рекрутства, и в заключение выражено: „мы никогда бы не догадались, что Черныш. á la Baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником!!"

Далее в „записке" приводятся сведения о Чернышевском из шпионской слежки за ним с конца 1861 г.

Заканчивается „записка" следующими словами:

„Независимо обвинений Чернышевского по распространению пропаганды, комиссия, имея в виду вредное направление литературных статей его, помещенных в журнале „Современник", вследствие чего издание этого журнала под редакцией Чернышевского воспрещено, признала нужным: подвергнуть статьи строгому разбору и сделать из них общий вывод, чтобы тем определить литературные тенденции Чернышевского.

Разбор этот сделан и принят в соображение при дальнейшем направлении дела; а между тем, для улики Чернышевского в злонамеренных его действиях ожидается из Москвы от состоящего под судом отставного корнета Костомарова показание, с указанием фактов как против Чернышевского, так и других лиц".

было настоящего повода к его обвинению и „что спрашивать его не о чем". Соображая и поверяя действия комиссии, я нахожу, что одновременно с арестованием Чернышевского предстоял еще не маловажный труд пополнить все сведения поверкой и оценкой опечатанных у него бумаг. Эти предварительные занятия представлялись тем более необходимыми и важными, что и самое арестование последовало по поводу задержания писем от Герцена, Бакунина и Кельсиева у возвратившегося из Лондона Ветошникова. В числе сих писем одно от Герцена к Серно-Соловьевичу обнаружило сношения первого с Чернышевским. Между тем, труды комиссии значительно увеличились. Кроме главного дела, ей порученного, множество других поступило к ней из разных ведомств, но почти в одно время. Все эти дела ею рассмотрены и приведены к окончанию. При таких обстоятельствах трудно было сблизить и ускорить допросы Чернышевскому. Между тем, новое обстоятельство невольным образом отложило их возобновление. Комиссия, для большей улики, ожидает показаний Костомарова. Рассмотрение и собрание их, совокупно с имеющимися о Чернышевском сведениями, определит степень прикосновенности его в общем деле.

Обращаясь затем ко второму предмету разбора Чернышевского в означенных письмах его, т. е. к свойству и смыслу вопросов, данных ему комиссиею, я нужным считаю заметить, что вопросы ограничились первоначально в известных пределах и составились из тех сведений, кои были у нее в виду. Неуместные ответы Чернышевского и самое его упорство вызывали со стороны комиссии указание на статьи уголовных законов. Отвергая в последующих ответах своих существование каких-либо сношений с лондонскими изгнанниками, он утверждал, что он находится в личной неприязни с Герценом и Огаревым. Письмо Герцена к Серно-Соловьевичу, содержание коего означено в приложенной при сем записке, служит лучшим доказательством несправедливости его показания.

Сообразив содержание писем Чернышевского с изложенными обстоятельствами, до него касающимися, я полагал бы оставить их без последствий.

Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности.

Князь Александр Голицын.

С.-Петербург.
30 ноября 1862 г.

СООБЩЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ЖЕНЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ КОМЕНДАНТУ КРЕПОСТИ

Телеграмма жене

Депеша

Саратов. Чернышевской. У Сергия. Собственный дом.

Делай все, что нужно твоему здоровью. Делай сама, не спрашиваясь меня. Тебе лучше видно. Приезжай в Петербург, если

нужно здоровью. Только запасись деньгами, чтобы не нуждаться. Я здоров. Целую тебя. Отвечай. Чернышевский.

Саратов. Чернышевской у Сергия свой дом.

Делай нужное здоровью не спрашиваясь тебе виднее приезжай сюда если нужно здоровью запасись деньгами здоров целую отвечай Чернышевский.

Представляю в комиссию на разрешение. Генерал-лейт. Сорокин. 29 ноября.

Письма коменданту крепости

Ваше Превосходительство,

Из телеграммы, переданной мне от Вас, Вы видели, что жена моя тяжело больна. Необходимо поддержать ее. А для этого нужно успокоить ее. Потому прошу Вас выхлопотать разрешение на посылку прилагаемой телеграммы. Я в ней говорю, что мое дело на-днях кончится, скоро ли оно кончится, и так или нет кончится, как я говорю в телеграмме, это для меня все равно,—я тут имею в виду только здоровье моей жены. Правительство, конечно, нисколько не свяжет свободы своих распоряжений моею личною судьбою через то, что не запретит мне говорить больной женщине те вещи, какие нужно теперь говорить ей для восстановления ее здоровья. Но сделайте одолжение, устройте чтобы телеграмма была послана поскорее. Это я приму за очень большое личное одолжение себе.

2 декабря 1862 г.

Н. Чернышевский.

Пометка Потапова: Телеграмма отправлена 3 декабря.

* * *

Это не письмо, а просьба.

Отрываю этот полулист от письма г. А. Пыпина, которое возвращается вместе с моим письмом к г. Пыпину.

Н. Чернышевский.

Чернышевский покорнейше просит, если можно, не задерживать так долго писем, присылаемых к нему и писем отправляемых им. В этих письмах речь идет о семейных делах, в которых промедление очень неудобно. По мнению Чернышевского можно было уже достаточно убедиться, что в его переписке не заключается ничего, требующего слишком долгого разбора,—речь идет о семейных делах, и только. Кто не замечает того с первого же взгляда, и кто думает над этими письмами, нет ли в них какого-нибудь тайного смысла, тот не мог бы назваться хорошим следователем. Потому Чернышевский покорнейше просит не держать его писем по 4 дня, по 6 дней, иногда и по 7 или 8 дней понапрасну.—Он не говорил ничего против этого, когда в письмах не было ничего, требующего скорой

доставки. Но содержание писем настоящего времени заставляет Чернышевского выразить эту просьбу. Понятно, что когда дело идет о здоровье и болезни, то промедление не должно быть допускаемо лицами, которые не желают вредить людям без нужды в вещах, не относящихся ни к политике, ни к канцелярской тайне, а относящихся просто к физическому здоровью. Кстати, он может, например, уверить, что не для чего было бы наводить справки о лицах, фамилии которых упоминаются в настоящем письме, — Шепулинский, Эк и т. д. — это известные петербургские медики, а Чебышев и Сомов — известные профессоры математики, и ни они к Чернышевскому, ни он к ним не имели никогда ровно никаких отношений, — он смеет уверить в этом. Конечно, он должен был бы предполагать, что это известно и без объяснений с его стороны, но все-таки объясняет, чтобы не вышло задержки из-за этих фамилий. П. В. Анненков — брат петербургского полицеймейстера. — Н. Чернышевский. 3 декабря 1862.

P. S. Чернышевский просит не оскорбиться тем, что он написал это с некоторою желчью, — он просит обратить внимание на сущность дела, которая служит достаточным пояснением того, что он увлекся некоторою досадой. Например, письмо в котором жена просит его прислать ей телеграмму о том, что ей делать, и в котором говорит о своей тяжелой болезни, — это письмо, отправленное из Саратова 16 ноября, доставлено Чернышевскому только **29 ноября** — а почта из Саратова идет, только 6 дней, ныне может быть только уже 5 дней, если готова нижегородская дорога. Чернышевский не знает, от кого происходит такое промедление; но он полагает, что оно ни в каком случае не может быть одобрено правительством.

***

Ваше Превосходительство,

Я написал два проэкта телеграммы к моей жене. Конечно, я желал бы, чтобы был отправлен тот, который отмечен № 1,— но только в том случае, если его содержание справедливо. Я не буду спрашивать, отправлен ли он, — следовательно, как мне кажется, тайна того, долго ли еще протянется мое дело, не будет открыта мне отправлением этой телеграммы. Если же все-таки найдут невозможным послать ее, то я прошу послать проэкт, отмеченный № 2-м. — 7 декабря 1862. — Н. Чернышевский.

P. S. Если справедливость потребует заменить в проэкте телеграммы № 1-й слово месяц словами полтора месяца, или другим сроком, то я прошу сделать это. Но только в том случае, если этот срок не больше двух месяцев. Если же справедливость потребовала бы поставить два месяца, или срок более долгий, то лучше будет не посылать проэкта № 1, а послать № 2. — 7 декабря 1862 г. Н. Чернышевский.

P. P. S. Если бы согласились послать № 1, и нашли соответствующим истине заменить слово месяц словами полтора меся-

ца, то есть одно слово двумя, то надобно было бы слово „извести депешей“ заменить одним словом „телеграфируй“,— и число слов осталось бы попрежнему двадцать. 7 дек. Н. Чернышевский.

Письмо жене

Имея привычку действовать прямо, я и пишу прямо. Но если это письмо не будет найдено удобным к отправлению, то я буду знать, что оно было найдено неудобным к отправлению, и только всего. Мне казалось, что здоровье моей жены возлагает на меня обязанность изложить ей мое дело. А излагать его иначе—нельзя, потому что я лгать не стану.

7 декабря 1862 г. Милый друг, Ляличка.

Когда ты уезжала, я говорил тебе, по поводу слухов беспрестанно разносившихся, о моем арестовании „не полагаю, чтобы меня арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометируют правительство опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было дело“. Эти слова мои верны, и я тебе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, — вероятно, не для одного Петербурга, но и для европейской публики,—моя история конечно уже разгласилась, потому можешь и Ты знать ее.

Почему я полагал, что меня не арестуют? Потому, что я знал, что за мною следили, и хвалились, что за мною следят очень хорошо. Я имел глупость положиться на эту похвальбу. Мой расчет был: если хорошо будут знать, как я живу и что я делаю, и чего не делаю, то подозрения против меня уничтожатся,—и кто подозревал, те убедятся, что напрасно смешивали меня с людьми, которые запутываются или могут быть запутаны в так называемые „политические преступления“. Я сказал, что этот мой расчет на справедливость похвальбы хорошим наблюдением за мною,—был глуп. Он был глуп потому, что я знал, что у нас ничего не умеют делать как следует, какое же право имел я делать свой случай исключением из правила,—верить, что за мною следят, как следует? — Мой арест показал мне, что вместо того, чтобы действительно следить за мною, просто без разбора собирали пустые слухи и верили всяким вздорам,—что у нас не редкость. Таким образом, неуменье наших агентов политической полиции исполнять свою обязанность разрушило первое из двух положений, из которых одно необходимо должно было быть верным, потому что не было никакой возможности для третьего случая, кроме двух единственно возможных, обнимаемых моими предположениями. Таким образом, осуществилось второе из этих предположений: моим арестованием компрометировали правительство.

Арестовали — и подумали: „в чем же мы будем обвинять его?“—у нас это часто бывает: сперва сделают, а потом подумают, как разделаться с тем, что сделали, — обвинений против

меня не оказалось, когда вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинения против меня.—Что тут было делать? Человек арестован, а обвинений против него нет, ведь это, что называется, казус. Вот, над этим казусом думали четыре месяца. Я сидел арестованный,—читал, курил, спал,—потом: читал, переводил, курил и спал,—иногда скучал, а больше даже и не скучал, а покачивал головой и улыбался—а там все думали, думали,—пришли наконец к заключению: „скверный казус, обвинений нет как нет, да и только". — Теперь вот месяц думают над этим выводом, — как тут быть, как поправить этот скверный казус, что арестовали человека, против которого нельзя найти никаких обвинений, — я читаю, перевожу, курю, сплю, — а там думают, сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком,—это бы, пожалуй, еще и не тяжело сделать, но что, если он не примет извинения, а скажет „у вас против меня нет обвинений, а у меня против вас есть, и очень важное, обвинение: вы компрометировали правительство, и моя обязанность—объяснить правительству, что его интересы требуют, чтобы оно защищало себя от людей его компрометирующих",—ну, что если я скажу такие слова в ответ на извинение?—Согласись, что слышать такие слова неприятно тем, к кому они будут относиться. — Тебе известно, что всякий старается по возможности отдалить неприятность — вот поэтому теперь и медлят моим освобождением. Но это не может длиться много времени.—Правительство спрашивает по временам: ну, что же, какие обвинения найдены против Черн.? — нельзя же долго отмалчиваться от правительства, и надобно будет сказать: „мы против него не нашли обвинений, а у него есть обвинение против нас".—Вот теперь я и жду, когда правительство добьется этого ответа,—единственного возможного ответа,—от тех, которые должны отвечать правительству за мой напрасный арест.

Вот и вся история. По всей вероятности, развязка ее уже очень недалека.—До свиданья же.

Твой Н. Чернышевский[1].

Пометка кн. Долгорукова: Д(оложено) Е[го] В[еличеству] 14 декабря.

Потапов—коменданту крепости

11 января 1868 г., № 98.

Высочайше учрежденная в СПБ Следственная комиссия по докладе мною словесной просьбы содержащегося в Алексеевском равелине тит. сов. Чернышевского, чтобы ныне же было дано разрешение на свидание его с женою, приезд которой из Саратова ожидает г. Чернышевский, постановила объявить

---

[1] Письмо было задержано. В деле имеется следующая карандашная записка начальника III отделения Потапова:

„Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене, удержанного комиссиею. Но он ошибается: извиняться никому не придется".

просителю, что таковое ходатайство еще преждевременно и разрешение не может быть дано ранее полного разъяснения производящегося о нем дела.

Письма Н. Г. Чернышевского коменданту крепости

Надеясь, что дело его достаточно разъяснено теперь, Чернышевский имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство представить с вашим ходатайством на рассмотрение, кому следует, его желания:

1. Чтобы ему немедленно было разрешено видеться с его женою, постоянно.

2. Чтобы комиссия пригласила его для сообщения ему тех сведений о положении его дела, которые могут быть сообщены без всякого нарушения какой-либо следственной тайны, — именно, в какое, приблизительно, время дело Чернышевского может быть окончено производством. Чем оно окончится, этого он не спрашивает; это ему известно; но когда оно кончится,—это он желает знать.

Н. Чернышевский.

22 января 1863 г.

P. S. Если он не получит ответа до четверга вечера (24 ч. января), то он будет знать, что не нашли удобным или нужным обращать внимание на эти его желания.—22-го января 1863 года.

Н. Чернышевский.

Препровождаю его превосходительству Александру Львовичу на усмотрение. 22 января 1863. Генерал-лейтенант Сорокин.

* * *

Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г-на коменданта известить его, получен ли его превосходительством какой-либо ответ на записку Чернышевского от 22-го числа этого месяца.—Вечер, 24-го января 1863 г.

Н. Чернышевский.

* * *

Из первых двух строк 4-й страницы письма г-жи Чернышевской от 24 января к ее мужу видно, что г-жа Чернышевская встречала затруднения в получении вида на проживание в Петербурге. Но из этого же письма ее от 24 января можно видеть, что жить ей в Петербурге нужно уж и для одного леченья, не говоря о других причинах. Чернышевский просит его пр-во г. коменданта сделать то, что от него зависит, чтобы избавить больную женщину от полицейских—для чести полиции, Чернышевский предполагает только—недоразумений.

Н. Чернышевский.

27 января 1863 г.

* * *

Так как только через Ваше превосходительство я имею сношения с правительством надежным для меня образом, и так как,

без сомнения, будет спрошено Ваше мнение о случае, возбуждаемом мною [1], то я с Вашего согласия, изустно сообщенного мне г. смотрителем, письменно прошу Вас прямо сказать мне, изустно или письменно: достаточно ли убеждены Вы в совершенной серьезности и твердости моей воли, которая была изустно объявлена мною Вам. По неопытности в различении симптомов страдания, я слишком рано приостановил продолжение начатого мною. Но я держу свой организм в таком состоянии, что результаты, которых я достиг в предыдущие 10 дней, нисколько не пропадают; и если ваше превосходительство еще недостаточно убеждены, я возобновлю свое начатое, без всякой потери времени, с прежним намерением итти, если нужно, до конца. Мне неприятен скандал, но не я причина его; вероятно, и Ваше превосходительство также нисколько не причина его,—по крайней мере, я в том убежден, что Вы—не причина его.

Прошу Вас отвечать мне—этого требует уж и обыкновенная учтивость. Но если Вы не будете отвечать ныне (в среду), это будет для меня значить, что Вы недостаточно убеждены в серьезности моего намерения. В таком случае прилагаемая (запечатанная) записка моя к его светлости г. генерал-губернатору не может иметь успеха, и для меня все равно, как Вы найдете нужным распорядиться ею.

Если же Вы достаточно убеждены в серьезности и твердости моей воли, я прошу Ваше превосходительство помочь мне испытать последнее средство избежать мне развязки, гибельной для меня и невыгодной для правительства: я прошу Вас передать его светлости г. генерал-губернатору мою записку к нему. Она запечатана,—это требуется деликатностью относительно его светлости. Но копия записки остается у меня, и если Вам нужно или угодно, Вы можете взять у меня копию, которую я в таком случае пришлю Вам также запечатанною, как это письмо,—запечатанною потому, что я желаю избежать всякого скандала.

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга Н. Чернышевский.

P. S. Понятно, почему я приостанавливаю начатое, когда в последний раз пробую вступить в переговоры,—это для того, чтобы по возможности не иметь ненужного угрожающего вида.

Н. Чернышевский.

---

[1] Речь идет о голодовке. Донесение коменданта от 3 февраля о голодовке Ч. было доложено Александру II 6 февраля. Относительно настоящего письма шеф жандармов кн. Долгоруков положил 7 февраля резолюцию: „Препроводить на усмотрение высочайше учрежденной комиссии. Высочайше разрешено оставить без последствий;—что касается намерения Ч. снова лишать себя пищи, то комиссия вероятно примет по сему предмету надлежащие меры".—12 февраля Потапов уведомил коменданта о решении комиссии, что Ч. „свидание с женой дозволено быть не может по неудовлетворительному состоянию здоровья и что разрешение последует в то время, когда он будет совершенно здоров". На следующий же день комендант донес, что „Ч. здоров и деятельно занимается переводом Гервениуса" (т. е. Гервинуса). 18 февр. комиссия разрешила Ч. первое свидание с женой, которое состоялось 23 февр.

P. P. S. Прошу, Ваше превосходительство, не пренебрегайте моею просьбою. Дело нисколько не шуточное. С этой минуты, если еще эта попытка не удастся, я уже не буду тревожить никого ни одним словом.

Письмо Н. Г. Чернышевского к князю А. А. Суворову

Ваша светлость, Я обращаюсь к Вам, как человеку, в котором соединяются два качества, очень редкие между нашими правительственными лицами: здравый смысл и знание правительственных интересов. Моя судьба имеет некоторую важность для репутации правительства. Она поручена людям (членам Следственной комиссии), действия которых показывают—тупость ума или всех их, или большинства их,—говорю прямо, потому что это мое письмо, ведь, не для печати. Для меня жизненный вопрос, а для репутации правительства не ничтожное дело, чтобы на мою судьбу обратил внимание человек, могущий здраво судить о правительственных интересах, каким я знаю вашу светлость.

Мои желания—очень умеренны. Я могу указать средства, которыми правительство может исполнить их с честью для себя, нисколько не принимая вида, что делает мне уступку,—нет, вид будет только тот, что оно узнало ошибку некоторых мелких чиновников, и как скоро узнало, благородно исправило ее.

Это объяснение гораздо удобнее было бы сделать изустно, чем письменно: в разговоре всякие недоумения с той или другой стороны тотчас же могут быть устранены. Потому я прошу вашу светлость навестить меня. Но если Вы не имеете времени исполнить эту просьбу, я прошу у Вас разрешения писать к Вам,—но лично к Вам, и только к Вам,—потому что, как я сказал, я только в Вас вижу качества, какие нужны государственному человеку для здравого понимания государственных интересов и выгод правительства.

С истинным уважением имею честь быть вашей светлости покорнейшим слугою, Н. Г. Чернышевский.

7 февраля 1863.

Записку и письмо Чернышевского к князю Суворову, полученные в 2 ч. пополудни, при сем к е. п-ству Александру Львовичу препровождаю. 6 февраля 1863 года. Генерал-лейтенант Сорокин.

* * *

Чернышевский коменданту крепости

Ответ Вашего превосходительства передан мне в неясном виде,—это обыкновенное неудобство сношений чрез третье лицо. Я спрашивал вас: совершенно ли вы убеждены в твердости моего намерения, —прошу Вас прислать в ответ одно из двух слов: „да“ или „нет“, не прибавляя к этому одному слову ничего, чтобы опять не вышло путаницы. Итак—„да“ или „нет“.

Н. Чернышевский.

7 февраля 1863 г.

Потапов—следственной комиссии

7 февраля 1863 г., № 407.

Состоящий при С.-Петербургской крепости доктор Окель донес коменданту оной от 3-го сего месяца, что титулярный советник Чернышевский воздерживается с некоторого времени от всякой пищи, вследствие чего заметно ослаб; что цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый, что прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, а 3-го числа объявил, что не намерен принимать таковые и что он воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу. О таковом донесении доктора Океля, сообщенном мне комендантом крепости, считаю долгом уведомить Следственную комиссию.

Управляющий Отделением свиты е. в. г.-м. Потапов.

Выписка из журнала следственной комиссии

11 февраля 1863 г.

V. Управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии, от 7 сего февраля за №№ 400 и 407, препровождает в комиссию полученные от содержащегося под арестом в Алексеевском равелине отставного титулярного советника Чернышевского две записки и письмо на имя генерал-адьютанта князя Суворова и сообщает, что вследствие рапорта состоящего при крепости доктора Окель, Чернышевский отказывается от принятия пищи, вследствие чего произошла уже некоторая в состоянии здоровья его перемена. По рассмотрении в комиссии помянутых записок и письма, положено: приобщить оные к делу.

Н. Г. Чернышевский—коменданту крепости

Вот неделя проходит после моего свидания с вами, и мне кажется, что ждать больше — было бы напрасною потерею времени, и что вам пора принимать против меня меры строгости, о которых вы говорили.

Н. Чернышевский.

14 февраля 1863 г., утро.

Суворов—коменданту крепости

Секретно.

Милостивый государь,
Александр Федорович.

До сведения моего дошло, что содержащийся в Алексеевском равелине здешней крепости литератор Чернышевский написал на мое имя письмо, которое, как Ваше превосходительство объявили мне при личном свидании со мною, с вашего разрешения было запечатано, для отправления по принадлежности. Между тем, означенного письма я не получил по настоящее

время, и оно, как ныне сделалось мне известным, передано в Следственную комиссию, высочайше учрежденную под председательством статс-секретаря князя Голицына.

Считаю долгом заявить Вашему превосходительству, что адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю и прочитываю сам и никому еще не давал права вскрывать и читать подобные письма прежде меня; поэтому и письмо литератора Чернышевского следовало доставить ко мне не распечатанным.

С.-Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице, высочайше вверенных моему управлению, состоит и в моем ведении, как здешнего военного генерал-губернатора; посему, если Ваше превосходительство имеете особую инструкцию, на основании которой письма, адресованные на имя князя Суворова, от лиц, содержащихся в С.-Петербургской крепости, должны быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому писать ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения, и тогда я и спросил бы предварительно у государя императора разрешение могу ли принять письмо от этого арестованного. Если бы высочайшего соизволения на это не последовало, в таком случае литератору Чернышевскому не представлялось бы и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть доставлено по адресу, по моему убеждению значит злоупотреблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши такое предупреждение, без сомнения отказался бы от намерения обращаться ко мне с письмом.

В заключение покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить меня, на каком основании означенное письмо литератора Чернышевского не было доставлено ко мне, а препровождено в Следственную комиссию.

Само собою разумеется, что я ни в каком случае не счел бы себя в праве прочесть или даже распечатать письмо Чернышевского без высочайшего соизволения, ибо этот арестованный не состоит в моей зависимости.

Примите, Ваше превосходительство, уверение в совершенном почтении и преданности.

Подписал князь Суворов.

20 февраля 1863 г.[1]

Потапов—коменданту крепости

12 февраля 1863 г., № 431.

Высочайшее учрежденная в СПБ Следственная комиссия в заседании 11 февраля положила объявить содержащемуся в

---

[1] Сорокин отвечал, что Алексеевский равелин состоит в ведении III отделения, письма содержащихся в нем всегда передавались секретно в III отделение, „на том же основании было поступлено и с письмом содержащегося в Алексеевском равелине Чернышевского, адресованным вашей светлости".

крепости тит. сов. Чернышевскому, что свидание ему с женою в настоящее время дозволено быть не может по неудовлетворительному состоянию здоровья Чернышевского и что разрешение последует, когда он будет совершенно здоров.

Выписка из журнала следственной комиссии

18 февраля 1863 г.

Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии, от 13 сего февраля за № 469, сообщил комиссии, что содержащийся в Алексеевском равелине отставной титулярный советник Чернышевский в настоящее время здоров и деятельно занимается переводом истории Гервинуса. **Положено:** Отзыв этот приобщить к делу, и дозволить Чернышевскому, согласно просьбе его, иметь свидание с его женою, в присутствии членов комиссии.

Письма Н. Г. Чернышевского коменданту крепости

Чернышевский просил бы уведомить его, когда будет назначено новое свидание его жены с ним, и, если это не представляет неудобств, назначить его завтра, в четверг.—Среда, 27 февр. 1863.

Н. Чернышевский.

* * *

Чернышевский имеет честь напоминать о той просьбе, которую он выражал в своей записке от 27 февраля.—Марта 4,1863.

Н. Чернышевский.

* * *

Ваше превосходительство, Со мною опять начинают шалить. Задерживают письма моей жены; не обращают внимания на мои желания, о которых я знаю, что для исполнения их нет препятствий, даже не отвечают на мои желания,—что уже просто невежливо; наконец, я не вижу исполнения того, что мне было сказано в глаза 23 февраля о нескольких днях.

Сделайте одолжение, Ваше превосходительство, употребите Ваше влияние на то, чтобы убедить других в напрасности и неудобстве этих шуток. Я не знаю, кто это шутит; но, вероятно, лица, говорившие со мною 23 февр., поддержат Ваше мнение, что шутки эти пора прекратить.

Когда мое терпение истощится, я, по своему обещанию, предупрежу Ваше превосходительство. Теперь пока, я думаю, что его еще достанет на несколько времени. Но вернее было бы не испытывать его. Ныне восемь месяцев, как его испытывают,—кажется, этого довольно.

Боже мой, что у нас, как все неловко и неуместно шалят над людьми. Пора бросить эту старую привычку,—ею наделано

довольно уже много такого, чему вовсе не следовало быть и что, конечно, не приносит пользы правительству.

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою, Н. Чернышевский.

7 марта 1863.

* * *

10 марта.

Я не постигаю, Ваше превосходительство, чего добиваются господа, упорствующие не отвечать мне. Чего они хотят? Прошу их бросить шалить—извольте взглянуть на подчеркнутые мною строки письма моей жены от 8-го марта. Вы видите, что здоровье бедной женщины расстраивается с каждым днем от каприза каких-то шалунов. Прошу их отвечать мне, чтобы не отвечать перед правительством, которое раньше или позже поймет, какую плохую штуку играют над ним эти шалуны. Что это за мальчишество в людях, которым правительство поручает важные обязанности?

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.

10 марта 1863.

P. S. Шутя, по своей обыкновенной догадливости, шалуны опять вздумают задерживать письма моей жены и мои, как столько раз принимались делать, — не советую им делать этого[1].

* * *

Ваше превосходительство,

Будучи очень благодарен Вам за Ваши прежние хлопоты обо мне, я теперь утруждаю Вас новыми, — извините, но что ж делать, когда шалуны доводят до этого?

Я думал написать раньше две записки, которые прошу Вас представить по начальству — (не в комиссию, потому что этот бестолковый омут совершенно глуп, и иметь с ним дело значит только терять время,— нет, не в комиссию, которая, ведь, и не начальство Вам, — а прямо по начальству), — но я в эти дни был несколько нездоров; болезнь была ничтожная, конечно, не имевшая влияния на настроение моих мыслей, но, все-таки, могли бы сказать: он писал это в болезненном раздражении. Я ничего не делаю иначе, как по зрелому расчету, и в особенности никогда ничего важного не делаю без расчета. Потому я отправляю только ныне записки, которые, если бы не было у меня редкого терпения, отправил бы еще в прошлый вторник. Вчера был у меня доктор и сказал, что моя болезнь совершенно прошла. Значит, можно и не говорить о болезненном раздражении.

---

[1] Комиссия постановила: Записку приобщить к делу и просить коменданта сделать Чернышевскому строгий выговор за неуместные и неприличные выражения, употребленные в записке, со внушением притом, что если он и на будущее время позволит себе неуместные выражения, то ему будет воспрещена всякая вообще переписка.

Первая записка, где я говорю о себе в первом лице, имеет только полуофициальную форму; это потому, что иначе она вышла бы длинна. Если Вы найдете, что 6-й пункт ее имеет вид излишней угрозы, я предоставляю Вам право вычеркнуть его: Вам виднее, нужно ли повторять то, что я решительно не хочу оставаться долго и не останусь в настоящем моем положении — здоровье жены погибло бы все равно, а в таком случае мне неприятно было оставаться где бы то ни было, — так или иначе, я буду свободен очень скоро; но если напоминать об этом лишнее, если в этом достаточно убеждены, то, конечно, не к чему грозить лишний раз.

Во всяком случае смею уверить Вас в двух вещах: 1) я не буду ничего особенного делать, не предупредивши Вас, чтобы Вы могли заранее сложить с себя ответственность; 2) я не намерен повторять того, что делал однажды, потому что повторение скучно.

Правила, которые Вы обязаны соблюдать, так дики, что, кажется, нет средства избавить Вас от труда лично навестить меня, чтоб я мог узнать о ходе дела, — извините, что я обременяю Вас этим, но это — единственное средство отклонить недоразумения, конечно, неприятные для Вас, какие было произошли однажды. На то, чтобы Вам иметь случай для доклада и получения ответа, я полагаю, достаточно будет, если я подожду три-четыре дня. Но Вы согласитесь, что нужно же знать потом, что намерены делать и следует ли ждать дальше.

Я человек очень мягкий, всегда любящий извиняться, потому прошу у Вас извинения в том, что обременяю Вас своими просьбами. Я очень ценю Вашу добрую волю, и очень рад был бы жить смирно, как жил прежде, не делая Вам хлопот. Но обстоятельства принуждают меня, и потому не будьте в претензии на мою видимую беспокойность, — спросите прислугу, — я точно так же спокоен и отчасти весел, как всегда.

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшею слугою. Н. Чернышевский.

P. S. Это мое письмо, конечно, уж совершенно неофициальное; оно имеет единственной целью только показать собственно Вам, что Вам я очень благодарен и на Вас нисколько не претендую, а, напротив, отчасти совещусь перед Вами, что надоедаю Вам вещами, которые могут казаться Вам странными, но в самом деле нисколько не странны.

* * *

Ваше превосходительство, Я хотел писать его светлости длинную записку, но рассудил, что она именно своею длинноту могла бы затянуть развязку. Потому я предпочитаю просить Вас, при докладе его светлости прилагаемой моей записки к Вам, сообщить изустно его светлости те из сообщавшихся мною Вам моих мыслей, какие понадобятся по ходу Вашего разговора; из них, я осмеливаюсь напомнить Вам те, которые, может быть, важнее других, и прибавить еще две-три заметки, кото-

рых я не сообщал Вам, потому что еще не виделся с Вами после того, как они сделаны мною 23 февраля.

1) С первого же раза, я говорил Вам, что меня арестовали по каким-нибудь пустым сплетням; что тотчас по моем аресто-вании лица, виновные в нем, убедились, что слишком сильно промахнулись своими сплетнями, и просто боятся сказать правительству, что ввели его в ошибку; что поэтому они длят дело только с тою целью, чтобы самим выпутаться из него, заглушив его длиннотою времени. (Я писал это однажды, с тою целью, чтоб комиссия прочла и увидела, что не смеет потребовать у меня отказа от такого дурного для нее утверждения моего, и чтобы в моем деле остался документ об этом).

2) Вообще, я делал все возможное, чтобы возбудить комиссию вызвать меня для объяснений, для сделания мне замечаний, — с этою целью, я несколько раз писал резкие дерзости — это вовсе не в моем характере, но это было нужно, чтобы доказать ей, что она боится или совестится взглянуть мне в лицо. И действительно, она уличила себя в этом. Вы сами были свидетель, что от одного воспоминания о моих резкостях, корчились и теряли хладнокровие, — значит, чувствовали их; а вызвать для требования ответа или для отречения от них, все-таки не посмели ни разу. Комиссия может объяснять такую ангельскую свою терпеливость какими ей угодно причинами, — пренебрежением, снисхождением, но конечно никто из людей с здравым смыслом не поверит возможности другого мотива, кроме того, который привожу я.

3) Верность этого моего объяснения терпеливости комиссии к обидам от меня совершенно подтвердилась тем, что я видел во время разговора моего 23 февраля с членами комиссии: я начал говорить, по своей привычке, мягко и шутя, любезно, — и лица членов приняли и сохранили во все время разговора выражение, говорившее: „ну, слава богу, как легко мы от него отделываемся“, они могут признаваться или не признаваться в этом, как им угодно, — но ведь я был в очках, и потому видел выражение их лиц.

4) Я официально заявил в комиссии при первом (и единственном) моем допросе, что по окончании моего дела я подам жалобу на действия комиссии.

5) Прежде, чем в эти последние дни я стал писать Вам записки с дерзкими выражениями о комиссии (Вы теперь знаете цель этих резкостей — заставить комиссию уличать себя саму в том, что совестится или трусит видеть меня) — я два раза писал мягкие, формально-мирные просьбы о разрешении мне новых свиданий с моею женою.

6) Да вообще я всегда начинаю мягко и мирно, желая избежать скандала; только вынуждаемый крайностью, я прибегал к другим средствам; но в этих других средствах я с каждым новым разом шел дальше и дальше. Теперь у меня в запасе остается только одно из этих тяжелых для меня средств, — не то, которое было употреблено мною в конце января и начале

февраля,—нет, повторение было бы скучно;—этого последнего моего средства я вовсе не желаю употреблять,—думаю, что мне и не придется употребить его; но Вы согласитесь, что я не стал бы писать так, как пишу, если бы не знал, что я ни от кого не в зависимости, если так понадобится. Пожалуй, вычеркните эти строки, чтобы не было вида угрозы. Но неужели эти глупцы до сих пор все не поймут, что со мною шутить,—вещь рискованная? (NB. Обыска не стоит производить,—у меня нет ни ядов, ни кинжалов, никаких подобных штук,—я до них вообще не охотник).—Повторяю: я вовсе не угрожаю,—я только говорю, что я действую по расчету; если я горячусь, горячусь по расчету; если я терплю, я терплю до рассчитанного срока. Если кому кажется, что я действую по увлечению, то я на это замечу, что все называют меня человеком умным, следовательно очень может быть, что я поступаю не без некоторого соображения...

7) Если бы стали говорить, что свидания мои с моею женою не допускались в видах соблюдения знаменитой нашей канцелярской тайны (которая у нас вовсе не соблюдается лицами, которыми должна охраняться, например, за две недели [1] до моего ареста мне сделан был очень ясный намек,—конечно, вовсе не замеченный лицом, делавшим его и думавшим, что дурачит меня, тогда как я издевался над ним,—намек вовсе не произвольный со стороны этого лица, но очень понятный для меня,—что меня хотят арестовать; я пренебрег этим, думая: нет, вы не посмеете так компрометировать правительство,—кто это лицо, вы можете догадаться, я Вам говорил о нем несколько раз, как о болтуне)—если бы стали говорить, что моих свиданий с женою не допускали в видах соблюдения канцелярской тайны, это пустяки: во-1-х, мне не о чем расспрашивать, потому что против меня нет обвинений; во-2-х, у меня нет нужды рассказывать что-нибудь для того, чтобы узнали это в городе,—разбалтывание делается (очень давно) лицами, которые были бы обязаны молчать по долгу службы. Я, например, был довольно приятно изумлен, когда прежде чем успел вымолвить хоть одно слово жене, услышал от нее вопрос: „Зачем тебя держат? Ведь против тебя нет никаких обвинений".—„Да ты почему ж это знаешь?"—спросил я ее. „Да как же,—ведь это давно всем известно; об этом так давно говорили, что уж и говорить устали". Вот вам канцелярская тайна. Это курам смех.

8) Собственно для меня, решительно все равно, сидеть ли в заключении, или в своем кабинете. Но мне необходимо скорое освобождение потому, что здоровье моей жены требует этого.

9) В моем деле, кроме общей несправедливости, есть много частностей очень неблаговидных. Назову две из них: Во-1-х, пропажа золотого кольца во время второго обыска, делавшегося без меня. Кольцо лежало в запертой шкатулке; шкатулка стояла в комнате, запечатанной при первом обыске,—какова

---

[1] Не за две, а за три недели до ареста Чернышевского вызывал Потапов.

эта штука? А вот какова эта, во-2-х: моей жене долго не выдавали вида на проживание в Петербурге, чтобы вытеснить ее полицейскими придирками из Петербурга,—а ведь она не только для свиданий со мной приехала,—ей приказали ехать в Петербург медики, это было необходимо для лечения. Однажды Вы сказали мне, что невыдавание вида ей могло быть следствием ошибки или недоразумения,—нет, у меня есть доказательство противного,—доказательство того, что это было делано с умыслом. Таких милых вещей я могу подобрать не один десяток.

10) Вообще, каждое из моих слов я могу подтвердить фактами. Я не так глуп, чтобы говорить в подобной записке что-нибудь, кроме того, что могу доказать.

Само собою разумеется, что Ваше превосходительство, передавая эти мысли и замечания, нисколько не принимаете на себя ручательства за их верность,—я прошу Вас только передать их его светлости, как мои мысли.

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский.

12 марта 1863.

* * *

Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г. коменданта С.-Петербургской крепости доложить его светлости г. с.-петербургскому генерал-губернатору следующее:

1. Чернышевский приносит его светлости благодарность за то, что имел свидание со своею женою (23 февраля).

2. Перед этим свиданием Чернышевский имел разговор с некоторыми из гг. членов комиссии. Чернышевский говорил им: „Как же это комиссия могла поступать со мною таким образом, каким поступала?“—Ему на это отвечали: „С вами поступали жестоко, но не кладите ответственности за то на комиссию; это действовала не она“. Чернышевский говорил: „Если вы полагаете, что я когда-нибудь мог верить, что против меня существовали какие-нибудь обвинения, то вы ошибаетесь“. Ему отвечали: „Это такой случай, как против меня (члена комиссии, отвечавшего Чернышевскому) могли бы быть подозрения в убийстве“ (Чернышевский уверен, что действительно против лица, говорившего с ним, могли бы быть только вздорные подозрения в убийстве, из которых никак не могло бы произойти никакого обвинения,—ведь от подозрения до обвинения по законам о следственном производстве—очень далеко, и от обвинения до ареста—тоже очень далеко: чтобы арестовать, нужно бы, по закону, хорошенько рассмотреть солидность обвинения; а чтобы составилось обвинение, нужно бы, по закону, рассмотреть основательность подозрений). Чернышевский говорил: „Да когда же это кончится? Когда вы освободите меня?“ Ему отвечали: „Через несколько дней“.—Вообще,

весь характер разговора (дружелюбного и веселого, по привычке Чернышевского до последней крайности выдерживать такой тон и заставлять других понимать его)—был таков, что Чернышевский винил и укорял, а перед ним извинялись и слагали с себя ответственность на других.

3. Если бы кто-нибудь,—по здравому смыслу, этого нельзя ждать, но с Чернышевским сделано довольно много такого, чего нельзя было ждать по здравому смыслу,—если бы кто-нибудь осмелился сказать, что Чернышевский не с совершенною точностью передает или хотя одно из приводимых им слов разговора, или общий характер разговора, то Чернышевский бросает в лицо такому человеку название лжеца и требует очной ставки с ним, чтобы доказать, что справедливо клеймит его таким названием.

4. После этого, Чернышевский, кажется, имеет право сказать, что то лицо (или те лица), которое внушило (или которые внушили) или его величеству, или его светлости сомнение в совершенной справедливости просьбы Чернышевского о его освобождении по недостатку обвинений против него, выраженной в письмах Чернышевского к его величеству и к его светлости от 20—22 ноября прошлого года, что это лицо виновно (или эти лица виновны) перед правительством, которое они ложными своими увериениями ввели в напрасное продление напрасной несправедливости. 12 марта 1863 года. Н. Чернышевский.

* * *

Те выражения, на которые комиссия выражает свое неудовольствие, употреблены были мною не по какому-нибудь желанию выражаться грубо,—этой наклонности нет в моем характере; но это было нужно, чтобы доказать, что я слишком твердо знаю свою правоту, и что я очень хорошо понимаю отношения, которые, по вине неизвестных мне лиц, имеют такое тяжелое влияние на мою судьбу и—я имею право просить внимания к этим следующим моим словам—вводят правительство в продление напрасной несправедливости. Что касается до решения комиссии сделать мне строгий выговор, то, не имея под руками Свода законов, я не могу знать, имеет ли она это право,—если имеет, то я не имею против этого ничего сказать, кроме того, что одними выговорами не должно ограничиваться, а следует вникать в сущность дела и удовлетворять справедливым требованиям.—Что касается до угрозы воспретить мне вообще переписку, то мне кажется, что в письмах моих жене и г. А. Пыпину (моему родственнику) очень давно не было ничего, дающего основание для такой угрозы,—я в этих письмах не выражал ровно никаких чувств или мнений, оскорбительных для комиссии, и, кажется, можно из этого видеть, что я хорошо понимаю разницу между официальными записками, в которых высказываюсь прямо и вполне, и моею частною перепиской, в которой я соблюдаю канцелярскую тайну. Но важнее всех этих

моих замечаний, имеющих только формальное,—не интересующее меня— значение, будет следующее мое желание: пусть же, наконец, сделают по моему делу то, что обязаны сделать по закону и по совести,—пусть же, наконец, прекратят несправедливость, тяжелую для меня, не приносящую ничего полезного правительству,—пусть вспомнят, что я испытывал все пути для этого: пять месяцев терпел молча, потом просил (в письмах 20—22 ноября), наконец, вот уже три месяца действовал возбуждением самолюбия, обидчивости,—и все было до сих пор напрасно. Неужели же в самом деле никак и ничем не может добиться у нас человек, чтобы ему оказана была справедливость? Отставной титул. советник Н. Чернышевский.

13 марта 1863 г.

P. S. Может, для формы нужно прибавить и потому прибавляю: это отношение [1] за № 61-м читал, отстав. титул. совет Н. Чернышевский.

Чернышевский желал бы знать:

1) в каком положении находится его дело: кончено ли следствие, или еще нет,—и

2) может ли он иметь на-днях свидание с женою.

11 апреля 1863. Н. Чернышевский.

* * *

Ваше превосходительство, Я много раз говорил Вам в своих откровенных объяснениях, что все неприятности, от которых я страдаю, возникают из каких-то недоразумений. Третьего дня также произошло недоразумение: я слишком поздно получил от моей жены письмо, говорившее, что она на другой день уезжает. Я сказал Вам вчера, что я из этого вывел: то, что и я и г. председатель комиссии (давший мне обещание дозволить свидание мне с моею женою)—мы оба обмануты. Теперь я вижу, что ныне моя жена еще не уехала,—прошу Вас, убедите, что я не добиваюсь ничего чрезмерного,—например, в настоящем случае, я только прошу, во-первых, чтоб мое письмо к моей жене от нынешнего числа—не содержащее в себе ровно ничего подозрительного,—было отправлено к моей жене поскорее, без проволочек, ныне же, чтобы успело застать еще в Петербурге,—а во-вторых, чтобы ее ответ мне на это письмо также был доставлен без проволочки; наконец, чтобы сказали нам, когда мы можем ожидать назначения свидания, в котором ведь вовсе и не хотят нам отказывать,—не завтра, не послезавтра, ну через три, четыре дня, или как будет можно,—только к чему же вводить в недоумение женщину, когда вовсе не хотел г. председатель комиссии обещать напрасно,—конечно, он хочет разрешить свиданье,—я только и прошу, чтобы сказали моей жене, когда это будет; тогда она и будет ждать

---

[1] Предписание коменданта смотрителю Алексеевского равелина о „внушении“ Чернышевскому.

спокойно. А ведь я только этого и добиваюсь в настоящем случае.

С истинным уважением имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугою. Н. Чернышевский. 24 апреля[1].

* * *

Ближайшие мои родственники в Петербурге: Александр Николаевич и Евгения Николаевна Пыпины и я имел в мысли их, когда просил у правительствующего сената разрешения видеться с моими родственниками. Их адрес: у Владимирской, в Свечном переулке, дом Тулякова, квартира № 43.

Отставн. тит. советн. Н. Чернышевский. 9 июня 1863.

* * *

Отставной титулярный советник Чернышевский имеет честь просить его превосходительство господина коменданта СПБургской крепости ходатайствовать о том, чтобы разрешено было Чернышевскому иметь свидание с его женою, которая, как видно из ее писем, скоро приедет в Петербург. По разрешении ему иметь свидания с его находящимися в Петербурге родными, Чернышевский, конечно, предполагает, что не представится сомнений в допущении его свиданий с женою; но он просил бы предварительно разрешить это, чтобы не было для его жены неизвестности на несколько дней по ее приезде. Отст. тит. советн. Н. Чернышевский. 19 июня 1863[2].

---

[1] 31 мая Суворов сообщил Долгорукову о неимении препятствий со стороны сената к свиданию Чернышевского с родственниками и спрашивал: „не изволите ли признать возможным испросить высочайшее разрешение". На отношении Суворова Долгоруков сделал пометку: „Не полезно ли будет во всяком случае спросить предварительно, кто те родственники, с которыми Чернышевский желает видеться".

[2] Резолюция шефа жандармов кн. Долгорукова: „Можно, если нет к тому особых каких препятствий. Соблюдение установленных правил должно быть самое точное". 16 июня 1863 г.

15 августа 1861 г. управляющий III отделением граф П. А. Шувалов получил следующий донос:

Ваше сиятельство! Преданность моя к его величеству и вашему сиятельству заставила меня следить за делом столь важным, что последствия его наделали бы много шума и много хлопот для правительства. Представляю в. с—ву подлинные письма к войску и крестьянам,[1] которые печатаются и будут пущены в дело; вы из них увидите, какой страшный заговор составлен между большой партией людей значительных.

Благодаря бога мне удалось во многом воспрепятствовать этому посредством хлопот и денег; если в. с—ву угодно будет знать все подробности этого заговора, то явлюсь по первому письменному приказанию в. с—ва! Мне бы гораздо лучше было объяснить в. с—ву лично все подробности, не теряя драгоценного времени, потому что действия партии начались, и будет еще время поправить все это, но так как служу сам без гроша и не имею средств доехать до Петербурга, то буду ждать в. с—ва приказания. Агенты партии большая часть на местах; имена мне все хорошо известны, а при личном свидании я объясню вам все. Я не дремлю, и они не дремлют. К несчастию, тут замешан мой родной брат; если в с—ву угодно будет дать мне какое-либо предписание, то надо с большими осторожностями, на мой адрес никак нельзя, потому что я живу с родными и с братом, но вот он: Москва, Марьина слободка, дом свой; надо бы как-нибудь устроить это посекретнее. На московскую полицию секретную я не надеюсь, потому что все, что только там ни делается, известно брату. Москва, августа 9 дня 1861 г. Примите уверение в истинном почтении и преданности вашего покорнейшего слуги

Николая Дмитриева Костомарова.

(Имя мое тайна должна быть.)

Шувалов командировал в Москву жандармского подполковника Житкова, который препроводил ему 18 августа второй донос Николая Костомарова следующего содержания:

Ваше сиятельство! Не знаю, как благодарить бога, что, наконец, я нашел со стороны вашего с—ва соревнование к такому *важному делу*, как представленное мною, хоть немного поздно, но мы можем с помощью божиею прекратить это злое и противное богу дело и захватить его в самом корне. В настоящее время сведения, какие я могу сообщить в. с—ву, есть следующие:

Имена заговорщиков.

Алексей Николаев Плещеев—о его виновности достоверного сказать не могу, жительство близь Москвы, село Давыдково.

Михайлов поэт-литератор, его рукою написано письмо к крестьянам, он ездил за границу и кажется был в Варшаве по этим делам.

Всеволод Костомаров глава партии, у него Марьина слободка в Москве в квартире печаталось 14 Декабря 1825 года и письмо к крестьянам; напечатано было пять экз., но они были мною перехвачены и представлены целиком при письме к московскому обер-полицмейстеру, но ничего не знаю об результате, в марте месяце автор поэмы: Православие, Самодержавие и народность пущенной вход.

Студент московского университета *Иосиф Сороко.* в г. Варшаве

[1] Рукописи прокламаций: „Русским солдатам от их доброжелателей поклон“ и „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“

Иаков Сулин—был в г. Саратове, но теперь, где не знаю, но постараюсь напасть на его след.

Кнастер—неизвестно.
Крыжов—неизвестно.
Петровский—неизвестно.
Лев Камбек—в Петербурге.
Новиков—в Петербурге.
Заичневский—в Петербурге.

Кроме того, агенты повсеместно. Как я имел честь представить в. с.—ву, типография находилась у Костомарова в марте месяце, но по полученным из Петербурга двум безъимянным письмам, она была перевезена Сорокой, но куда, не знаю положительно, а другой станок был продан Кнастером со всеми принадлежностями, а один из них у Сороко, у него находится копия письма к крестьянам, вероятно (по его словам) он отпечатал его в Варшаве и пустил в ход, мне кажется, что он виною больших тревог в Польше. Но копии с письма к войску никто не имеет, оно писано, если не ошибаюсь Сорокой, для большего доказательства в верности что письмо к крестьянам писано Михайловым я постараюсь представить письма его к брату, где сличением рук можно уличить его. У Камбека производилась продажа 14 декабря портретов декабристов и Искандера. В начале марта месяца у него в квартире производился обыск, но хороши были обыскивающие, в одни двери они вошли в другие вынесли все и с этим отправились в этот же день Петровский и Сорока в Москву на 12-часовом поезде, если бы часом бы пораньше и правительство имело бы их в своих руках; потом было приступлено к печатанию писем, но благодаря бога мне удалось все это расстроить и прибрать к рукам. Что только моею деятельностью будет открыто, то немедленно сообщу в. с—ву. Поверьте, что мною движет не какая-нибудь низкая корыстолюбивая цель, но именно долг присяги и преданность к правительству, так я вижу что низкое дело привело бы к большим несчастиям для России, то я решился пожертвовать всем и моим братом, но предать это дело правосудию, потому что, я уверен в нашем правительстве, что все делается к благу государства и подданных, а в этом деле кроме безрассудной низкой цели я ничего не вижу, принялись за него люди безрассудные, которые, чего хотят сами не знают.

25 августа Житков арестовал Всеволода Костомарова и на следующий день отправил его в Петербург. Уже 4 сентября Костомаров предложил Шувалову свои услуги. Вот его письмо к Шувалову:

Ваше сиятельство, 26 августа я был арестован в Москве г.г. Воейковым и Житковым. До сих пор мне никто еще не объяснил причину моего ареста, но некоторые обстоятельства заставляют меня предполагать, что он был вызван подозрением в печатании и распространении книг, не дозволенных правительством. Мне, вероятно, удастся доказать, что все мое участие в этом деле ограничивалось только тем, что я знал, кем, где и как были напечатаны некоторые книги, но молчал, не считая себя обязанным доносить правительству о деле, которое до меня не касалось, и, по моему убеждению, в руках *таких* деятелей, как известные мне руководители тайной печати в *Москве*, не могло принести никакого вреда ни обществу, ни правительству. Вместе с тем, мне, вероятно, удастся доказать и то, что когда деятельность тайного станка приняла другое направление, которое уже совершенно расходилось с моими убеждениями и, казалось мне, была несколько опаснее почти безвредной пропаганды никому ненужных книжек,—я отнял у него всякую возможность действовать. И я опять не донес правительству, потому что, отняв у людей, взявшихся за недоброе дело, всякую возможность действовать вредно,—я не видел надобности брать на себя новую обязанность доносчика, считая выполненною свою обязанность гражданина.

Но теперь обстоятельства сложились так, что, оставаясь при прежнем образе действий относительно общества, к которому я никогда не принадлежал ни духом, ни делом,—я должен буду взять на себя всю ответственность перед правительством за поступки, на которые оно, конечно, не может смотреть хладнокровно. Поэтому я решился просить вас, граф, выслушать исто-

рию, очень недлинную, моих отношений к обществу. Комиссия, которая, вероятно, будет наряжена по нашему делу, будет действовать, разумеется, осмотрительно и честно, и я уверен, что рано или поздно, так или иначе, я буду оправдан ею. Но положение, в котором я оставил свою семью, лишенную хлеба и крова (не говорю уже о той нравственной пытке, которую должна теперь испытывать моя старая и больная мать, имевшая горе пережить обстоятельства, сопровождавшие мой арест),—это безвыходное положение моей семьи заставляет меня просить вас дать мне возможность способствовать всеми зависящими от меня средствами к ускорению развязки этого дела, которое без того может продлиться слишком долго и, лишая меня возможности работать, принесет столько горя и нищеты в семейство человека, совершенно чуждого всякой социальной деятельности и избравшего задачей своей жизни быть полезным только своей беспомощной семье.

Первым делом Костомаров выдал доверившегося ему М. И. Михайлова, послав на имя вымышленного лица письмо, уличавшее Михайлова в составлении и распространении прокламаций. Оно, конечно, попало по настоящему адресу, т. е. в III отделение. Как показала дальнейшая деятельность Костомарова, эпистолярная форма была у него излюбленным приемом доносительства. При этом для маскировки он выставлял на письмах фальшивые даты. Приводим это письмо, помеченное 25 августа, будто писанное перед арестом:

Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес на меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих.[1] и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П. (Плещееву), узнайте от него адрес М. и поезжайте в Петерб.; скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и во всяком случае уничтожит все до одного экземпляры М. П[2]. Он поймет, в чем дело.

Ради бога, не забывайте мою бедную старуху. Я буду арестован, вероятно, сегодня. Брат ушел с утра с угрозами и проклятиями прямо к Житкову. Мне делать нечего и, вероятно, придется поплатиться. По делу с 14 дек. запираться невозможно, да я и не хочу. Господ этих брат знает всех наперечет, да они и не стоят того, чтобы подставлять за них спину; скажу все, что знаю. А во всем остальном буду держаться крепко... Одного не знаю, как поладим с этим несчастным „автографом"... Голова идет кругом. Ну, да увидим. Да, одним словом, не выдам ничего, кроме гадкой спекуляции с Корфом, в которой по грехам моим я замешан. Вы не ходите уж ко мне. За мной, вероятно, уже следят, и мне будто неприятно, чтобы вы еще были замешаны. Письмо это я посылаю с Александрой; что будет нужно, напишите мне с нею же. Прощайте, дорогой друг; бог знает, увидимся ли мы. Не забывайте же мою бедную старуху[3].

Ваш *К.*

Мне не лучше. Я не встаю с постели, жар, и озноб, и всякая гадость.

Привлеченный по делу о печатании в Москве недозволенных сочинений, Костомаров вел себя на следствии так, что Следственная комиссия, наряженная по этому делу, в своем докладе министру внутренних дел, представленном 21 декабря 1861 г., дала о нем похвальный отзыв:

Комиссия долгом считает доложить еще вашему высокопревосходительству, что отставной корнет Костомаров весьма много содействовал к раскрытию не-

---

[1] Рукопись воззвания к барским крестьянам

[2] „К молодому поколению".

[3] 6 октября 1861 г. Н. Н. Костомарова получила чрез жандармского полковника Воейкова 100 руб, „в виде негласного пособия" из сумм III отделения.

которых обстоятельств возложенного на комиссию дела, хотя показания его, Костомарова, не всегда вполне соответствовали действительности совершившихся фактов.—В Костомарове заслуживает еще внимания, что он в самое короткое время приобрел себе почетную известность, как даровитый и трудолюбивый писатель, и что он своими литературными трудами содержит престарелую свою мать и двух сестер, которые тоже, для разных журналов, участвуют в переводах.

Дальнейшие „услуги" Всеволода Костомарова, сблизившегося с Путилиным и чрез последнего с Потаповым, видны из печатаемых дальше документов. Московское дело тянулось долго. Впрочем, Костомаров уже в декабре 1861 г. был на свободе. В конце концов сенат относительно Костомарова определил: „Отставного корнета Всеволода Костомарова за напечатание воззвания „К барским крестьянам", по содержанию своему направленного к возбуждению восстания против верховной власти, имение у себя такого же воззвания к солдатам и подобного рода литографированного сочинения Огарева, под заглавием „На новый год", участие в распространении запрещенного сочинения Огарева „Разбор книги барона Корфа 14 декабря 1825 года" и открытие типографской работы без дозволения правительства, лишив некоторых, по 54 ст. т. XV кн. I, особенных прав и преимуществ, заключить в крепости на четыре года". Государственный совет в своем „мнении" согласился с сенатом. Александр II 1 ноября 1862 г. положил такую резолюцию: „Костомарова, по выдержании в крепости шести месяцев, отправить на службу в войска кавказской армии рядовым". Приговор был объявлен 2 января 1863 г. Но служить в армии Костомарову не довелось, так как от него требовалась служба иного рода. В декабре 1865 г. он умер в больнице от злокачественной костной опухоли.

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОПЛАТЕ „УСЛУГ" КОСТОМАРОВА

Записка, представленная шефу жандармов

Во время состояния **Костомарова** под судом бывший надзиратель здешней полиции **Путилин** доводил до сведения с.-петербургского военного генерал-губернатора, что Костомаров, если он будет освобожден, и даны будут средства, откроет с ним, Путилиным:

1. Главную думу революционного комитета в Москве и С.-Петербурге;
2. Тайную типографию и архив сего комитета в Москве и
3. Склад оружия.

Генерал-адьютант князь Суворов объявил Путилину, что высочайше разрешено, если открытия эти будут сделаны, выдать Костомарову 500 р. и производить его матери ежегодно по 1500 р. Путилин передал это Костомаровым.

Костомаров открытий сих не сделал и объяснил, что он обнаружить вышеизложенное не вызывался и положительных сведений о существовании в России тайного общества не имел и потому передавать оные Путилину не мог; но сообщал ему

лишь свои личные соображения и выводы вообще о разных направлениях в обществе и сверх того некоторые известные ему частные сведения об отдельных личностях. Но Костомаров указал Следственной комиссии, что Шелгунов писал воззвание „к воинам" и ходил в казармы с целью склонять солдат к восстанию; он показал также, что **Чернышевский** поручал ему, Костомарову, печатание воззвания „К барским крестьянам" и диктовал ему воззвание к раскольникам.

Шелгунов и Чернышевский хотя и не сознались в этом, но показания Костомарова и улики, им представленные к их обвинению, были достаточным основанием к преданию их суду; а потому он не может не заслуживать внимания правительства, тем более, что, по словам генерал-адьютанта князя Суворова, Путилин уже объявил семейству Костомарова о всемилостивейшем соизволении на производство оному денежного пособия.

Костомаров заявил в комиссии, что он о пособии не просил и повергает как свою судьбу, так и положение матери и сестры, остающихся, как он объясняет, без его помощи в совершенной нищете, на всемилостивейшее воззрение государя императора.

Об этом упомянуто было во всеподданнейшем докладе председателя Следственной комиссии и против этого написано собственною рукою его величества: „По этому дам особое приказание генерал-адьютанту князю Долгорукову".

15 июня 1863 г.

Пометка Долгорукова:

Высочайше разрешено дать Костомарову с семейством единовременно **пятьсот** руб. сер., истребовав эти деньги из государственного казначейства на известное его величеству употребление. 22 июня [1863]

Министр финансов Рейтерн — министру внутренних дел Валуеву

5 августа 1863 г.

Погубивший дирижера радикального оркестра, завтра, от 9 до 11 веч. может получить у Ф. Т. Ф. 1000 руб., если приготовит заранее расписку от имени матери своей Надежды Николаевны, которая, однако, как вам известно, по поставленному им условию, не должна об этом знать. Будьте любезны принять на себя труд послать надежное извещение по известному вам адресу.

(Из архива П. Я. Дашкова. Приведено у Лемке, стр. 441-2.)

* * *

В видах вознаграждения услуг рядового **Костомарова** деньги, следовавшие от него за печатание его сочинений и за бу-

магу, купленную для этого издания, всего тысячу триста шестьдесят шесть руб. 35 коп. сер., принять на счет сумм III отделения.

18 июня 1864 г.

* * *

28 ноября 1864 г. высочайше разрешено дать **триста** руб. матери Костомарова.

Письма В. С. Костомарова И. Д. Путилину[1]

[№ 24] Я все дивлюсь вашему молчанию и, наконец, начинаю думать, что вы или испугались моего письма от 19 апреля, или перестали интересоваться известным вам делом...а жаль.

В настоящее время, окончив жизнеописание **пр. Тихона Задонского** (читали вы его?), мы принимаемся за обширный труд „Обозрение раскольничьих скитов **Ярославской** епархии"... работа идет весьма успешно и близка к концу, если ничто не помешает.

Пора бы вам оставить свой скучный деловой Петербург и приехать отдохнуть в нашу мирную деревню; что вы об этом думаете? Напишите мне — и я немедленно вам отвечу, приняв все предосторожности, чтобы письмо мое дошло к вам. Ваш преданный В.

Село * * 7 мая 1862.

* * *

[№ 1] Не удивляюсь, дорогой Иван Дмитриевич, что вы не много поняли из моего последнего письма: вижу, что вам немного и очень немного известно из того, что делается теперь в нашей матушке Москве. Иначе вам был бы очень понятен мой намек на пр. Тихона. Надеюсь, что.вы не будете на меня в большой претензии, если и из настоящего письма узнаете тоже не много. Во-первых, дела такого рода не излагаются письмами никогда, а тем более преждевременно; что же касается до догадки вашей, что „мне известно многое", смею уверить вас, что она справедлива гораздо более, чем вы думаете. Мне известно столько, что я еще не знаю, не выгоднее ли для меня будет молчать и помогать, чем открыть и мешать. Впрочем, это будет зависеть от личных переговоров с вами. Имейте только то в виду, что дело идет уж не о таких пустяках, как неудачные ухищрения какого-нибудь Костомарова или Михайлова или невинные плакарды каких-нибудь „Дум" и „Комитетов", которыми, впрочем, мы пренебрегать не советуем. Очень бы хотелось мне исполнить свое обещание и прислать вам то сочинение, о котором я намекал вам, — но в настоящее время это невозможно, по причине весь-

---

[1] Эти письма и другие документы были представлены Путилиным в Следственную комиссию. Выставляем на них №№, под которыми они значатся в составленном Путилиным перечне. Для понимания их см. ниже объяснение Путилина о его сношениях с Костомаровым.

ма уважительной, но которую объяснить я могу вам только при личном свидании. А чтобы хоть чем-нибудь загладить неисполнение этого обещания, посылаю вам с вашим посланным *кое-что*, из чего вы и кто следует могут убедиться, что сведения наши не могут быть не справедливы и не положительны.

А если те господа, которые более нас заинтересованы в этом деле, будут или скаредничать, или смотреть на нас вообще недоверчиво, или, чего доброго, возымеют намерение поступить со мною по-шуваловски, то предупреждаю, что меня уже нельзя будет поддеть ни на какую удочку. Игра будет большая. Ну, да вообще приезжайте и **поговорим**. Будьте уверены, что я вас не введу ни в напрасные расходы, ни в напрасную трату времени, ни скомпрометирую вас перед вашим начальством. Конечно, я не буду виноват, если мы с ним не сойдемся в условиях, а тут, как я уже (помните) говорил вам, дело *не в одних деньгах*, которые для меня на втором плане.

Итак, вы меня спрашиваете: „нужны ли... люди, деньги, какие-либо сведения или личное мое свидание с вами?...“

Отвечаю вам положительно:

Людей никаких не нужно, ибо мы сами *люди*.

Деньги—может быть, но разве какая-нибудь сущая безделица. *Сведения* мои, вероятно, полнее, разнообразнее и вернее ваших; но если в ваших есть что-нибудь для меня новое, конечно, это не помешает делу.

Но *ВЫ*, вы, сами вы нужны мне более всего на свете, более всех людей, всех денег, всех сведений.

Но опять-таки, во избежание всех недоразумений и неудовольствий, объяснимся на этот счет подробнее. Если я и желал бы видеться с вами, то единственно затем, чтобы поговорить с вами, но не за тем, чтобы действовать. Это еще рано. *Но: для того, чтобы, когда придет пора действовать не было ПОЗДНО*, мы должны видеться с вами и условиться. Вот видите ли: если бы мы условились с *ними* прежде,—и вы бы приехали по моему первому вызову,—мы бы могли перенять дело в самом его зародыше и на самом месте действия; теперь же мы должны ждать, пока оно созреет,—и конечно, это сопряжено с большими трудностями, хотя будет гораздо рациональнее.

В заключение, еще раз уверяю вас, что игра будет стоить потраченных на нее свеч, и что *Я*—единственный ключ ко многим замкам, которые нельзя ни сшибить, ни отпереть.

Пусть попробуют.

Коли хотите, приезжайте: поговорим по душе. А писать, право, я, не стану... Не по недоверию к вам, конечно,—вы в этом отношении и не смейте сомневаться во мне,—а потому, что, во-первых, всего не напишешь, а, во-вторых, переписка, вообще, дело опасное; по почте письма не всегда доходят, а ваше письмо я получил подпечатанное. Ваш преданный *В.*

(Мое запечатано синим сургучом)

[май 1862]

[№ 12] Дело мое перешло в Петербург 27 июня;—но чем кончилось здесь—неизвестно. Разузнайте сами, где оно и что с ним. Вообще не медлите высылкой..., и пишите чаще сами. Ваш Сеид (?) 3 июля.

Письмо Н. Н. Костомаровой Путилину

[№ 25] Спешу сообщить вам то, что мне самой передал вчера утром мой муж. За ним присылал Пот[апов] и спрашивал его: „подала ли ваша супруга просьбу, какую я советовал ей подать?“ и при этом передал ему все ее содержание от слова до слова, и „попросите ее уговорить сына *передать мне все, что он знает*. За то будут награды и почести для всего семейства. И выписывайте своего второго сына; мы сейчас же дадим ему место“. Вследствие-то этого он его и выписывал, как я вам говорила, но для меня все это была тайна. Оба эти дни муж ездил куда-то во фраке, что с ним бывает только в торжественных случаях. Наконец, сегодня он объявил мне свою тайну. Я, разумеется, очень смутилась при этом и сейчас же спросила, не сказал ли он ему, что я уж подала просьбу и кому именно? Он отвечал, что нет, но что он сказал ему, что я здесь. Но вижу по его смущению, что он все высказал, потому что я подловила некоторые слова, напр., Пот...., говоря и то другое, между прочим, сказал: „мы, начальствующие, ничего друг от друга не скрываем; кому бы она ни подала просьбу, мы все сообщим один другому, Сув[оров]—мне, а я – Сув.“. Алексей приехал и сегодня будет у вас, и потому я сочла обязанностью предупредить вас обо всем, хотя, быть может, это и не составляет для вас никакой важности,—я, ведь, ничего не знаю; но вы, как действующее лицо, должны знать все, а Алексей должен быть и у того, и у другого; следов., узнавши все, вы так его и настроите, как с кем держать себя, а ему велено вас слушать. Вот я и пишу это письмо украдкой и украдкой же принесла его к вам в дом. А очень бы нужно лично повидаться. Много есть у меня дельного и требующего немедленного распоряжения, но этого вы не узнаете до приезда моего в Москву. Действуйте же как знаете. А на дачу к вам ехать мне не хочется и не поеду; что-то вы очень недружелюбно бываете со мной у себя дома, да и люди ваши величайшие невежды; а я этого не люблю и не привыкла к этому. Если я буду вам нужна завтра, то напишите по получении этой записки одно слово, чтоб я приехала к вам,—я приеду; а то так, может быть, мы вас пригласим в Москву.

Письмо это я написала с вечера, думая сама отнести, а сегодня встала вся больная, и вы получите его от Алексея. Хочется сегодня уехать. О последствиях всего пишите к нему в Москву.

[июнь 1862 г.]

Письма В. Костомарова Путилину

[№ 13] М. Г. Семен Григорьевич, последнее письмо ваше вчерашний день я имел честь получить; известия, сообщенные мне свекровью моею, крайне меня удивили: господин барон П., предлагая племяннику моему свою протекцию для помещения его в известную вам контору, вероятно все еще думает, что мне что-нибудь известно в интересуемом его деле; неужели вы, почтенный зятюшка, не имели до сих пор случая убедить господина барона, что я ровно ничем не могу быть полезным правлению его компании, и что если я и ходатайствую за племянника своего, то рассчитываю в этом случае **единственно** на то, что моя прежняя служба компании не забыта господами акционерами? Все это вы потрудитесь поставить на вид господину барону.

Адольф Карлович просил меня передать вам, что предпринятая им в товариществе с вами и господином Князевым покупка чая должна быть немедленно окончена, ибо чай с каждым днем падает в цене, особенно после того, как у них в городе разнесся слух об арестовании московской таможней транспорта купца С-нкова. Приказчика своего я отправил еще до получения от вас телеграммы на свой риск; ибо и так уже потеряно не мало времени за приисканием понадобившихся на сей предмет денег; завтра я должен получить уже и известие от приказчика; не думаю, впрочем, что предприятие мое увенчается успехом, ибо посланный мой промешкал почти двое суток и, вероятно, уже не успеет проследить действий агента враждебной нам компании.

Я очень рад, что вы не успели видеться с моей свекровью после получения вами ее записки. Она случайно узнала от одного из преданных мне акционеров вести, не слишком приятные для директоров главного общества, но так как, по моему мнению, это—пустая сплетня, подобная сообщенному вами известию о прибытии из-за границы контрабандного чая, то я и не слишком сожалею, что она не сообщила всех ее подробностей. Напишите мне обстоятельно о результатах последних совещаний акционеров и отправкой племянника подождите до получения моего ответа; имейте за ним строгий надзор.

Поручая себя родственному расположению вашему, имею честь быть Феофан Отченашенко.

P. S. Передайте племяннику, чтобы он употребил все усилия достать денег, которые в настоящее время для меня необходимы до такой степени, что за недостатком средств приходится на время закрывать лавку. Хороль 27 июня (по штемпелю на конверте—Москва 24 июля 1862)

[№ 16] Милый брат, последнее письмо твое не то чтобы удивило меня, а как-то озадачило. Будучи уже раз проведен самым нелепым образом, я конечно не упускал из виду возможности остаться в дураках и во второй раз,—а все-таки не ждал, чтобы в **наши** сношения с тобою так скоро вкрался тот угрожающий тон, которым, признаюсь тебе, действовать на меня можно

всего безуспешнее. Тебе ли упрекать меня в осторожности? да какой же? в чем? осторожность моя—**законная**, вспомни это. И я вижу, что я хорошо сделал, действуя **более или менее** осторожно: ты начинаешь уже нарушать **условие**, требуя от меня **уплаты раньше срока.** Повторяю же тебе еще раз, что *если б* **даже** я и *хотел* заплатить тебе долг раньше *срока*,—я решительно не могу, потому что все мои деньги и документы находятся на сохранении у одного лица, которое ни за что не выдаст мне их прежде, нежели удостоверится, что процесс мой выигран *окончательно.* А в минуту выигрыша процесса наступит, как тебе известно, и срок моего платежа тебе. Я вот не сижу сложа руки, я все стараюсь об том, чтоб дать тебе более, чем обещал,—и успею в этом; а вы так плохо видно хлопочете, если уж, от нечего делать, принялись за угрозы. Неужели и вас только *на это* станет? Нет, не верю, и не хочу верить. Верно ты был очень не в духе, милый брат, когда мне писал письмо свое. Все оно, с первой и до последней строчки, как-то... странно. Во-1-х, ты требуешь почти с угрозами от меня того, чего я не могу дать до известного времени и чего ты *добровольно* согласился от меня не требовать до срока; во-2-х, укоряешь меня в излишней осторожности, как будто осторожность бывает когда-нибудь излишнею,—особенно в моем положении. Вы вот до сих пор ничего еще не могли для меня сделать; кто мне поручится за успех? А отступление-то уж началось: вон ты уж на одной странице успел мне три раза написать, что плохо-де будет...; в-3-х, ты пишешь: ждали больше,—подождите немного:—какой ты странный! Ты, ведь, знаешь, что *мне ждать очень удобно*, так что скорое окончание процесса нужно не для меня, а для вас; медленность в его ходе не мне вредит, а вам. Если б я хлопотал только из-за своих интересов, так я не торопил бы вас окончанием дела, а просил, напротив, вести его как можно медленнее, потому что, повторяю, окончание его не принесет мне ровно никаких ни удобств, ни выгод в настоящем. В-4-х—и в-последних, пиши, ко мне, пожалуйста, попонятнее, а то я половину твоего письма не понял. Что за *иностранцы* в процессе? Что за обер-прокурор, который спрашивал, уверен ли ты в желании сестры твоей кончить процесс миром? Какой мир? с кем? **Она**, кажется, ни с кем не ссорилась...

Вообще, я удерживаюсь от объяснений до получения от тебя менее кабалистического послания,—только, пожалуйста, без угроз, потому что ими взять тут нечего. Будем лучше аккуратнее исполнять данные друг другу обещания,—и я уверен, что по окончании дела никто из нас не останется ни в накладе, ни в претензии. До получения от тебя более положительного уведомления о ходе нашей тяжбы и о степени возможности окончить ее по условию,—я откладываю писать тебе о ходе моих химических работ, результат которых пока довольно успешен. Особенно вчера мне удалось сделать одно довольно интересное открытие в *черном никеле*, находимом в восточной *Армении* около Арарата.

Итак, жду от тебя послания более отрадного. Брат твой *Николай Озерец.* Калязин, 22 сентября[1].

* * *

[№ 2] Chère cousine, письмо, полученное мною *вчера*, было первое со времени отъезда из Пб. твоего племянника. Я думаю, что муж твой monstre qu'il est читает наши письма, иначе как могло письмо, писанное тобою 11, могло получиться 15 вечером. Поэтому не будь в претензии, что мои письма так коротки; я вовсе не желаю твоего урода мужа делать участником наших секретов, каковы бы они ни были, хоть даже самого невинного свойства. Да и при том я, начиная с 9-го, все ждала тебя к нам в Марьино. Кончай свои проклятые дела и приезжай к нам поскорее; с каким я тебя драгоценным человеком познакомлю, ma chère, душка! Пожалуйста, влюбись в него и подари своего отвратительного мужа парой хорошеньких рогов. Вообрази, ma mie, что поездка моего посланного не удалась; в N была большая охота; г-н Отчн. в отчаянии; они травили лисицу, которая, надо сказать, зверь очень редкий в наших местах, и г-н Отч., несмотря на все усилия, не мог ее выследить. Теперь он из себя выходит; загнал лошадь и не затравил зверя. Я не буду ничего писать тебе, ma bonne, рассчитывая на скорое свидание; целую тебя крепко и желаю хорошеньких рогов твоему гадкому мужу.

Adieu, ta *Fanny.*

P. S. Чуть было не забыла, ma chère, передать тебе поручение кузена. Он извиняется недосугом в том, что не пишет к тебе, но ты ему не верь, он просто лентяй; ну, так он просил меня передать тебе, что, если ты будешь так обязательна, то попросить своего дядюшку похлопотать о переводе Вольдемара на Кавказ; как ему решительно все равно, в какой полк ни поступить, лишь бы кавалерийский; впрочем, лучше всего было бы в Нижегородский, так как он, говорят, стоит в хороших местах.

Еще он просит тебя не забыть навести справки о том господине, о котором он писал к тебе.

Adieu, ma chère. Dieu te garde. 16 Août. Село Марьино.

* * *

[№ 15] Вот, ma mie, как вы дурно исполняете свои обещания. Я не говорю уже о том, что вы обещали приехать к нам в Можайск к 16 сент. и не едете; я знаю, что это зависит более от вашего мужа, чем от вас; но вполне зависит от вас писать ко мне; приезжий наш все ждет, желая лично познакомиться с вами, и я вся уже изоврàлась перед ним, объясняя разными небылицами Ваше равнодушное молчание, для меня самого[2] непонятное ибо я уверена, что без надежды на успех вы бы не начали, тяжбы, которая уже и мне и вам обошлась так дорого, а меж-

---

[1] По штемпелю на конверте—Москва 27 июля 1862.

[2] Описка в оригинале.

ду тем, на успех, как видно, надеяться нечего. Спешите, пожалуйста, до сих пор еще ничего не потеряно, но скоро, быть может, я не буду в состоянии ничего сделать для вас и для Супруга вашего. Не утешайте себя тем, что все спокойно: *тихо перед бурей*. Итак, милая моя, напишите мне обстоятельно, как идет ваша тяжба, и есть ли надежда на успех, верная, непременная надежда,—мне надо действовать, чтобы не упустить из рук одного важного обстоятельства... а в случае, если нельзя надеяться на успех в *Петерб.*,—я рѣшусь на тот образ действий, который необходим в настоящее время для наших успехов в Москве. Напишите, непременно напишите **положительный** и верный ответ, на который я могла бы положиться вполне, потому что, еще раз повторяю, что для успеха нашего дела мне необходимо прибегнуть к настоящему coup d'état.

Прощайте, дорогая моя, спешите же выигрывать процесс, если не хотите, чтобы все было потеряно; но во всяком случае пишите подробно и искренно о состоянии процесса. Жду от вас скорого ответа, уверенная, что неточными известиями вы не захотите вводить в заблуждение и подвергать величайшей опасности душевно вам преданную *М. Гаврил.* Можайск, 19 сентября 62.

P. S. Прошу свидетельствовать Супругу вашему мое глубочайшее почтение и расцеловать от меня милую сестрицу вашу. Не будет ли с моей стороны злоупотреблением дружбы вашей просить вас привезти мне из Петербурга капор, потеплее,—у нас, в нашем скверном городишке решительно нельзя найти ничего порядочного.

Еще раз целую вас. Ваша *М. Г.*

* * *

[№ 21] Об решении моего дела одна важная особа справлялась в сенате у другой важной особы: на два года в крепость без всяких дальнейших последствий.—Сто десять рублей отправил, куда следует. Имею кое-какие свежие вести. Мне что-то крепко принемоглось; скучно как,—смерть. Пожалуйста, пиши мне. Касательно моей личности есть слух, **очень верный**, что придется пробыть в Москве несколько недель. Дай бог, чтобы хоть праздники не тревожили. В. просит извиниться, что замедлил отсылкой книги; брат был третьего дня дежурный и не мог сходить за ней. В. говорит, что книга эта не так интересна, но посылает пока, что может.

Прощай, голубчик мой, пиши ко мне, и я буду писать. Низко кланяюсь Т. К. Твой навсегда В. Кост. 14 декабря.

* * *

[№ 19] Дорогой друг Иван Дмитриевич, посылаю к тебе А. Д., которого ты изъявил желание иметь на праздниках, дабы познакомить его с какими-то точками. При сей оказии он исправил кое-какие поручения лица, касающиеся нашего общего дела. Если оно не погибло и идет своим чередом, то существование

А.[1] в Пб. во все время моего сидения там совершенно необходимо. Как-нибудь это надо устроить. Решение объявится 2-го. Ко времени моего отбытия возврати мне А. в целости, и, конечно, нам надо повидаться с тобою еще в Москве,—дабы условиться насчет весьма многого и очень важного. Матушка кланяется и поздравляет тебя и Т. К. с праздником и с будущим днем рождества. Дай бог вам повеселиться хорошенько—весь год. Распродажа наша идет очень плохо: продали уже почти все—а вышло всего рублей тридцать. Из Женевы нет еще ответа. Мне очень нездоровится.

[декабрь 1862]

* * *

[№ 18] М. г. Иван Дементьевич, если вы не увеличили своих требований насчет некоторых сведений, которые вы желали иметь от меня (в последнее свидание наше) касательно проектируемого нами журнала, то я с готовностью сообщу вам их при первой же возможности видеться с вами. Вы, надеюсь, поймете причины, заставляющие меня наотрез отказаться от всякого посредничества в этом деле городской почты и, вообще, чего бы и кого бы то ни было, кроме вас и личных переговоров с вами. Жду от вас немедленного ответа, сообразно с которым я и расположу свои дела. Пожалуйста, дорогой мой, поверьте мне, что я употреблю все средства, чтобы извлечь вас из положения, как вы говорите, „крайне оскорбительного и неприятного". Отвечайте же немедленно, когда вы придете ко мне; чем скорее, тем лучше.

[январь 1863]

Из записки Потапова кн. Долгорукову

...Пользуясь дозволением вашего сиятельства вполне говорить откровенно, долгом считаю доложить, что я полагал бы:

1. Приговоры сената по делам Заичневского и Освальда обнародовать в то же время, когда они будут приведены в исполнение.

2. Обнародование действий комиссии повременить теперь, до ожидаемых открытий Костомарова, на том основании, что у нас теперь только об одном **Чернышевском** дело не приходит к окончанию, все остальные к новому году вероятно будут окончены благодаря деятельности г. г. членов допрашивающих комиссии и нового делопроизводителя. Тогда по открытиям Костомарова, сделав все нужные распоряжения и окончив все мелочные дела, заявить смело, откровенно, соответственно достоинству чувствующему свою правоту и силу правительству, не только о некоторых отдельных фактах и действиях неизвестной de jure комиссии, но о причинах ее учреждения, образе действий и последствиях.

Но затем если исполнение предположений моих ваше сиятельство изволите найти неудобным, то повторяю, что публикация и одних только передаваемых судебному производству дел луч-

[1] Брат В. Костомарова—прапорщик Алексей Костомаров.

ше, чем непроницаемая тайна, подающая повод ко всем кривотолкам, преувеличениям и недоверию к правительству.

(Пометка: Д(оложено) Е (го) В(еличеству) 12 декабря)

Записка Долгорукова Потапову

К 1 пункту. Я виделся сегодня с об.-прокурором Шаховым. —Так как их величества оставляют Москву только 20 дек.— а с 20 дек. по 2 янв. сенат не собирается, то дела: об Освальде с Ко и об Заичневском с Комп. могут быть заслушаны только 2 января, а приговор первым объявится 3-го числа, вторым же не прежде 7 января. К [остомаров] в числе последних.—Жаль, что решение о нем так замедляется;—но делать нечего. Публикование приговоров по принятому порядку не делается, но так как мы имеем в этом отношении примеры **Михайлова** и **Обручева,** то управл. министерством юстиции может на том же основании потребовать немедленного донесения о приведении в исполнение приговоров над вышеуказанными лицами, судившимися в Москве, и приказать напечатать о них в Сенатских ведомостях.—Из сих последних объявление будет перепечатано и в других газетах.

Костомаров—кн. Суворову[1]

Милостивый государь, бесцеремонность в отношении ко мне III отделения достаточно, кажется, удостоверяет меня в совершенной невозможности иметь когда-либо честные и откровенные сношения с нашим правительством.

Независимо от сего, другие обстоятельства, вследствие которых я имел возможность оказать правительству некоторые незначительные услуги, заставили меня удалиться от обманувшего меня управления и обратиться к вам, м. г., как к человеку, который, я в том уверен, никогда не употребит во зло мое доверие.

Цель настоящего письма просто желание извиниться перед Вами в том, что до сих пор не имел полного доверия как к Вам, так и к лицу, избранному мною единственным посредником в моих с вами сношениях.

Позволяю себе надеяться, что по прибытии моем в Спб. (путешествие совершено мною неожиданное) Вы удостоите меня непродолжительной аудиенцией, кроме сего, прошу разрешить мне, до своего отъезда, письменно сообщить Вам о причинах моего недоверия.

* * *

Милостивый государь, в последнем письме своем я просил разрешения объяснить вам причины и побуждения чувства, называемого всегда г. П[утилиным] недоверием, и которое я

---

[1] На письме пометка: 7 января 1863.

никак не могу назвать иначе, как осторожностью и самосохранением. Прискорбный результат бескорыстного содействия с моей стороны в предприятии, в котором я действовал не совершенно безуспешно, мог бы вполне извинить мою осторожность, если бы в настоящее время я имел дело с теми же личностями, столкновение с которыми меня почти уронило в общественном мнении. Ныне эта осторожность была бы совершенно неуместна, так как мне удалось войти в более или менее непосредственные сношения с личностью, ясно отделяемою народною массою от той массы низких и грязных людей, которые в отношении честности не отличаются излишнею щепетильностью, дозволяя себе всякую низость, приняв в основание своих действий весьма безнравственное правило, что выбор средств оправдывается предположенною целью. Из вышеизложенного следует, что с моей стороны не может быть никакого недоверия, да на самом деле его и нет.

Письмо это доказывает полное мое к вам доверие: послание мое к гр. Шувалову было началом и главною причиною настоящего моего несчастия.

Но—летать мне невозможно, пока не выросли крылья, а что их у меня нет до сих пор, в этом виноват не я. Если же бы они и выросли месяцев через шесть, то весьма может быть, что будет уже и поздно их употребить.

Чья же в этом вина? Не моя, конечно, ибо судьба (или, по менее фаталистическому на жизнь воззрению—III отделение) прекратила мою деятельность именно в то время, когда мне для успешного приведения в исполнение моих обещаний более, чем когда-либо, была необходима свобода действий и доверие лиц, в интересах коих я действовал.

Неожиданный и незаслуженный мною арест нанес первый удар разрушившемуся плану моих действий. Неисполнение условий, гарантированных мне от вашего имени, побудило меня принять, с своей стороны, предосторожности, которые, если не совершенно лишат меня возможности исполнить данные мною обещания, то, по крайней мере, значительно затруднят их исполнение.

Я и в настоящее время, как это вам известно, мог бы быть вам во многом полезен. Но настоящее мое положение лишает меня всякой к тому возможности. Чтобы служить вам словом и делом, мне необходимо то положение, на которое, вследствие неоднократных обещаний, я по всем правам мог рассчитывать, но вижу, что должен ждать этого еще полгода, тогда как, полагаясь на Ваши уверения, и согласно с ними, мною было уже все устроено, и я мог считать себя вполне обеспеченным. Более подробные объяснения буду иметь честь сообщить вам при свидании; до тех пор прошу вас, м. г., быть уверенным, что побудительные причины настоящего моего образа действий не заключаются ни в случайном и преходящем настроении духа, ни в недоверии, но единственно в совершенной невозможности действовать иначе до изменения настоящего моего положения.

Конечно, не могу я скрыть и того, что тут примешана небольшая доля весьма удобообъяснимого чувства самосохранения и тем более, что вследствие насильственного перевода моего в Спб., я предвижу попытку известных мне лиц, желающих вытянуть из меня некоторые подробности.—

Считаю, однако же, долгом уверить вас, что я всегда и в такой степени почитал общественное мнение, что охотно перенесу даже жестокую месть вышеупомянутых мною лиц, но не решусь опозорить шпионством честное свое имя. И если бы я даже погиб под тяжестью могущих быть употребленными против меня насилий, то это не может иметь никаких последствий для других, потому что мною приняты против этого известные меры.

Я, однако же, надеюсь иметь честь видеться с вами в скором времени и уверить вас лично в неизменной моей готовности вам служить. Москва, 7 января 1863[1].

Записка Долгорукова Потапову

По прочтении переговорить. Я полагаю, что как эти два письма, так и записку, мною вам переданные, должно будет представить в председательствуемую кн. Голицыным комиссию. 12 января.

Постановление следственной комиссии о Костомарове и Путилине

Выписка из журнала Следственной комиссии 16 января 1863 г.

I. С.-петербургский военный генерал-губернатор словесно объявил г. председателю комиссии высочайшее повеление, дабы комиссия приняла к своему производству дело о разжалованном в рядовые Всеволоде **Костомарове,** а шеф жандармов передал относящиеся к делу бумаги. **Положено:** По содержанию сих бумаг и в разъяснение заключающихся в них обстоятельств потребовать объяснения от коллежского секретаря Путилина, от брата Костомарова прапорщика Алексея Костомарова и матери Костомаровых и кроме сего поручить члену комиссии свиты его величества генерал-маиору Потапову войти в личные объяснения с содержащимся ныне в С.-петербургской крепости Всеволодом **Костомаровым.**

Показания Костомарова

1863 года января 18 дня члены высочайше учрежденной Следственной комиссии тайный советник С. Р. Жданов, свиты его императорского величества генерал-маиор А. Л. Потапов и обер-прокурор сената М. Ф. Гедда, во исполнение журнала комиссии,

---

[1] На конверте письма Суворов написал: Испросить выс. позволение Путилину быть у Костомарова. Одно письмо Костомарова Суворову писано по-французски, другое—по-немецки.

расспрашивали б. корнета Всеволода **Костомарова** как по содержанию **двух записок** (из коих одна в форме письма), представленных коллежским секретарем Путилиным с.-петербургскому военному генерал-губернатору, а сим последним переданных, по высочайшему повелению, в высочайше учрежденную Следственную комиссию, так и о **письмах и бумагах,** доставленных непосредственно в сию комиссию г. Путилиным, и из расспроса оказалось А. **О двух помянутых записках:** Бывший корнет Костомаров удостоверяет, что „записка", в которой изложено образование и организация тайного общества и которая представлена г. Путилиным г. спб. военному генерал-губернатору, составлена не им, Костомаровым, и что он только исправлял редакцию *подобной* записки, представленной ему однажды г. Путилиным; в настоящей же прибавлены такие сведения, о которых в прежней *вовсе не упоминалось.* Костомаров, по словам его, не сообщал Путилину и не мог сообщать *тех положительных* сведений, которые изъяснены в представленной ныне Путилиным записке относительно существования *правильно и окончательно организованного* тайного общества, его *личного состава, средств, числительности членов оного, ополчения с значками и оружием,* ибо о существовании в России такого правильно и окончательно организованного тайного общества Костомаров не имел никогда никаких сведений и потому не мог и передавать их Путилину... Костомаров сообщал Путилину лишь свои личные соображения и выводы, как литератор, вообще о разных направлениях, существующих ныне в обществе, и, сверх того, некоторые известные ему, Костомарову, *частные сведения* об образе действия или намерениях *отдельных личностей* или *отдельного кружка людей,* в который он имел доступ. Так, в записке, которую Костомаров редактировал для Путилина, было изложено лишь все то, что ему, Костомарову, было известно относительно преступных замыслов Михайлова и Шелгунова, а именно: что Михайлов сочинил прокламацию „К молодому поколению" и барским крестьянам, а Шелгунов — к солдатам и что его, Шелгунова, рукою писан экземпляр подобной прокламации, взятой у Костомарова при его арестовании по делу; по которому он осужден. Что Михайлов, отправляясь за границу, составил программу или конспект будущих действий по распространению противоправительственной пропаганды, и повез эту программу для совещания по оной в Лондон. Обо всем этом была составлена Путилиным и редактирована Костомаровым записка единственно с тою целью, дабы Путилин знал, на что необходимо обратить внимание и где следует отыскивать следы преступных замыслов для предания виновных в руки правительства. Независимо от всех сих сведений, которые в редактированной Костомаровым записке были изложены, передавал Костомаров Путилину еще все то, что ему удавалось слышать или узнавать в Москве, в отдельном кружке молодых людей, в который он успел получить доступ три раза, и где он однажды говорил речь, а именно: фамилии личностей, указываемых в этом

кружке, как деятелей, сведения о существовании типографии и архива, или хранилища всей переписки этого кружка, небольшие плакарды, напечатанные в сей типографии; далее, он сообщал ему о том, что типографиею этого кружка заведует Плещеев, а устраивал оную Барфкнехт; что доступ в кружок Костомаров получил через Аргиропуло, который свел его с одним членом кружка, именовавшимся Ив. Сергеевичем Шиповаловым, который и вводил Костомарова в собрания кружка, бывшие один раз в каких-то chambres garnies на Петровке, а другие два раза в каком-то доме за Москвою-рекою; что некто Буренин, архитектор, был указываем Костомарову, как руководитель кружка молодежи, готовый на уличные агитации, а раскольник Ярославской губернии Дорофей был в сношениях с Чернышевским и указываем Костомаровым, как деятель на раскольников. Наконец, Костомаров предлагал Путилину доставить случай войти самому в помянутый кружок, но Путилин отказался, а какое он сделал употребление из переданных ему в свое время сведений о личностях вышеозначенного кружка, его типографии и архиве, т. е. исследовал ли он сии сведения надлежащим образом, Костомарову неизвестно. Из представленной же Путилиным записки о существовании, будто бы, в России тайного общества, Костомаров усматривает, с одной стороны, что в оной сообщенные Путилину известия, как слух (напр., о бывших у гр. Кушелева-Безбородко вечерах), изложены в виде положительных фактов, а с другой, — что в записке сей некоторые сведения (напр., о внутренней организации тайного общества), будучи заимствованы целиком из устава подобного польского общества, из газеты Долгорукова „Будущность“ и из прокламации „Великорусс“, равно из той программы, которая была проектирована Михайловым при отъезде его за границу, изложены в записке также в виде осуществившихся и продолжающих поныне существовать фактов. Далее, некоторые сведения, сообщенные Путилину Костомаровым, помещены в записке в искаженном виде; так, Костомаров показывал Путилину медный значок в виде жетона, который получает каждое новое лицо, допускаемое в вышеупомянутый кружок молодых людей в Москве; в записке же Путилина говорится о значках, имеющихся у земского ополчения тайного общества. Наконец откуда заимствованы сведения, помещенные в записке о числительности членов тайного общества, о его ополчении и даже огнестрельном оружии, Костомарову вовсе неизвестно[1].

Что касается до другой, представленной Путилиным записки в *форме письма* члена тайного общества, то помещенные в сей записке сведения о различных партиях Костомаров признает за

---

[1] В бумагах, представленных Путилиным непосредственно в Следств. комиссию, имеется *черновая* записка о существующем в России тайном обществе, которая, по словам Путилина, была писана со слов Костомарова и представлена Путилиным в перебеленном виде воен. ген.-губернатору; в записке этой в самом начале, где излагается об образовании тайного общества, рукою Путилина отмечено: „*здесь надо литературнее изложить (Примечание членов комиссии)*“.

сообщенные им Путилину в том, однако, отношении, что, говоря Путилину о партиях, он разумел те различные направления, которые он, как литератор-наблюдатель, заметил в современном обществе; но, чтобы существовали различные правильно-организованные партии тайного общества, о том ему неизвестно, Так, под именем партии, которая в записке названа партией высшего сословия, проникнутого английскими началами, он разумел приверженцев направления, проводимого Катковым. Записка эта была составлена единственно для того, чтобы дать Путилину возможность войти в кружок людей и сблизиться с ними. Заключающееся в записке сведение о речи, произнесенной в собрании 10 октября, касается речи, которую Костомаров имел случай слышать в вышеприведенном кружке молодых людей в Москве и которую говорил некто Рыков. Изложенные в конце записки сведения, т. е. с того места, где излагается об организации тайного общества, его законодательной и исполнительной властях, в виде постоянных институтов, имеющих устройство правильно организованного министерства, Костомаров не признает за сведения, сообщенные им Путилину, так как он подобного правильно организованного тайного общества не знает **и Б. О прочих письмах и бумагах,** представленных Путилиным непосредственно комиссии, — Костомаров отозвался, что письма эти писаны им в том же духе, в котором писал к нему Путилин, кроме нижеследующих, о которых Костомаров отозвался: о № 4, — что он подобного шифрованного письма не писал к Путилину. О № 7, — что Костомаров не изъявлял Путилину желания о подаче подобной записки князю Суворову. О № 8, что Костомаров этого шифрованного письма также не писал. О № 10, что приписываемый Путилиным один лист этой записки писан не рукою Костомарова, и что о записке этой сказано выше под. лит. А. О № 11, что Костомаров не писал этого шифрованного письма. О № 17 Костомаров сослался на объяснение, изложенное выше под лит. А. В заключение Костомаров объяснил, что, получив недоверие к Путилину и сомневаясь в искренности желания его содействовать пользе дела, он, для удовлетворения его настояниям о выдаче имеющихся у Костомарова обличительных писем, сговорился с своим братом сделать мнимую попытку к получению сказанных писем от лица, у которого они хранятся, как о сем уже объяснял брат Костомарова; на самом же деле Костомаров вовсе не посылал за письмами, так как до окончания дела о нем в сенате сделать этого было невозможно. Обстоятельство, касающееся сих писем, Костомаров объяснил так: по распространившемуся слуху о том, что преступник Михайлов осужден вследствие доноса на него Костомаровым, сей последний, дабы разубедить кружок, в который он был введен студентом Аргиропуло, *предъявил оному имеющиеся у него два письма Михайлова, одно письмо Чернышевского к Плещееву и одну записку Шелгунова,* с таким присовокуплением, что если бы слух о доносе его был справедлив, то, конечно, помянутые письма не были бы сохранены им у себя, и потому для большего убежде-

ния в искренности своих действий, *он предложил одному из членов этого кружка* (*именовавшемуся Ив. Сер. Шиповаловым*) взять от него конверт с означенными письмами и хранить их до того времени, пока подозрение, на него упавшее, совершенно разъяснится, и с тем притом, чтобы письма сии не были истреблены и во всякое время могли быть обратно получены им, в случае надобности в них для своего оправдания в сказанном подозрении. Шиповалов на это согласился, и с этого времени приведенные три письма и записка хранятся у него в запечатанном конверте. Где живет Шиповалов и точно ли фамилия его такова, он, Костомаров, не знает, но приметы лица этого следующие: молодой человек, с черною бородою, без двух передних зубов, с шрамом на левом виске; он был студентом дерптского университета, хорошо говорит по-немецки и одет всегда хорошо. Уговор обратного получения Костомаровым от Шиповалова конверта с письмами заключался в том, что Шиповалов обещался выдать этот конверт не иначе, как лично Костомарову или, по записке его, брату его, который служит офицером в армейской пехоте (4 резервного бат. Либавского пех. принца Карла Прусского полка) и которого он, Шиповалов, знает в лицо. Истребование этих писем от Шиповалова, прежде окончания дела о Костомарове в сенате, было неудобно в том отношении, что осуждение Костомарова, по приговору сената, должно было служить для кружка молодых людей новым доказательством того, что Костомаров не делал доноса правительству и потому не пользуется от него никаким особым покровительством в деле, по которому он предан суду.

Наконец, относительно *списка личностей, представленного Путилиным*, Костомаров отозвался, что из помещенных в списке сем фамилий, некоторые суть те, которые сообщал ему Костомаров в разное время, по мере получения об них каких-либо сведений, а другие ему вовсе неизвестны и включены в список самим Путилиным. Припомнить те обстоятельства, по коим каждое лицо было указываемо Путилину Костомаровым, сей последний ныне не может. Припоминает, что из трех фамилий именованных на записке, приложенной к письму под № 19, два лица: Гуркевич и Ольшевский были указываемы Костомарову, как представители варшавского тайного общества.

Постановление следственной комиссии по показаниям А. Д. и Н. Н. Костомарова

Выписка из журнала Следственной комиссии 18 января 1863 г.

IV. Комиссия рассматривала отобранные в заседании ее показания брата содержащегося в крепости разжалованного в рядовые Всеволода **Костомарова** прапорщика Алексея **Костомарова** и матери их вдовы прапорщика Надежды **Костомаровой**, равно слушала словесное объяснение члена комиссии свиты его величества генерал-маиора Потапова о последствиях личных объяснений с Всеволодом Костомаровым. **Положено:** по-

ручить членам комиссии С. Р. Жданову, А. Л. Потапову и М. Ф. Гедда вызвать Всеволода Костомарова из крепости в III отделение собственной его императорского величества канцелярии и потребовать от него разъяснения представленных Путилиным бумаг, затем по указанию Костомарова, что бумаги, относящиеся до раскрытия злоумышленных действий некоторых лиц, переданы им проживающему в Москве Ивану Шиповалову, дозволить Всеволоду Костомарову, согласно его желанию, написать письмо к Шиповалову[1] о выдаче бумаг брату Костомарова прапорщику Алексею Костомарову, разрешив последнему отправиться в Москву. Кроме сего, по важности дела и на случай принятия по оному необходимых мер, командировать в Москву члена комиссии генерал-маиора Огарева, снабдив его подорожною, прогонными и суточными деньгами по положению и выдать ему примерную сумму, о чем просить генерал-адьютанта князя Долгорукова, вместе с тем отнестись к московскому военному генерал-губернатору об оказании содействия генерал-маиору Огареву и просить свиты его величества генерал-маиора Потапова сделать распоряжение, чтобы мать Костомарова оставалась безотлучно в С.-Петербурге впредь до распоряжения, в чем и обязать ее подпискою, независимо сего просить министра внутренних дел о приказании коллежскому секретарю Путилину состоять в распоряжении комиссии впредь до распоряжения, о чем уведомить и с.-петербургского военного генерал-губернатора.

Письмо Костомарова вымышленному им Шиповалову.

Дорогой друг Иван Сергеевич.

Вы окажете мне неоцененную услугу, немедленно возвратив подателю этой записки, брату моему,—пакетец, данный мною на сохранение вам. Бумаги эти более чем когда-нибудь нужны мне. Брат мой (вы говорили мне, что видели его где-то; стало быть, не ошибетесь в его личности) должен будет показать их в Петербурге одному лицу; зачем—вы знаете.

Надеюсь, что вы перестанете наконец скрывать от меня свой адрес,—так как я, in persona, ловить вас уже не могу, а между тем, может быть (и даже очень может быть) представится возможность и надобность писать к вам.

Да вот хоть бы и теперь. Мне к р о в н а я нужда иметь мои бумаги; а где искать вас? недели может быть пройдут прежде, чем брат мой найдет вас (да еще найдет ли?), а я, вследствие этого, должен буду вытерпеть много горя. Не думайте, впрочем, чтобы беда шла ко мне с в е р х у. Вы знаете, что если б я расположен был купить благоволение властей „ценою ценeнного“,—я сделал бы это прежде. А теперь я менее всего нуждаюсь в каком-либо задобривании. Т у т уж со мной все кончено. С одного вола двух шкур не дерут,—а одна уж содрана. Consummatum est[2]. Скажите непременно, где брат мой может найти вас

---

[1] Оказался вымышленным лицом, точнее—самим Вс. Костомаровым.

[2] Свершилось.

во всякое время и куда я мог бы писать вам, если б представилась возможность. Кроме того, я надеюсь, что вы не откажетесь снова принять мои бумаги, когда они более не будут мне нужны.

Я покуда сижу еще в части (не грех вам ни разу не навестить меня!). Вчера, как вы уже знаете, вероятно (кажется я видел вас в толпе, окружавшей лестницу сената), мне объявлена сентенция. Должно быть скоро повлекут меня и в ров львиный.

Ну, прощайте пока. Непременно отдайте письма—вы не измените этим данному мне вами слову, потому что я дня через четыре возвращу их. Тогда я подробно напишу вам, зачем и для кого я беру их. От людей, сидевших уже во рве львином, я слыхал, что там представляется иногда возможность писать воровские (как говаривалось когда-то) письма.

Рекомендую вам подателя сего, как юношу, сильно желающего войти в ваш кружок. Насколько найдете возможным сделать это—сделайте; потому что и он может быть будет не бесполезен вашему делу. Конечно, вы будете осторожны с ним на первое время,—пока сами не испытаете, что он искренно предан идеям людей вашего склада,—в чем примите пока мое искреннейшее уверение.

Прощайте пока. Крепко жму руку вашу. Низкий поклон братии нашей. Подайте хоть какую-нибудь весточку: что, как дела.

Ваш навсегда Ал. Кнохеншмит.

Москва, 3 января. Сущевская часть.

„Шиповалов“ (т. е. сам Всеволод Костомаров)— А. Д. Костомарову[1]

№ 1. 25 янв. Г. Костомаров, — совершенно нечаянно до меня дошли слухи, что вы уже давно ищете меня с письмом от брата вашего, в котором он поручает взять у меня вверенный им мне конверт с бумагами известного вам содержания.

№ 2. Очень жалею, что я не мог его посетить в Сущ. ч., ни встретиться с вами после.

№ 3. Впрочем, в последнем едва ли даже и предстояла какая-нибудь надобность после того, как с заключением в крепость брат ваш совершенно перестал нуждаться в доверенных им мне бумагах, ибо не может уже (извлечь?) из них той нравственной пользы, какую они приносили ему, когда он был на свободе.

---

[1] 11 февраля 1863 г. А. Д. Костомаров получил по городской почте письмо; вскрыв его, нашел запечатанный конверт на имя Всеволода Костомарова от некоего Ш.; в нем оказалось письмо, написанное цифрами. Расшифровал его Всеволод Костомаров, давший и ключ к шифру. Интересно отметить, что это шифрованное письмо написано на такой же бумаге (со штемпелем: Papier Marion Paris, как и письмо Всев. Костомарова к Соколову).

№ 4. Но если вы найдете возможность, уверьте брата вашего, что бумаги его будут у меня целы, как нигде, и что я строго и свято сдержу данное мною слово, возвратить ему эти бумаги тотчас же, как он сам будет возвращен обществу и стало быть получит возможность делать из них то употребление, какое до сих пор делал, — а не то, какое по слабости природы человеческой мог бы сделать теперь, в минуту отчаяния и скорби.

№ 5. Я повторяю его же слова, которые он сказал мне, отдавая эти письма; он благородно сознал, что, обессиленный страданиями, самый честный человек может быть иногда очень неразборчив в средствах к своему спасению, — чего потом уже никогда не простит себе, — и, презираемый самим собою, отвергнутый (всеми?) честными людьми, всю жизнь свою будет мучительно раскаиваться в своей малодушной слабости.

№ 6. Вот это-то благородное сознание и заставило многоуважаемого братца вашего отдать бумаги свои человеку, образ мыслей которого был ему, конечно, известен, — но настоящей фамилии и адреса которого он не знал, — чтобы отнять у себя таким образом всякую возможность сделать подлое дело, на „пристрастном спросе“, который, к стыду нашему, уничтоженный de jure, продолжает существовать de facto. — Все это я потому говорю, чтоб показать вам (что?) мой образ действий вполне согласуется с желанием братца вашего и, я уверен, не может быть ему неприятен.

№ 7. Да и оставя все это, он сам же связал меня клятвой, нарушить которую меня не заставит ничто; в силу этой клятвы, я обязан возвратить письма брату вашему немедленно по его водворении (там?), куда он будет послан в солдаты.—И я сдержу свое слово, ибо, благодаря бога, до сих пор никогда не нарушал его. — Тогда я умываю руки. — Мое дело будет сделано, а там братец ваш может делать со своими письмами, что ему угодно.

№ 8. Мы внимательно следим за судьбой его — (потому что принимаем в нем большое участие) — и, поверьте, что куда бы судьба ни забросила его,—письма, доверенные им мне, немедленно найдут его.

№ 9. Я сегодня же должен уехать из Москвы по делам своим, месяца на три; а то, поверьте, никак бы не отказал себе в удовольствии познакомиться с вами.

10. Но это, конечно, не помешает мне знать все о брате вашем; я буду к нему даже несколько ближе. *И. С.*

Объяснение Путилина о его сношениях с Всев. Костомаровым[1]

В сентябре месяце 1861 г. по распоряжению г. министра финансов находился я в Москве для производства одного весьма важного исследования, где получил от начальника с.-петербургской полиции депешу немедленно прибыть в Петербург.

[1] Многие места, подчеркнутые в оригинале, набраны полужирным шрифтом. В сносках даются замечания, сделанные на полях.

Явившись к с.-петербургскому военному генерал-губернатору, мне приказано было тотчас же отправиться к исправлявшему тогда должность шефа жандармов, начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии, для содействия к раскрытию лиц, распространявших воззвания и прокламации.

В то время содержался при III отделении корнет Костомаров, который и дал весьма важные тогда сведения и указал лиц, распространявших прокламацию „К молодому поколению", и почти одновременно открыто было мною лицо, развозившее прокламацию „Великорусс". Занимаясь под руководством графа Шувалова по III отделению до ноября месяца, я коротко познакомился с Костомаровым, а после, когда граф Шувалов оставил должность свою, я отправился вновь в Москву для занятий по поручению министерства финансов, и там по просьбе Костомарова познакомился с семейством его, и видя стеснительное положение их в средствах, **помогал им деньгами.** Затем в январе или феврале 1862 г., когда означенный Костомаров содержался в г. Москве в Тверской части, **я посещал его, и зная, что он, Костомаров, может дать указания на лиц, участвующих в политическом движении, уговорил его** видеться с прибывшим в то **время в Москву начальником** III отделения генерал-майором Потаповым, и его превосходительству, как известно мне, он, Костомаров, указал: на **Чернышевского, Добролюбова и др.** После сего я увидался с Костомаровым, когда он уже жил вместе с семейством своим, и при разговоре Костомаров выражал неудовольствие свое на правительственных лиц, которые за указания его не скрыли имени его и тем уронили в обществе литераторов и поставили в затруднительное положение **к лицам, в тесной связи с коими он находился в деле революционной пропаганды, а между прочим говорил, что он имеет весьма важные сведения, но опасается с искренностью довериться правительственным лицам;** о чем я по прибытии в Петербург докладывал г. начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии.

Весной 1862 года появились вновь прокламации, и г. с.-петербургский военный генерал-губернатор поручил мне разыскание лиц, распространявших оные. Не сомневаясь, что Костомаров может помочь мне в деле этом, я письменно просил его о сем, на что и получил ответ (№ 24)[1], что ему необходимо видеться лично со мною. Желая знать, что может именно сообщить мне Костомаров, **я чрез нарочно для сего посланного[2] вновь просил его, для удостоверения начальства, уведомить меня, какие именно он имеет сведения.** Костомаров **с сим посланным** прислал письмо (№ 1) и при оном два воззвания от революционного комитета и часть шрифта, коим они печатались, и между прочим объяснил, что ему весьма много известно, и что только чрез него можно сделать весьма важ-

---

[1] Ответ не прямой, да и не видно, чтобы был ответ.
[2] Кто?

ные открытия, но предварительно, до начала дела, я должен непременно приехать к нему.

Письмо это и приложения к нему я представил князю Суворову, и его светлость после сего немедленно приказал видеться мне с Костомаровым и узнать характер его сведений и каким путем можно иметь оные. Корнет **Костомаров лично объяснил мне, что он есть член тайного общества**, которое стремится к опровержению всего, что только есть священного для каждого русского верноподданного, **но ныне разойдясь в убеждениях, в плане и цели действия сего общества, решается открыть не только лиц этого общества, но их типографии и план действия**, но открытие это он иначе не согласится сделать, как после объявления решения по делу его и единственно чрез посредство князя Суворова. **Вслед же за сим он, Костомаров, в письме, написанном условными буквами**[1] **(№ 4), сообщил мне, что он берется открыть следующее: несколько главных узлов огромной сети тайного общества, покрывающей большую часть России, столичные революционные комитеты до 150 членов и до 200 корреспондентов тайного общества, выдать корреспонденцию 3 человек—руководителей тайного общества, указать помещения тайных типографий с объяснением где и кем приобретены шрифт и станки, но для того, чтобы дать ему возможность исполнить это, и даже сделать гораздо более, должны быть правительственными лицами выполнены следующие условия** его: он не должен в деле этом [быть] замешан, ни в качестве участника, ни в качестве открывателя или свидетеля, и для отклонения подозрения в измене обществу он должен быть разжалован в рядовые на Кавказ, и вместе с тем это может служить правительству ручательством, что со стороны его будут исполнены обещания. Если же оказанная им услуга будет велика, то назначить его семейству пособие, а ему даровать право выслуги. Письмо это в подлиннике я представил князю Суворову и в записке (№ 5) докладывал, что если угодно будет возложить на меня открытие этого дела, то за успешный исход его я могу ручаться только в таком случае, если будет для сего назначена в начале **наисекретнейшая комиссия и если я не буду стеснен в личных действиях моих и денежных средствах.** Засим в июне месяце я вновь подал его светлости записку № 6, и изложил в ней высказанные мне Костомаровым сведения о средствах революционной партии, и по случаю обширных размеров этой политической заразы, заявлял о необходимости содействия в деле этом Управления III отделения и г. министра внутренних дел. Обо всем изложенном докладывал я г. г. шефу жандармов, министру внутренних дел и начальнику III отделения, но получил лишь от генерал-адьютанта князя Суворова приказание отправиться к Костомарову и объявить ему,

---

[1] Зачем письмо, когда говорили лично? Прежде в № 1 Костомаров отказывался писать.

что государь император высочайше соизволил изъявить его светлости согласие на просьбу Костомарова.

По объявлении о сем Костомарову, мать его подала лично просьбу князю Суворову о замене предстоявшего сыну ее наказания разжалованием его в солдаты. Сам же корнет Костомаров, убежденный в исполнении правительственными лицами условия его, **пригласил брата своего прапорщика Алексея Костомарова[1] помочь ему оказать услугу правительству, на что последний согласился.**

Затем стали ожидать решения дела о Костомарове, которое, как объявили мне выше сказанные правительственные лица, должно [было] быть решено к 20 сентября, но минул уже давно назначенный срок, а дело не решалось, но между тем Костомаров напоминал мне, чтобы я просил кого следует сколь возможно к скорейшему окончанию дела о нем, **так как члены тайного общества подозревают его**, что правительство простило ему вину и он остался без взыскания, вследствие сего я по нескольку раз являлся и докладывал г. г. шефу жандармов, министру внутренних дел, с.-петербургскому военному генерал-губернатору и начальнику III отделения и подал записку (№ 7), и только получал ответы, что дело скоро будет решено. **Костомаров же в видах скорейшего окончания дела о нем составил записку** (№ 10), **в которой изложил, как началось, развилось и состоялось тайное общество, но и эти сведения его не подвинули дела к решению.**

14 октября Костомаров принес ко мне (№ 9) несколько экземпляров журнала революционного комитета о заседании 14 октября, на тот предмет, дабы я представил оные правительственным лицам для удостоверения в действительности существования политического общества, как эти журналы, так и еще одну записку, составленную им же, корнетом Костомаровым (№ 17) о состоянии революционного союза и знак того союза, выдаваемый ратникам, все это представлял я правительственным лицам; но и засим дело оставалось нерешенным и мер к действию не принималось.

Наконец в декабре месяце его светлость князь Суворов объявил мне, что дело о Костомарове решено с изменением против желания в том, что он вместо назначения его прямо рядовым на Кавказ, должен будет еще [быть] заключен в крепость на 6 месяцев, о чем и приказано было известить Костомарова и уверить его, что если он окажет правительству важную услугу, то содержание в крепости может быть отменено. Костомаров, услышав от меня сообщенное его светлостью решение, заметно стал ко мне недоверчивее, но сознавая, что в деле, начатом им, он зашел слишком далеко, не отказывался однако выдать мне имеющиеся у него сведения, но не иначе, как после объявления ему решения.

---

[1] В письме № 1 Костомаров говорил, что людей не надо, они сами люди.

Решение ему объявлено было 2 генваря, а я из Петербурга прибыл 3-го, и тогда Костомаров объявил мне, что так как правительственными лицами не выполнено его важного условия, по которому он обязывался служить правительству орудием к открытию известных ему обстоятельств по политическому движению, то он не может выдать мне никакие сведения, до тех пор покуда не увидит князя Суворова и не будет иметь от него личного уверения, что он, Костомаров, к раскрываемому им делу не привлечется ни в качестве обвинителя и свидетеля, и по поводу сего он написал его светлости два письма. 10 генваря встретил я Костомарова в вокзале Николаевской железной дороги, где он сказал мне, что желает видеть его светлость 12-го числа, но что прежде сего ему необходимо видеться со мною, об этом доложил я г. г. шефу жандармов и с.-петербургскому военному генерал-губернатору и просил тогда же разрешения на свидание, но получил таковое лишь 12-го числа и за полчаса времени до приезда его светлости в крепость я виделся с Костомаровым, который говорил мне, что он очень рад, что увидит князя Суворова и сообщит ему обо всем, что только ему известно. Что же именно послужило поводом к тому, что Костомаров не высказал ничего его светлости, того мне неизвестно, потому, что я до сего времени более уже Костомарова не видал и хотя заявлял о необходимости нового моего с ним свидания, но разрешения на это не получил.

Объяснив таким образом обстоятельства, сопровождавшие представленную мною переписку с Костомаровым, считаю долгом довести до сведения высочайше учрежденной комиссии, что по настоящему делу, как видно из его хода, я своевременно и настоятельно представлял несколько раз правительственным лицам о принятии с их стороны мер к обращению внимания на столь серьезное дело. Сам же я с своей стороны, дабы иметь время свободно заниматься этим многосложным делом, должен был отказаться от должности надзирателя с.-петербургской полиции и чиновника особых поручений при министерстве финансов по секретной экспедиции, которые вполне обеспечивали мое содержание, а между тем на беспрестанные по сему делу поездки мои в Москву, пребывание там, и на личные расходы братьев Костомаровых должен был издержать из своей собственности[1] значительную для меня сумму денег, простирающу-ю[ся] до 2.800 руб., не говоря уже о понесенных мною трудах, расстроивших сильно здоровье мое. Хотя же подготовленные мною общие сведения по настоящему делу и не достигли еще желаемого успеха, но это, как видно из выше сказанного, произошло не по зависящим от меня обстоятельствам, а потому смею надеяться, что высочайше учрежденная комиссия, по ближайшем рассмотрении действий моих, признает справедливым

---

[1] Против этого места поставлен вопросительный знак.

довести об оных до высочайшего сведения государя императора.

Состоящий при министерстве внутренних дел коллежский секретарь И. Путилин[1].

Выписка из журнала следственной комиссии

24 января 1863 г.

IV. Служащий в министерстве внутренних дел коллежский секретарь **Путилин** представил в комиссию объяснение свое по делу разжалованного в рядовые Всеволода Костомарова. **Положено:** приобщить к делу, для соображения при производстве оного.

Записка князю Суворову, составленная Путилиным со слов Костомарова

[№ 3] Истекающие из убеждений моих чувства истинной любви к нашему государю и родной России побуждают меня

---

[1] К объяснению Путилина приложен следующий перечень относящихся к нему документов:

№ 1. Письмо от Костомарова красными чернилами с приложением шрифта и 2 печатных объявлений.

№ 2. От него же на розовой бумаге.

№ 3. Записка князю Суворову руки Путилина, составленная со слов Костомарова.

№ 4. Письмо Костомарова, писанное условными буквами.

№ 5. Перевод с письма № 4-го, писанный рукою Путилина.

№ 6. Записка руки Путилина, поданная князю Суворову.

№ 7. Копия с записки, поданной князю Суворову, по желанию Костомарова.

№ 8. Записка от Костомарова, писанная условными буквами.

№ 9. Четыре листка печатных объявлений, доставленных Костомаровым Путилину.

№ 10. Черновая записка, писанная чернилами и карандашэм рукою Путилина, исправленная местами рукою Костомарова, и один лист карандашом его же рукою.

№ 11. Письмо Костомарова условными буквами и частью настоящими.

№ 12. Записка от Костомарова.

№ 13. Письмо от него же.

№ 14. Два конверта его же.

№ 15. Письмо от Костомарова.

№ 16. Письмо от него же.

№ 17. Записка, начатая рукою Путилина, а оконченная рукою брата Костомарова, писанная с руки Костомарова.

№ 18. Письмо от Костомарова карандашом.

№ 19. Письмо от него же с запискою на особом листке 3 фамилий рукою брата его.

№ 20. Записка фамилий условными буквами, присланная ко мне Костомаровым.

№ 21. Письмо от Костомарова.

№ 22. Справка из адресного стола г. Москвы.

№ 23. Записка фамилий рукою Путилина.

№ 24. Письмо от Костомарова.

№ 25. Письмо и расписка матери Костомарова.

Коллежский секретарь И. Путилин.

В этом перечне документы расположены не в хронологическом порядке. Документы, напечатанные в настоящем издании, мы пометили нумерами путилинского перечня. Имеющиеся в двух вариантах приведены в одном.

только одному вашей светлости, как непоколебимо верному представителю (зач: народа) перед престолом его величества, заявить о существовании у нас тайных обществ, которые стремятся ныне к пагубному ниспровержению всего, что только есть священного для каждого русского верноподданного.

Общества эти, разделяясь на партии, сосредоточиваются по преимуществу в столицах и имеют членов своих из военного, гражданского и других сословий, а также из старообрядцев.

Общества эти положили своею целью каким бы то ни было путем, огнем или мечом, или другими способами, но всячески достигнуть республиканского правления в России.

В настоящее время общества эти развили круг своей деятельности уже в обширных размерах и даже привлекли на свою сторону часть войск, преимущественно же артиллерию.

Действительный член этого общества из последнего собрания, бывшего в Москве и состоявшего из 200 лиц, убедился, что фанатизм их достиг крайних пределов, сознавая свои силы, и что они готовы скоро приступить к осуществлению их замыслов на самом деле, но ждут теперь только лишь наставления и совета в этом деле от Герцена.

Член этот хотя и участвовал в составлении и распространении одной из возмутительнейших прокламаций „К молодому поколению“, но ныне, разойдясь в убеждениях своих с главною целью и планом действия общества, решился открыть мне не только лица и тайные типографии, но и дальнейшие их намерения, с тем только, чтобы он подвергнут был разжалованию в рядовые, с назначением на Кавказ (князь Суворов написал сверху карандашом красным: или в Сибирь), между тем как по суду подлежит менее тяжкому сего наказанию.

Чтобы достигнуть с полным успехом не только пресечения, но и совершенного искоренения этой глубокой и ядовитой заразы, необходимо не только пожертвовать на это большие денежные средства, но иметь тоже образованных людей, которые готовы были бы в случае надобности рискнуть своею жизнию.

Записка Путилина, представленная кн. Суворову

Член революционного общества, согласный открыть лиц, участвующих в заговоре, план и цели их действий, после личного моего с ним объяснения, ныне письменно уведомил меня, что так как при открытии им в прошлом году преступления противу верховной власти одно важное правительственное лицо неисполнением своего слова, в отношении оставления его личности в неизвестности, нравственно уронило его в обществе, то, не имея уже теперь такого доверия, он имеющиеся у него весьма важные сведения не может выдать безусловно.

Между тем, он берется открыть: 1) несколько главнейших узлов огромной сети тайного общества, покрывающей большую часть России, 2) столичные революционные комитеты в полном

их составе, до 150 членов присутствующих и до 200 членов корреспондирующих, 3) выдать корреспонденцию трех членов руководителей тайного общества, 4) указать помещения нескольких тайных типографий, основанных членами в обеих столицах и селе, 5) ему известен полный состав редакции проектированного революционным комитетом журнала „Мысль и Дело", помещение ее типографии, с указанием, где, когда и кем приобретены станки и шрифт, и затем 6) подробный систематический свод всех имеющихся у него сведений о ходе дела и планах революционного общества.

Но для того, чтобы дать ему возможность исполнить не только все эти обещания, но даже сделать гораздо больше, должны быть выполнены следующие условия: 1) он не должен быть замешан в этом деле ни в качестве участвующего, ни в качестве открывателя или свидетеля, 2) для отклонения всякого от него подозрения в измене обществу он должен быть разжалован в рядовые с назначением в кавказский корпус, а вместе с тем это может служить правительству ручательством в том, что со стороны этого лица будут исполнены обещания, так как если бы доставленные им сведения оказались несправедливыми или даже менее важными, то правительство может оставить его навсегда рядовым без выслуги, 3) если же оказанная им услуга будет велика, то назначить его семейству ежегодное вспомоществование, равное той сумме, которую он вырабатывает литературными трудами (1500 руб.), а самому ему даровать право выслуги.

Характер его сведений, если бы и имело их правительство в своих руках, не может уничтожить всего общества по неимению на многих юридических доказательств, но зато будут достоверные источники, где и как их найти, и даже берется, может быть, ввести в общество человека, который возьмется быть обвинителем и свидетелем.

Передать все эти сведения и документы он согласен только мне, это тоже условие, от которого он не отступит ни на шаг. Дабы же, принимая от него дело это, я знал, за что берусь, объясняет следующее: арестовать всех лиц, которые им будут указаны, разом нельзя, во-первых, потому, что они составляют, быть может, 1/200 общества и, стало быть, аресты их ни к чему не поведут; во-вторых, потому, что юридических улик на многих из них у него нет, так как если бы и захватить на основании фактов двух-трех столичных коноводов или наличных членов какого-нибудь комитета во время заседаний, забрать ли два-три станка,—ведь этого мало: еще останутся 1000 членов во всех сословиях, во всех углах России, останутся учителя кадетских корпусов и других учебных заведений, попы с семинаристами и всякими странниками, раскольники разных толков с казаками, с их войском, с штаб-и обер-офицерами, и всякие барыни, и цыгане, и евреи, и поляки, и мало ли еще кто... —Не должно скоро арестовать всех лиц, указанных им, а следить за ними, чтобы посредством этих сотен поймать тысячи.—

Все это он говорит для того, чтобы видеть, какие средства должны быть даны для этого правительством, и если оно на все эти условия согласно, то просить меня немедленно к нему приехать.

Кроме сего, в настоящем письме сказано, что последнее событие[1] общества доказало, что средства революционеров велики и, стало быть, велика и опасность, ибо борьба предстоит или на жизнь, или на смерть.

Представляя при сем подлинное письмо, считаю обязанностью доложить вашей светлости, что если угодно будет возложить на меня открытие этого важного дела, то за вполне успешнейший исход его я могу ручаться только в таком случае, если необходимая для сего в начале секретнейшая комиссия под непосредственным руководством вашей светлости будет составлена из лиц, на содействие которых я мог бы вполне надеяться, и не был бы стесняем как в личных моих действиях, так и в потребных для сего больших денежных средствах. Необходимость составления таковой комиссии обусловливается распространением в столь громадных размерах политической заразы.

Записка руки Путилина, поданная кн. Суворову

с пометкою: № 6; под. в Пет-ге 6-го июня [1862]

В дополнение к представленным мною объяснениям о необходимости принятия со стороны высшего правительства мер противу существующих в России весьма опасных для Верховной власти тайных обществ, считаю долгом объяснить, что так как, вследствие последнего моего свидания и личного объяснения с членом революционного комитета насчет средств и способов, потребных со стороны правительства для успешного противодействия и искоренения всех вредных замыслов, представляются еще те невысказанные им общие данные, что эта политическая зараза, раскинутая по разным краям России, что в Киеве существует один из опаснейших революционных комитетов под названием Польско-Малороссийского, и что при всем этом тайные общества обладают значительными материальными средствами, то засим при таких обширных размерах настоящего дела, даже при изыскании предварительных способов к открытию и уличению преступных в сих замыслах лиц, необходимо самое деятельное участие и содействие, как Управления III отделения с. е. и. в. канцелярии, так и министра внутренних дел и ближайших подведомственных ему высших административных властей в губерниях.

Перевод письма № 4, писанный рукою Путилина

Любезный друг, приняв вторую степень посвящения, ты имеешь теперь право несколько более познакомиться с нашими революционными силами и их составом.

---

[1] Описка, вместо—собрание

Ты уже знаешь, что оппозиция правительству приняла в последнее время такие размеры, что из лагеря „недовольных" образовалось целое status in statu. Было ли это беспрепятственное возрастание наших сил следствием беспечности правительства, слишком ослепленного ложной идеей о своей нерушимости; было ли оно следствием незнания наших сил; или, наконец, презрения к ним, решать я не берусь, а предоставляю тебе самому заняться когда-нибудь на досуге решением этой странной—в высшей степени странной загадки. Теперь мы поговорим с тобою о свойствах нашей оппозиции.

Силы наши различного свойства. Я считаю необходимым показать тебе их общую связь и объяснить тебе состав их настолько подробно, насколько мне позволит это степень твоего посвящения. Я надеюсь, что тогда тебе будут понятны и настоящий характер, и результаты нашего действия.

Во-первых, есть у нас партия, которая сохраняет еще иллюзии на способность нашего правительства „усовершиться". Члены этой партии серьезно верят в обещания правительства; не ожидая ничего доброго от настоящего государя, они все еще рассчитывают на его династию. Партия эта исключительно состоит из либералов среднего сословия и представителем своим у нас, в М., считает..., человека в высшей степени честного, симпатичного и красноречивого. Его поддерживают...

Другая партия, почти такая же сильная, хотя и меньшая числом, по положению своих представителей может назваться партией высшего сословия. Проникнутая английскими началами, она формулировала свое учение в такое правило: „государь царствует в государстве, но не управляет им". Не скажу главою, а скорее *центром* этой партии у нас считается Катков; [1] (ты увидишь, узнав, в свое время его фамилию, как ловко умеют люди этой партии носить маски верноподданической преданности) самые влиятельные члены...

Впрочем, надо тебе сказать, что партия не успела да и не могла приобрести много приверженцев в массе,—она, так сказать, штаб генералов и офицеров без солдат. Влияние этой партии держится только на *личном* достоинстве ее членов.

Радикальная партия имеет самое большое число представителей в нашем комитете. Опора ее в стране—огромная симпатия масс. Эта партия имеет обширные связи в средних слоях общества и ведет деятельную переписку с членами Л-ского комитета. Она находится в постоянных и тесных сношениях с солдатами, мастеровыми, ремесленниками, крестьянами, негоциантами, чиновниками, духовенством и проч.,—и, основательно изучив их интересы и потребности, их страдания и надежды, она знает все, что есть великого, благородного и инстинктивно-гениального в сердце народа. А это знание—такая сила, перед которой ничтожны и пули, и штыки тупого насилия. Наконец, своими связями, принципами, своим неутомимым возбуждением к борьбе за право всех униженных, всех оскорблен-

[1] Фамилия вписана карандашом рукою Долгорукова.

ных, всех поруганных и обманутых, своим неотступным апостольством, своим безбоязненным и твердым заявлением широко-либеральных стремлений и той горячей деятельностью, которая бывает плодом только сильных убеждений,—всем этим радикальная партия соединила под свое знамя огромные массы приверженцев.

Преданные и горячие поборники дела, исполненные презрения ко всякой коварной тактике, отчасти суровые и мрачные, но откровенные энтузиасты,—они призывают на битву с невыносимым деспотизмом всех людей с оскорбленным сердцем, напоминая им их забытые интересы, их попранные права, возбуждая их раздраженные страсти, разжигая всю ненависть, все отчаяние демократии, у которой всюду поперек дороги легли гниющие трупы привилегированных сословий.

К несчастию, и эта партия разделилась на два лагеря. Оба они хотели одного и то[го] же—республики и демократического правления, но каждый из них стремится к осуществлению своих целей различными путями. Одни, полные веры в могущество своего дела, полные убеждения в его правоте, надеются (или, лучше сказать, надеялись) достигнуть своих стремлений посредством общественного сознания, которое, по их мнению, *должно* же восторжествовать. Самым лучшим, надежным и неотразимым средством к достижению успеха они считают неутомимую пропаганду посредством слова и тайной прессы. Вооруженное восстание не находит сочувствия в этой части республиканской партии, хотя теперь они и согласились на него, *как на зло, хотя и великое*, но неизбежное. Другие, более нетерпеливые, провозглашают, что против бесправия могут иногда быть употреблены меры и не совсем правые; что правительство, действующее насилием,—насилием должно быть и свергнуто („обнажившие меч мечом и погибнут"); самоуправление есть единственное *законное* правительство, стало быть, для достижения его *законны* и все средства, каковы бы они ни были: бунт, заговор, тайные убийства и т. д. В оправдание этого мнения [и против того], что *силою навязывать* народу новые принципы правления есть ошибка и преступление, они говорят, что народ, находясь в постоянном неведении своих прав, *не может* заявить сам своих требований, что в таком случае не только позволительно, но даже должно *навязать* ему отнятую у него насилием и обманом свободу.

Впрочем, несогласия эти никогда не доводили нас до ссор и антагонизма. Скрепленные одинаковостию чувств, одинаковостию стремлений, мы легко подчиняемся большинству в выборе средств для достижения общей цели. *Одна* какая-либо партия никогда не могла бы создать такой громадной оппозиции *одними своими силами*; да если бы революция и явилась делом одной партии, она непременно погибла бы от противодействия остальных соединившихся между собой партий [1].

---

[1] В непродолжительном времени доставлю тебе блестящую речь „о необходимости примирения партий и о действии вообще", сказанную Р—вым в собрании.

Теперь, познакомив тебя в общих чертах с направлением и составом наших *сил*, [сообщу] и некоторые подробности касательно наших учреждений. Наперекор всем парламентарным законам, *законодательная* власть нашего союза находится в руках постоянного института, имеющего вид правильно организованного министерства,—и, наоборот, властью *исполнительной* облечены центральные комитеты делегатов, составляющие, так сказать, венец всей массы наших сил. Организация этой могущественной силы очень проста.

В каждом из округов есть комитет, который посылает своего депутата в центральный комитет. Посредством этих депутатов-представителей центральный комитет сообщает деятельность окружным комитетам, а те, в свою очередь, передают это движение своим избирателям. Центральный комитет, разумеется, неусыпно заботится о том, чтобы во всех частях союза возбудить одинаковую жажду деятельности. Долго успех в этом деле казался более чем сомнительным, но в настоящее время различные элементы слились уже в общую массу и достаточно приготовлены к тому, чтобы действовать общими силами. Теперь влияние центральных комитетов значительно усилилось, и авторитет их принят везде и безусловно. Ни откуда не встречается ни возражения, ни сопротивления, ни равнодушия.

Я знаю, что ты, мой неисправимый скептик, не очень веришь в могущество нашей оппозиции. Ну, вот, теперь пришло время *подставлять известные величины* в знакомые тебе формулы,—и ты сам удостоверишься в непреложном значении исторической истины, что все правительства от долгого царствования поражаются слепотою. Мы слишком привыкли возиться с мелочами, проглядели все глаза на пустяки,—и когда пришла действительная опасность, мы ее не видим. Наша service de sureté весь век свой ловила одних ершей, и если на ее удочки не попадаются **пудовые осетры** она остается в совершенной уверенности, что осетров этих не существует и вовсе. Правительство уверено в армии, но кому неизвестно, что правительство держится уж никак не самовеличием внутренней силы. Армия всегда и везде была одною из самых сильных внешних опор деспотического правительства. Но при каких условиях? Пока ее задаривали и покупали, как солдаты-императоры римские; пока ее держали в узде, как солдат-император Н[иколай]; пока ее „водили к победам“, как солдат-император Наполеон. Про нашего мы не можем сказать ни того, ни другого, ни третьего. А между тем, он еще уверен, что „армия, подобно жене Цезаря, не может быть даже заподозрена“. Сильно он ошибается. Если армия, *по привычке,* и была до сих пор верна дисциплине,—зато она далеко не воодушевлена; *мы убеждены*, по имеющимся у нас сведениям, что она не очень усердно будет сражаться против людей, восставших во имя права,—сражаться за людей, которые так слабо держали в руках своих то знамя, которое они обязаны были покрывать славой. Но для ограниченных умов *доверчивость доступнее бдительности.*

Степень твоего посвящения не позволяет мне сказать тебе ничего более. Если интересы нашего дела точно близки тебе,— постарайся, чтобы срок твоего искуса окончился как можно скорее. Иначе *действие начнется*, и на твою долю выпадет одна только жалкая роль *постороннего зрителя*. Я не стану повторять тебе в сотый раз того, когда наступит срок твоего искуса: ясно само собою, что ты должен будешь что-нибудь сделать для общества прежде, чем оно решится облечь тебя *полною своею доверенностью*. Чем скорее это случится, тем бесконечно лучше для всех, интересующихся успехом нашего предприятия.

Копия с записки, поданной князю Суворову по желанию Костомарова

[№ 7] Бывшие студенты московского университета Сороко, Оргелопуло[1] и корнет Костомаров с другими, хотя и состоят ныне под судом в сенате (в Москве) за распространение возмутительных сочинений, но, проживая в Москве, находятся в тесной связи с подобными же им неблагонамеренными людьми. Поэтому признается совершенно необходимым ускорить окончанием упомянутого дела и немедленно принять меры к разъединению означенных лиц в видах предотвращения совокупных вредных их действий.

Записка о тайном обществе

Мы не имеем никакой возможности сказать о начатках и успешном развитии тайного общества, оно быстро распространилось по всем пунктам страны и проникло во все сословия.—

Наэлектризованные могучим словом с в о б о д а, уставшие почти 30 лет носить на себе гнет самого худшего деспотизма— деспотизма солдатчины, наконец, горько обманутые целым рядом несбывшихся надежд на лучшие дни нового царствования, униженные позорным исходом войны, поглотившей все наше материальное богатство, истощившей наши нравственные силы, оскорбившей чувство национальности, разрушившей вековую уверенность в непобедимость наших войск и в величие русского царя, люди всех сословий целыми массами переходили в лагерь недовольных. Правительством недовольные были везде—и на ступенях трона, и в самой бедной хижине. Недоволен был судья на своем стуле и обвиненный, стоящий перед ним с грустным сознанием своей беспомощности против азиатского произвола тупого насилия. Пропаганда существовала везде, потому что недовольство распространилось повсюду.

Так шло несколько лет. Манифест 19 февраля только отстранил катастрофу, но далеко не устранил подготовившие ее мотивы. Земские сословия, помещики и крестьяне были поставлены в положение более еще ложное. Обнищавшие помещики увеличили

---

[1] Т. е. Аргиропуло.

число недовольных, обманутые в своих ожиданиях крестьяне готовы были подняться как один человек. Но агитация, еще не успевшая получить правильной организации, опоздала. Прокламация, которая должна была открыть глаза обманутому и ограбленному крестьянству, не состоялась (отобрана у Костомарова); тем не менее народ не принял своей скудной подачки и ни на минуту не переставал и не перестает ждать „новой воли“. Так или иначе он добьется этой „настоящей воли“, какими бы там сладкогласными песнями ни убаюкивали нашу младенческую администрацию.

В конце 1860 г. нам удалось сблизиться с некоторыми из главных агитаторов. Общество было уже так многочисленно, что оно требовало правильной и строго дисциплинированной организации,—потому что предварительных уставов никаких не было. Общество не было основано каким-нибудь кружком молодых энтузиастов, оно вышло из потребности народной, не несколько лиц вербовали себе приверженцев и помощников, а само правительство своими неловкими поступками скликало во враждебный себе лагерь целые массы народа, целые сословия. Правительство само увеличивало средства революционеров своими промахами, своей изумительной беспечностью, время от времени прорывавшейся вспышками самых бестактных репрессивных мер,—не истреблявших, а только поджигавших волнение.

Начались периодические сходки недовольных. Вокруг передовых людей движения начались составляться кружки, вырабатывавшие различные предположения касательно организации массы недовольных, которой впоследствии было усвоено название „Революционный союз“.

Сходки эти посредством взаимного обмена идей быстро сближали партии, которые и без того уже тесно были связаны единством цели, а если в чем и расходились, так в одних только взглядах на средства к ее достижению. Много способствовало сближению людей различных взглядов и различного положения в обществе и то обстоятельство, что все истинные друзья свободы, кто бы они ни были, находили радушный прием в доме одного богатого вельможи, горячо сочувствовавшего революционному движению общества. Так несколько месяцев подготовлялось дело сближения и организации.

Между тем, и работы отдельных кружков не прерывались; собираясь под председательством своего принципала, кружки обсуждали вопрос организации. Взгляды, конечно, были различны, но у всех вопрос поставлен был одинаково. Все имели в виду не устройство утопии, но организацию действительного общества, института фактического, прочно и неизменяемо сложившегося из материала уже собранного и заготовленного.

Наш кружок был не велик, несмотря на то проект, изготовленный им, был принят. Оставалось проекту этому дать окончательную редакцию и напечатать. Для этого был отправлен за границу М... кажется, поручение возложенное на М..., не ограничивалось одним изготовлением устава, он должен был

между прочим объяснить весь ход дела Герцену и более или менее воспользоваться советом нашего пресловутого эмигранта. Впрочем поездка М... имела много других целей, нам неизвестных.

Тотчас по разрешении вопроса об организации был поднят вопрос о действии. Не желая никому навязывать своих личных мнений, люди, обсуждавшие вопрос о действии, решились прежде узнать желание публики и потом уже с ними сообразовать свои действия. С этою целью М... поручено было написать и напечатать прокламацию к „Молодому поколению", а К... прокламации к солдатам и барским крестьянам.

По возвращении М... из-за границы приступлено было к организации общества. Нам не удалось быть свидетелями этого любопытного процесса. Возвратясь из Америки, мы нашли уже общество окончательно организованным и проект устава измененным. Впрочем изменения эти большею частию касались главного состава управления и вызваны были не какими-либо соображениями, а теми событиями, которые совершились по возвращении М ...из-за границы, так, например, выбывшие из рядов общества были заменены другими, вступление в союз новых членов заставило организовать новые отрасли управления, приняты были более строгие меры для сохранения тайн общества, озлобление крестьян против помещиков и неготовность некоторых частей войск стать на сторону притесняемых вызвало учреждение земского ополчения, на организацию и снаряжение которого приобретены были большие средства, и т. д..

Пересмотр устава был поручен особой комиссии, под наблюдением организационного комитета, издававшего время от времени листок под названием „Великорусс". Цель этих листков была та же, которая руководила и издателей первых прокламаций.

Когда мы возвратились из Америки, комитет окончил свои работы, был закрыт, и общество получило свою окончательную организацию и стало называться „Революционный союз".

Состав общего революционного союза (К нему принадлежат все друзья свободы, какое бы они положение в обществе ни занимали.)

Главою союза признается Всероссийская Верховная Дума (в С.-Петербурге) под предводительством 3 верховников и 25 думных членов. Три центральных комитета (в Москве, Киеве, в Харькове или в Одессе); 31 окружных комитетов (находятся преимущественно в губернских городах). Верховная Дума имеет власть законодательную, власть союза. Всякое постановление Думы, решенное большинством голосов, имеет силу закона, обязательную для всех посвященных членов союза.

Власть и обязанность верховников. Первый председательствует в военном трибунале, состоящем из 10 человек распорядителей, он ведает 1) внутреннею организациею войск, 2) составлением плана военных действий, 3) заготовлением вооруже-

ния. При верховнике этом состоят три временные комитета: а) агитация регулярных войск, б) казачий и в) морской.

Второй верховник председательствует в финансовом комитете, в ведении его находятся все суммы, поступающие из окружных комитетов; при нем состоит комитет агитации торгового сословия.

Третий верховник ведает внутренние дела союза; при нем состоят комитеты агитации: раскольников, духовенства, людей податного состояния. Комитеты: полиции, почт и педагогический.

Кроме трех верховников один член Думы руководит внешними сношениями союза. Этот господин постоянно живет за границею и по нашим соображениям Герцен или Огарев; он считается председателем комитета внешних сношений, его обязанность узнать, как каждая из иностранных держав откликнулась бы на переворот, если бы он совершился в России. Результат его деятельности нам неизвестен,—неизвестен также весь личный состав Думы.

Впрочем мы считаем нужным привести свои соображения.

Члены Думы, а в особенности верховники,—вероятно лица высокопоставленные в обществе и имеют имена громкие и уважаемые, потому, что в решительные минуты действия, по уставу союза, верховники удаляются в ближайшие иностранные державы и, образовав там верховный трибунал, объявят свои имена,—чем рассчитывают произвести на публику огромное впечатление.

Центральные комитеты. Вся власть исполнительная принадлежит центральным комитетам; они состоят из наличных членов, находящихся на месте существования комитета; они ведают действиями окружных комитетов, в кои они сообщают распоряжения Верховной Думы.

1. Московский центральный комитет, называется „революционным". Он издает циркуляры, печатает прокламации, он заведывает типографиею, литографиею и архивом союза, где хранятся все документы.

2. Киевский, называется Польско-Малороссийским, его обязанности те же, как и Московского, и кроме того он организует легион, и через комитет этот производятся все сношения с Варшавским комитетом.

3. Называется Южным комитетом, находится в Харькове или Одессе. Каждый из этих комитетов имеет по 10 окружных комитетов.

Окружные комитеты. Окружный комитет состоит из 15 членов присутствующих и составляет постоянно трибунал своего округа; он доносит центральному комитету о ходе дел своего округа. Эти 15 членов обязаны выбрать для союза еще 50 членов, так сказать подвижного резерва, из которого комплектуются все почему-либо выбывшие члены комитета. Члены эти далеко не посвящены в тайны общества, их назначение—составлять вокруг себя кружки и стараться всеми путями вводить во все слои общества революционные идеи.

О средствах союза. Нравственная сила есть агитация, материальная—деньги и люди.

Агитация. Агитация есть прямая обязанность каждого члена ассоциации, к какой бы он степени посвящения ни принадлежал. Руководители агитации суть агитационные комитеты. Эти комитеты посредством своих эмиссаров знакомятся с требованиями, нуждами и желаниями наблюдаемого ими сословия и сообразно с сообщенными ими сведениями составляют инструкции для руководства всем посвященным членам общества. Так, например: составив себе точное понятие о желаниях и требованиях, о симпатиях и антипатиях старообрядческих сословий, агитаторы действовали обещаниями даровать раскольникам полную свободу вероисповеданий и право пропаганды своего учения, учреждения митрополии во Владимире и устройства собора в Москве, отмену паспортов, уничтожение идеи о божественном праве царя (который, если только он останется, будет именоваться не царем божиею милостию, а царем волею народною) и т. д. Органом этого комитета служит пока газета „Общее вече“.— В этом же духе, т. е. с указанием на существующее зло в настоящем (причем допускаются всевозможные клеветы на царя и правительство) и обещания[ми] благодетельных и широко-либеральных реформ в будущем, действуют и все остальные агитационные корпорации. По сведениям, имеющимся в комитетах, недовольство в широких размерах развито во всех слоях общества, и оно тем более прочно, что общество доведено до ясного понимания гнетущих его злоупотреблений и, к счастию агитаторов, не имеет еще ровно никакого повода предполагать, что бесконтрольный и неограниченный произвол верховной власти сам собою, свободным сознанием своего безобразия и своей несовременности, перейдет в институт монархическо-конституционный. Распространившийся бойко слух о составляемой будто бы графом Строгановым конституции решительно опровергнут Верховною Думою в ее замечательном циркуляре 10 октября, так и вообще не принимается всеми людьми здравомыслящими, считающими готторпскую династию неспособною добровольно отказаться от своих воображаемых прав на царство русское, которое квази-Романовы совершенно неосновательно считают своим наследственным поместьем. (Считаем нужным оговорить, что составители записки [излагают] не свой личный взгляд на отношения нашего суверена к подданным, а взгляд большинства). Сверх того, если бы кто-нибудь даже и принял слух о будто бы составляющейся конституции, всякому понятно, что истинная конституция должна быть делом народа, а не плодом тощих соображений какого-нибудь доморощенного Монтескье. Не малое подспорье агитация находит со стороны тех людей, которые вместо того, чтобы зорко наблюдать за всеми движениями партии, действующей против интересов трона и династии, беспечно дремлют под своими смоковницами. Если, повторяем, администрация как будто спросонья и хватает время от времени людей более или менее причастных к делу

революционной пропаганды, то это не только не нарушает правильного хода движения, но напротив, помогает ему, с одной стороны, раздражением умов своим шемякинским судопроизводством, а с другой,—придавая большое значение своему „улову", поддерживают в публике слухи о существовании внутри России тайного общества.—

Говорить подробно о материальных средствах союза время еще не настало. Тут надо будет войти в такие подробности, которые потребуют, во-первых, частых справок с заготовленными нами записками, которых до известного времени в руках наших не будет, а во-вторых (и это самое главное), средства, которые должно будет дать нам правительство для приобретения весьма необходимых сведений путем, который мы найдем удобнее.

Пока же ограничимся общим взглядом на материальные средства союза.

а) **Люди.**

Число всех непосвященных членов союза—всех, так сказать, „друзей свободы"—вычислить нельзя даже приблизительно, потому, что всякому члену союза предоставляется право и даже вменено в обязанность приобретать как можно адептов революционной пропаганды. Число посвященных членов союза можно приблизительно считать более двух тысяч. Думные члены по нашим соображениям лица высокопоставленные в обществе, гражданские и военные сановники, два или три литератора, пользующиеся большим весом в обществе, и кажется есть одно лицо высшего духовенства, управляющее комитетом агитации духовного сословия. Сверх сего существует армянский комитет. О видах этой нации, а равно о ее действиях и средствах, сообщено будет нами впоследствии.

Земское ополчение. Тысячники принадлежат к высшим офицерам войск правительства, каждый имеет знамя. Сотники—офицеры правительства. Десятники и ратники—всех сословий, они имеют значки. Всего ополчения считается более 11 тысяч человек. В настоящее время вербовка закрыта, так как предположенный комплект уже полон.

Амуниция, оружие и значки уже заготовлены. Холодным оружием предоставлено запасаться каждому ратнику по своему усмотрению. Огнестрельное же оружие, снаряды находятся в складах и в декабре будут розданы сотникам, которые должны будут сами озаботиться их хранением и по первому предписанию Думы созвать ратников и раздать им оружие._

б) **Деньги.**

Финансовые средства союза очень велики. Составились они из добровольных пожертвований (некоторые лица жертвовали по 10 тысяч) и из обязательного для каждого члена месячного взноса.

Объявление революционного комитета [1]

Революционный комитет

в заседании своем
14 октября 1862 года
ПОЛОЖИЛ:

§ 1. Издание газеты „Мысль и Дело“ приостановить до нового года; изготовленные нумера сдать на хранение в архив комитета и затем действие главной типографии прекратить.

§ 2. По распоряжению Верховной Думы, Всероссийский съезд депутатов назначается в Петербурге к 15 января. Выборы депутатов от Московского общества будут произведены 22 декабря. Временная типография изготовит по сему предмету особые циркуляры, литография же комитета озаботится изготовлением трех тысяч экземпляров сеймового устава.

§ 3. Г. г. казначеи приглашаются к 27 представить трехмесячные отчеты.

Выписка из журнала следственной комиссии

18 февраля 1863 года.

Секретно.

1. Член комиссии, свиты его императорского величества генерал-маиор Потапов объявил, что содержащийся под арестом в С.-петербургской крепости, разжалованный в рядовые **Костомаров**, по убеждению его, изъявил готовность обнаружить известные ему преступные замыслы и действия отставных: титулярного советника Чернышевского и полковника Шелгунова и указать других лиц, коим известны были их замыслы, причем, чтобы сии открытия не могли быть сочтены за донос со стороны его, Костомарова, и не поставили его в положение доносчика, нашел для себя более удобным написать одному из своих друзей—Милюкову письмо, в котором, сообщая ему о постигшем его несчастии и о последовавшем над ним приговоре, выскажет **по поводу этого приговора** все известные ему обстоятельства, в том виде, как они были на самом деле. Вместе с тем генерал-маиор Потапов представил комиссии и написанное Костомаровым письмо. В нем он подробно объясняет обстоятельства, при коих были написаны воззвания: Чернышевским—„К барским крестьянам“ и Шелгуновым—„К солдатам“, и присовокупляет, что Чернышевским, кроме того, писано было послание к раскольникам, и что Шелгунов ходил в казармы и объяснял солдатам написанное для них воззвание. Причем Костомаров не скрывает и своего участия в сих действиях.

---

[1] Листок, переданный Вс. Костомаровым Путилину 14 октября 1862 г. (Помечен № 9)

К улике Чернышевского Костомаров обещает, как объявил генерал-маиор Потапов, представить хранящуюся у него в Москве собственноручную записку Чернышевского и указывает лицо, бывшее у него в то время, когда приезжал к нему в Москву Чернышевский. Лицо это, по объяснению Костомарова, может представить от себя письменное удостоверение сношений Чернышевского с Костомаровым и справедливость своего показания подтвердить присягою.

Кроме сего, Костомаров надеется получить в Москве бумаги, отданные на сохранение некоему Шиповалову, который до сего времени, за всеми принятыми комиссиею мерами, от выдачи их отказался. Написанное Костомаровым письмо будет отдано им здесь и адресовано, будто бы, из Тулы, в то время, когда он, следуя по назначению на Кавказ, прибудет в этот город.

В таком положении дела комиссия положила: 1) по получении от Костомарова означенного письма, перевести его из каземата на гауптвахту крепости и оставить на оной в течение трех дней, дозволив ему в это время, под строгим надзором, иметь свидание с лицами, которые пожелают его посетить перед отправлением на Кавказ; 2) по распоряжению инспекторского департамента военного министерства, назначить ту часть войск, в которую Костомаров должен быть определен на службу, для того, чтобы до отъезда он мог объявить, куда следует адресовать к нему переписку, в числе которой, вероятно, будут отправлены и необходимые для дела письма, оставленные Костомаровым у Шиповалова, если он не успеет получить их в Москве, согласно обещанию Шиповалова, изъясненному в шифрованном письме на имя брата Костомарова; 3) отправить Костомарова отсюда в сопровождении жандармского офицера. В Москве оставить его на три дня на гауптвахте, допустить для свидания с ним лиц, желающих его видеть, и затем с тем же офицером отправить его до Тулы; 4) из этого города, по поводу написанного Костомаровым означенного письма, будто бы задержанного при отправлении его по адресу, Костомаров должен быть возвращен в С.-Петербург и доставлен в III отделение собственной его императорского величества канцелярии; 5) по передаче письма в комиссию и по содержанию его, Костомаров будет допрошен; 6) показание его должно служить основанием для допроса Чернышевского, Шелгунова и других лиц, которые окажутся прикосновенными к делу; 7) так как Шелгунов, по высочайшему повелению, оставлен в Иркутске, под надзором полиции, и допрос его в комиссии, по свойству и важности дела, оказывается необходимым, то теперь же сообщить местному начальству о немедленном доставлении его в С.-Петербург и по прибытии оставить до времени в III отделении; и 8) на приведение в исполнение изъясненных предположений комиссии испросить чрез г. председателя высочайшее государя императора соизволение, представив на милостивое воззрение его величества как просьбу матери Костомарова, жены прапорщика, Надежды Костомаровой, ходатайствующей об облегчении участи ее

сына, так и то обстоятельство, как объясняет генерал-маиор Потапов, что условия, в отношении денег, для отправления Костомарова и для обеспечения его матери и сестры, которые были испрашиваемы чрез бывшего надзирателя с.-петербургской полиции Путилина и на которые, по докладу генерал-адьютанта князя Суворова, последовало высочайшее соизволение, а именно: на выдачу Костомарову перед отъездом 500 руб. и на производство его матери ежегодно по 1500 руб.,—он, Костомаров, просьбу по сему предмету не признает происходящею от него, а как свою судьбу, так и положение матери и сестры, остающихся без его помощи в совершенной нищете, всеподданнейше повергает на всемилостивейшее его императорского величества воззрение.

Письмо Костомарова „Якову Алексеевичу"[1]

3 января.
Сущевская сибирка.

Милый, дорогой друг мой Яков Алексеевич.

Ну, вот и второй акт моей трагикомедии кончился: вчера onesti senatori[2] пропели свой финальный секстет и через несколько дней хор жандармов повлечет меня туда, где „море вечно плещет о пустынные скалы" и где вообще—очень скверно. Кто говорит: Петропавловская крепость—очень хорошая крепость,—

Hat gute Wehr und Waffen!
Mit russischen Festungen hab'ich jedoch
Nicht gerne was zu schaffen[3]

Тем более, что... Ну, да постойте, об этом речь еще впереди. А теперь вот что.

После последнего письма вашего из вашей Rome protestante, ville aux 10.000... millionaires, etc. etc.[4], я два раза писал к вам,—и оба раза об очень важных материях. Но вы, друг мой, пребывали freddo ed immobile come una statua[5] (вы, конечно, извините мне мою всегдашнюю манеру писать самые бестолковые письма, превращая их в полиглотический венегрет à la M-me Курдюкова)—и я—как ни недостойно вас это предположение,—признаюсь, подумал, что вы рассердились на меня за то, что я не имел решительно никакой возможности исполнить ваши поручения. Скоро, конечно, я выкинул из головы моей эту мысль, как никуда негодную (отличительный признак моих мыслей вообще),—и, особенно, после свидания с Исааком Андреевичем

---

[1] Непосредственно за этим письмом в дело III отделения (К № 230, ч. 176) вшита копия письма Вс. Костомарова к Соколову, датированного **5 марта**, но доложенного Потаповым следственной комиссии уже **18 февраля** 1863 г.

[2] Почтенные сенаторы.

[3] Хорошо защищена и вооружена! Но мне не хотелось бы иметь дело с русскими крепостями.

[4] Протестантский Рим, с 10.000 миллионеров и проч.

[5] Холодный и неподвижный как статуя.

(который был так любезен, что посетил меня в узах Сущевских) утвердился в тоже предположении, что вы должно быть уже покинули свою женевскую M-me Soudac (или как там ее) и махнули опять в какой-нибудь.... бург или.... гейм, а может уж и совсем heim, получив из отечества достаточные субсидии. На сей конец я уж не пишу к вам более за пределы нашего достопочтенного отечества (чорт бы его побрал), а переселяясь из сей кратковременной жизни в жизнь вечную (идеже будет плач, скрежет зубовный, скука, и вообще—очень скверно)—оставляю вам сие прощание мое в руках матушки, которая, вероятно, когда-нибудь еще увидится с вами...

Итак, дорогой друг мой, revenons à nos moutons[1], которые, в настоящем случае, означают казематы Петропавловской крепости. Вы уже, конечно, знаете (а может быть и не знаете), что я, по приговору правительствующего сигклита нашего, осужден на шестимесячное сидение во рву львином и потом обречен на служение (в сане рядового) богу, царю и отечеству в рядах непобедимого воинства кавказского; на какое же время: в продолжение ли всей жизни моей, или только на некоторое количество лет—этого в писании не сказано. Да оно и не интересно вовсе—там, где все **писания** производятся вилами на воде и вследствие этого... ну, и так далее, следствия очевидны. Особенно **вам** будет это понятно, после того, что я писал вам в первом письме моем в Женеву. Теперь что-то не хочется распространяться об этом,—слишком грустно, и слишком гнусно. Скажу одно, что все мои догадки понемножку оправдываются. Кажется, придется до конца разыграть роль ветхозаветного козлища и совсем (понимаете ли, друг мой, **совсем**) превратиться в очистительную жертву **за грехи многих**. Вы мне простите эту фразу: не приходите от нее в то благородное негодование, в какое угодил Ал. Ник., когда я ему написал нечто в роде этого, в письме, из-за которого мы рассорились. Голубчик мой,— быть жертвой гораздо труднее, чем быть судьей. Я все это к тому пишу вам, что (в качестве публики конечно) вам многое еще, быть может, придется увидеть и услышать. И теперь,—как тогда,—я не жалуюсь на этих **многих**, делавших из меня очистительного козла. Оно мне-то, как лицу страдательному, — конечно тяжело; но я знаю, как легко подобная жалоба вызывает **со стороны** иронически-презрительный возглас: „чтож им было делать? не самим ли еще нести за него свои головы?"—Поэтому, очень хорошо зная, что чужие раны не болят,—я никогда не выставлял их на показ. Чем глубже, чем страшнее язвы на теле нашего ближнего,—тем более и более возбуждают они в нас—не сострадания, а—отвращения. Если рядом с нашей комнатой стонет больной страдалец—мы только ругаем его за то, что он мешает нам, положим, хотя читать игривые романы какого-нибудь M-r Feydeau. Человеколюбивые самаряне редки между нами. (Несколько слов зачеркнуто). Я не

---

[1] Вернемся к нашим овцам.

сказал—их нет между нами,—потому что мимо меня самого прошел он, и не бросил в меня камня, как все сделали. Вы—потому что это были вы, мой добрый, мой дорогой друг,—один не бросили меня в то время, когда несчастие мое еще не выказывалось наружу, и мне нужно было еще **верить**, что я точно страдаю. Теперь, когда наконец всем все стало ясно,—когда уже не нужно верить, а можно видеть,—наконец, когда я стал уже в такое положение, что мне уже **нельзя** помочь, а можно только издали дарить своим состраданием (дар очень недорогой) — опять явилось у меня многое множество „друзей", „горячо сочувствующих", „глубоко сожалеющих", и пр. Впрочем не о них я хотел говорить, чорт с ними,—только с толку сбили меня, проклятые. О чем бишь я речь-то повел? Да, о предстоящем мне путешествии в ров львиный.

В первом письме моем в Женеву я уже писал вам о том, как я смотрю на это путешествие и в силу каких соображений и на основании каких данных вывел об нем такое предположение. Письмо это я писал вам вскоре после визита „господина, похожего на иволгу", стращавшего меня „квартирой с дверью, которая не отворяется в стене, а приподнимается в земле". Письмо это, писанное под влиянием таких любезных обещаний, поневоле вышло отрывочно и бестолково. Да тогда я и сам-то не понимал хорошенько, в чем дело. Только потом, спустя две недели, после нового посещения господина, похожего на иволгу, я стал понимать несколько яснее, и тогда уж написал вам другое письмо. Неужто оно рассердило вас на меня, мой дорогой Яков Алексеевич? Но, ведь, послушайте, голубчик мой: в первом письме своем я писал только вам, чем меня стращают. Это ведь естественно: не дать же себя зарезать как барану, без малейшего протеста. Если я **пропаду с поверхности земли**, — думал я, — пусть же все знают, куда, за что и как должен пропасть я. Пусть, думал я, если уж погибнет моя личность, — так хоть **память** обо мне останется честна. Но тогда, пиша это письмо, я сам еще не знал хорошенько, в чем дело, — что́ от меня требуют. Я это сообразил и узнал уж после. И тогда уж написал вам второе письмо, — из которого вы бы могли понять, за что именно могла бы на меня обрушиться такая напасть, как вечное сиденье в „квартире, в которой", и т. д. Эту, — одну только эту цель и имело второе письмо мое — а нисколько не желание выставить себя мессией в яслях или агнцем божиим, вземлющим на себя грехи мира. Теперь будем ждать и видеть. После отправления второго письма прошло еще несколько времени, — и я успел взглянуть на дело более хладнокровно, хотя, признаюсь, в первое время несколько сконфузился. Тем более, что дело, кажется, обходится и без меня... Ну, да вот, постойте, шесть месяцев не бог знает какое время, — тогда все объяснится; тогда уж я лучше напишу вам одно дело, самую чистую **суть**, без всяких гадательных предположений. Будем справедливы даже и к врагам нашим. — Иволга сама по себе птица неважная — кто ее знает? — может быть она и

от себя прихвастнула для пущей важности? Я вот уж на всех напустился: и законы-то у нас вилами на воде писаны, и все... вот постойте — денька через три спустимся в настоящий ров львиный: что-то скажут сами, набольшие-то, львы и всякий другой плотоядный зверь... Ну, да авось, — бог не выдаст, никакой зверь не съест. Вот только темница-то эта — писать-то небось ведь нельзя: говорят, совсем нельзя. Ну, да зато уж по возвращении на родину ждите от меня целой тетради; — рады ли, не рады, а отпишу все, все... чего может быть никогда и не снилось вам, друг Горацио.

Ну, бумага вся; и это значит — пора кончать писание. Не пеняйте на меня за это маранье. Ведь я же читал, да еще с каким удовольствием (от милых друзей, говорят, и побои сладки) — вашу реляцию о прениях в женевском магистрате и даже накануне моего рокового воскресенья, в которое должен был съехаться Grand Conseil[1] (7 декабря кажется), ходил к Трифону мученику служить молебен за успех демократической партии и потом целые три ночи бредил эксплуатацией труда капиталом. Впрочем последнему обстоятельству много также способствовало и маленькое приключение с моей Литературой, — случившееся как раз около этого времени.

Ну, прощайте, голубчик мой, — не знаю, скоро ли это писание дойдет до вас. Передайте, конечно, мой низкий поклон Лариссе Федоровне. Еще раз прощайте — и простите, что я вам тут что-то не складно наговорил, ибо —

Ach! meine Seele war betrübt
Vie des Odysseus Seele,
Als er gehört, dass Polyphem
Den Felsblock schob vor die Höhle[2]

Письма Костомарова Потапову

Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Львович!

Посылаю вам черновой проект моего письма к неизвестному другу. Тысячу раз извиняюсь, что письмо мое вышло черновое в полном смысле этого слова; но вот мои оправдания. Во-первых, я до девяти часов вечера все ждал обещанных вами бумаг, и не дождался их даже и до сей минуты. Теперь—пятый час утра, переписывать некогда, да и не на чем: бумага у меня вся вышла, а будить смотрителя и поднимать на ноги весь Алексеевский равелин неудобно. Перья тоже, как видите, немногим лучше помела, а стальных нам не дают, вероятно из опасения, чтоб мы не закололись ими. Все это в извинение каллиграфии; что же касается до того, что в письме моем больше болтовни, чем дела, — в этом вините уж не меня, а скудность самих фактов. Впрочем, я полагаю, что при той обстановке, которая имеется в виду, совершенно достаточно и этого. Припоминать все наши

---

[1] Большой совет.

[2] На душе у меня было смутно, как у Одиссея, когда он услышал, что Полифем привалил ко входу в пещеру каменную глыбу.

забытые разговоры, все несостоявшиеся проекты, все разрушившиеся планы—я считал совершенно лишним, с чем, кажется, вы совершенно согласились со мною. Впрочем все это — черновое, и может измениться хоть сто раз, — конечно, в форме, но не в содержании, — сущность которого постоянно останется одна и та же.

С истинным уважением и глубокою преданностию имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга В. Костомаров.

(без даты)

* * *

Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Львович!

Матушка моя вернулась из Москвы. Поэтому мне необходимо видеться с вами. Ради бога не медлите с письмом. Имею особенные причины на эту просьбу. Бумаги ваши получил все. При свидании сообщу вам все, что я об них думаю. Примите, милостивый государь, уверение в глубоком уважении вашего покорнейшего слуги В. Костомарова.

19 февраля.

* * *

Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Львович!

У меня эти дни так страшно болела голова, что я насилу мог окончить письмо, посланное вам в пятницу, и уже не был в состоянии написать вам даже несколько строк о тех изменениях, которые я там сделал. То, что вы не присылаете мне этого письма для новых изменений, позволяет мне надеяться, что вы, более или менее, довольны тем новым видом, который оно приняло. На мой взгляд оно в самом деле стало дельнее, связнее и вероятнее прежнего; только я опасаюсь, что не совсем цензурный и чересчур ругательный тон, принятый мною именно для этой-то вероятности,—пожалуй, накличет на мою голову новую беду. В таком случае я совершенно отдаю себя под вашу защиту.

О письмах я не мог говорить обстоятельнее и яснее, не возбудив вопросов, отвечать на которые официально мне было бы крайне трудно и даже просто невозможно. Что же касается до второй из указанных вами поправок („я взял рукопись с собою"),— то я нарочно расставил пошире слова „рукопись" и „с собою", чтобы пополнить промежуток между ними после, когда я, взглянув на рукопись en question—удостоверюсь или припомню, кем именно она переписана.

Наконец, в новой редакции моего письма я умолчал о месте, времени и обстоятельствах диктовки третьего послания: на это я тоже имел очень важные причины (не в ущерб делу, конечно). О них, так же, как и о многом другом, я сообщу вам при свидании, которое мне очень хотелось бы иметь еще раз до моего отъезда.

Записку, которую я обещал составить для вас,—пока не посылаю, в надежде добыть в Москве, между прочим, свою памятную

книжку (не дневник), которая, может быть, объяснит мне что-нибудь из множества предположений и догадок, возбужденных чтением вашей записки.

Еще раз повторяя мою покорнейшую просьбу дать мне возможность видеться с вами до моего отъезда, прошу вас принять искреннейшее уверение в моей глубокой преданности и всегдашней готовности служить вам.

24 февраля. В. Костомаров.

Письмо Голицына Долгорукову

Секретно. Главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии. № 585. 21 февраля 1863 г.

Милостивый государь князь Василий Андреевич. По обстоятельствам производимого в высочайше учрежденной, под моим председательством, Следственной комиссии дела признано необходимым:

1. Содержащегося в С.-Петербургской крепости по высочайше утвержденному мнению Государственного совета разжалованного в рядовые Всеволода **Костомарова** перевести из каземата на гауптвахту крепости и оставить на оной в течение трех дней, дозволив ему в это время, под строгим надзором, иметь свидание с лицами,которые пожелают его посетить пред отправлением на Кавказ.

2. По распоряжению инспекторского департамента военного министерства назначить ему часть войск на Кавказе, в которую Костомаров должен быть определен на службу, согласно последовавшему о нем приговору.

3. Отправить Костомарова отсюда в сопровождении жандармского офицера. В Москве оставить его на три дня на гауптвахте, допустив для свидания с ним лиц, желающих его видеть, и затем с тем же офицером отправить до Тулы.

4. Находящегося в г. Иркутске, под надзором полиции, отставного подполковника **Шелгунова** немедленно доставить в С.-Петербург и по прибытии оставить, до времени, при III отделении собственной его императорского величества канцелярии.

Предположения сии были всеподданнейше представлены мною на высочайшее государя императора благоусмотрение, и его величество соизволил оные утвердить, написав собственноручно на докладе против того места, где говорится, что Костомаров повергает свою судьбу и положение матери и сестры на всемилостивейшее его величества воззрение: **„по этому дам особое приказание генерал-адъютанту князю Долгорукову“**.

Сообщая о сем вашему сиятельству для зависящего распоряжения, имею честь покорнейше просить о последующем уведомить комиссию.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Князь Александр Голицын.

24 февраля Потапов сообщал Долгорукову: Костомаров просил, чтобы его оставить еще на сегодня в равелине, на гауптвахту будет переведен завтра, а в среду или четверг отправлен в Москву.

Потапов—Голицыну

Костомаров завтра будет переведен на гауптвахту крепости, после завтрашнего заседания я его увижу и в среду отправлю в Москву. Бывшие у Костомарова бумаги из дел комиссии имею честь представить. — Вашего сиятельства покорнейший слуга Александр Потапов. 24 февраля [1863].

28 февраля Костомаров был передан капитану Чулкову. На донесении о том г.-л. Сорокина пометка: Государь император изволил читать 1 марта.

Потапов—московскому коменданту

28 февраля 1863 г.

№ 694. Г-ну первому московскому коменданту.

По высочайше утвержденному мнению Государственного совета разжалованный из корнетов в рядовые Всеволод **Костомаров** отправляется в Ставрополь в сопровождении с.-петербургского жандармского дивизиона капитана Чулкова. Принимая во внимание, что **Костомаров**, быв болен, потребует, быть может, отдохновения в Москве, то, по поручению г. шефа жандармов, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство в случае, что Костомарову необходимо будет пробыть несколько дней в Москве, поместить его на гауптвахту под ответственностию сопровождающего его капитана Чулкова.

Управляющий отделением свиты его величества генерал-маиор Потапов.

Выписка из журнала следственной комиссии

28 февраля 1863 г.

Секретно.

I. Г. председатель комиссии объявил оной, что государь император, по всеподданнейшему докладу изъясненного в журнале комиссии 18 февраля заключения, по делу о Всеволоде **Костомарове**, высочайше соизволил заключение сие утвердить, и что об исполнении высочайшего повеления сообщено уже главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии. **Положено:** записать о сем в журнал.

Рапорт жандармского капитана Чулкова

Господину управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии
С.-Петербургского жандармского дивизиона капитана Чулкова

Рапорт.

Вследствие предписания вашего превосходительства от 27 февраля 1863 года за № 653, следуя из С.-Петербурга в г. Ставрополь с разжалованным из отставных в рядовые Всеволодом Костомаровым, назначенным на службу в войска Кав-

казской армии, по приезде моем 1-го сего марта в Москву, я, по слабости здоровья Костомарова, должен был остановиться в Москве на одни сутки, где посетил Костомарова и желая с ним проститься московский мещанин Петр Яковлев[1], из разговора Яковлева с Костомаровым я заметил, что ему все отношения Чернышевского к Костомарову хорошо известны, я между прочим сказал Яковлеву, не может ли он что-нибудь подтвердить и письменно, на что он тут же и согласился дать, каковое и дал; на другой день, т.е. 2 числа, Костомаров объявил мне, что он чувствует себя очень нехорошо, я просил 1-го московского коменданта поместить Костомарова, не так опасно больного, хотя на гауптвахте суток на двое, на что и последовало приказание коменданта; во время пребывания Костомарова на гауптвахте, его посещали следующие лица: профессор Назарьянц и сын его, прапорщик Ростовского полка Охотский, доктор того же полка Меншиков, прапорщик Днепровского полка Шостак, брат Костомарова прапорщик Костомаров, фотограф Сухов и содержатель нотного магазина Юргенсон. 4 числа Костомаров чувствовал себя лучше и мог следовать далее, я того же числа выехал с ним из Москвы, прибыв 5-го числа утром в г. Тулу, Костомаров объявил мне, что сильно простудился и просил меня пробыть в Туле хотя суток двое, чтобы несколько поправиться здоровьем, в Туле он написал несколько писем к родным и знакомым, в которых он уведомлял их, что он, следуя на службу на Кавказ, в Туле захворал, в числе Костомаровых писем я заметил одно довольно толстое письмо, в котором было написано очень много и очень вольно, я счел долгом письмо это тогда же отправить к вашему превосходительству; 7 числа, видя, что здоровье Костомарова поправилось, я намерен был выехать из Тулы, как неожиданно, в то же время телеграфическою депешею был потребован вашим превосходительством обратно с Костомаровым в Петербург, относя таковое требование меня с Костомаровым в Петербург, вследствие отправленного мною к вашему превосходительству письма, я при обратном следовании сделал обыск в вещах Костомарова, между коими нашел несколько писем и черновую записку, писанную тою же рукою, которой и письма, и заслуживающие особого внимания, которые в запечатанном конверте моею и его, Костомарова печатями, а также и показание мещанина Яковлева при сем, на благоусмотрение вашего превосходительства при сем имею честь представить.

11 марта 1863 г.
№ 12

Письмо Костомарова Соколову

Тула, 5 марта.

Ну вот, наконец, я и дождался возможности говорить с вами на свободе, без разных цензурных стеснений со стороны аген-

---

[1] Пометка: А Яковлев на допросе показал, что виделся с Костомаровым в ноябре. Что это значит?!!

тов-хранителей душ и телес наших. И я дождался этого, как видите, гораздо скорее, чем предполагал. Уезжая, я обещал писать к вам с места, до к—рого, вы знаете, не рукой подать; а вышло так, что в Туле приключилась мне болезнь некая, так что, не имея никакой возможности продолжать свое странствие, мы остановились здесь на несколько дней.

Итак, пользуясь этим неожиданным отдыхом, и не откладывая до неизвестного нам будущего, принимаюсь за обещанный вам комментарий на нашу юридическую войну.

Принимаюсь... а с чего начать? Pour commencement,—конечно,—как говорят французы,—или, по древней поговорке, ab ovo—с яиц Леды... но вот тут-то и камень преткновения... С яиц... с которого же именно?—Их так много... В таком случае всего лучше было бы начать с самой Леды, необорное чрево которой... но это слишком далеко заведет нас,—а у меня слишком мало времени и... бумаги. Поэтому—я начну с Чернышевского.—„Что за чорт! говорите вы (à peu près): Леда, яицы и—Чский! где ж тут Witz, где ж тут последовательность, логическая связь, etc?...“ — Mais, mon ami,—toutes ces choses paraîtrons en temps et lieu; к тому же я, ведь, собираюсь писать к вам чуть ли не целую эпопею, а—la plupart des poètes epiques se jettent tout d'abord *in medias res*: Horace fait de ce *precepte* le grand chemin de l'epopée... (из этого вы видите, между прочим, что я никак не могу отстать от своей несчастной привычки подражать в своих письмах вавилонскому смешению языков).

Итак — начнем... Но вас, может быть (я бы даже должен был сказать „конечно“), удивляет, что я начинаю (зач.: свои комментарии) прямо с лица, о к—ром нет и помину в том рассказе об юридической войне, на которую я, en nouveau César, пишу свои комментарии?... Но в том-то и штука, друг мой. Слушайте—и рукоплещите явлениям всероссийской Фемиды... Говорю „рукоплещите“—plaudite!—и не „удивляйтесь“, потому что дивиться тут нечему— nil mirari. Смиренномудрая богиня правосудия не скрывает ни от кого, что она носит на глазах повязку и держит в руках фальшивые весы... В таком виде, en blinde Kuh,—ее можно видеть ежедневно на одном из интереснейших зданий нашей северной Пальмиры...

Но—боже мой!—я написал уж целую страницу и все еще ничего ни написал. Mais dût mon premier vers me coûter une heure,—я все-таки не начну своей истории прежде, чем познакомлю вас с милой личностью моего „потаенного“ героя.

Разумеется, я буду очень короток,—и скажу вам только то, что необходимо знать вам пока, чтобы вам не показалось странным то озлобление, с к—рым я, при всем моем желании быть сдержаннее, не могу не говорить об этом человеке. Впоследствии, когда я буду иметь более *свободного* времени, я непременно поговорю с вами о его литературной деятельности,—тайной и явной,—чтоб показать вам, откуда подул тот ветер, который, как вы справедливо, хоть и немножко цветисто, заметили (ну, да вы, чай, не совсем забыли реторику Кошанско-

го-то),—который нагнал столько жалких жертв в казематы российских крепостей и в те злачные места, куда отсылают „по соглашению министра внутренних дел с шефом корпуса жандармов"..., тогда вы увидите, откуда на святом знамени свободы появился тот скверный девиз, во имя к—рого действуют наши доморощенные агитаторы,—пишутся все эти „великоруссы" и „Молодые России", все эти безалаберные прокламации с красными и голубыми печатями... Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы заподозрить меня в ультра-ренегатстве, в подкупленном или вымученном каждении деспотизму, в малодушном отступничестве от Христа, „иже свобода есть" — по словам Павла; от Христа,—не идущего во славе судить вселенную, но Христа заушаемого и угнетенного, идущего на казнь крестную... Вы знаете, чего ищу я; вы знаете, чему я поклоняюсь. Вы знаете, в чем я вижу свободу, — и знаете, каким путем, хотелось бы мне, дошла до нее моя родина. Вы давно знаете это, мой старый, мой сердечный друг,—поэтому-то я так смело говорю с вами, уверенный, что омерзение к лже-проповедникам свободы вы не назовете иудиным лобзанием Христа. Да, я буду и могу говорить с вами с чистым сердцем, с покойною совестью. Вы не имеете ничего общего ни с тем человеком, о котором я буду говорить вам,—ни с той сре́дой, в которой он действует; вы не имеете ровно никакого влияния правительственного,—поэтому, может быть слишком резкие, слишком желчные слова мои не будете объяснять ни личным моим озлоблением, ни желанием (зач.: выгородить себя), очернить Чского, для того, чтоб самому рядом с ним казаться белее (потому что ваше мнение составилось обо мне твердо, и его, я уверен, не изменит никакая сплетня): вы увидите в письме моем только желание, рассказав вам один из подвигов нашего агитатора,—спросить вас вместе с евангелистом Матфеем: „*Как они могут добро глаголать, зли суще?*" (Я знаю,—вы,—старый ханжа, любите читать свою старую книгу в темном, кожаном переплете с уродливыми, медными застежками).

Вот какое длинное вышло предисловие. Ну, зато я постараюсь сделать как можно короче текст.—Чский—так, по крайней мере, я понимаю его—человек с самолюбием необъятным. Он, без сомнения, считает себя самым умным человеком в мире,—(он даже и не думает делать (зач.: никакого) секрета из такого самопризнания). Вследствие этого бесцеремонного взгляда на самого себя, ему, разумеется, кажется, что все, что сделано не им,—никуда не годится. И так как им, кроме пагубы нескольких десятков наших лучших юношей, до сих пор пока еще ничего не сделано, то и выходит, что вся елика на небеси горе и на земле ни́зу и в водах и под землею,—не́ годится ни к чорту. Молодое поколение воспиталось не в его школе (по крайней мере, не все)—молодое поколение дрянь; общество устроилось не по его методе—ну, и оно дрянь; да нечего тут пересчитывать, — одним [словом] все *существующее* идет в брак, в ломку („все права и блага общественной жизни находятся теперь в неле-

пом положении",— наприм., говорит он), и все имеющее существовать должно созидаться по его методе,—если хотят чтоб оно на что-нибудь годилось. Итак,—„давайте все разрушать"... Но, наделенный от природы такими воинственными наклонностями, наш Thalaba the Destroyer не одарен, к сожалению, большой храбростью. Он, как новый Самсон, во что бы то ни стало, хочет разрушить здание нашего общественного устройства... Только... видите ли... старый, сильный израильтянин был так непрактичен, что втемяшился в самую середину здания и—расшатав столбы of his Commonweal—повалил все обломки на свою голову:

The poor, blind slave, the scoff and jest of all,
Expired—and thousands perished in the fall...

Это и коротко, и ясно. Но наш Самсон рассуждает иначе. Он так полагает: чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других развалить его, а сам посижу пока в сторонке... Коли развалят—хорошо; я займусь тогда постройкой нового (и, вы уже видите, что **такой** архитектор, составляя сметы, конечно, не обидит своего кармана); а не развалят,—надорвутся, толкая крепкие еще столбы,—так мне-то что? **Я-то** всячески цел останусь. И пошлю новых работников; авось же, найдется наконец когда-нибудь такой крепкий лоб, что и прошибет стену... и в писании сказано: толцыте и отверзется, и греческая пословица (которую, помните, зубрили мы когда-то в грамматике Кюнера) говорит: капля долбит камень не силою, но часто падая...

Я сказал, что разрушитель наш не одарен большой храбростью. Не знаю отчего это я так сказал. Может быть, для того, чтобы фраза вышла покрасивее. Надо было бы сказать: „он просто жалкий трус".—Это вернее. Но многие—вот что удивительно,—видят в нем, напротив, чудо храбрости,—просто какого-то черкесского делибаша или скандинавского берсеркера. Но это вот отчего: ces braves gens немножко перепутывают два понятия: наглость, нахальство, охаверничество с храбростью, самоотвержением, геройством. В „Полемических красотах" они видят, например, целую Илиаду храбрости. Отщелкать какого-нибудь Альбертини они считают подвигом, равным убиению гидры Лернейской. Написать, под всеохраняющей эгидой матери-цензуры статейку об июльской монархии (т.е. перефразировать Луи Блана) и в ней, с разрешения какого-нибудь Загибенина, поглумиться над людьми, **восторгающимися настоящим**, над отчаянием людей **нетвердых** духом или **нетерпеливых** (ты-то тверд)—в этом они видят целый крестовый поход против настоящего порядка вещей, целую революцию,—тогда как это, с одной стороны,—шиш в кармане, а с другой—простое поддразниванье. Но боже мой! Неужели Аполлон сделал великий подвиг, содрав кожу с бедного Марсиаса за то, что бедный пастух **осмелился** лучше его играть на флейте? Неужели Чский взаправду совершил великий подвиг, отваляв на обе

корки Альбертини, к—рого сам же называет ребенком... в сравнении с собою? Нет, воля ваша: это—пакость, а не подвиг. Отодрать человека вдесятеро слабейшего да еще хвастаться: „вот, дескать, господа, смотрите, так будет со всеми, кто не со мной идет: ибо кто не со мной, тот против меня... милые дети; слушайтесь меня, и избегайте полемических встреч со мною; не то выпорю вас,—канальи,—обругаю и сотру с лица земли. А уж кого я обругаю, тот не жилец на белом свете“... Вот вам и рыцарь духа, и апостол свободы, и проповедник равенства! Да, ведь, это просто застращиванье; это хуже всякого III отделения; хуже... чорт знает чего!—А потом это науськиванье в его бесконечных видоизменениях... этот поддельный, искусственный скептицизм, которым он так удачно бьет всегда по двум целям разом: подстрекает **нерешительных**, которые видят в этом скептицизме глумление над собой,—и отводит глаза кому следует... Вот, дескать, смотрите, добрые люди: я всем говорю, что **„из этого ничего не выйдет“**, меня даже не раз в тунеядстве укоряли за это... О, этот скептицизм, это науськиванье, эта дрессировка бульдогов!.. Знаю я, хорошо знаю и этот скептицизм, и эту дрессировку, и это науськиванье: *„сей есть ученик, свидетельствуяй о сих, иже и написа сия“*.

И вот вы, ворчливее, чем когда-нибудь, в сотый раз предлагаете мне свой сердитый вопрос: „за что ж ты, дурень, щадил его, этого нехорошего человека? За что ты взял на себя его вину? Ведь, в твоих руках были все средства увязить его на свое место! Ведь я же сам видел эти письма... что же ты теперь-то, снявши голову, плачешь по волосам?“—Да, друг мой, вы правы в том отношении, что в руках моих всегда была возможность сделать то, чтобы текст моей сентенции: „за составление возм. воззв. к б. кр. осуждается на то-то“—относился не ко мне, а к Чскому. Но вы ошибетесь, если видите в письме моем глупый „плач по волосам, снявши голову“. Тогда я должен был молчать... даже перед вами; чтоб в жалобе моей *даже вы* не видали малодушного моления о чаше; теперь, когда уже consummatum est, „совершилось“, говорит во мне горькая боль оскорбленного сердца. Вы поймете меня. Вы знаете, что это не фраза. Вы можете быть судьею между мною и ими. Вы слышали, что они говорят обо мне *на основании* какой-то *сплетни*, и видели, что я мог сделать *на основании* неспоримого *факта*. Вы знаете, что было в моих руках, и как я *этим* воспользовался. Меня обвиняли в малодушии, подозревали в предательстве. Многие, подхватив на лету нелепую сплетню, молча оставили меня; другие были почестнее,—и говорили мне, в чем меня обвиняет молва. Перед *этими* мне легко было оправдаться, точно так же, как *было бы* легко оправдаться перед законом. У меня были письма, которые в *моих руках* служили мне оправданием перед теми, кто меня обвинял в предательстве, а в *руках правительства* могли служить мне полным оправданием перед лицом закона. Вы знаете, что́ я выбрал, *какое* оправдание я предпочел; и что сделал с

этими письмами... Нечего и говорить, что, выгораживая таким образом Чского и Шнова из этого дела, я более щадил себя, чем их. Я не стану объяснять вам этой фразы; вы ее поймете и так. Знаю я, что, загораживая собою Ч. и ему подобных, я глубоко виноват—не говорю: перед правительством—потому что я не связан с ним ничем,—но перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чского, принесла и приносит такие горькие, такие отравленные плоды. Не говоря уже о множестве личностей, сделавшихся жертвою его науськиванья,—я твердо убежден, что всем этим печальным поворотом к старому порядку, этими тяжелыми цепями, которые снова положили на наше слово и нашу мысль,—мы обязаны деятельности этих господ. Они не избавили нас от того, что они называют „рабством египетским“, но своими безумными кривляньями сделали то, что нас закрепощают в еще большее рабство. В 60-м году, напр., пресса наша была в положении, которое можно было назвать весьма близким к разумной свободе. Что же они сделали? Они сейчас же воспользовались этой свободой для своего науськиванья (я стою на этом слове, потому что решительно не признаю в их писаниях апостольства свободы), они сделали литературу орудием своих личных страстей, видели в свободе слова только возможность скандальничать и оправдывались тем, что свобода, „дарованная“ нашей прессе, не шла долее этого позволения (но вы хорошо знаете, что это вздор). Пр-во, конечно, не могло долее терпеть этого бесчинства, оставаясь самим собой, т. е. императорско-российским пр-вом. Но оно поступило не совсем справедливо (ради бога, да останется это между нами), отняв свободу слова (т. е. ту долю свободы, которую мы имели в 60-м г.) *у всех,* а не у тех только, кто не умел ею пользоваться, хотя—с другой стороны, нельзя и порицать его за это безусловно. (Я знаю, что его никак нельзя порицать, хотя бы оно засмаливало людей и зажигало их вместо факелов; но ведь... да останется это между нами, друг мой). Пр-во наше постоянно смотрело на литературу только издали, считая ее выражением не общественного мнения, а носительницей идей того или другого кружка литераторов. Так оно и в самом деле было,—да и не могло быть иначе,— пока цензура подводила все мнения под один общий уровень, мера которого указана была свыше,—дана была извне, а не вышла из внутренней потребности самого общества. Пр-во имело тогда полное право не интересоваться положением нашей литературы, потому что, давая ей тон, оно знало наперед, что̀ найдет в ней. Но когда оно значительно ослабило цепи, тяготевшие на нашем слове, оно должно бы было несколько внимательнее присматриваться к тому, что делается в литературе. И тогда... (тут я делаю большой пропуск; тут многое следовало бы сказать; но ни время, ни место не позволяют этого)... тогда—оно увидело бы, что голос Чского и братии его,—раздававшийся, правда, крикливее всех голосов в нашей литературе,—не есть голос общественного мнения; оно увиде-

ло бы, что этот голос, из-за которого нашу литературу снова вернули в тот душный каземат, в к—ром она задыхалась со дня своего рождения,—снова отдали под солдатский надзор разных Фрейгангов и Флеровых, прогонявших „вольный дух“ даже из поваренных книжек—не есть голос, выражающий общественное мнение, а, напротив, идущий наперекор ему; оно поняло бы, что, говоря словами немецкого поэта,

Die öffentliche Meinung schreit und klagt:
Ihr habt von mir erborget eure Kraft;
Durch mich geschah, was Grosses ihr geschafft,
Durch mich gelang, was siegreich ihr gewagt.

Und nun ich euch erhöht, wollt ihr als Magd
Mich züchtigen mit Ruthen und mit Haft;
Ihr schämt euch flüchtigen Genossenschaft
Und habt mir, eurer Herrin, widersagt?

Und doch, ihr hörtet meine Donner rollen,
Und der Koloss der Zeit war schon zerstoben,
Von dessen Joch ich kam euch zu erlösen.

Ihr Seifenblasen, die mein Heuch geschwollen,
Und flücht'gen Schimmer meine Huld gehoben,
Ihr eitle Seifenblasen — seid gewesen!..

Но обо всем этом, *en temps et lieu*, мы еще будем говорить с вами. В сотый раз принимаюсь „за прерванную нить моего рассказа“ (как говорилось когда-то) и на этот раз уже с положительным обещанием допрясть его как можно скорее.

Итак, если вы что-нибудь поняли из моих бессвязных слов (я удивляюсь еще, как в последнее время я окончательно не утратил всякую способность мыслить и говорить)—вам будет понятно и то ожесточение, с которым я говорю об этих людях, и та глубокая скорбь, которая разрывает теперь мое сердце... потому что

„Nessun maggior dolore“—

„Нет муки больше той,—как страдать за идею, которой не служишь“, и „положить душу свою“ за людей, которых не уважаешь; которым не имеешь что сказать, кроме слов нашего великого апостола: „Гроб отверзт гортань их — языки своими мщаху; яд аспидов под устами их. Их же уста клятвы и горести полна суть: скоры ноги их пролияти кровь! Сокрушение и озлобление на путях их, и пути мирного не познаша“...

Я выбрал этот текст не наудачу,—друг мой. С глубоким убеждением, не изменяя ни одной иоты в этих горьких словах великого апостола,—я применяю их к людям, которых называют моими учителями, моими сообщниками...

Я никому не говорил этого,—ни даже вам,—пока исповедь моего сердца могла быть перетолкована в малодушное желание отвертеться от казни; но теперь, когда для меня уже все кон-

чено,—я имею полное право говорить с вами так, как говорю; мне нужно высказаться—„иль разорвется грудь от муки“... Я не могу молчать долее, потому что

„i miei pensieri in me dormir non ponno“...

Я должен *все* сказать вам. Я слишком дорожу вами,— мой верный друг, и не хочу, чтобы *вы* смешивали меня с людьми, которые не познали мирного пути, но с сокрушением и озлоблением действуют, ибо *„скоры ноги их пролияти кровь!“*

Само собой разумеется,— кровь—чужую.

Зная мой миролюбивый и от природы кроткий характер, вы хорошо поймете, как тяжело было и тогда мне смотреть на этих проповедников „крещенья кровью и огнем“, на этих людей, говоривших, что „незачем тратить слова там, где штык скорее возьмет то, что нам надо“... но тогда, по крайней мере (насколько это было возможно),—меня мирила с этими людьми мысль, что каков бы ни был путь, избранный ими, но они руководятся на нем общей нам целью—исцелением язв нашей страдающей родины; а теперь... с каким глубоким омерзением смотрю я теперь на этих кровавых людей, когда я убедился, что они вооружались огнем и мечом не во имя благой идеи, а только затем, чтоб, обрубив головы всем, кто выше их,—стать таким образом выше всех; и господствовать,—хотя бы и над обезглавленными трупами... Да; я имею полное право говорить это; я имею твердое основание называть этих людей проповедниками крещения кровью и огнем: так назвали бы их и вы, так назвал бы их всякий, кто прочитал бы первые редакции этих несчастных воззваний, авторство которых так обязательно приписывает мне московский сенат! Я не могу, конечно, на память возобновить их первоначального текста,—но живо помню то впечатление, которое они произвели на меня. Это было какое-то странное, опьяняющее впечатление. Словно, кровавый туман застилал глаза; казалось, он входил в самый мозг... страшно и мерзко становилось мне,—и вместе с тем зарождалось какое-то безотчетное удальство; так и подмывало схватить топор или нож, так и хотелось рубить и резать, не разбирая кого и за что... Как Фету при виде обоза русских мужичков стал понятен миф об Амфионе, под звуки флейты которого сами собою складывались фивские стены, так мне впервые стала понятна тогда сила Тиртеевых песен, сила марсельезы... так обаятельна была сила их лукавого слова! Потом, как и всякое опьянение, впечатление это, конечно, рассеялось скоро... Через несколько часов я уже был в состоянии понять, что такое в самом деле эти прокламации, и потом[1] (какой вздор я написал, было) уговорить Ч. совершенно переделать (зач.: изменить) и значительно смягчить текст воззвания к „Б. К.“. (Но,— говоря потом со мною об этих изменениях, Ч. признавался мне, что он согласился на эти изменения только потому, что иначе я не соглашался печа-

---

[1] Зачеркнуто: убедить Ч. необходимости совер.

тать их; что он остался при своем убеждении, что *мужикам* не толковать следует, не вразумлять их, а только кричать почаще— „в топоры, ребята!“, что в таком дряблом виде, какой, по нашему убеждению, приняло „Воззв. к б. к.,“ „из него ничего не выйдет“... вот уж не это ли называют *скептицизмом*?). Впрочем, о воззваниях этих речь впереди. Мне уже решительно пора кончить беседовать с вами,—а я с ужасом замечаю, что я еще и не принимался за исполнение своего обещания—сделать несколько поправок в юрисдикции моих нелицеприятных судей, к—рым, по словам того же апостола Павла, „даде бог дух умиления, очи не видети и уши не слышати, даже до сего дне“...

Итак, вот как было дело.

Как и когда я сблизился или, лучше сказать, сошелся с Чским—это все равно. Выступая на так называемое „литературное поприще“, я искал случая пристроиться к какому-нибудь журналу,—чего *без протекции*,—особенно мне, с моими, как вы знаете, весьма и весьма скромными способностями, сделать было нельзя. Особенно хотелось мне пристроиться как-нибудь к „Совр.“, направлению которого (в том виде, как оно проявлялось явно) я горячо сочувствовал. Больше всего мне хотелось сблизиться с Мих.—и я был так счастлив, что случай к этому представился скоро... Я сердечно полюбил этого человека... и теперь горячо люблю его,— несмотря на то, что мы пошли с ним в разные стороны... ну, да об этом говорить нечего.

Первый визит мой к Ч. был неудачен. Меня привез Михайлов. У Чского было много народу в тот вечер,— говорили все большею частью о таких важных материях, в которых в то время я был совсем еще homo novus; говорили все люди для меня новые, незнакомые; говорили так горячо, так самоуверенно обсуживали и решали все такие важные вопросы, что я, человек, как вы знаете, вообще до смешного застенчивый,—только конфузился и молчал... Изобразив на лице своем, вероятно, что-нибудь в роде весьма глупого умиления, я долго сидел, забившись в угол дивана. Наконец, хозяин сжалился надо мною и подошел ко мне. Очевидно, он затруднялся тоже, не зная, об чем ему говорить со мной. Я не помню уж, об чем он заговорил со мной,—только, вероятно, conversazione наше опять не удалось, потому что я снова уткнулся в угол дивана, а Ч, оставшись, впрочем, рядом со мной, на кресле, заговорил с кем-то о чем-то другом. Так шло время. Я глупо молчал; Чский, как-то странно оставшись в своем кресле, беспрестанно хихикал своим визгливо-дребезжащим, неприятным голосом... Наконец, вышел Мих. из другой комнаты и, моргнув Чскому, увел его в кабинет. Минут через 5 он вернулся и вызвал меня. Тут-то и началось наше настоящее знакомство... Я не стану, конечно, передавать вам нашего разговора; *слов* его не помню, а *смысл*—понятен. Со стыдом сознаюсь, что результат его на первых порах —стал благоговеть перед Ч., как перед человеком, который казалось мне, держит в руках своих судьбы всея Руси. Тогда-то и происходило чтение „Воззв. к б. к.“ в первоначальном его

виде. (Надо вам сказать, что Мих., знавший уж от меня, что в Москве есть возможность печатать без цензуры, на том станке, на котором отпечатана была книга о Корфе,—и предварительно переговорив с Ч., привез меня к Ч. именно с той целью, чтобы переговорить о возможности напечатания воззвания. О впечатлении, какое произвело на меня это воззвание (зач.: чтение)—я уже говорил... Я не был в состоянии ничего ответить Чскому. Я окончательно, что называется, потерял голову,—исчез, как Семелла в величии Юпитера. Заметив это (т. е. не Семеллу и Юпитера,—а мое плачевное состояние), Мих. увез меня от Ч., захватив с собою и рукопись воззвания.

На другой день утром мы вместе с М. еще раз прочли воззвание. Впечатление было уже совершенно иное. Мне просто было тошно слушать этот каннибальский призыв к резне... Михву тоже, очевидно, было неловко и тяжело. Один Шлгнов, тоже присутствовавший на чтении, скакал и восклицал, как Давид перед ковчегом завета... Много и долго говорили мы с Мвым об этом воззвании. Оба мы признавали полную необходимость помочь, как умеем, крестьянскому горю, вразумить мужика, что его—как нам казалось тогда—во многом обошли и обманули; но вразумить вовсе не с тем, чтобы он с топором в руках стал добывать себе „Землю и волю“;—поэтому мы положительно осудили текст воззвания, составленного Чским. Мы покончили, наконец, тем,что Мих. должен был отправиться к Чскому с положительным отказом, с моей стороны, способствовать напечатанию брошюры,—если в ней не будут сделаны предположенные нами изменения и поправки.

Мих. ездил к Ч.; и что они там говорили, не знаю. В следующее свидание наше Мих. сказал, что Ч. с трудом согласился на изменения, говоря, что, напротив, следовало бы усилить тон; но что уж если *нельзя* печатать брош[юру] в том виде, какой он проектировал, он, пожалуй, сделает изменения, только уж за успех не ручается, и даже думает, что в **таком виде** прокламация будет совсем бесполезна (скептицизм).

Прошло несколько дней. Домашние дела отозвали меня в Москву. Я уехал, не дождавшись измененной брошюры.

В Петерб. остался Сороко, приехавший вместе со мной для распродажи своего издания, и стоявший на одной квартире со мною.

Через несколько дней, в Москве, вдруг я узнаю стороной, что Сулин рассказывал какому-то своему приятелю, будто Ч. поручил ему (Сулину) отпечатать одну чрезвычайно важную брошюру. Известие это, дошедшее до меня, может быть, уже через двадцатые руки,—очень понятно, и удивило меня, и встревожило. Я сейчас же отыскиваю Слна и узнаю следующее: Ско, оставшись в Пб. для окончания своих дел, отыскивает Миха и, явившись к нему познакомиться от моего лица, рекомендует себя одним из владельцев тайного станка. Михайлов отдал ему рукопись воззвания, „как человеку, который говорил ему, что имеет возможность напечатать рукопись в Москве“ (так, à peu près Мих. говорит в своем показании, которое я

запомнил очень хорошо; но сенат принял (зач.: обратил) во внимание не на совершенно одинаковое показание двух лиц, которые не могли и не имели никакой надобности стакнуться между собою, а на совершенно невероятное показание самого Срко), и, отдавая рукопись, „желал, чтоб она была напечатана". Но это только *официальные* показания. В самом же деле вот как было: познакомившись с Сркой, Мих. повез его к Чскому, и уже сам Чский, лично, передал Сороке и рукопись воззвания, и деньги (200 р.) для ее напечатания. Когда я пришел к Слну, я увидел, что деньги эти тратились совсем не на то, на что они были даны Чским. Но, вероятно, устыдившись моих нареканий, С. и С. сейчас же принялись за приготовления к устройству станка. Шрифты и станок немедленно были куплены; помещение я дал им у себя, наверху—и работа началась. Тут я не могу не остановиться на некоторых обстоятельствах, „следствием обнаруженных". Сулин показал, что я обещал „помочь его положению, если он, Слн, согласится, в свою очередь, оказать содействие к напечатанию одной безделицы"... и Слн согласился, будто бы даже не полюбопытствовав у меня, что́ это за безделица. Посмотрим теперь, что же это было за содействие, за которое я, повидимому, обещал заплатить Слну так щедро,—ибо каким-нибудь пятиалтынным помочь бедственному положению человека нельзя же. А по показанию Слна (на котором, очевидно, основан и приговор судей), только[1] набором пяти или шести строк, потому что, когда Слн набрал эти пять-шесть строк, я будто бы сказал, что теперь я выучился набирать и *могу обойтись без него*. Как все это правдоподобно,—не правда ли? Но пойдем далее. Когда получена была предостерегательная записка, я (по тому же показанию) принялся за *уничтожение* станка (должно, принялся его жевать и проглатывать); но при этом я (будто бы) хотел сохранить набранные строки, но Сулин схватил их (схватил!) и рассыпал... а потом взял некоторые части машины (да ведь я же принялся за ее *уничтожение*?) и перевез на квартиру Кистера. Хорошо. Стало быть, станок, частию мною *уничтоженный*, частию отвезенный на квартиру Кистера,—работать не мог. Зачем же мне было желать сохранения набранных строк, тем более, что их было набрано так мало? Мог ли наконец я желать сохранения у себя чего-либо, могущего компрометировать, если я, по показанию Слна, так искренно поверил его предостерегательной записке, что *немедленно принялся за уничтожение станка*, т. е. стал его жевать и проглатывать?—Ce pauvre diable—Сулин, конечно, впопыхах не мог сообразить всей нелепости своих показаний,—его в продолжение всего следствия била лихорадка; но послушайте,—что те patres conscripti?.. Но мы никогда не кончим, если я буду останавливаться на всех подробностях нашего дела (у меня нет на это ни времени, ни охоты). Поэтому „оставив мертвым погребать своих мертвецов", мы переходим к другой брошюре, озаглавленной так

---

[1] Зачеркнуто: тем что

же вычурно, как и первая: „Русским солдатам от их доброжелателей поклон“.

Призывая крестьян к бунту (если и не прямо, то возбуждая между ними такие вопросы, к разрешению которых крестьянин, очевидно, не мог найти другого средства, кроме топора),—составители манифеста естественно должны были позаботиться о том, что противопоставить тем мерам, которые правительство примет для подавления бунта. С Чского довольно было заварить кашу; как и кому придется ее расхлебывать—об этом он не заботился. Ясно, что самое естественное, самое близкое и самое верное орудие пр-ва есть—солдат. Стало быть, надо действовать на солдата, надо его сманить на крестьянскую сторону. И вот—проектируется „Русск. солд. от их доброж. поклон“. Манифест этот берется составить Шелгунов. Но из его писания вышло чорт знает что; такая чепуха, что в ней и мужик ревет, и корова ревет, и сам чорт не разберет, кто кого дерет. Недовольные этим опытом, пробовали и мы с Мих. написать что-нибудь; но у нас вышло едва ли даже не хуже. У Михва—какой-то философский трактат, в роде пресловутого dei doveri degli Uomini, а у меня—не то полковой приказ, не то марсельеза. Так что, за неимением лучшего, поневоле приходилось удовольствоваться произведением Шгнова. Между тем, сам автор твердо был убежден в том, что его воззвание есть именно то, „что нужно солдату“. И чтобы убедить нас в этом, предложил мне походить вместе с ним по солдатам, поговорить с ними и, если представится возможность, прочесть им воззвание, чтоб посмотреть, какое оно произведет на них впечатление. Сказано—сделано. Шелг. пошел в одни казармы,—меня послал в другие. Сговорились сойтись в какой-то харчевне. Но я, конечно, не пошел в казармы (вы знаете, что особенным удальством я вообще не отличаюсь), а, побродив по улицам, пришел прямо в харчевню, где уже сидел Ш. со своими знакомыми солдатами. Я, поздоровавшись с Ш., подсел к ним и молча слушал их мудрую беседу. Ш. заносился; солдаты были какие[то] глупые, тупые,—пыхтели за чаем и поддакивали, как видно, ровно ничего не понимая, или, всего скорее, не слушая. Мне (признаюсь в своей трусости) была крайне неприятна эта глупая и опасная комедия,—и я скоро уговорил Ш. уйти из харчевни. Дорогой он сообщил мне, что солдаты слушали его с восторженным участием и сделали ему много очень дельных замечаний; а я—что его знакомого солдата не нашел, а другие,—с которыми я пробовал было заговаривать, чуть меня не приколотили. Я поздравил его с успехом; он посмеялся над моей трусостью и неспособностью к политическому агитаторству... Таковы были наши экспедиции в полярные страны. Ну,—потом Ш., вразумленный опытом, еще раз десять переписал свое послание; Мих. поубавил в нем метафизики, повыкинул слишком яркие санкюлотизмы,—и я взял рукопись с собою. Впрочем, мне все-таки это послание не нравилось; особенно начало, где доказывалась несправедливость завладения Поль-

шей,—было, по моему мнению, очень глупо. То-есть не глупо само по себе,—но глупо обращенное к солдату, не имеющему ровно никакого понятия ни о народном праве, ни об „исторической необходимости“...

Ну, теперь—*послание третье*. — Вы знаете, что у нас на Руси есть общины, внешние формы которых довольно близко подходят к идеалу коммуны. Это—раскольники,—на которых с такой любовью останавливаются наши современные реформаторы. Отречение от собственности (у духоборцев), общее пользование женами на бардачном положении; отвращение от наружных обрядов церкви, неуважение к предписаниям гражданской власти и пр., и пр.—вот те attraits, которые привлекают к русскому расколу любовные взгляды наших коммунистов. Они конечно не могут не видеть во всем этом одного тупого религиозного фанатизма; они очень хорошо понимают, что ненависть к наружной церкви явилась у раскольников не потому, чтоб им были тесны формы, данные Никоном, но потому, что эти формы не во всем соответствовали заскорузлому преданию; люди, провозгласившие раскол свободою от оков, положенных формами, не могли забыть фанатической привязанности раскольников к своим старым книгам, к своим копченым образам, к своему двуперстному знамению; в этих тупых изуверах, которые считают для себя осквернением даже пить воду из одного колодца с „погаными“ никонцами,—они никак не могут в самом деле видеть людей, руководящихся правилом: что „в сущности все люди равны, ибо все равно грешны и все подлежат искушению“. Нет, не *„живая сила духа“* дорога **мне**[1] в расколе, а дорога его непримиримая фанатическая ненависть к обществу; дорого то, что они называют „позыванием ума и совести и всего человека к свободе“, но что для „имеющих уши слышати“—значит то, что в расколе никогда не умирал зародыш пугачевщины. Поэтому для наших агитаторов раскол есть желанный и ожидаемый мессия бунта.

Само собою разумеется, что мы не забыли **подоброжелательствовать** и расколу. „Поклон старообрядцам“ был составлен тем же „доброжелателем“, который составлял и манифест к крестьянам. Жаль, что он не сохранился у меня. Он был писан мною под диктовку Чского (жаль, что нет ни охоты, ни места, ни времени, а то я рассказал бы вам, с какими смешными предосторожностями совершалось это таинство... но — увы!— ничто же тайно есть, еже не откроется), — и я сжег его вместе со многими другими бумагами, во время торгов с Николкой о доносе. Впрочем, это была страшная дребедень, — скучная, сухая, длинная рацея; во время ее писанья я с трудом преодолевал сон. Помнится, это было бесконечное разглагольствование во вкусе Ламеннэ; нелепая болтовня об антихристе и его печатех, пересыпанная самой наглой лестью и самыми лживыми обещаниями...

---

[1] Очевидно, описка вместо—им.

Таким образом мы, казалось, ничего не упустили из виду... кроме одной мудрой пословицы: не шути огнем — обожжешься...

А вы, Чский, — забыли еще одну пословицу, — тоже очень глупую. Когда-нибудь я вам ее припомню.

Это было во время второй моей поездки в Птб., — кажется, во время **последней добровольной** поездки... с тех пор — но эта история еще впереди.

Во время самого печатания манифеста к крест. Чский посетил меня в Москве; сделал кое-какие поправки в тексте воззвания и, оставшись доволен работою, благословил меня на новые и новые подвиги...

Потом, как вы уже знаете, я бросил печатание брошюры, не кончив ее. Мих. уехал за границу. Этим роль моя политического агитатора и кончилась... навсегда.

Весна и лето прошли тихо. Я предпринял издание истории всемирной литературы и, углубившись в изучение греческих и римских классиков, совсем было забыл и о крестьянах барских и [о] солдатах царских, — как на меня был сделан донос Никол-кой... Меня взяли. Судили. Приговорили. И вот —

Вот и все.

Т. е. все, о чем я хотел и обещал писать вам. А там — что пережилось, что передумалось в это время, это... что говорить об этом! Это уж **мое** дело. Были у меня и другие столкновения и с этими, и со многими другими людьми... „Суть же ина многа, яже сотвори, яже аще бы поединому писана быша, ни самому мню всему миру вместите пишемых книг“...

Я обещал написать вам комментарий на производство моего дела в сенате. Ну — вот он вам. Теперь вы видите, меня ли следовало бы подвергнуть наказанию за **составление** „возмут. воззв. к б. к.“; меня ли должно было признать „**зачинщиком** содеянного преступления, управлявшего действиями оного“... Не говорю уж о других обвинениях: логичность их говорит сама за себя. Вот, например, обращик: „К — в, по собственному его сознанию (любопытно было бы мне прочесть это *собств.* созн.) и обстоятельствам дела (о!!) *оказывается* (!!!) виновным в участии в (в чем бы вы думали?) в **составлении** и распространении разбора книги бар. Корфа“ и. т. д. Как это вам нравится? *Я оказываюсь* (заметьте, как положительно это говорится) виновным в **составлении** книги, напечатанной давным-давно за границей, *с именем автора* (Огарев), и только *перепечатанной* в Москве, да и то в то время, когда я жил в Петербурге. (Когда я приехал в Москву и познакомился с Сулиным, допечатывался уже **последний лист** разбора). Или вот еще: **По 6 й категории** (нас разделили на 7 категорий — по числу гимназических классов или, может быть, по числу чинов небесных) К — в состоит подсудимым за... **распространение** воззваний „к барским крестьянам“ и „к солдатам“! *За распространение воззваний*, которых (это уж точно по обстоятельствам дела *оказалось*) не было отпечатано ни одного экземпляра, и которые **даже в рукописи** ни у кого не были найдены!

Ну, да будет, — всего не пересчитаешь. Да и незачем.

Итак, — вот вам истина во всей наготе ее, — истина, которой я не позволил прикрыть никаким фиговым листком даже самых зазорных частей тела...

Но, — спросите вы меня (т. е. я это предполагаю, в самом же деле вы, верно, не спрашиваете, потому что болтовня моя надоела вам давно), — какую роль я играл во всей этой комедии **с переодеваньем**, которая, однако, для меня окончилась так трагически? — Что же руководило мною? Желанье ли втереться в кружок, в который не пускали без известного лозунга; — желанье ли пощеголять в роли политического агитатора, — наконец, может быть, искреннее сознание в полезности всех этих прокламаций? Нет, нет и нет! — „Ну так что же?“ — Mais si voulez savoir ce que c'est... demandez — le au pourceau qui voit le vent!.. (quoique cette figure est banale et stupide, mais elle est empruntèe au psaumes).

Sur ce, mon ami, en vous souhaitant tous les biens possibles et impossibles,

Je suis
Celui, qui Suis.

PS. Письмо я это и имею случай написать и послать вам, что называется, „воровским манером“ — завтра или послезавтра буду писать к вам уж *открыто* и тогда поговорю с вами и о наших домашних делах и о кое-каких поручениях, о которых я хочу просить вас. Valete... et plaudite.

Выписка из журнала следственной комиссии

11 марта 1863 г.

Управляющий III отделением с. е. и. в. канцелярии при отношениях от 10 и 11 сего марта за №№ 823, 825 и 841 препровождает в комиссию: 1) донос московского мещанина Петра Яковлева о приезде в Москву летом 1861 г. литератора Чернышевского и о сношениях его с Всеволодом Костомаровым, которого он просил о скорейшем напечатании статьи его, Чернышевского, „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“, 2) отобранные от Костомарова при арестовании его письма к нему: от Михайлова 3, от Чернышевского 2 и записка карандашом следующего содержания: „В. Д. Вместо „срочно-обяз.“ (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временно-обяз.“—как это называется в Положении. Ваш Ч.“, от жены Шелгунова одно письмо, от Шелгунова письмо с каррикатурами и от Плещеева одно письмо, 3) рапорт капитана с.-петербургского жандармского дивизиона Чулкова за № 12 о порядке следования с рядовым Костомаровым из С.-Петербурга до Тулы и о других относящихся до Костомарова обстоятельствах. **Положено:** Все сии бумаги приобщить к делу для соответственного по ним исследования на законном основании.

Донос Яковлева

Летом 1861 года около июля месяца будучи переписчиком бумаг и разных сочинений у г. Всеволода Дмитриевича Костомарова и занимаясь у него постоянно, я очень часто видал у него из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского, и переписывая бумаги по случаю летнего времени в беседке сада дома г. Костомарова, когда они, ходя между собою под руку и разговаривая между собою, произносили слова, из которых мне удалось запомнить следующие фразы, произнесенные г. Чернышевским [1]: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. — Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла". Называя г. Чернышевский эту статью своею, упрашивал г. Костомарова о скорейшем ее напечатании. Не только не находя в этих фразах ничего противузаконного, но даже не имея решительно никакой возможности понять точного смысла статьи, о которой у них шел разговор, ибо до моего смысла доходило только несколько отрывочных фраз,—я не считал тогда своим долгом довести этого ни до чьего сведения.—Но когда же услыхав впоследствии, что г. Костомаров осужден будто бы за какие-то противу правительства незаконные действия, и что бы оградить себя от всякой могшей бы впоследствии возникнуть ответственности и считая себя в непременной обязанности и долге всякого честного гражданина, обязанного не скрывать пред правительством лиц ему вредящих, доводит до сведения этот разговор, неясно слышанный им между г. г. Чернышевским и Костомаровым, хотя и теперь не понимая настоящего его значения, но единственно догадываясь, что лицу, повидимому стоящему в таких близких отношениях, как г. Чернышевский к г. Костомарову, может быть, были известны и преступные, как оказалось, замыслы друга его г. Костомарова. Московский мещанин Петр Васильев Яковлев.

[1 марта 1863]

Письма М. И. Михайлова к Вс. Костомарову

I.

20 апреля 1861 года (Спб).

Дорогой друг, Всеволод Дмитриевич, спасибо Вам за весточку о себе. Я ждал ее с нетерпением и потому только не писал к Вам. Книги, посланные Вами с Бергом [2], я получил и с ним же посылаю Вам Томаса Гуда и свой портрет, который, наконец-таки, сделал. Сегодня я видел Н. Гавр. [3], и он мне сказал, что посылает Вам письмо с предложением ехать за границу. [4] Как бы я желал, чтобы это уладилось, и я мог бы встретиться

---

1 В черновике зачеркнуто: слушай, Всеволод
2 Ф. Н. Берг — поэт-переводчик.
3 Чернышевского.
4 См. стр169

с Вами там где-нибудь. Во всяком случае, прошу вас — пишите ко мне туда и если вздумаете отвечать на это письмо (чего я жажду), то адресуйте к Herrn Michel Michaïloff, Frankfurt am Main, poste restante. У меня после свидания с Черн. составилась уже приятная мечта, как мы будем где-нибудь вместе, на каком-нибудь этаком Рейне или в какой-нибудь этакой Ницце или Флоренции. Кстати, я несколько изменил план своего странствования. Я думал ехать купаться в море на Гернсей, но не знаю, удастся ли это теперь. Вернее, что это купанье будет происходить в Ницце. Мне вообще очень хочется побывать в Италии, где я не был еще. Надо будет и поправильнее поучиться. В Англии буду я, вероятно, ненадолго, на неделю, может быть, и только в Лондоне, куда съезжу из Парижа. Первое же местопребывание мое будет, как Вы знаете, в Наугейме, на водах, близ Франкфурта. Письма Вы, все-таки, адресуйте во Франкфурт и не франкируйте их. Это вернее. Мне очень жаль, что ни у меня, да и ни во всем Петербурге нет книг, которые Вам нужны для затеянных статей о сатириках. Если мечта моя не сбудется и Вы не поедете нынче за границу, где можно будет заняться, то я постараюсь привести с собою всех этих Чальмерсонов и Вильсонов, которых Вам нужно. Если вы останетесь на лето в России, что, опять-таки скажу, очень меня огорчит, знаете, что попробуйте сделать? Вы, вероятно, знакомы с произведниями немца Грегоровиуса об Италии. Хорошо бы любое из них изложить в сокращении, и я вам ручаюсь за помещение их в „Современнике“. Стихи, как меня не будет, посылайте или к Ник. Гавр., или прямо к Некрасову. Жаль, что я Вас с ним не познакомил. О Фурье едва ли цензура что-нибудь пропустит, и я боюсь, как бы Вы, занимаясь биографией и характеристикой, не потеряли, как говорится, oleum et otium. В редакции „Совр.“ была большая статья о Фурье и не могла пойти „по независящим обстоятельствам“. „Бориса“ Вашего прочитал и возьму с собой. Если пришлете мне за границу конец, я напишу о нем в „Совр.“. Впрочем, лучше пусть издание не кончится, но вы будете за границей. Вот я с каким эгоизмом цепляюсь за вас. Жаль, что вы не поработали побольше над „Суб. вечером“; немного бы нужно, чтобы перевод вышел безукоризненный. А Берг все носится с своим Андерсеном, защищает Карла Бека и проч. Он, по всей вероятности, добрый и хороший малый, да уж очень мягок и слишком ударяется в романтические сферы. Впрочем, он был у меня еще раз только и сидел недолго. Я, подобно белке в колесе, мечусь перед отъездом и единственно поэтому пишу мало, а то готов бы толковать с Вами без конца. Людмила Петровна [1], по страсти своей к корреспонденции вообще, а с хорошими людьми в особенности, хотела к Вам тоже писать и остановилась только потому, что не имеет на то Вашего согласия. Она очень вам кланяется, так же, как и Ник. Вас. [2].

---

[1] Шелгунова.
[2] Шелгунов.

Крепко, крепко целую Вас, дорогой друг, и желаю Вам всего доброго, чего только Вы сами можете пожелать себе. Пишите же ко мне, а я немедленно буду Вам отвечать. Дай бог, чтоб— до свидания за границей.

Всею душой любящий Вас

Мих. Михайлов.

Мы едем на святой, во вторник, т. е. 25 апреля.

2.

20 июля 1861 г. (Спб).

Дорогой друг, Всеволод Дмитриевич! Вы, может быть, ждете (если только ждете) письма от меня из-за границы, а я пишу вам уже из славного града Питера. Мое гнусное молчание вы простили уже? Не правда ли? Надеясь на вашу доброту, расскажу вам кое-что о себе. Воротился я в Петербург потому, что за границей шляться мне надоело. Я постоянно задавал себе вопрос: что я там забыл? и не мог ничего делать. По привычке к работе, обходиться без нее было просто не вмочь, а к работе там решительно ничто не располагало. Из Наугейма я отправился через Голландию (большая гадость!) в Лондон, пробыл там недели две и через Париж, где прожил тоже не больше, и Берлин, Штеттин и море приехал сюда. Здесь, разумеется, чувствую более, чем обыкновенно, на первых порах горестное отсутствие разных удобств европейских, но зато принялся хоть за дело, каково оно ни есть. За границей не сделал я ровно ничего и теперь догоняю прожитое даром время. Прилагаю письмо к вам Людмилы Петровны, которое привез с собой. Я думаю, она с Ник. Вас. не останутся долго за границей и в половине августа (или к 20 ч.) будут уже здесь. Не браните меня, голубчик, за мою неаккуратность и отвечайте мне. Я поведу себя похвальнее, чем прежде. Крепко вас целую.

Михайлов.

P. S. Где Берг и получили вы от него книгу и портрет? Что Плещеев? Кланяйтесь ему от меня хорошенько.

3.

5 августа 1861 года.

Дорогой друг, Всеволод Дмитрич, тороплюсь послать вам хоть малую толику денег, сколько у меня есть. Мы сочтемся, когда вы пришлете что-нибудь в „Совр.“. Извините, что сумма так ничтожна; я сам теперь, что называется, в тонких, а из конторы „Совр.“ все разъехались. Кроме того, посылаю вам тетрадь из истории Шлоссера для перевода. Плата за перевод очень хорошая (хоть не могу определенно сказать) и вам, немедленно по доставлении рукописи, будут высланы деньги. Я бы в этот же нумер „Совр.“ пустил вашего „Бориса“ и „Дер. кузнеца“, да ни того, ни другого не могу у себя найти; а по-

тому пришлите, как получите это письмо. По окончании перевода, который я посылаю вам, я постараюсь достать вам еще какую-нибудь работу. Это будет легче, когда в Петербург съедутся все издатели и редакторы. Ради бога, простите меня, голубчик, что я пишу вам редко и мало. Ведь, вы не выведете из этого заключения, что я не люблю и не уважаю вас от всей души. Но, во-первых, я завален работой с утра до вечера, и, во-вторых, совсем не умею писать писем. Мне очень бы хотелось перетащить вас сюда, но в настоящую минуту ничего не могу придумать. Может быть, зимой это будет возможно, особенно если удастся мое намерение издавать газету. Ваш „Мост вздохов"—прекрасная вещь, только, извините, это не „Bridge of Sighs" Гуда. Хорошие стихи в пьесе вы, конечно, и сами знаете, а относительно неудачных скажу: зачем это вы ставите такие вымученные рифмы, как *ежели — нежели, ближе ли — чи жили* и пр.? Я все еще один, Шелгуновы не приехали, и я жду их с нетерпением к 15 авг. До свидания, милый Всеволод Дмитрич. Будьте здоровы и, если вас не сердят мои краткие ответы, пишите мне. Я всегда рад вашим письмам и всегда рад исполнять ваши поручения, если только могу. Мне бы очень хотелось узнать от вас, сколько бы вам нужно было приблизительно иметь в месяц для жизни в Пб., с семейством, чтобы не терпеть лишения. Я имел бы это в виду, чтобы ухватиться обеими руками за первую возможность извлечь вас из Москвы.

Целую вас крепко.

Мих. Михайлов.

Письмо А. Н. Плещеева к Вс. Костомарову

Дражайший полиглот!

Во-первых, напишите мне тотчас же, по городской—что цензурный комитет и прошение наше? Вы об этом меня не уведомили.

Крыжов ваш дачу смотрел, но у меня не был. Записку отдала мне бабуся. Дело в том, что вы, кажется, напутали. Соколов, ведь, сам будет жить и хочет сдать только комнату, а Крыжов рассчитывает, вероятно, на всю избу. Вы ему скажите, чтоб он побывал у Соколова, если он не церемонный господин. (В Гагаринском переулке, близ Успенья на Могильцах, дом Коменовского).

В субботу жду вас непременно. У меня созрел еще проект издания. Стих один написался. А вы уж, чай, в эту неделю целую библиотеку наваляете. Зачем вы Шеллея немецкого увезли? Это гнусно с вашей стороны. Реализм прочел. Хорошо составлено, но о Мейснере мало, больше о Грекове. Привезите Шеллея; я жду Аластора. Я писал к Чернышевскому—если он ответит через вас,—то дайте знать. Из Гартмана я перевел две странички (frei bearbeitet), но к вашему приезду, авось, еще

переведу. Скучно ужасно, и потому именно скучно, что это *служба*, что хочется другое делать. А очень, кажется, его путешествия замечательны, только не все идет в географическую книгу. Будьте здоровы. Что переведете—привезите,—прочтем. Если я буду раньше, то заеду к вам и вас увезу. Это может случиться.

Весь ваш А. Плещеев.

Письма Н. Г. Чернышевского к Всеволоду Костомарову

(были предъявлены ему в Следственной комиссии)

Вчера моя жена видела, Всеволод Дмитриевич, одного юношу, который, отправляясь за границу, нуждается в спутнике-руководителе его неопытного ума. Этот юноша показался жене порядочным человеком, и она выразила ему предположение, что спутником ему быть может согласитесь быть вы. Он очень обрадовался и дал нам адрес своего брата, живущего в Москве, с которым вы можете переговорить относительно условий и т. д.

Он напишет к брату, а [меня] просил написать вам. Вот адрес юношина брата: В Москве, на Моховой, в доме Скворцова, Григорий Григорьевич Устинов. Пожалуйста, повидайтесь с этим Г. Г. Устиновым,—быть может, вы и сойдетесь. Ваш Н. Чернышевский. 20 апр. 1861.

Вверху надпись: Это письмо мое. Отст. т. с. Н. Чернышевский. 16 март. 1863.

* * *

Добрый друг Всеволод Дмитриевич. Ваша пьеса „Мост вздохов“ (или как это иначе называется? об утопленнице-то) печатается в VII книжке „Совр.“ (за июль). О вашей благотворительности в пользу дворовых пишу к Алексею Николаевичу.—Но что поделываете вы в свою пользу? Я все возвращаюсь к мысли об уроках в одном из корпусов. У меня теперь там, кроме Котляревского, есть еще добрый знакомый Свириденко, человек вполне порядочный, подобно Котляревскому (хоть Алексей Николаевич их и не долюбливает, говоря по секрету,—но ведь это только несходство темпераментов и приемов, а люди они очень хорошие). Мне хотелось бы познакомить вас с ними, конечно, в том случае, если вы думали бы похлопотать при их содействии об уроках в одном из корпусов.

Спешу, по обыкновению, и опять выходит от этого лапидарный слог.

Жму руку. Ваш, преданнейший Н. Чернышевский. 2 июля 1861.

Вверху надпись: Это письмо мое. Отст. титул. совети. Н. Чернышевский. 16 марта 1863.

ПОКАЗАНИЯ В. КОСТОМАРОВА В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Первый допрос Костомарова

1863 года марта 13 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, разжалованный из корнетов в рядовые Всеволод **Костомаров**, на предложенные ему вопросы, показал:

Вопрос.[1] Как ваше имя, отчество и фамилия, сколько вам от роду лет, какого вы вероисповедания, бываете ли ежегодно на исповеди и у св. причастия, если не были, то почему; кто ваши родители, живы ли они и где находятся, женаты вы или холосты, и если женаты, то имеете ли детей, какого они возраста и где находятся; имеете ли вы родственников, кто они и где проживают, есть ли у вас, у жены, буде женаты, и у родителей ваших, недвижимая собственность, где и какая, где вы воспитывались; где находились на службе, когда вступили в оную, когда и по какому случаю вышли в отставку, где проживали и какими содержали себя средствами, не были ли вы под следствием или судом, если были, то когда, за что, где дело производилось и чем кончилось?

Ответ. Зовут меня Всеволод Дмитриевич Костомаров; от роду мне 24 года; вероисповедания православного; на исповеди и у св. причастия бываю; родители мои—отставной прапорщик Дмитрий Сергеевич Костомаров и законная жена его, Надежда Николаевна Костомарова; живут они в настоящее время в Петербурге.—Я холост. Родственников имею,—но, кроме родных братьев моих: Алексея (служащего прапорщиком в резервном батальоне либавского пехотного полка) и Николая (находящегося неизвестно мне —где) и родных сестер: Марьи и Екатерины—я незнаком лично ни с кем из моих родственников, и не знаю, кто они и где проживают. Недвижимой собственности ни у меня, ни у моих родителей нет никакой.—Воспитывался я в Московском дворянском институте (ныне IV гимназия) и потом в Михайловском артиллерийском училище. Служил юнкером в малороссийском кирасирском принца Альберта прусского полку и потом корнетом в смоленском уланском его высочества наследника-цесаревича полку. Вступил на службу в 1856 году, вышел в отставку в 1860 „по домашним обстоятельствам“.—Литературные занятия доставляли мне и всему моему семейству средства к совершенно безбедному существованию. Жил я, по выходе в отставку, в Москве,—посещал довольно часто Петербург,—как для распродажи своих изданий, так и по делам с редакциями тех петербургских газет и журналов, в которых я помещал свои

[1] В оригинале вопросы и ответы идут в два столбца.

стихотворения и статьи. — С августа 1861 я находился под следствием по делу „о составлении и распространении злоумышленных сочинений". В 1862 году отдан под суд. Дело мое производилось в I отделении 6-го департамента правительствующего сената и кончилось разжалованием меня в рядовые с выдержанием шести месяцев в крепости.

Рядовой из дворян Всеволод Дмитриев Костомаров.

Вопрос 2. Вами ли писано предъявляемое вам письмо из Тулы, от 5 марта, на имя **Николая Ивановича Соколова**, кто такой Соколов, где он находится и какие ваши к нему отношения?

Ответ. Предъявленное мне письмо, помеченное 5-м марта, Тула,—и адресованное на имя Николая Ивановича Соколова,—писано мною.—Чин и звание Н. И. Соколова, а равно и то, где он теперь находится,—мне неизвестно. Познакомился я с ним около 1851 г., когда, по рекомендации одного из учителей моих (кого,—не помню) я пригласил его давать мне уроки греческого и санскритского языков. До самого поступления моего в артиллерийское училище я пользовался его уроками, и в продолжение этого времени так полюбил своего наставника, что и по прекращении наших занятий не переставал поддерживать с ним самые дружеские сношения, и постоянно пользовался от него очень дорогими для меня указаниями и советами в моих занятиях греческой и санскритской словесностью. В 1859 году я нечаянно встретился с Н. И. Соколовым в Париже, где он жил тогда, в качестве наставника, в каком-то русском семействе, фамилии которого я не помню,— но квартировавшем на улице Veuve Mathurin, в chambres garnies Жоссе. Туда я и адресовал к нему мои письма до августа 1861 г., когда я был арестован. С тех пор я ничего не слыхал об Н. И. Соколове, до декабря 1862 г., когда Николай Иванович посетил меня в Москве, во время моего ареста в Сущевском частном доме. Тогда я обещался ему рассказать когда-нибудь на досуге о причинах, обстоятельствах и ходе моего процесса,—что так неудачно и исполнил в письме своем от 5 марта, из Тулы. Письмо мое адресовано poste restante потому, что Н. И. Соколов собирался в то время уехать из Москвы в Петербург, и не знал еще, где остановится.

Вопрос 3. Подтверждаете ли вы все, написанное вами в письме, и какие имеете тому доказательства?

Ответ. Письмо мое к Н. И. Соколову есть не более, как интимная беседа с другом,—и потому, я полагаю, оно вовсе не нуждается в подтверждении, и, еще того менее, обязывает меня представить какие бы то ни было доказательства истины моих слов.—Я прошу комиссию обратить внимание только на то обстоятельство, что я, уже **окончательно осужденный и наказанный** за то преступление, в котором по смыслу моего письма являются виновниками Чернышевский и Шелгунов,—не имею не только ни малейшей выгоды, но даже никакой цели стараться свалить

свою вину на других. Причины, заставившие меня говорить с друзьями моими не то и не так, как я говорил перед моими следователями и судьями,—достаточно объяснены мною в предлежащем письме моем к Н. И. Соколову — и я считаю совершенно излишним утомлять внимание комиссии их повторением. Скрыв от правительства настоящих виновников преступления, я совершенно сознаю свою виновность перед законом,—и поэтому я прошу комиссию [видеть] в настоящем отказе моем „представить доказательства на все, написанное мною в письме к Н. И. Соколову",—не желание остаться при своем прежнем образе действий,—а только физическую невозможность доказывать такие вещи, которые большею частию происходили с глазу-на-глаз между мною и обвиняемыми мною людьми, или совершались в присутствии таких людей, фамилии которых были мне или совершенно неизвестными или в настоящее время мною забыты.—Если же, из каких бы то ни было источников, комиссия найдет какое-нибудь стороннее подтверждение словам моим, то и я; с своей стороны, изъявляю полную готовность подтвердить их даже, если нужно, под присягою.—Но в письме моем к Н. И. Соколову я положительно отказываюсь признать всякое другое значение, кроме того, которое оно имеет,—т. е. откровенной приятельской беседы с старым другом.

Вопрос 4. Когда и по какому случаю познакомились вы с упоминаемым в письме Михайловым, и какие ваши были к нему отношения, в чем именно заключалось несогласие ваше с ним, вследствие чего, по вашему выражению, вы пошли с ним в разные стороны?

Ответ. Знакомство мое с Мих. Лар. Михайловым было чисто литературное. Поводом к нему было издание редактируемого мною сборника „Поэты всех времен и народов", для которого я пригласил Михайлова, как одного из талантливейших переводчиков, написать несколько статей и стихотворений. Что же касается до моего выражения, что „мы пошли с ним в разные стороны",—то я и теперь повторяю то же, что писал в письме к Соколову,—т. е. что „говорить об этом нечего"... особенно после настоящего приключения с этим письмом. Впрочем, пусть лучше первый камень в меня будет брошен самим мною, а не другими. Вот в чем в настоящее время мы **не сходимся** с Михайловым: Михайлов до конца остался верен своим убеждениям и своим друзьям, а я—сделался врагом тех, которые называли меня своим другом, и навсегда отказался от того, на что когда-то смотрел как на лучшую цель моей жизни... не потому, чтобы я струсил перед опасностями этого пути,—не потому, чтобы меня соблазнили приятности другой дороги, более торной,—а только потому, что я имел несчастие убедиться, вполне, что мы сеяли на совершенно бесплодную почву... Я и до сих пор остался верен тому принципу, что сеять **доброе семя** необходимо (хотя сам положительно отказался от роли сеятеля): в этом я совершенно сходился с составителями манифестов. Но я всегда был против методы удобрять бесплодную почву трупами и кровью—и в этом

„заключалось мое разногласие с ними".—Может быть Михайлов, после своего горького опыта, взглянет теперь несколько иначе на свою прежнюю деятельность; но я уверен, что он никогда не изменит своим друзьям, насколько бы не был убежден во вреде их деятельности. Я же тут пошел по другой дороге, на которой мы уж, конечно, никогда не встретимся. Михайлов до конца вынес на себе, вместе с своим грехом, грехи других; и в своем-то грехе он признался только из сострадания ко мне;—а я,—хотя и совершенно невольно, являюсь без всякой надобности обвинителем других. Общество не станет разбирать, во имя чего и как это сделалось; оно не поверит тому, что все это сделалось нечаянно и без всяких корыстных и недостойных целей;—оно забудет, да, вероятно, и не знает всего, что [я] выстрадал в эти почти два года;—перед его глазами будет один факт; и оно назовет Михайлова мучеником за свои убеждения, страдальцем за друзей своих,—назовет меня отступником от своих убеждений, предателем друзей своих. Михайлову не откажут в сочувствии (как человеку)—даже люди, совершенно противуположного с ним образа мыслей,—а меня отвергнут все.—Михайлов, казненный правительством, стоит и будет стоять высоко в общественном мнении,—а я погибну, беспощадно казненный **и тем, и другим.**—Вот что значит мое выражение „мы пошли с ним в разные стороны".

Вопрос 5. По какому случаю вы находились в С.-Петербурге в то время, когда в **первый раз Михайлов привез вас к Чернышевскому;, когда** именно это было; по какому поводу, где и при каких обстоятельствах познакомились вы с Чернышевским; где он тогда жил, равно где и с кем вы жили? Сами ли вы желали познакомиться с Чернышевским, или Михайлов предложил вам это знакомство и говорил ли он вам о цели, для которой в первый раз вводил вас к Чернышевскому? Как часто и в какое время бывали вы у него?

Ответ. В Петербург, как я уже объяснил выше, я приехал с тем, чтобы предложить Михайлову сотрудничество в издаваемом мною сборнике, и поместить в петербургских журналах кое-какие из своих статей и стихотворений. Когда именно это было, я не упомню. С Чернышевским я желал сблизиться тоже, как с одним из редакторов „Современника", в котором мне хотелось помещать свои работы. Жил тогда Чернышевский (если мне не изменяет память) на Васильевском остр., в доме Громова. Я останавливался тогда в какой-то гостинице. Михайлов, услышав от меня, что я желал бы познакомиться с Чернышевским, только не знаю, как это устроить,—предложил мне свезти меня к нему в тот же день вечером, сказав, что кстати мы прочтем там и ту прокламацию, о возможности напечатать которую без цензуры мы уже прежде говорили с Михайловым.—То, что до перехода в кабинет мы не перекинулись с Чернышевским и несколькими десятками слов, заставляет меня думать, что Михайлов предварительно переговорил об этом с Чернышевским (иначе, я полагаю, Чернышевский не стал бы так откровенничать с человеком, которого он видел в первый раз) и привез меня к нему

исключительно с той целью, чтобы переговорить о возможности тайного напечатания манифеста. Как часто и в какое время я бывал у Чернышевского, — не упомню. Но в этот раз я очень недолго пробыл в Петербурге.

Вопрос 6. В письме к Соколову вы говорите, что **во время первого вашего посещения Чернышевского у него находилось много народу.** — Кто были эти лица, сколько времени они оставались, о чем говорили, какое участие в разговорах принимали Чернышевский, Михайлов и вы? Находился ли кто из бывших у Чернышевского **в кабинете в то время, когда вы, Михайлов и Чернышевский читали там сочиненное Чернышевским воззвание „К барским крестьянам“**. По какому поводу и кем предложено было это чтение? Кто именно находился при этом и какое принимал участие в рассуждениях, происходивших во время чтения воззвания и после того? От кого и когда вы узнали, что воззвание к барским крестьянам сочинено Чернышевским? Было ли оно писанное или печатанное и, в первом случае, чьею рукою написано и на какой бумаге? Известен ли был вам почерк Чернышевского, Михайлова и Шелгунова и почему вы его знали?

Ответ. Касательно этого вопроса, я не имею ничего прибавить к тому, что сказано мною в письме к Соколову. Лиц, находившихся у Чернышевского, я видел в первый раз и представлен им не был; ушел я раньше всех, и потому не знаю, сколько времени оставались другие гости.—В кабинете Чернышевского во время чтения манифеста к барским крестьянам, кроме нас троих, никого не было. О поводе, по которому было предложено это чтение, я уже говорил. Что воззвание к барским крестьянам сочинено Чернышевским — говорил мне и сам автор, говорил и Михайлов. Воззвание это было рукописное; почерк рукописи был мне незнаком; на цвет, формат и клеймо бумаги я, конечно, не обратил никакого внимания, — и потому сказать об этом ничего не могу; почерк Михайлова, Шелгунова и Чернышевского стал мне известен по письмам этих господ ко мне, и по их статьям, бывавшим у меня в руках.

Вопрос 7. Предъявляемое вам комиссиею воззвание, под заглавием „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“, находящееся в следственном деле, произведенном в 1861 г. в Москве, то ли самое, которое сочинено Чернышевским и кем сие воззвание переписано, равно кем сделаны в оном поправки?

Ответ. Предъявленная мне рукопись—не та, которую читал Чернышевский в первое наше свидание; это уже окончательная редакция манифеста, сделанная Чернышевским вследствие моих убеждений (сообщенных Чернышевскому через Михайлова) и переданная Чернышевским Сороке. Воззвание это переписано Михайловым; чьею рукою сделаны поправки—не знаю.

Вопрос 8. Сам ли Чернышевский предложил Михайлову взять с собою воззвание „К барским крестьянам“, или Михайлов просил его об этом, и какой по сему предмету происходил разговор? Где на другой день, после свидания вашего с Чернышевским,

происходило чтение воззвания „К барским крестьянам"? По какому случаю при чтении находился Шелгунов, кто еще был при этом? Когда, где и по какому случаю вы познакомились с Шелгуновым?

Ответ. Этого я не помню.—На другой день мы читали манифест в квартире Михайлова.—Шелгунов находился при чтении, как друг Михайлова; других никого не было. Шелгуновы жили на одной квартире с Михайловым; Михайлов познакомил меня с ними в первый же мой визит к нему.

Вопрос 9. При вас ли, где и в какое время Михайлов убеждал Чернышевского изменить воззвание, кто еще при этом находился и вообще какой и между кем происходил по сему предмету разговор, если же вас при этом не было, то при ком Михайлов говорил вам об отзыве Чернышевского о воззвании и о согласии его сделать в нем изменения?

Ответ. В письме моем к Соколову сказано: (и я не имею ничего прибавить к этому) — „Михайлов ездил к Чернышевскому; и что они там говорили,—не знаю. В следующее свидание наше Михайлов сказал, что Чернышевский с трудом согласился на изменения, говоря, что напротив, следовало бы усилить тон, но что уж если нельзя печатать брошюры в том виде, какой он проектировал — он, пожалуй, сделает изменение" и пр... Свидетелей при передаче мне Михайловым этого разговора не было.

Вопрос 10. От кого и при каких обстоятельствах вы узнали, что приезжавший вместе с вами в Петербург бывший студент Московского университета Сороко, после отъезда вашего в Москву, был вместе с Михайловым у Чернышевского и получил от него в исправленном уже виде упомянутые воззвания и деньги 200 руб. на издержки по печатанию? Какие вы можете представить сему доказательства?

Ответ. От самого Сороки,—без всяких обстоятельств. Впоследствии то же самое говорил Михайлов. Относительно доказательств повторяю: что не имею их, да и вообще не считаю возможным представлять какие-нибудь доказательства на то, что говорилось в дружеском, частном письме,—а не писалось для судебного показания. В дополнение ответа моего на вопрос, при каких обстоятельствах я узнал, что после отъезда моего из Петербурга Сороко вместе с Михайловым был у Чернышевского и получил от него рукопись воззвания к барским крестьянам и деньги для ее напечатания, имею честь присовокупить: в первый раз я услыхал обо всем этом от Сулина (как писал и в письме к Соколову), но потом уже счел за нужное проверить слова Сулина и расспросил самого Сороку, от которого и узнал то же самое.

Вопрос 11. Живя в Петербурге вместе с Сороко, говорили ли вы ему о знакомстве вашем с Михайловым и Чернышевским и о написанном последним воззвании?

Ответ. О знакомстве моем с Михайловым Сороко знал, а о воззвании, написанном Чернышевским, а равно и о самом Чернышевском разговору у нас не было. Вообще я держался очень далеко от Сороки и К-о.

Вопрос 12. В письме вашем сказано: „Призывая крестьян к бунту, составители манифеста естественно должны были позаботиться о том, что противопоставить тем мерам, которые правительство примет для подавления бунта. Ясно, что самое естественное, самое близкое и самое верное орудие правительства есть солдат. Стало быть надо действовать на солдата, надо его сманить на крестьянскую сторону; и вот проектируется: „Русским солдатам от их доброжелателей поклон". Манифест этот берется составить Шелгунов". Объясните с подробностью все обстоятельства, предшествовавшие сочинению Шелгуновым означенного воззвания; кто первый подал мысль сочинить оное, где происходили совещания по сему предмету, кто в них участвовал и какое участие в составлении воззвания к солдатам принимал Чернышевский?

Ответ. Обстоятельств, предшествовавших сочинению Шелгуновым означенного воззвания (я понимаю обстоятельства, имеющие какую-нибудь связь с сочинением воззвания)—мне неизвестно ровно никаких. Я даже не совсем понимаю этот вопрос, ибо никак не могу вообразить себе каких бы то ни было „обстоятельств", предшествовавших сочинению брошюры с таким общим содержанием, как воззвание к солдатам. Если под словом „обстоятельство" следует разуметь — повод к составлению этой брошюры,—то в письме моем к Соколову я сказал об этом поводе все, что мне известно. Я полагаю, что мысли сочинить воззвание к солдатам никто не мог подать первый: инициатива этого манифеста, бесспорно, должна была принадлежать всем, кто так или иначе принимал участие в составлении манифеста к крестьянам. Мы втроем рассуждали о манифесте к крестьянам (на другой день моего первого визита к Чернышевскому) и потом все трое принимались за составление воззвания к солдатам. Шелгунову, как человеку в солдатском деле более компетентному, мы предоставили только формулирование общей идеи, так ли Шелгунов выразил ее—это другой вопрос, на который я отвечу вполне отрицательно. Общего между нами опять-таки осталась одна только основная идея манифеста: „надо вразумить солдата, что стрелять и колоть крестьян, отстаивающих свои животы,—не годится". Развитие этой идеи,—применение ее к венгерцам и полякам, наконец тон всего послания неотъемлемо принадлежит одному Шелгунову. В заключение позволяю себе заметить, что выражение „происходили совещания по сему предмету" придает слишком торжественный декорум составлению этих воззваний, которые писались (по крайней мере два последние) решительно без всяких конференций, как самые простые журнальные статейки.—Я не знаю, впрочем, советывался ли Шелгунов на счет своего манифеста с Чернышевским или с кем нибудь другим,—прежде или после его написания. Рукопись я получил от Шелгунова из рук в руки, при Михайлове.

Вопрос 13. Где было читано написанное Шелгуновым воззвание к солдатам, кто, кроме вас, Шелгунова и Михайлова, нахо-

дился при этом; читал ли оное и где именно Чернышевский, кто был свидетелем того, как он читал воззвание, какие и при ком давал он отзывы об этом воззвании?

Ответ. На все это я ответил в предыдущем вопросе.

Вопрос 14. К каким именно солдатам Шелгунов ходил читать сочиненное им воззвание? Как фамилии этих солдат и можете ли вы теперь указать их? Где находится харчевня, в которой Шелгунов и вы были с солдатами? Сколько было с вами солдат и которого месяца и числа были вы с Шелгуновым и солдатами в харчевне? Как Шелгунов называл вам знакомого ему солдата, к которому посылал вас читать воззвание? В каком полку солдат этот состоял на службе и можете ли вы указать его?

Ответ. К каким именно солдатам Шелгунов ходил читать свое воззвание,—не знаю. Улицы, в которой находилась харчевня, в которой мы были, не помню, но может быть нашел бы ее. Солдат было с Шелгуновым в харчевне, кажется, двое или трое. Фамилии их мне, конечно, незачем было спрашивать у Шелгунова, и потому я их не знаю. В лица я вероятно узнаю этих солдат, если б когда-нибудь встретился с ними. Фамилии и полка солдата, к которому меня посылал Шелгунов читать воззвание, я не помню, в лицо я его, конечно, узнать не могу,—так как я поручения Шелгунова не исполнил, в казармы не ходил, и стало быть и солдата, о котором идет речь,—не видал.

Вопрос 15. Лично ли Шелгунов передал вам свою рукопись для напечатания? Когда, где и при ком вы получили и какое сделали из нее употребление?

Ответ. Лично при Михайлове. Привезя манускрипт в Москву, я спрятал его в свой письменный стол, откуда он был украден братом моим и представлен им в III отделение собственной канцелярии.

Вопрос 16. Предъявляемое вам комиссиею воззвание, под заглавием „Русским солдатам от их доброжелателей поклон", находящееся в следственном деле, произведенном в 1861 году, в Москве,—то ли самое, которое сочинено Шелгуновым, и чьею рукою оно написано, равно кем сделаны в оном приписки и поправки?

Ответ. Воззвание это написано при мне, Шелгуновым (измененным почерком), поправки сделаны Михайловым.

Вопрос 17. В письме к Соколову вы говорите, что во время второй поездки вашей в Петербург, вы под диктовку Чернышевского написали воззвание к раскольникам, под заглавием: „Поклон старообрядцам", которое взяли с собой в Москву и впоследствии сожгли оное, объясните подробно все обстоятельства по сему предмету и какие имеете доказательства относительно места и времени написания сказанного воззвания, а также при ком Чернышевский диктовал вам воззвание, кому оно после того было читано и вообще кому, кроме вас и Чернышевского, было известно о существовании этого воззвания? Для чего вы оное уничтожили?

Ответ. Относительно этого вопроса пояснить я ровно ничего не имею. „Обстоятельств по сему предмету“ не было никаких.—Что же касается до „места и времени написания сказанного воззвания“, то писалось оно в Знаменской гостинице, весной 1861 года,—конечно, без свидетелей,—по крайней мере таких, какие нам были видны.—Я никому не читал и не показывал этого воззвания,—а знал ли об нем кто-нибудь из какого-нибудь другого источника—не знаю. Сжег я „оное“ потому, что печатать его не был намерен, а держать у себя подобный документ, ожидая с часу на час обыска и ареста, было бы противно здравому смыслу.

Вопрос 18. Которого месяца и числа 1861 г. Чернышевский приезжал в Москву, во время печатания воззвания „К барским крестьянам“? Где он останавливался в Москве, сколько времени прожил, приходили ли вы к нему, равно один ли Чернышевский или с кем другим и с кем именно приходил к вам, чтобы сделать поправки в тексте воззвания? Кого вы видели у Чернышевского во время посещения его вами, равно, кто были свидетели того, когда Чернышевский приходил к вам и исправлял воззвание?

Ответ. Которого месяца и числа приезжал Чернышевский в Москву, во время печатания воззвания, не помню. Где он останавливался и сколько времени прожил,—не знаю. Я к нему не ходил; Чернышевский бывал у меня всегда один, и у меня никого не встречал.

Вопрос 19. Говоря в письме о литературной деятельности Чернышевского, вы, между прочим, выразились „впоследствии, когда буду иметь более свободного времени, я непременно поговорю о его (Чернышевского) литературной деятельности, тайной и явной, чтобы показать вам, откуда подул тот ветер, который нагнал столько жалких жертв в казематы российских крепостей, и в те злачные места, куда отсылают, по соглашению министра внутренних дел с шефом корпуса жандармов... тогда вы увидите, откуда на святом знамени свободы появился тот скверный девиз, во имя которого действуют наши домо-рощенные агитаторы, пишутся все эти „великоруссы“ и „Молодая Россия“, все эти безалаберные прокламации с красными и голубыми печатями. Знаю, что загораживая собою Ч. и ему подобных, я глубоко виноват, не говорю перед правительством, потому что я не связан с ним ничем,—но перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чернышевского, принесла и приносит такие горькие, такие отравленные плоды. Не говорю уже о множестве личностей, сделавшихся жертвою его науськиванья“. Объясните подробно и с полною откровенностью истинный смысл приведенного места в вашем письме, и в каких именно действиях выражалась зловредная деятельность Чернышевского, какие личности сделались жертвою его науськиванья, кто те лица, которые принадлежат, по вашему выражению, к кружку Чернышевского и ему подобных?

Кто эти подобные, почему и в каком отношении они вам известны?

Ответ. По моему мнению смысл этой цитаты совершенно ясен; с большей подробностью объяснить его я не могу. Я обещаю своему приятелю поговорить с ним о литературной деятельности Чернышевского. Если комиссия желает, чтоб обещание, данное мною моему приятелю, я исполнил теперь же, в ответ на ее вопросы,—я должен сказать, что ни мое здоровье, ни мое положение не позволяют мне принять на себя такой обширный и такой щекотливый труд. Что же касается до предложения комиссии „объяснить, в каких именно действиях выражалась зловредная деятельность Чернышевского",—то лучшим и самым наглядным ответом на этот вопрос будет то, если комиссия найдет какие-нибудь доказательства в подтверждение хотя небольшой доли того, что я писал в перехваченном письме к моему приятелю. Говоря о кружках, я вовсе не имел в виду какие-нибудь личности, мне известные; я подразумевал авторов журнальных и других статеек (большею частью анонимных), идущих по одному направлению и метящих в одну цель с разглагольствованиями Чернышевского. Я убедительнейше прошу комиссию обратить внимание на то, что в письме к Соколову я высказывал только свой личный взгляд на литературную деятельность Чернышевского (как публициста) и его школы (или кружка, как я неосторожно выразился в письме к моему приятелю, перед которым, разумеется, я не старался быть слишком разборчивым и осмотрительным в выражениях); и я нисколько не намерен упорно отстаивать непогрешимость моего мнения, а, напротив, всегда готов согласиться с теми, кто убедит меня в противном.

Вопрос 20. В том же письме говорится: „Ведь в твоих руках были все средства увязить его (Чернышевского) на свое место. Ведь я же сам видел эти письма. В руках моих всегда была возможность сделать то, чтобы текст моей сентенции: „за составление возмутительного воззвания к бар. крестьянам, осуждается на то-то" относился не ко мне, а к Чернышевскому. У меня были письма, которые в моих руках служили мне оправданием перед теми, кто меня обвинял в предательстве. Вы знаете что́ я сделал с этими письмами. Нечего и говорить, что выгораживая таким образом Чернышевского и Шелгунова из этого дела, я более щадил себя, чем их". Комиссия требует от вас подробного объяснения по содержанию приведенных мест из вашего письма. Какие именно средства и письма были в ваших руках, и какое вы сделали из них употребление?

Ответ. Более подробного „объяснения по содержанию вышеприведенных мест" из моего письма к Соколову я дать не могу. В руках комиссии вероятно уже находится записка Чернышевского, отнятая от меня, в числе нескольких других писем,—сопровождавшим меня на Кавказ капитаном Чулковым. Я полагал (может быть, я и ошибался,—не знаю), что этой записки, если б я представил ее в комиссию (первую), было

бы совершенно достаточно, чтоб сложить с меня всякое обвинение в составлении воззвания к барским крестьянам.

Вопрос 21. В конце письма вы говорите: „были у меня и другие столкновения и с этими и со многими другими людьми". В чем и с кем заключались эти столкновения?

Ответ. Я желал бы уклониться от всякого ответа на этот вопрос. „Столкновения", о которых я говорю в письме моем к Соколову,—не имеют уже ровно никакого значения общественного и политического, и относятся прямо к моим личным интересам,—до которых, я полагаю,—кроме меня самого и людей мне близких,—нет никому никакого дела.

Второй допрос Костомарова

1863 года марта 14 дня в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии рядовой из дворян Всеволод Костомаров на предложенные ему вопросы показал:

В дополнение и разъяснение данных вами 13 сего марта показаний, комиссия предлагает вам объяснить:

Вопрос 1. Что вы разумеете под выражением, употребленным вами [в показании,] данном комиссии 13 марта, „я всегда был против методы удобрять бесплодную почву трупами и кровью"? Кто и с какою целию намерен был удобрять таким образом и какую почву? Почему именно вы считаете себя обвинителем других, как выразились об этом в ответе?

Ответ. Под выражением этим я разумел смысл прокламаций (особенно в их первых редакциях), призывавших крестьян и солдат с топором и ружьем в руках добывать волю и землю.—Чтобы ответить на вторую половину вопроса, мне пришлось бы целиком переписывать текст прокламаций, составленных Шелгуновым и Чернышевским; в этих прокламациях как нельзя более ясна и цель и средства проповедуемого восстания. Обвинителем других я считаю себя потому, что хотя и совершенно нечаянно, совершенно против своей воли, являюсь, вследствие перехваченного письма моего к Соколову,—обвинителем Чернышевского и Шелгунова в составлении возмутительных прокламаций.

Вопрос 2. В каком номере Знаменской гостиницы писалось воззвание к раскольникам? Чем можете доказать, что сочинение это писалось именно в той гостинице, а не у Чернышевского? Кто нанимал тот номер, в котором писалось воззвание к раскольникам? Как звали служителя, бывшего при этом, и можете ли вы указать его?

Ответ. Номера не помню, но увидев — узнал бы его. Касательно второго вопроса не могу представить никаких фактических доказательств; может быть слуга, приносивший нам обед, и заметил что-нибудь;—но имени этого слуги я не помню, да вероятно и не знал. В лицо может быть узнаю.—Номер нанимал Чернышевский.

Вопрос 3. В комиссии имеются сведения, что у вас занимался перепискою московский мещанин Яковлев, который видел приходившего к вам Чернышевского и слышал ваш с ним разговор, по поводу воззвания к барским крестьянам. Объясните, почему вы об обстоятельстве сем умолчали, равно покажите откровенно, кто, кроме мещанина Яковлева, находился у вас в то время в услужении, где эти лица ныне находятся и не жил ли кто-нибудь еще с вами во время посещения вас Чернышевским?

Ответ. Умолчал об этом обстоятельстве потому, что хотя Яковлев точно занимался у меня перепискою бумаг в то время, когда Чернышевский был у меня проездом через Москву кажется в Саратов; — но и до сих пор не могу понять, каким образом Яковлев мог быть свидетелем нашего разговора (с Чернышевским), происходившего наедине. Может быть он слышал наш разговор откуда-нибудь из другой комнаты или вообще из такого места, откуда не мог быть нам виден (иначе мы, конечно, и не стали бы говорить о таких вещах). В услужении у нас находилась тогда одна только кухарка, но я не помню, как ее звали, так как в то время прислуга менялась у нас довольно часто. Со мной никто не жил, ни в то время, ни после.

Вопрос 4. Кого вы разумеете под личностями, сделавшимися жертвою науськивания Чернышевского, как объяснили об этом в ответе на 19-й вопрос?

Ответ. Во-первых главным образом самого себя, а потом всех тех молодых людей (лично мне неизвестных), которые агитировали, как мне кажется, под влиянием Чернышевского. Но это только мое личное мнение (основанное, впрочем, на личном опыте), за непогрешительность которого я отнюдь не стою.

Вопрос 5. Кем, когда, где и по какому случаю писана отобранная у вас сопровождавшим вас на Кавказ капитаном Чулковым и вам предъявляемая записка карандашом следующего содержания: „В. Д. Вместо „срочно обяз". (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) набирайте везде „временно обяз.," как это называется в Положении"? К кому относилась эта записка, через кого вы ее получили и что по ней сделали?

Ответ. Записка эта писана Чернышевским, во время его первого приезда ко мне, не застав меня дома, он оставил на столе моем эту записку, написанную на обороте чернового наброска какого-то из моих стихотворений. Назначение этой записки ясно из ее содержания. По ней исправил в корректуре только что набранного мною полулиста воззвания ошибочно написанные в нем слова. Записка эта относилась ко мне, получил я ее, по возвращении домой, на своем письменном столе.

Допрос Н. Г. Чернышевского

1863 года марта 16 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Николай Чернышевский, на предложенные ему вопросы, показал:

Вопрос 1. На предложенные вам комиссией, 30 октября и 1 ноября 1862 года, вопросы: с кем из находящихся за границей русских изгнанников и других лиц, распространяющих злоумышленную против нашего правительства пропаганду, равно с сообщниками их в России, вы были в сношениях, в чем заключались эти сношения и ваши вследствие оных действия, а также кто участвовал с вами в этом деле, вы объяснили, что „ни с кем из лиц, распространяющих злоумышленную против правительства пропаганду, ни с кем из находящихся за границей русских изгнанников и ни с кем из их сообщников в России вы не были ни в каких сношениях, и что вам неизвестно, находятся ли таковые сообщники у нас в России“. Между тем, в виду комиссии имеется письмо находящегося в Лондоне изгнанника Герцена к отставному надворному советнику Николаю Серно-Соловьевичу, в котором Герцен писал: „мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве“. Так как готовность на издание „Современника“ в Лондоне или Женеве не могла быть выражена Герценом, без предварительного на сие со стороны вашей согласия, то комиссия предлагает вам дать подробное объяснение, как по сему предмету, так и по содержанию вышеприведенных вопросов.

Ответ. Подтверждаю прежнее показание и совершенно не знаю, на каком основании г. Герцену вздумалось, что я мог согласиться издавать с ним журнал, ибо никаких сношений с ним не имел, ни прямых, ни через какое-либо посредство.

Вопрос 2. В числе найденных у вас при обыске бумаг оказалось письмо с выскобленными в нем многими словами. В нем, между прочим, говорится: „истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому, что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Чер. поручил тому господину, который в.... (слово выскоблено) не попал сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество, на что ж это похоже. Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в „Современнике“ статью прямо против нас; т. е. что напрасно

мол говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало вздор, что Европа не умирает потому, что когда одному человеку 60 лет, то зато другому 20 лет и что те, кто это говорят, дураки и лжецы, с намеком, что речь идет об нас и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще действительно с преднамеренной ложью? Плохо дело! Горе когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона! Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа правды и доблести из-за личных страстишек и видов, продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок в этой статье сказано, что растение умирает от того, что питательные соки перестают в него из земли с любовию всасываться. Хорош скептицизм! Нет! Поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Но! Будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а помехой делу, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружеским, но военным кулаком по такой дребедени". Далее в письме говорится о требовании со стороны издания, о тройной форме присяги, о подписке на сбор денег, об учреждении контор на трех торговых пунктах: как-то: Нижегородской ярмарке, которая либо из приднепровских и в Ирбите или в ином Урало-Сибирском пункте, о проекте местных банков, системе рекрутства и в заключение выражено: „мы никогда бы не догадались, что Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником". Предъявляя вам это письмо, комиссия требует, чтобы вы подробно и с полной откровенностью объяснили: когда, от кого и по какому случаю вы его получили? Кем и кому оно писано? Кем, для чего и какие выскоблены в нем слова? Что означают выражения письма: „**Чер. поручил тому господину, который в... не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет". „Он человек с влиянием на юношество"... до сих пор сами держались этим знаменем"... „Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником".**

Ответ. Письмо это я получил по городской почте весною (или в начале лета) 1862 г.; кем оно было мне прислано—не знаю. По тону речи и языку видно, что оно писано г. г. Огаревым и Герценом (почерков их я не знаю, потому сужу только по содержанию письма); к кому оно писано—неизвестно мне. Кем и для чего и какие слова выскоблены в нем — я не знаю, — оно было прислано ко мне со словами, уже выскобленными, вероятно, посылавший его ко мне хотел, чтобы не знал я его фамилии и других: вероятно, выскобленные слова — фамилии.

Лицо, которому я поручал передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М. И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года. Слова, что я „имею влияние на юношество", означают, что я, как журналист, пользовался уважением в публике. „Знамя", о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению, — это объясняется в статье „Современника" (моей), которою Герцен остался недоволен; выражение „ехали вместе" относится к тому, что я, подобно Герцену, защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение М. И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего, ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастию самих агитаторов.

Вопрос 3. Кем составлен найденный у вас при обыске алфавитный ключ на 4 картонных бумажках? Вели ли вы по оному и с кем переписку? До каких предметов относилась эта переписка, и кому, кроме вас, еще известен этот ключ?

Ответ. Эти лоскутки заключают в себе какую-то азбучную шалость, составленную неизвестно мне кем из моих родственников, живавших у меня.

Вопрос 4. Из дела видно, что вы были знакомы с бывшим губернским секретарем, **ныне политическим преступником Михайловым**, отставным подполковником **Шелгуновым** и **разжалованным по суду в рядовые, за распространение возмутительных сочинений, дворянином Всеволодом Костомаровым.** Когда вы с ними познакомились; какие были ваши к каждому из них отношения, как часто они бывали у вас, равно вы у них и где именно?

Ответ. С Михайловым я познакомился, когда был студентом, а он вольнослушающим,—потом видывались,—почти всегда по журнальным делам (г. Михайлов читал корректуры „Современника", по желанию г. Некрасова.) С г. Шелгуновым я был знаком уже через г. Михайлова,—кроме того, он помещал статьи в „Современнике"; это знакомство было слишком не близкое. Г. В. Костомарова я видел несколько раз по тому случаю, что он помещал стихи в „Современнике". У г. Михайлова и г. Шелгунова я бывал; к г. Костомарову заезжал однажды отдать деньги за стихи (когда проезжал через Москву в Саратов). Г. Михайлов и Шелгунов бывали у меня по журнальным делам. Собственно журнальными делами ограничивалось мое знакомство с г. г. Костомаровым и Шелгуновым. О (зачеркнуто: тайной прессе) распространении возмутительных сочинений г. Костомаровым я ничего не знал, о преступлении г. Михайлова точно так же ничего. Под журнальными делами, которые имел с г. Шелгуновым и Костомаровым, я разумею то, что г. Шелгунов прино-

сил мне свои статьи, а г. Костомаров—свои стихи для помещения в „Современнике“; я никому из них никаких поручений не давал.

Вопрос 5. Кто ваши знакомые в Москве и в каких вы с ними отношениях? Ездили ли вы в 1861 и 1862 годах в Москву, к кому и с какой целью? Сколько времени там оставались, где проживали и кого посещали?

Ответ. Из лиц, живших в Москве, я был знаком с г. Плещеевым. В 1861 г. весною я ездил в Москву хлопотать по цензурным делам, и прожил там дня три; в 1862 г. я проезжал через Москву в Саратов, и пробыл там несколько часов. Бывши в 1861 г. в Москве, я бывал у г. Каткова. Жил в гостинице против дома Шипова,—вероятно, на Лубянке. Г. Плещеев—литератор, постоянно помещавший повести в „Современнике“, других отношений к нему у меня и не было.

Вопрос 6. В комиссии имеется сведение, что в 1861 г. вы написали возмутительное воззвание, под заглавием **„Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“** и передали его, для отпечатания и распространения, приезжавшему из Москвы в С.-Петербург студенту тамошнего университета Сороко, которому дали на напечатание воззвания 200 руб. сер., что в изготовлении этого воззвания принимали участие Михайлов, Костомаров и Шелгунов. Комиссия, напоминая вам 170 ст. XV т. Св. зак. угол. требует, чтобы вы с полной откровенностью и подробно объяснили все обстоятельства, относящиеся до написания и намерения распространить означенное воззвание, а также писали ли вы, кроме означенного воззвания, какие-либо другие статьи для печати, по поводу высочайше учрежденного Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах?

Ответ. Ничего подобного я не писал. Эти сведения неосновательны. Г. Сороко я не знаю; ни с Михайловым, ни с Костомаровым, ни с Шелгуновым ничего подобного не говорил и никаких статей для тайной печати не писал. Г. Костомарову никакой статьи о крестьянском деле не передавал. Все, что я писал, печаталось в „Современнике“. Г. Костомаров не имел никакого участия в моей деятельности, которая всегда была открыта и законна. Никогда не имел я никаких сношений с Костомаровым по тайному печатанию, и ничего не поручал печатать. Но подарил ему сборник рукописный—лирические стихотворения, которые когда-то хотел издать с книгопродавцем Вольфом и который валялся у меня брошенный.

Вопрос 7. В комиссии имеется сведение, что вы, кроме составления воззвания к барским крестьянам, принимали участие в написании еще другого воззвания, озаглавленного **„Русским солдатам от их доброжелателей поклон“**, написанного подполковником Шелгуновым, при содействии Костомарова и Михайлова. Объясните все обстоятельства, относящиеся до участия вашего в составлении сего воззвания.

Ответ. О воззвании к русским солдатам я ничего не знаю.

Вопрос 8. В комиссии имеется сведение, что в том же 1861 году вы, при участии Всеволода Костомарова, в Знаменской

гостинице, где нанимали номер, проектировали воззвание к раскольникам, под заглавием: „Поклон старообрядцам“. С какой целью проектировано было вами сие воззвание и что побудило вас к сему действию?

Ответ. Ничего такого не было. Эти сведения неосновательны.

Вопрос 9. Кто такой раскольник Ярославской губернии Дорофей, бывший с вами в сношениях? Где он находится, когда и какие имели с ним сношения?

Ответ. Ничего подобного не было. Никакого Дорофея я не знаю.

Вопрос 10. Вы поименовали из знакомых ваших в Москве только одного Плещеева, равно сказали, что ваше знакомство с Костомаровым ограничивалось собственно журнальными делами, между тем, из писем ваших, вам у сего предъявляемых, оказывается, что вы имели в Москве знакомых: Котляревского и Свириденко, а также, что сношения ваши с Костомаровым касались не одних журнальных дел, но и других обстоятельств; а потому комиссия вновь требует, чтобы вы поименовали всех ваших знакомых в Москве и объяснили: кто такие Котляревский и Свириденко и какие были ваши к каждому из них и к Костомарову отношения.

Ответ. Мои слова не имели того смысла, что я знаком в Москве **только с одним** г. Плещеевым,—я вспомнил о нем потому, что больше знаком с ним, чем с кем другим, хотя все-таки не слишком близко; будучи знаком с г. Костомаровым только по журнальным делам, и по своей привычке помогать всякому нуждающемуся принимал человеческое участие в его стесненном положении,—просто по чувству доброты. Г. Котляревский—преподават. в каком-то московск. кадетск. корпусе; я был знаком с ним как с литератором и человеком ученым. Г. Свириденко—служит в книжном магазине Кожанчикова. Я был несколько знаком с ним, как с человеком образованным; он искал моего знакомства,—я не могу отказываться от посещений, мне делаемых,—у меня такой характер, слишком деликатный. Ни с г. Котляревским, ни с г. Свириденко я не был близок.

Вопрос 11. Вы показали, что воззвания „К барским крестьянам“ не писали, а равно никакой другой статьи для печатания, по поводу высочайше утвержденного Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах, не писали и Костомарову не передавали, между тем, из предъявляемой вам комиссией собственноручной записки вашей видно, что́ вы поручали Всеволоду Костомарову печатать подобную статью, а из следственного дела, в правительствующем сенате о Костомарове производившегося, оказывается, что в находившемся у Костомарова воззвании к барским крестьянам заключаются именно те выражения „срочно обязанные крестьяне“, кои вы в означенной записке просите заменить выражением: „временно обязанные крестьяне“. А потому комиссия вновь требует от вас чистосердечного показания о вашем действии в составлении сказанного воззвания и о всех участниках в этом действии, равно как об участии вашем в состав-

лении воззвания к русским солдатам и в проектированием воззвания к раскольникам?

Ответ. Предъявленная мне записка не моего почерка; я не признаю ее своею и потому остаюсь при прежнем ответе.

Выписка из журнала следственной комиссии

Комиссия, рассмотрев показания Чернышевского, положила: по показаниям этим дать очные ставки с Костомаровым Чернышевскому, а по показаниям Костомарова—допросить бывшего студента московского университета Сороко и московского мещанина Петра Яковлева, об арестовании первого из них и о доставлении как его, так и мещанина Яковлева в III отделение просить московского обер-полициймейстера, уведомив о сем и члена комиссии г.-м. Потапова.

Допрос Н. Г. Чернышевского

1863 года марта 19 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Николай Чернышевский, на предложенный ему вопрос, показал:

Вопрос. Вы показали, что поручали Михайлову, при отъезде его в Лондон, сказать Герцену, чтобы сей последний не завлекал молодежи в политические дела, а как из сего очевидно, что вы знали о намерении Михайлова иметь в Лондоне с Герценом сношение и сближение, последствием которых и было, по возвращении Михайлова в Россию, распространение возмутительного воззвания „К молодому поколению“, то комиссия требует от вас чистосердечного показания всего, что вам известно о действиях, как Михайлова, по сочинению и распространению воззвания, так его сообщников, а равно и о вашем участии в сих действиях?

Ответ. М. И. Михайлов, отправляясь за границу, упомянул мне, что если он поедет в Англию, то может быть увидится с Герценом. Больше мне ничего не было известно. О намерениях Михайлова издавать что-нибудь тайное я не знал. О сообщниках его тоже не знал и сам никакого участия ни в каких замыслах г. Михайлова не принимал.

19 марта 1863 г. Отст. тит. советн. Н. Чернышевский.

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Очная ставка Н. Г. Чернышевского с Костомаровым

1863 года марта 19 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, дана была очная ставка рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с отставным титулярным советником Николаем Чернышевским, на которой:

Я с своей стороны подтверждаю свои прежние показания:

a) Что был введен в дом к г. Чернышевскому Михайловым, что г. Чернышевский, в присутствии Михайлова, читал мне возмут. воззва́ние „К барским крестьянам“, написанное им, Чернышевским.

b) Что впоследствии я получил от Сороки это воззвание в несколько измененном виде; причем Сорока мне сказал, что получил это воззвание от Чернышевского вместе с 200 р. на издержки по тайному напечатанию брошюры.

c) Что печатание воззвания началось у меня в доме и г. Чернышевский посетил меня, видел набор этого воззвания и оставил мне денег на дальнейшее производство работы.

d) Что прийдя ко мне в другой раз он не застал меня дома, и оставил на столе предъявленную мне записку, в которой просил меня исправить в своей брошюре, неверно написанное им, выражение „срочно обязанные“ и заменить его словами „временно обязанные“.

e) Что весной 1861 г., в Знаменской гостинице г. Чернышевский диктовал мне воззвание к раскольникам, — с тем, чтобы я напечатал и его, но я этого не исполнил.

f) Что я писал к г. Чернышевскому о том, что он поступил весьма неосторожно, поручив печатание своей брошюры Сороко.

g) Перед поездкой в Знаменскую гостиницу г. Чернышевский заехал в квартиру моего отца, на Поварскую. Знамен. гостин. я запомнил тем, что изрезал подоконник перочинным ножом, взятым нами в числе принадлежностей для писанья.

Рядовой из дворян Всеволод Дмитриев Костомаров.

Я с своей стороны остаюсь при прежних своих ответах:

a) Кем и когда я был познакомлен с Костомаровым я не припомню. Воззвания к барским крестьянам в присутствии г. В. Д. Костомарова вместе с г. М. Л. Михайловым я не читал и этого воззвания не писал.

b) С г. Сорокой я не знаком; потому денег ему не давал ни на тайное печатание, ни на что другое, не давал ему и воззвания к барским крестьянам.

c) Набора у г. Костомарова я не видел, денег на работу ему не оставлял.

d) Записка эта не писана мною.

e) В Знаменской гостинице я не был с г. Костомаровым и воззвания к раскольникам ему не диктовал.

f) Такого письма от г. Костомарова я не получал.

g) На квартире у батюшки г. Костомарова в Поварском переулке я был, но оттуда отправился прямо домой.

Отставн. титул. советн. Н. Чернышевский.

19 марта 1863 г.

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

ДОПРОСЫ П. ЯКОВЛЕВА, И. СОРОКО И В. КОСТОМАРОВА ПО ДЕЛУ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Записка Яковлева Потапову

Отношение управляющего III отделением. Г.-м. Потапов препроводил в комиссию полученное им представление и. д. московского губернского прокурора с приложенными к нему докладною запискою содержащегося в тамошнем смирительном доме мещанина Яковлева и перепискою конторы московского смирительного и рабочего домов.

* * *

Докладная записка содержащегося в московском смирительном доме московского мещанина Петра Васильева **Яковлева** его превосходительству господину начальнику III отделения собственной его величества канцелярии Александру Львовичу Потапову, марта 20 дня 1863 г.

Первого числа сего марта месяца сообщив некоторые сведения об отношениях г. Николая Гавриловича Чернышевского к осужденному уже Всеволоду Дмитриевичу Костомарову сопровождавшему последнего на место его назначения г. капитану Чулкову и получив от него письмо на имя вашего превосходительства [1], я 2-го же марта отправился к вам в Петербург для донесения всех этих отношений г. Чернышевского к Костомарову,—был задержан на Тверской станции Николаевской железной дороги в нетрезвом виде и за буйные поступки и отправлен в тверскую полицию, которая препроводила меня вместе с отобранными от меня доносом и письмом к г. московскому обер-полициймейстеру, а сей последний по званию моему в Дом московского градского общества по мещанскому отделению. Дом градского общества за вышеупомянутые поступки распорядился отправить меня в московский смирительный дом на 4 месяца.

Находясь в настоящее время в московском смирительном и рабочем домах, я упустил возможность лично объяснить вашему превосходительству обстоятельства, касающиеся до г. Чернышевского, равно и письмо г. Чулкова, из которого вы изволили бы усмотреть надобность личного моего присутствия в Петербурге для разъяснения обстоятельств, сопряженных с отношением г. Чернышевского к Костомарову, а потому я осмеливаюсь убедительнейше просить ваше превосходительство вытребовать меня в С.-Петербург, хотя бы за караулом, но только

---

[1] Вот это письмо: Вашему превосходительству осмеливаюсь рекомендовать подателя сего, московского мещанина Петра Васильева Яковлева, который очень может быть полезен во многих случаях, он мне уже оказал услугу, и покорнейше прошу ваше превосходительство принять его под милостивое ваше покровительство.

Капитан Чулков.

1 марта 1863.

в собственной одежде и вместе с тем истребовать донос и письмо на ваше имя, которые в настоящее время находятся в Доме московского градского общества.—Московский мещанин Петр Васильев Яковлев.

Допрос Яковлева

1863 года апреля 8 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, московский мещанин Петр Яковлев был спрошен и показал:

На предложенные комиссиею мещанину Яковлеву вопросы он отвечал на вопрос 1-й: Предъявляя тебе полученный управляющим III отделением собственной его императорского величества канцелярии донос о преступных сношениях отставного корнета, ныне разжалованного в рядовые, Всеволода Костомарова с отставным титулярным советником Чернышевским, комиссия требует, чтобы ты подробно объяснил: тобою ли и когда именно писан этот донос, что побудило тебя написать оный и какие доказательства можешь представить в подтверждение сего доноса? Отвечал: Донос свой вполне подтверждаю: Как сущую истину, слышанную мною в разговорах г. г. Чернышевского с Костомаровым, находясь во время их разговора в беседке сада Костомарова для переписки сочинений. Самый донос писан мною в феврале месяце. Причина же, побудившая меня написать донос сей, было единственно опасение, чтобы не подвергнуть себя какой-либо ответственности; тогда как я уже услышал, что Костомаров за какие-то противузаконные поступки осужден и услан. Доказательств, кроме своего справедливого доноса, представить не могу, а уличать и доказывать справедливость слышанного мною разговора г. Чернышевского с Костомаровым лично могу, потому, что очень хорошо помню разговоры вышеписанных лиц, ибо г. Чернышевский всегда при свидании с Костомаровым говорил очень, очень дружески и с жаром. На вопрос 2-й: С которого времени и по какому случаю известен тебе Всеволод Костомаров, как часто ты бывал у него, и какие были твои к нему отношения? Отвечал: В 1858 и 1859 годах я жил на квартире в его доме, потом начал переписывать у него разные сочинения его и таким образом сблизился с ним тем же более, что Костомаров, хотя и сам был в то время беден, всегда платил мне хорошо и даже неоднократно давал мне денег вперед, других же каких-либо отношений я с ним не имел, ибо все-таки держал себя против него, как неравного себе, по происхождению, не более как переписчика или слугу. На вопрос 3-й: В означенном доносе ты изъяснил, что очень часто видел у Всеволода Костомарова Николая Гавриловича Чернышевского из Петербурга, и что переписывая у Костомарова бумаги в беседке сада, по случаю летнего времени, ты видел, как Чернышевский и Костомаров ходили под руку и слышал как первый из них в разговоре произносил слова: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла“, при этом Чернышев-

ский упрашивал Костомарова о скорейшем напечатании этой статьи, обязываешься показать: сколько именно раз случилось тебе видеть Чернышевского у Костомарова, когда, в какое время и зачем бывал Чернышевский у Костомарова, и кто кроме тебя мог еще видеть Чернышевского в квартире Костомарова? которого года, месяца и числа слышал ты из беседки сада изъясненный разговор Чернышевского с Костомаровым и был ли кто еще свидетелем означенного разговора? Что именно переписывал ты в беседке в показанное время, и всегда ли там занимался перепиской в летнее время? Отвечал: Видал я г. Чернышевского положительно три раза—первый раз в феврале или марте месяцах 1861 г., а за верное припомнить не могу, но только хорошо помню, что г. Чернышевский был в энотовой шубе, второй раз вскоре после этого времени и наконец третий раз в июле месяце 1861 года (числа же припомнить не могу), именно в то время, когда он ехал в Саратовскую или Симбирскую губернию. В этот последний приезд г. Чернышевского я действительно находился в беседке сада г. Костомарова, из которой и слышал разговор г. Чернышевского с Костомаровым, когда они ходили по саду под руку и г. Чернышевский действительно произносил слова: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали [1] от царя [воли]; ну вот вам и воля вышла“ и между тем усиленно упрашивал Костомарова поскорее напечатать эту статью. За какими именно надобностями бывал г. Чернышевский у г. Костомарова мне неизвестно, а полагаю, что по короткому их (как это видно было) знакомству. Кроме меня видеть Чернышевского могли его семейство, кухарка и даже могли видеть и случайно посещавшие Костомарова знакомые. Но что касается до другого свидетеля, слышавшего вышеописанный разговор г. Чернышевского с Костомаровым, в саду быть не могло. Переписывал я в то время корректуру издаваемого Костомаровым издания под названием: „Поэты всех времен и народов“. Писал я в беседке тогда, когда только Костомаров сам назначал мне это, но в летнее время более, иногда писывал в комнатах и нередко брал к себе на квартиру. Видел же я Костомарова в последний раз в ноябре месяце 1862 года. Что касается до просьбы моей от 20 марта 1863 года о вытребовании меня в III отделение собственной его величества канцелярии относилось единственно для подтверждения моего доноса, других же причин я не имел, к тому же я не имел средств на проезд в С.-Петербург.

Допрос И. Сороко

1863 года апреля 8 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, дворянин Иосиф Сороко, на предложенные ему вопросы, показал:

---

[1] Так в подлинном.

Вопрос 1-й: В комиссии имеется сведение, что в 1861 г. вы вместе с отставным корнетом, ныне разжалованным в рядовые, Всеволодом Костомаровым приезжали из Москвы в С.-Петербург и здесь жили на одной квартире. Объясните: с какою целию вы приезжали с Костомаровым в Петербург, где и сколько времени здесь жили, кто посещал вас и Костомарова и у кого вы бывали?

Ответ: В 1861 году Костомаров пригласил меня ехать с собою в Петербург, я, имея желание переместиться из московского университета в Медико-хирургическую академию, отправился с ним и это была цель поездки моей в С.-Петербург. Остановились мы у какого-то Кухмейстера на Невском проспекте. Костомаров жил недолго, я прожил немножко подольше оттого, что посещал лекции в университете и в Медико-хирургической академии, как приезжал с тою целью; через все время, когда мы были вместе, к нам никто не приходил, кроме родного брата Костомарова, а когда Костомаров уехал, и брата его с тех пор не видал, и ко мне никто не приходил. Всеволод Костомаров, уезжая, просил меня сходить к Михайлову насчет его сочинений, которые он помещал в разных переодических журналах.

Вопрос 2-й: Комиссии также известно, что после отъезда Костомарова в Москву, вы оставались в Петербурге, познакомились здесь с бывшим губернским секретарем, ныне государственным преступником, сосланным в каторжную работу, Михайловым, с которым были у отставного титулярного советника Чернышевского и получили от сего последнего для напечатания рукописное воззвание, под заглавием: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", и деньги 200 рублей на напечатание сего воззвания. Комиссия требует от вас подробного и чистосердечного объяснения всех обстоятельств, относящихся до знакомства вашего с Михайловым и Чернышевским и до получения от последнего упомянутого воззвания и денег для напечатания оного.

Ответ: После отъезда Костомарова в Москву, я остался в Петербурге с целью, сказанною в 1-м ответе. Познакомился с Михайловым через Костомарова, который просил меня взять у Михайлова сочинения, не помещенные в журналах, и деньги за помещенные статьи. Михайлов, передавая запечатанное письмо, просил передать его Костомарову, что я по приезде в Москву и сделал, у отставного титулярного советника Чернышевского с Михайловым не был—денег от него не принимал, никакого воззвания также. Что было в конверте—я не знаю и личного знакомства с Чернышевским не имел.

Вопрос 3-й: Виделись ли вы с Чернышевским в Москве во время приезда его туда и какой между вами происходил разговор относительно печатания означенного воззвания?

Ответ: Так как личного знакомства с Чернышевским не имел, поэтому не знал, был ли он в Москве или нет, а посему и никакого разговора в Москве с ним не имел.

Вопрос 4-й: Кому, кроме вас, известно было о написанном Чернышевским воззвании, и какое сами вы сделали с оным употребление?

Ответ: Я не знаю, кто об этом знал, так как я сам об этом не знал, и употребления никакого не делал.

Очная ставка Костомарова с Сороко

1863 года апреля 10 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, была дана очная ставка рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с дворянином Иосифом Сороко, на которой:

Я, Костомаров, уличал дворянина Иосифа Сороко в том, что слышал от него, Сороко, будто бы он получил от Н. Г. Чернышевского рукопись прокламации к барским крестьянам для тайного напечатания в Москве и вообще подтверждаю все мои прежние показания по сему предмету.

Я, дворянин Сороко, остаюсь при своем показании, что от г. Чернышевского никогда не принимал никакого воззвания для напечатания.

Допрос Костомарова

1863 года апреля 11 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, рядовой из дворян Всеволод Костомаров, на предложенные ему вопросы, показал:

(Вопросы)

В написанном вами 5 марта сего года письме к Николаю Ивановичу Соколову и в отобранных от вас комиссиею по содержанию сего письма показаниях вы объяснили:

1. Что отставной титулярный советник Чернышевский написал воззвание под заглавием: **„Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“.**

2. Что воззвание это Чернышевский передал для напечатания приезжавшему из Москвы в С.-Петербург бывшему студенту московского университета дворянину Иосифу Сороко, которому при том дал 200 руб. сер. на напечатание того воззвания.

3. Что Чернышевский принимал участие в составлении написанного отставным подполковником Шелгуновым воззвания „Русским солдатам от их доброжелателей поклон“.

4. Что весною 1861 г., в Знаменской гостинице, вы писали под диктовку Чернышевского воззвание к раскольникам, под заглавием **„Поклон старообрядцам“**, взяли с собою в Москву и потом сожгли.

К улике Чернышевского в написании им воззвания к барским крестьянам имелась у вас отобранная капитаном корпуса жандармов Чулковым записка, писанная карандашом, по показанию вашему, Чернышевским, следующего содержания:

„В. Д. вместо „срочно обяз.“ (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временно обяз.“, как это называется в Положении. Ваш Ч.“

Спрошенный по показанию вашему титулярный советник Чернышевский, отрицая сделанные вами на него обвинения, объяснил, что воззвания к барским крестьянам не писал, студенту Сороко для напечатания не передавал и самого Сороко не знает, упомянутую же записку, писанную карандашом, не признает своею. Показание это Чернышевский подтвердил и на очной ставке с вами, равным образом и дворянин Сороко на допросе в комиссии не подтвердил вашего показания о получении им от Чернышевского воззвания к барским крестьянам и денег 200 руб. на напечатание оного, в чем Сороко утвердился и на очной ставке с вами.

Вследствие сего комиссия предлагает вам объяснить: Что можете вы представить к улике Чернышевского в возводимых на него вами обвинений?

(Ответ)

Фактических доказательств к улике г. Чернышевского,—кроме тех, которые **уже имеются в виду комиссиею, — дать я ника-ких не могу;** но прошу доставить мне еще раз **очную ставку** с г. Чернышевским, — ибо может быть мне удастся подействовать на него силою **убеждения.**

ОЧНАЯ СТАВКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО С В. КОСТОМАРОВЫМ И П. ЯКОВЛЕВЫМ

Очная ставка Костомарова с Н. Г. Чернышевским

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, была дана очная ставка рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с отставным титулярным советником Чернышевским, на которой:

Я, Костомаров, уличал г. Чернышевского в том, что: в бытность мою у г. Чернышевского, он читал мне сочиненное им воззвание к барским крестьянам, которое я впоследствии в несколько измененном виде, по просьбе и поручению Чернышевского, стал печатать, — что г. Чернышевский, посетив меня весной 1861 в Москве, видел у меня набор этого воззвания, и дал денег на издержки по типографии; что посетив меня летом того же года, Чернышевский, ходя со мной по саду, уговаривал меня продолжать прерванное мной печатание его брошюры; что в бытность мою в Петербурге Чернышевский, наняв в Знаменской гостинице номер, диктовал мне воззвание к раскольникам с тем, чтобы потом я напечатал и его; что во время второго посещения меня в Москве (весной), не застав меня дома, Чернышевский оставил мне предъявленную мне в комиссии записку. — При том, — хотя г. Чернышевский и уверяет, что свидание наше летом происходило в беседке, но я этого не помню; напротив, уверен, что мы говорили с Чернышевским, гуляя по саду.

Рядовой Костомаров. 1863 г. 12 апреля.

Я, Чернышевский, остаюсь при своем прежнем показании: когда г. Костомаров был у меня, я не читал ему никакого воззвания к барским крестьянам; печатать такое воззвание не просил я г. Костомарова; бывши в Москве весной 1861 г. у г. Костомарова, я не видел набора, денег на издержки по типографии я не давал ему; летом (в августе), бывши у него, не уговаривал его печатать этого воззвания; в Знаменской гостинице с г. Костомаровым не был и воззвания к раскольникам не диктовал ему. В бытность мою в Москве весной я не оставлял записки г. Костомарову. При свидании летом мы сидели с г. Костомаровым в беседке, а по саду с ним не гулял.

12 апреля 1863 г. Н. Чернышевский.

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Заявление Н. Г. Чернышевского

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, во время очной ставки, дан-

ной рядовому из дворян Всеволоду Костомарову с отставным титулярным советником Николаем Чернышевским, сей последний при уликах его Костомаровым обратился к присутствующим и сказал: „Сколько бы меня не держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю". О сем комиссиею положено составить сей акт.

Подписи.

Предъявление Н. Г. Чернышевского Яковлеву

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в СПБурге Следственной комиссии, был предъявлен московскому мещанину Петру Яковлеву отставной титулярный советник Николай Чернышевский, причем Яковлеву предложен вопрос: то ли это лицо, которое он видел в Москве в квартире Всеволода Костомарова 3 раза и которое называет Чернышевским, разговаривавшим с Костомаровым о воззвании к барским крестьянам, на что Яковлев объяснил: что показанный мне титулярный советник Николай Гаврилович Чернышевский есть тот самый, которого я видел в Москве три раза в квартире Всеволода Костомарова в 1861 году первые два раза в феврале или марте месяцах, а последний в июле месяце того же года и действительно есть то самое лицо, которое в разговоре с Костомаровым в саду последнего произносил слова: „Барским крестьянам поклон от их доброжелателей. Вы ждали воли? Ну вот вам и воля!"

Очная ставка Н. Г. Чернышевского с Яковлевым

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, была дана очная ставка московскому мещанину Петру Яковлеву с отставным титулярным советником Чернышевским, на которой:

Я, мещанин Петр Васильев Яковлев, на очной ставке с г. Чернышевским утверждал прежде данные мной показания и уличал г. Чернышевского в том, что он ходил по саду с г. Костомаровым об руку, а не сидел в беседке (как упорно утверждал г. Чернышевский) и говорил те слова, о которых упомянуто мной в прежнем показании и что г. Чернышевский был в Москве не два раза, как отзывается он, а три. В дополнение к прежнему моему показанию присовокупляю, что в первое посещение г. Чернышевским Костомарова они сидели в кабинете последнего и г. Чернышевский разговаривал что-то с жаром, тихо и повидимому осторожно, разговора же их в то время я слышать не мог, потому, что входил в комнату один раз, подавая им чай или закуску, чего хорошенько припомнить не могу, во второй раз г. Чернышевский не застал Костомарова дома, а оставил ему запечатанную записку, написанную им в комнате Костомарова на бумаге, лежащей на столе и кажется сторона одной была написана (ч...)

Московский мещанин Петр Васильев Яковлев.

В бытность мою в Москве (приезжал в августе 1861, а не в июне, как я теперь соображаю) я заходил к г. Костомарову на несколько времени и просидел это время у него в беседке.

Я был в Москве в 1861 году до конца августа только два раза, а не три, — никакой записки г. Костомарову в бытность мою в Москве я не оставлял, потому что заставал его дома, когда заходил.

12 апр. 1863 г. Отст. титул. сов. Н. Чернышевский.

Засим я положительно отвергаю слова г. Яковлева, будто я говорил в августе или когда-нибудь г. Костомарову, чтобы он напечатал тайно что-нибудь. 12 апр. 1863. Н. Чернышевский.

Очную ставку давали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Допрос Н. Г. Чернышевского

1863 года апреля 12 дня, в высочайше учрежденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, отставной титулярный советник Чернышевский, на предложенный ему вопрос, показал:

Вопрос. В данном вами на вопросы комиссии 16 марта сего года показании вы объяснили, что воззвания к барским крестьянам не писали, с Всеволодом Костомаровым об оном не говорили и никакой статьи о крестьянском деле ему не передавали, равно никогда не имели с Костомаровым никаких сношений по тайному печатанию и ничего ему не поручали печатать. Между тем, в комиссии имеется сведение, что вы, в бытность в Москве, три раза посещали Костомарова: первый раз в феврале или марте м-цах 1861 г., второй раз вскоре после того и третий в июле того же 1861 г., что в последний раз вы ходили с Костомаровым под руку в саду и в разговоре с ним упоминали о воззвании к барским крестьянам и усиленно упрашивали Костомарова поскорее напечатать эту статью.

Комиссия требует от вас подробного и чистосердечного объяснения всех обстоятельств, относящихся до написания вами воззвания к барским крестьянам, и сношений ваших по сему предмету с Всеволодом Костомаровым и другими лицами?

Вопрос предлагали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Ответ. Повторяю, что никогда не имел сношений с г. В. Д. Костомаровым по тайному печатанию. У него на квартире я действительно был в Москве в обе свои бытности в Москве, — весной и в июле 1861. Когда я заходил к г. Костомарову в июле, я нашел его по указанию кого-то из его домашних действительно в беседке в саду. Ни при этом, ни в другие бытности мои у г. Костомарова я не говорил с ним о том, чтобы он напечатал тайным образом какую бы то ни было статью. Я бывал у него только по журнальным отношениям, чтобы отдавать ему деньги за стихи.

12 апреля 1863. Отст. титул. сов. Н. Чернышевский.

И никакого разговора о тайном печатании у меня с ним не происходило ни в то время, о котором говорит он в этом

вопросе, ни в другое; и никак не мог я просить его о напечатании статьи, которой не знал, не только не давал ему.

12 апреля 1863 г. Н. Чернышевский.

При даче ответа присутствовали высочайше учрежденной Следственной комиссии члены: 4 подписи.

Допросы полковника Шелгунова

На предложенные комиссией 19 апреля 1863 года полковнику Шелгунову вопросы—он отвечал:

На вопрос 2-й: Комиссии известно, что вы знакомы с надворным советником Николаем Серно-Соловьевичем, братом его Александром, отставным титулярным советником Николаем Чернышевским, бывшим губернским секретарем, ныне государственным преступником, сосланным в каторжную работу, Михайловым и разжалованным в рядовые Всеволодом Костомаровым. Когда и по какому случаю с каждым из них познакомились и какие были ваши к ним отношения? Кого кроме их еще имеете знакомых в Петербурге и вне оного? Отвечал: Всех упомянутых здесь лиц я знаю: Николая Серно-Соловьевича—как домохозяина, у которого я квартировал, и как содержателя книжного магазина, Александра Серно-Соловьевича, как издателя на русском языке перевода Всемирной истории Шлоссера, Николая Чернышевского—как редактора „Современника“, в котором я помещал свои статьи, Михайлова знал очень давно и он жил у меня на квартире; наконец Всеволода Костомарова видел раза два у Михайлова; мои отношения к этим лицам были такого рода: к Николаю Серно-Соловьевичу, как к домохозяину, с ним я познакомился при переезде к нему в дом в январе 1862 года, Александра Серно-Соловьевича видел раз, зимой 1861/62 года у г. Михайлова и потом по переезде в дом его брата получил от него работу—перевод истории Шлоссера. С Чернышевским имел отношение исключительно по поводу статей моих, помещавшихся в „Современнике“. Знал г. Чернышевского, как литератора с замечательным талантом, но знакомства с ним не имел, посещая его исключительно по своим литературным делам. По каковому случаю, как познакомился с Михайловым—не припомню, ибо знакомство наше давнее; но он жил у меня на квартире лет 6 или 7. Всеволода Костомарова я видел у Михайлова в конце 1860 или в начале 1861 года раза два, но знаком с ним не был. Знакомых в С.-Петербурге и вне оного, кроме лиц, с которыми я находился в служебных отношениях, не имел. На вопрос 7-й: В комиссии имеется сведение, что в 1861 г. вы при Всеволоде Костомарове написали возмутительное воззвание „Русским солдатам от их доброжелателей поклон“ и передали рукопись сего воззвания Всеволоду Костомарову при Михайлове и что в составлении означенного воззвания принимали участие Чернышевский, Костомаров и Михайлов, из коих последним сделаны в том воззвании поправки. Комис-

сия, предъявляя вам это воззвание, находящееся в следственном деле, произведенном в 1861 г. в Москве, предлагает вам объяснить чистосердечно: когда, где и с какою целью вы его написали, и для чего передали Костомарову и в чем заключалось участие в составлении сего воззвания Чернышевского, Костомарова и Михайлова? Отвечал: Предъявленное мне комиссией воззвание мне неизвестно и рукопись его я никогда не передавал Всеволоду Костомарову и какое участие в составлении его принимали Чернышевский, Костомаров и Михайлов мне неизвестно. На вопрос 8-й: Комиссии также известно, что вы принимали участие в написании отставным титулярным советником Чернышевским воззвания „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", что воззвание это по получении от Чернышевского читалось Костомаровым и Михайловым в квартире последнего и что вы находились при этом чтении. Объясните с полною откровенностью все обстоятельства, относящиеся до написания Чернышевским сего воззвания и до участия вашего в его действиях, по составлению воззвания? Отвечал: Участия в составлении такого воззвания не принимал и читалось ли оно в квартире Михайлова Костомаровым не знаю, потому, что при этом не был. Что же касается до обстоятельств его написания, т. е. кем, когда и по какому случаю оно написано—я этого не знаю. На вопрос 9-й: Из дела видно, что вы предлагали Костомарову сходить к солдатам в казармы, поговорить с ними и прочесть им написанное вами воззвание, чтобы знать, какое оно произведет на них впечатление, что сами вы пошли в одни казармы, Костомарова послали в другие, сговорились сойтись в харчевне, что после того Костомаров пришел в ту харчевню и застал там вас с солдатами; по выходе из харчевни вы сообщили Костомарову, что солдаты слушали вас с восторженным участием и сделали вам много дельных замечаний; причем вы смеялись над трусостью Костомарова и неспособностью его к политическому агитаторству. Комиссия предлагает вам дать подробное по сему предмету объяснение. Отвечал: Все изложенное в настоящем вопросе я признаю совершенно неверным на меня показанием, ибо ничего даже подобного я не делал и не мог делать, по совершенному незнанию русского солдата; с Костомаровым я даже и не имел случая сталкиваться, ибо служил постоянно по специальной и учебной лесной части.

На предложенный комиссиею 20 апреля 1863 г. полковнику Шелгунову вопрос он отвечал:

На вопрос: Во 2-м пункте ответов ваших, на предложенные комиссиею 19 апреля вопросы, вы показали, что отставного титулярного советника Чернышевского вы знали, как литератора, но знакомства с ним не имели. Между тем в комиссии имеется письмо жены вашей к отставному капитану Авдееву, в котором она между прочим писала „с отъездом Михайлова мы никого не видим из литературного круга, кроме Чернышевского". Так как из сего письма видно, что вы и жена ваша

были знакомы с Чернышевским, то комиссия предлагает вам объяснить: почему вы отрицаете знакомство ваше с Чернышевским и какие были ваши к нему отношения? Отвечал: Знакомства, или вернее говоря, того, что я знал г. Чернышевского, я не отрицал; но только делал различие между выражениями: „знал“ и „был знаком“, понимая под последним, как говорят „водил хлеб-соль“. Такого рода знакомства я с Чернышевским не имел и до конца 1862 г., когда Михайлов был предан суду, с Чернышевским почти не виделся. С этого же времени я видел Чернышевского чаще, потому что, принужденный оставить службу, я обратился к литературным занятиям и стал помещать статьи в „Современнике“, который редактировал Чернышевский.

На очной ставке, данной Костомарову с Шелгуновым, Костомаров показал: Я уличал г. Шелгунова в том, что он при мне писал воззвание свое к солдатам; что переодетый ходил читать свое воззвание к солдатам, во время чего я встретил его с двумя или тремя человеками в харчевне. Г. Шелгунов, называя мои показания голословными, опровергает их тем, что я будто бы помня хорошо разные мелочные подробности, не помню таких крупных фактов, как название казарм или имена солдат, но я не непомню название казарм и имен солдат, а не знал их вовсе, так как г. Шелгунов не сообщал мне ни того, ни другого. То же, что г. Шелгунов считает повидимому мелочью, как напр., разговор наш по поводу составления манифеста к солдатам, я не мог забыть, так как сам принимал в этом деле самое живое участие. На сии улики Шелгунов отвечал: Воззвания „к солдатам“ я никогда не писал, переодетый к солдатам читать его не ходил и г. Костомаров никогда не встречал меня, с двумя или тремя солдатами, в харчевне. Показывая голословно все это, г. Костомаров не указывает на казармы, или солдат, с которыми я говорил, или куда я ходил, харчевню, в которой он меня видел. Помня так хорошо разные мелочные подробности, он эти более крупные не помнит. Остаюсь при тех показаниях, которые я имел уже честь сделать комиссии.

Постановление комиссии

Комиссия, рассмотрев показания, отобранные от Костомарова, Сороко и Яковлева, равно очные ставки Костомарову с Сороко и с отставным титулярным советником Чернышевским и последнему с мещанином Яковлевым—положила: 1. Показания и очные ставки приобщить к делу и иметь в виду при дальнейшем производстве оного. 2. Дворянина Иосифа Сороко по взятии от него подписки хранить в тайне обстоятельства, по коим он был привлечен к допросу, освободить из-под ареста и, возвратив отобранные у него бумаги, отправить в имение Схолин, Свенцянского уезда, Виленской губернии, откуда он был доставлен,—равно отправить арестованным в Москов-

ский смирительный рабочий дом мещанина Яковлева, заключенного туда по приговору общества. Для удостоверения в подлинности записки, отобранной у рядового из дворян Всеволода Костомарова, писанной карандашом, по показанию Костомарова, отставным титулярным советником Чернышевским, следующего содержания: „В. Д. Вместо „срочно обяз.“ (как это по непростительной оплошности постановлено у меня) наберите везде „временно обяз.“, как это называется в Положении“, положила: так как Чернышевский не признал записки своею, объяснив, что почерк, коим она написана, красивее и ровнее его почерка, то на основании 205 ст. 2 кн. XV том. Св. зак. уголов., сделать через секретарей сличение почерка записки с имеющимися в деле о Чернышевском бумагами, им писанными. О явке же в комиссию для сличения почерка девяти секретарей правительствующего сената просить управляющего министерством юстиции. При постановлении сего определения член комиссии, обер-прокурор 1-го департамента сената действительный статский советник Гедда объявил, что сличение почерка, за силою 326 ст. 2 кн. XV том. Св. зак. уголов. должно зависеть от назначения суда и что по сему он нашел более соответственным распоряжение в отношении сличения почерка упомянутой записки предоставить суду.

Уведомление управляющего министерством юстиции

Управляющий министерством юстиции уведомил князя Голицына, что секретари правительствующего сената рассматривают и сличают почерки только в присутствии сената по делам, в нем производящимся, и при том не иначе, как вследствие определения правительствующего сената, а по сему не представляется возможности командировать их для сличения почерков вне присутствия сената.

Акт сличения почерка руки Чернышевского

1863 года апреля 24 дня, в высочайше утвержденной в С.-Петербурге Следственной комиссии, командированные секретари: со стороны губернского правления: Карцев и Степановский,со стороны уголовной палаты Филимонов и 2-го департамента гражданской палаты Беляев, производили сличение почерка записки, писанной карандашом, по показанию Костомарова, отставным титулярным советником Чернышевским, с другими бумагами, им писанными и заключащимися в деле на 58 листе и в ответах Чернышевского 30 октября 1862 года, и нашли, что почерк записки имеет некоторое сходство с почерком Чернышевского, коим писаны им означенные бумаги.

Письмо Миллера и других о Яковлеве

16 апреля 1863 г. Н. А. Некрасов представил Потапову, а последний препроводил в Следственную комиссию следующее письмо, полученное редакцией „Современника“:

* * *

Милостивый государь. Недели две тому назад с нами произошел случай, о котором считаем долгом довести до Вашего сведения.

Мы находимся арестованными в смирительном доме с конца февраля; на страстной неделе к нам явился какой-то арестант, мещанин Петр Васильев Яковлев (как он сказал нам) и начал речь с того, что он содержится тоже за политическое преступление (как было заметно, он считал нас арестованными за университетские беспорядки 61 года), и потому решился обратиться к нам за советом, в чем должен был состоять этот совет, Вы увидите из нашего с ним разговора, который мы постараемся передать Вам возможно точнее.

— Я, господа, ездил по очень важному делу в Петербург, к начальнику III отделения, но на Тверской станции подвыпил немного и забуянил; тверская полиция представила меня обратно в Москву, к обер-полицмейстеру, обер-полицмейстер передал меня в распоряжение мещанского общества, которое и послало меня за дурное поведение в рабочий дом; оно вот уже второй раз присылает меня сюда, все за пьянство...

— По какому же делу вы ездили к г. Потапову?

— А вот видите ли: был я знаком с Всеволодом Дмитриевичем Костомаровым. — На-днях получаю записку без подписи, в которой меня приглашают явиться в гостиницу „Венеция“ в 18 номер. Явившись туда, я был крайне изумлен, заставши там Костомарова в солдатской шинели и в сопровождении жандармского офицера; оказалось, что записка была от Костомарова, который сделал мне следующее предложение: „вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу, — мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ее наставлениям, то будешь хорошо вознагражден“.

— А Костом[аров] не говорил вам, что именно вам придется делать?

— Говорил, и говорил, что я должен дать показание в III отделении в том, будто я слышал, как Ник. Гавр. Чернышевский, летом 61 года, в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон, — вы ждали воли, вот вам и воля, — благодарите царя“. Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтоб я дал такое показание, но скажите мне, господа: если я действительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-нибудь Потапов, может ли он, например, велеть освободить меня из рабочего дома?

— Ну это вряд ли, — мы думаем, что за ложное показание Потапов вас будет скорее преследовать, потому что по закону ложный свидетель подвергается строгому наказанию.

— Я уже подал Потапову отсюда прошение, и меня должны скоро потребовать в Петербург; сам не знаю, что делать!..

Мы сказали, что лучше всего будет, когда он скажет правду, и разговор на этом покончился. — Мы не поверили Яковлеву, зная хорошо, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому что судился по одному с нами делу и, по приговору сената, конфирмованному государем и объявленному нам 2-го генваря этого года, должен подвергнуться 6-месячному заключению в крепости и потом уже ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля мы удивились, увидя на дворе Яковлева в сопровождении двух жандармов; его повезли, как нам сказали, в Петербург. — Тогда мы вспомнили наш прежний разговор с ним и невольно пришли к таким предположениям: 1) что Чернышевский действительно обвиняется в каком-нибудь политич. преступлении и 2) что Костомаров и его семейство хотят с помощью Яковлева подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда. Все это заставляет нас обратиться к вам, милостивый государь, как человеку, вероятно, близкому к г. Чернышевскому (по редакции „Современника"), уполномачивая Вас, в случае действительности наших подозрений, представить это письмо, куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда.

Все это мы готовы, в случае надобности, подтвердить перед судом присягою. *Иван Гольц-Миллер, Петр Петровский-Ильенко, Александр Новиков, Яков Сулин, Леонид Яценко.* Москва, 13 апреля 1863 г.

Постановление комиссии о Яковлеве

Комиссия вследствие изъясненного поступка мещанина Яковлева и имея в виду безнравственное его поведение, заключила: испросить чрез г-на председателя высочайшее повеление на отправление Яковлева, не ожидая окончания 4-х месячного срока заключения его в рабочем доме, в Архангельскую губернию под надзор полиции. Каковое высочайшее повеление испрошено и сообщено к исполнению министру внутренних дел 24 апреля за № 692.

Записка о Н. Г. Чернышевском, доложенная комиссии

Об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском. Доложено комиссии 1 мая 1863 года.

Титулярный советник **Чернышевский** арестован по распоряжению III отделения собственной его императорского величества канцелярии и 7 июля 1862 г., по высочайшему повелению, отправлен в крепость, для содержания в Алексеевском равелине.

Поводом к арестованию Чернышевского послужили привезенные из Лондона в Петербург отставным коллежским секретарем Ветошниковым письма от Герцена, Бакунина и Кельсиева к разным лицам, в том числе к отставному надворному советнику Серно-Соловьевичу.

Письма эти обнаружили сношения лондонской русской пропаганды с некоторыми лицами, проживающими в России, и намерение распространить в империи сочинения, которые предполагают издавать в Лондоне, с явною целию нарушить общественное спокойствие.

В письме к Серно-Соловьевичу Герцен писал: „Мы готовы издавать „Современник" здесь с Чернышевским или в Женеве —печатаем предложение об этом.—Как вы думаете?" (Письмо это находится при деле о сношениях разных лиц с лондонскими пропагандистами, отправленном к управляющему министерством юстиции 15 января 1863 г., №516).

При обыске у Чернышевского найдено письмо без подписи и без означения, к кому оно написано, с выскобленными в нем многими словами.

Письмо это, судя по содержанию, писано Герценом. В нем, между прочим, говорится: „Истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что Черн. поручил тому господину, который в .... не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем **он человек с влиянием на юношество**; на что ж это похоже? Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрясите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в „Совр." статью прямо против нас; т. е. что напрасно, мол, говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало—вздор, что Европа не умирает, потому что одному человеку 60 лет, но зато другому 20, и что те, кто это говорят—дураки и лжецы, с намеком, что речь идет о нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще действительно с преднамеренной ложью! Плохо дело! Горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона! Какая тут общественная деятельность, какое общее дело! Тут идет продажа правды и доблести из-за личных страстишек и видов; продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. Вдобавок в этой статье сказано, что растение умирает оттого, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться! Хорош скептицизм! Нет! поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело, нельзя. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Но будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а помехой делу, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружеским, но военным кулаком по такой дребедени".

Далее в письме говорится: о требовании со стороны издания, о тройной форме присяги, о подписке на сбор денег, об

учреждении контор на трех торговых пунктах, как то: Нижегородской ярмарке, которой либо из приднепровских и в Ирбите или в ином урало-сибирском пункте, о проекте местных банков, системе рекрутства и в заключении выражено: „мы никогда бы не догадались, что Чернышевский à la барон Видиль, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником".

Письмо это вместе с другими, оказавшимися у Чернышевского при обыске, бумагами передано в комиссию. **Кроме сего, III отделение** сообщило об нем полученные частным и секретным путем следуюшие сведения:

Будучи автором многих журнальных статей политического и экономического содержания, в которых постоянно проводились свободные идеи, Чернышевский приобрел себе известность литератора-публициста и пользовался авторитетом между молодым поколением, которое он с своей стороны старался возвысить в глазах общества, как, по его мнению, деятелей. Он составил себе отдельный круг знакомства, по преимуществу из молодых людей и притом недовольных правительством—лжепрогрессистов и лиц, сделавшихся государственными преступниками; собрания у него постоянно отличались какою-то таинственностию и большею частью происходили в ночное время.— Доступ к нему посторонних был чрезвычайно затруднителен. Корреспонденцию он имел огромную и вел ее не только в России, но и за границею. Внимание правительства обращено на Чернышевского после беспорядков, происходивших в с.-петербургском университете осенью 1861 г., когда получено было сведение, что появившаяся между студентами прокламация, возбуждавшая молодежь к сопротивлению властям, была составлена Чернышевским. С тех пор за ним учреждено было постоянное наблюдение. Посещавших Чернышевского в продолжении его деятельной во имя прогресса жизни лиц было чрезвычайно много, по преимуществу—литераторы, поповичи, студенты и молодые офицеры артиллерийского и инженерного ведомств.

Покойный Добролюбов и Михайлов были его друзьями, полковники Лавров и Обручев и подполковник Шелгунов—пользовались особым расположением его. Вообще Чернышевского можно считать главою партии литераторов, партии, которая старалась действовать на массу народа силою убеждения, в печати распространяемого.

Во время содержания Чернышевского под арестом, в редакцию издававшегося им журнала „Современник" прислана из-за границы статья под заглавием „Иосиф Мадзини" (продолжение), которая оставлена при деле комиссии. Автор этой статьи некто Мечников (гарибальдиец) приложил следующую к статье записку: „Посылаю в редакцию вторую статью о Мадзини. Не зная хорошенько участи, которая ее ждет, я сам с нетерпением жду ответа на последнее мое письмо к г-ну Чернышевскому". В конце статьи автор, говоря, что ею оканчивается первый период деятельности молодой Италии, обещает рассказать впоследствии, что ждало Мадзини в Лондоне и какова была его жизнь вне Италии.

Тот же Мечников прислал Чернышевскому письмо из Сьены от 12 июля, в котором извещал, что у него отобрали редакцию журнала и он должен уехать из Италии, и предлагая для „Современника“ ряд статей об итальянском движении с 1848 г., говорит: „все эти статьи должны составить одно целое и связаны между собою одною общею мыслию: Италии нет спасения в буржуазно-христианском мире, она должна возродиться, соединиться с новым элементом славянским и начать с ним универсальный союз, который затрет все эти незаконные порождения христианского феодализма и мещанства, чахлые и неспособные к конкретной жизни, что вынуждены прятаться за абстрактную идею государственного величия и какого-то тоже абстрактного общества“. Далее в письме **Мечников выражает непременное желание поместить в „Современнике“ означенные статьи и благодарит Чернышевского за изъявленную готовность их напечатать.**

По рассмотрении в комиссии бумаг Чернышевского, ему предложены были вопросы относительно сношений с находящимися за границею русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду против нашего правительства, равно о содействии им к достижению преступных целей. На что Чернышевский отвечал, что ни с кем из распространяющих против правительства пропаганду и ни с кем из находящихся за границею русских изгнанников и их сообщников он не был в сношениях и ему неизвестно, находятся ли у них таковые сообщники в России, что всему литературному миру известно, что он находится в личной неприязни с Герценом и Огаревым по делу последнего с г-жею Панаевою, из-за имения, которым управляла Панаева по доверенности Огарева, что неприязнь эта давнишняя и что по делу сему он не имел никаких сношений ни с Огаревым, ни с Герценом, равно ему совершенно неизвестно, на каком основании Герцену вздумалось, что он, Чернышевский, может согласиться издавать с ним журнал, ибо никаких сношений с ним не имел. Относительно Мечникова Чернышевский объяснил, что по случаю помещения статей его в „Современнике“ он писал ему в Италию раза два или три, извещая о получении статей или о высылке денег. Что же касается вышеприведенного письма с выскобленными словами, Чернышевский показал, что письмо это он получил по городской почте, весною или в начале лета 1862 г., но кем оно прислано и кому писано не знает, по тону же речи и языку заключает, что оно писано Огаревым и Герценом, равно неизвестно ему, кем, для чего и какие выскоблены в письме слова, полагает, впрочем, что слова эти означали фамилии и выскоблены вероятно для того, чтобы он не знал этих фамилий. Лицо, которому он поручал передать Герцену, чтобы тот не завлекал молодежь в политические дела, — есть М. И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 г.; слова в письме, что он, Чернышевский, имеет влияние на юношество, означают, что он как журналист пользовался уважением в публике. „Знамя“, о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное земле-

владение, которое он постоянно защищал, выражая впрочем сомнение — удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению, все это объясняется в статье его в „Современнике“, которою Герцен остался недоволен. Выражение: „ехали вместе“ относится к тому, что Чернышевский подобно Герцену защищал обычное наше общинное землевладение. Поручение Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела он основывал на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию; — он поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего, ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастию самих агитаторов.

По поводу сего последнего обстоятельства комиссия, заключая, что Чернышевский знал о намерении Михайлова иметь в Лондоне с Герценом сношение и сближение, последствием которых и было, по возвращении Михайлова в Россию, распространение возмутительного воззвания „К молодому поколению“, требовала от Чернышевского чистосердечного показания всего, что ему известно о действиях как Михайлова, так и его собственных. На это Чернышевский объяснил, что Михайлов, отправляясь за границу, упомянул ему, что если он поедет в Англию, то может быть увидится с Герценом, больше ему ничего не было известно; о намерении Михайлова издавать что-нибудь тайное и о сообщниках его он не знал и сам никакого участия ни в каких замыслах Михайлова **не принимал.**

Независимо от вышеизложенных обстоятельств, **при производстве комиссиею дела о Чернышевском имелось в виду, что состоявшему под судом в правительствующем сенате в Москве, за печатание и распространение возмутительных сочинений, отставному корнету Всеволоду Костомарову были известны преступные действия Чернышевского и других лиц, направленные к нарушению общественного порядка. Вследствие сего, дело о Чернышевском было приостановлено, впредь до получения от Костомарова положительных указаний, о чем комиссиею было доведено до высочайшего государя императора сведения.**

По высочайше утвержденному мнению Государственного совета, Костомаров осужден к 6-ти месячному содержанию в крепости и затем к определению на службу рядовым в войска Кавказской армии.

До истечения сего срока, Костомаров, по высочайшему повелению, был отправлен к месту служения, в сопровождении жандармского обер-офицера. На пути следования, в г. Туле, от него отобрано письмо к некоему Соколову, в котором Костомаров, сообщая о последовавшем над ним приговоре, изъяснил, что отставной титулярный советник Чернышевский написал воззвание: **„Барским крестьянам от их доброжелателей поклон“,** (воззвание это находится в следственном деле „Об издании и распространении злоумышленных сочинений“, на 16 — 21 лист., доставленном от управляющего министерством юстиции), что воззвание это Чернышевский передал для напечатания приезжав-

шему из Москвы в С.-Петербург бывшему студенту московского университета дворянину Иосифу Сороко, которому дал 200 руб. на напечатание этого воззвания, что Чернышевский принимал участие в составлении **написанного отставным полковником Шелгуновым воззвания „Русским солдатам от их доброжелателей поклон“** (воззвание это находится в том же деле на 22 и 23 листах), что весною 1861 г. в Знаменской гостинице **Костомаров писал под диктовку Чернышевского воззвание к раскольникам, под заглавием „Поклон старообрядцам“**, которое Костомаров взял с собою в Москву и потом сжег. Вместе с тем отобраны от Костомарова письма к нему от Чернышевского, Шелгунова и жены его, Михайлова и Плещеева и записка, писанная карандашом, следующего содержания: **„В. Д. Вместо „срочно обяз. (как это по непростительной оплошности поставлено у меня), наберите везде „временно обяз.“, как это называется в Положении.“**

После сего Костомаров, по распоряжению шефа жандармов, возвращен в С.-Петербург и оставлен под арестом при III отделении собственной его величества канцелярии. Письмо же его к Соколову, равно и другие отобранные у него письма, и упомянутая записка переданы в комиссию.

При допросе в комиссии, Костомаров подтвердил все написанное им в письме к Соколову и объяснил, что означенная записка писана Чернышевским в то время, когда он приезжал в Москву и не застал его дома, других же доказательств к улике Чернышевского не имеет.

Спрошенный комиссиею титулярный советник Чернышевский дал отрицательное показание против всех взведенных на него Костомаровым обвинений, объяснив, что сведения о сем неосновательны, предъявленную же ему вышеупомянутую писанную карандашом записку не признал своею. Отрицательство свое Чернышевский утвердил и на очных ставках с Костомаровым, который также остался при своем показании. Доставленный из Свенцянского уезда, Виленской губернии, дворянин Иосиф Сороко объяснил, что он никогда не получал от Чернышевского воззвания к барским крестьянам, равно и денег 200 руб. на напечатание оного, и показание это Сороко утвердил на очной ставке с Костомаровым, который также остался при своем показании.

Производившие сличение почерка, коим писана упомянутая записка, секретари здешних присутственных мест нашли, что почерк записки имеет некоторое сходство с почерком Чернышевского, коим писаны им имеющиеся в деле бумаги.

Кроме сего, проживавший в Москве тамошний мещанин Петр Васильев Яковлев прислал управляющему III отделением собственной его императорского величества канцелярии донос о том, что в июле 1861 г. Чернышевский приезжал в Москву, был в доме Костомарова, с которым ходил в саду и усиленно просил поскорее напечатать статью, произнося в разговоре слова

„Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла".

Для получения от Яковлева более подробных сведений об известных ему отношениях Чернышевского к Костомарову собраны были об Яковлеве сведения и сам он доставлен в Петербург.

Из переписки об Яковлеве видно, что он, по приговору Московского мещанского общества, за пьянство и буйство на Тверской станции, заключен в московский смирительный и рабочий дом на 4 месяца, что прежде того он также не одобрялся в поведении и что при задержании Яковлева на Тверской станции у него оказались два письма: одно от капитана Чулкова к управляющему III отделением собственной его величества канцелярии и другое от Всеволода Костомарова к его матери из Москвы, от 1 марта сего года.

Капитан Чулков рекомендует Яковлева, который очень может быть полезен во многих случаях, и говорит, что Яковлев оказал уже Чулкову услугу, почему он просит принять Яковлева под милостивое покровительство.

Всеволод Костомаров пишет матери, что Яковлев оказал ему весьма важную услугу и сообразно этому будет, конечно, принят ею, что он подарил Яковлеву свое пальто, которое просит отдать.

На допросе в комиссии мещанин Яковлев, подтверждая донос свой, лобавил, что он занимался у Костомарова перепискою бумаг, и в 1861 году, по случаю летнего времени работая в беседке сада, слышал помещенный в доносе его разговор Чернышевского с Костомаровым.

Показание это Яковлев утвердил и на очной ставке с Чернышевским, который, отвергая улику Яковлева, объяснил, что он бывал у Костомарова в Москве по журнальным отношениям, чтобы отдать ему деньги за его стихи.

После того управляющий III отделением собственной его величества канцелярии препроводил в комиссию представленное редактором „Современника" Некрасовым полученное в редакции письмо из Москвы от содержащихся, по высочайше утвержденному мнению Государственного совета, в тамошнем смирительном доме пяти бывших студентов московского университета, состоявших под судом вместе с Костомаровым, по одному делу.

В письме этом заключается подробный рассказ мещанина Яковлева упомянутым студентам о том, как он отправился в С.-Петербург к управляющему III отделением, по очень важному делу, но на Тверской станции напился пьян и буянил, как Костомаров в Москве пригласил его к себе в гостинице, где он застал его с жандармским офицером, и предложил ему дать показание, будто бы он слышал произнесенные Чернышевским в Москве в разговоре с Костомаровым слова „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, вот вам и воля" и просил его о скорейшем напечатании воззвания к барским крестьянам, и как он, Яковлев, подал генерал-маиору Потапову прошение. В заключение приславшие письмо просили Некрасова

представить оное куда следует и выразили готовность подтвердить справедливость написанного присягою.

Комиссия, вследствие изъясненного поступка мещанина Яковлева и имея в виду безнравственное его поведение, заключила: испросить, чрез г-на председателя, высочайшее повеление на отправление Яковлева, не ожидая окончания 4-х месячного срока заключения его в рабочем доме, в Архангельскую губернию, под надзор полиции. Каковое высочайшее повеление испрошено и сообщено к исполнению министру внутренних дел 24 минувшего апреля за № 692.

Независимо от всех вышеизложенных обстоятельств, комиссия имела в виду, что издание, под редакциею Чернышевского, журнала „Современник", вследствие вредного направления его, было приостановлено на 8 месяцев.

Титулярный советник Чернышевский содержится в Алексеевском равелине с 7 июля 1862 года.

Делопроизводитель Переяславцев.

Рапорт капитана Чулкова

7 мая 1863 года. Секретно. Господину управляющему III отделением собственной е. и. в. канцелярии с.-петербургского жандармского дивизиона капитана Чулкова.

Рапорт

В дополнение рапорта моего 11 марта с. г., № 12, имею честь донести вашему превосходительству, что упомянутый в в оном московский мещанин Петр Яковлев, при разговоре с Всеволодом Костомаровым в Москве, высказывал намерение свое отправиться в Петербург. Почему я, заключив из отношений Костомарова к Яковлеву, что последнему известны действия Костомарова и всех тех лиц, которые имели к Костомарову какие-либо отношения, и что в сем случае Яковлев может быть полезен для каких-либо открытий, счел долгом доложить о Яковлеве вашему превосходительству и с этою целию дал ему письмо к вам, с которым он, как я слышал, был задержан на Тверской станции.—Выражения в письме: „**он** (Яковлев) **мне уже оказал услугу**"—означают то, что Яковлев в разговорах со мною в Москве высказывал полную готовность объяснить известные ему отношения к разным лицам и назвать этих лиц. Эту-то готовность со стороны Яковлева я и считал **важною для себя услугою**, которая, как я полагал, если будет доведена до сведения начальства и окажется справедливою, может послужить к важнейшим открытиям каких-либо преступных действий.

№ 16 Капитан Чулков
7 мая 1863 г.
С.-Петербург.

Пометка Потапова: Препроводить дополнительно к отношению № в выс. учр. Следств. ком.
Следственная комиссия 8 мая положила: Приняв к сведению, приобщить к делу об отст. тит. сов. Чернышевском.

Голицын—управляющему министерством юстиции

Управляющему министерством юстиции. Секретно.

№ 735

14 мая 1863 года.

Милостивый государь Дмитрий Николаевич,

По рассмотрении в состоящей под моим председательством Следственной комиссии оконченного производством дела о содержащемся под арестом в С.-Петербургской крепости отставном титулярном советнике Николае **Чернышевском** оказывается, что Чернышевский находился в сношениях с Герценом, которому он, как сам показал, поручал ездившему летом 1861 г. в Лондон бывшему губернскому секретарю, ныне сосланному в каторжную работу за государственное преступление, Михайлову сказать, чтобы Герцен не завлекал молодых людей в политические дела. В привезенном из Лондона коллежским секретарем Ветошниковым письме от Герцена к Николаю Серно-Соловьевичу, между прочим, сказано: „Мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве, печатаем предложение об этом“. Письмо это находится при деле о преданном суду правительствующего сената отставном надворном советнике Николае Серно-Соловьевиче и других лицах В бумагах Чернышевского найдено письмо без подписи и без означения к кому оно писано, с выскобленными в нем многими словами. Письмо это по объяснению Чернышевского писано Герценом и Огаревым и получено Чернышевским по городской почте от неизвестного лица. В нем говорится, что Чернышевский имеет влияние на юношество, что он держится того же знамени, как и Герцен, что он по выражению письма ехал дружески возле.

Кроме сего, по показанию разжалованного из отставных корнетов в рядовые Костомарова, Чернышевский в 1861 г. будто бы написал возмутительное воззвание к барским крестьянам, которое передал для напечатания приезжавшему из Москвы в С. Петербург бывшему студенту тамошнего университета дворянину Иосифу Сороко, дав ему 200 руб. на издержки по печатанию, что Чернышевский принимал участие в составлении написанного отставным полковником Шелгуновым воззвания к русским солдатам и что якобы весною 1861 г. Костомаров писал под диктовку Чернышевского воззвание к раскольникам.

Против всех сих обвинений Чернышевский не сделал сознания и не был уличен на очной ставке Костомаровым, равно и дворянин Сороко, отвергнув относящееся до него обстоятельство, остался при отрицательном своем показании на очной ставке с Костомаровым.

По всеподданнейшему моему докладу о вышеизложенных обстоятельствах, государь император высочайше повелеть соизволил—дело о Чернышевском, применяясь к 592 ст. 2 кн. XV т. Св. зак. уголов., препроводить к вашему превосходительству для представления в правительствующий сенат, с тем, чтобы

сенат предварительно постановил определение, должен ли Чернышевский во время суда по обстоятельствам произведенного о нем дела оставаться под арестом в крепости или может быть освобожден из оной на поручительство.

О таковом высочайшем повелении сообщая вашему превосходительству к исполнению и препровождая при сем подлинное о Чернышевском производство на... листах, с приложениями, имею честь присовокупить, что о доставлении прямо в правительствующий сенат документов о звании Чернышевского и повального обыска об образе жизни и поведении его до арестования, я отнесся вместе с сим к с.-петербургскому военному генерал-губернатору, и что упоминаемые в деле: отставной полковник Шелгунов, по высочайшему повелению, предан военному суду, и дело о нем препровождено к военному министру, а рядовой из дворян Всеволод Костомаров прикомандирован к с.-петербургскому баталиону внутренней стражи, впредь до минования в нем надобности по делам о Чернышевском и Шелгунове. Вместе с сим долгом считаю возвратить вашему превосходительству и присланные при отношении вашем от 5 февраля сего года № 2436 следственное дело о печатании и распространении запрещенных сочинений, два производства высочайше учрежденной Следственной комиссии о бывших студентах Сулине и Ященко, сенатское по сим делам производство в двух томах и производство обер-прокурорских дел, так как в делах сих заключаются сведения о воззваниях к барским крестьянам и солдатам.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Князь Александр Голицын.

Голицын—кн. Суворову

14 мая 1863 г. Секретно.

Милостивый государь князь Александр Аркадьевич. По высочайшему повелению, последовавшему вследствие всеподданнейшего моего доклада, содержащийся в с.-петербургской крепости отст. тит. сов. Николай Чернышевский предан суждению Правительствующего сената и дело о нем препровождено вместе с сим к управляющему министерством юстиции.—При рассмотрении сего дела правительствующему сенату необходимо будет иметь в виду документы о звании Чернышевского и повальный обыск об образе его жизни и поведении до арестования. Вследствие сего имею честь покорнейше просить вашу светлость приказать произвести повальный обыск о Чернышевском, проживавшем до арестования московской части 2 квартала в доме Есауловой по Большой московской улице, и доставить таковой вместе с документами о звании прямо от себя правительствующему сенату.—Примите, милостивый государь, уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Князь Александр Голицын.

Обер-полициймейстер—кн. А. А. Суворову

СПБ
23 мая 1863 г.
№ 1358
на предложение № 1022

Чиновник этот [т. е. Чернышевский] занимал квартиру в нижнем этаже, в которую вход был с проспекта, вел жизнь до такой степени уединенную, что не только соседи, но даже лица, проживающие в одном с ним доме, весьма редко его видели, а потому повального обыска произвести нет никакой возможности, тем более, что на основании XV т. Св. зак. разр. III о формальном следствии ст. 260, при опросе лиц по делам уголовным допрашиваются одни только достоверные люди, а людей, знающих что-либо понаслышке, спрашивать запрещается.

Голицын—Долгорукову

Секретно.

Главному начальнику III отделения собственной его императорского величества канцелярии.

№ 738
14 мая 1863 г.

Милостивый государь князь Василий Андреевич.

По всеподданнейшему моему докладу обстоятельств оконченных комиссиею производств об отставных: титулярном советнике **Николае Чернышевском** и полковнике **Николае Шелгунове**, государь император высочайше повелеть соизволил: первого из них предать суду правительствующего сената, а второго — военному суду. Содержащегося при III отделении собственной его императорского величества канцелярии рядового **Костомарова** прикомандировать до минования в нем надобности по упомянутым делам к с.-петербургскому баталиону внутренней стражи, поручив его ближайшему надзору командира сего баталиона.

О таковом высочайшем повелении, сообщив вместе с сим к исполнению г. г. управляющему министерством юстиции и военному министру, с препровождением к ним и подлинных о Чернышевском и Шелгунове производств,—я имею честь уведомить ваше сиятельство для зависящего с вашей, милостивый государь, стороны распоряжения в отношении рядового Костомарова.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Князь Александр Голицын.

Определение о Чернышевском

1863 года октября 31-го и 1864 года февраля 3 числа.

По указу его императорского величества правительствующий сенат слушал: записку из уголовного дела, производящегося

по высочайшему повелению о титулярном советнике НИКОЛАЕ ЧЕРНЫШЕВСКОМ, судимом за государственное преступление.

Реэстр бумагам, из коих составлена записка.

а. Повод к начатию дела.

Предложение г. управляющего министерством юстиции, л. 3.

б. Показания.

Вопросы комиссии и ответы на оные:
Чернышевского, л . 54 об. 63, 181 об., 204, 237 об.
Костомарова, л. 136 об., 175, 227.
Сороко, л. 213 об.
Яковлева, л. 123, 218 об.
Копии с вопросов комиссии и ответы на оные полковника Шелгунова, л. 252 об., 259 об.

в. Разные бумаги и сведения.

Отношения: Управляющего III отделением, л. 9, л. 213, 244.
Следств. комиссии.
Потапова в комиссию, л. 192, 209.
Отношение дома Московского градского общества, л. 219.
Заключения комиссии: л. 61 об., 203 об., 233 об., 240 об., 250 об.
Письма: Потапова к кн. Голицыну, л. 13 об.
Герцена, л. 21 об.
Анонимные, л. 9, 35.
Чернышевского к жене, л. 44 об.
Костомарова, л. 69 об.—127.
Миллера и др., 244 об.
Обыски: л. 16, 65, 131.
Перечень бумаг Чернышевского, л. 18.
Священническое увещание Чернышевского, л. 54 об.
Отрывок из дневника Чернышевского, л. 65, 66 об.
Уведомления: Тайн. сов. Муханова, л. 65 об.
Доктора Окель, л. 67 об.
Начальника III отделения, л. 68.
Управляющего мин-м юстиции, 243 об.
Записки: найденная у Костомарова за подписом бук. Ч., 131 об;
Яковлева, 210.
Очные ставки: 205 об, 226, 230 об., 235, 261 об.

Предъявление в комиссии мещанину Яковлеву Чернышевского, л. 234.
Акт сличения почерка руки Чернышевского, л. 281.
Рапорт капитана Чулкова в комиссию, л. 263.

Предложение г. управляющего министерством юстиции. (Сенатское производство, стр. 1) Г. управляющий министерством юстиции в предложении своем от 16 мая 1863 года за № 10291 правительствующему сенату изъяснил, что по рассмотре-

нии в состоящей под председательством статс-секретаря князя Голицына Следственной комиссии, оконченного производством дела, о содержащемся под арестом в С.-Петербургской крепости, отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, оказывается, что Чернышевский находился в сношениях с Герценом, которому он, как сам показал, поручил ездившему летом 1861 года в Лондон бывшему губернскому секретарю, ныне сосланному в каторжную работу за государственное преступление Михайлову, сказать, чтобы Герцен не завлекал молодых людей в политические дела. В привезенном из Лондона коллежским секретарем Ветошниковым письме от Герцена к Николаю Серно-Соловьевичу, между прочим, сказано: „мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве, — печатаем предложение об этом“. Письмо это находится при деле о преданном суду правительствующего сената отставном надворном советнике Николае Серно-Соловьевиче и других лицах. В бумагах Чернышевского найдено письмо, без подписи и без означения к кому оно писано, с выскобленными в нем многими словами. Письмо это по объяснению Чернышевского писано Герценом и Огаревым и получено Чернышевским по городской почте от неизвестного лица. — В нем говорится, что Чернышевский имеет влияние на юношество, что он держится того же знамени, как и Герцен, и что он, по выражению письма, ехал дружески, возле. — Кроме сего, по показанию разжалованного из отставных корнетов в рядовые Костомарова, Чернышевский в 1861 году, будто бы, написал возмутительное воззвание к барским крестьянам, которое передал для напечатания приезжавшему из Москвы в С.-Петербург бывшему студенту тамошнего университета дворянину Иосифу Сороко, дав ему 200 рублей на издержки по печатанию, что Чернышевский принимал участие в составлении написанного отставным полковником Шелгуновым воззвания к русским солдатам, и что, якобы, весною 1861 г. Костомаров писал, под диктовку Чернышевского, воззвание к раскольникам. Против всех сих обвинений Чернышевский не сделал сознания и не был уличен на очной ставке с Костомаровым, равно и дворянин Сороко, отвергнув относящиеся до него обстоятельства, остался при отрицательном своем показании на очной ставке с Костомаровым. По всеподданнейшему докладу вышеизложенных обстоятельств, государь император повелеть соизволил: дело о Чернышевском, применяясь к 592 ст. 2 кн. ХУ т. Св. зак. уг., препроводить к нему, управляющему министерством юстиции для представления в правительствующий сенат, с тем, чтобы сенат предварительно постановил определение, должен ли Чернышевский, во время суда, по обстоятельствам произведенного о нем дела, оставаться под арестом в крепости, или может быть освобожден из оной на поручительство. — О таковом высочайшем повелении, сообщенном статс-секретарем князем Голицыным в отношении за № 735, имеет честь предложить правительствующему сенату к надлежащему исполнению и препроводил при сем дело о Черны-

шевском, присовокупляя, что о доставлении прямо в сенат документов о звании Чернышевского и повального обыска об образе жизни и поведении его до арестования статс-секретарь князь Голицын отнесся к с.-петербургскому военному генерал-губернатору и что упоминаемые в деле: отставной полковник Шелгунов по высочайшему повелению предан военному суду и дело о нем препровождено к военному министру, а рядовой из дворян Всеволод Костомаров прикомандирован к С.-Петербургскому баталиону внутренней стражи, впредь до минования в нем надобности по делам о Чернышевском и Шелгунове.— Вместе с сим препроводил и следственное дело о печатании и распространении запрещенных сочинений, два производства, высочайше утвержденной Следственной комиссии, о бывших студентах Сулине и Ященко, сенатское по сим делам производство, в 2-х томах, и производство обер-прокурорских дел, так как в делах сих заключаются сведения о воззваниях к барским крестьянам и солдатам".

Обстоятельства дела

Отношение управляющего III отделением (л. 1, л. 2) Управляющий III отделением с. е. в. канцелярии препроводил в комиссию, высочайше учрежденную по делу о распространении возмутительных воззваний, полученное им безыменное письмо о литераторе Чернышевском следующего содержания: (см. выше, стр. 44.)

Заключение комиссии (л. 5). Комиссия положила: письмо сие приобщить к делу и иметь в виду для соображения.

Письмо Потапова к князю Голицыну (л. 6). Он же Потапов в письме к князю Голицыну изъяснил, что в конце июня получено было в III отделение собственной его величества канцелярии сведение о выезде в Петербург из Лондона находившегося там некоторое время отставного коллежского секретаря Павла Ветошникова, который, как известно было сему отделению, имел сношения с Герценом и Бакуниным и неоднократно участвовал в собраниях, бывающих у Герцена. Поэтому сделано было распоряжение, чтобы с прибытием Ветошникова из-за границы он подвергнут был тщательному таможенному осмотру, и, как при таковом осмотре оказались у него издания Герцена, Огарева и другие запрещенные сочинения, то он доставлен был в III отделение со всеми имевшимися у него книгами и бумагами. В бумагах его, рассмотренных в сем отделении, оказалось несколько писем, обнаруживающих сношения Лондонской русской пропаганды с некоторыми лицами, проживающими в России, и намерение распространять в империи сочинения, которые предполагают издавать в Лондоне, с явною целью нарушить общественное спокойствие. Письма сии указали необходимость немедленного арестования здесь литератора Чернышевского, надворного советника Николая Серно-Соловьевича, которые, равно как и Ветошников, отправлены 7 числа, по высочайшему повелению, в крепость

для содержания в Алексеевском равелине. При сем он препроводил акт обыска Чернышевского.

Обыск (л. 8). В обыске сем значится: 7 июля 1862 года следователи вследствие распоряжения высшего начальства, прибыв в квартиру литератора отставного титулярного советника Чернышевского, состоящую Московской части 2 квартала в доме Есауловой по Большой Московской улице, осматривали самым строжайшим образом всю занимаемую им квартиру и найденные у него в разных помещениях письма, рукописи и другие бумаги, часть недозволенных книг, сложив в холщевой мешок и опечатав оный, передали полковнику Ракееву вместе с самим Чернышевским для представления в III отделение собственной его величества канцелярии, а как у Чернышевского оказалось весьма много книг на разных языках и по отзыву его 2400 экземпляров 2 тома сочинений Добролюбова, перевозка и просмотр которых не на месте затруднителен и требует много времени, по чему и положили: опечатав кабинет его с сими книгами, занисать в сей акт, представив наблюдение за целостью их местному надзирателю.

Постановление Комиссии (л. 9). Комиссия положила: бумаги сии и книги, равно опечатанный кабинет, подвергнуть тщательному осмотру.

Заключение следователей (л. 11). При подробном обозрении всего находящегося в кабинете следователи признали нужным отложить: восемь книжек, 3 пакета с письмами, тетрадь писана стенографическим способом и алфавитный ключ на 4-х картонных палочках.

Перечень бумаг, отобранных у Чернышевского (л. 56). Перечень замечательных бумаг, отобранных у титулярного советника Чернышевского: 1. Анонимная записка, писáнная карандашом, в которой заключается следующее уведомление: „Вчера было высочайшее повеление оставить без рассмотрения дело о манифестации в думе; беспокоить по этому делу никого не будут. Костомаров согласился не читать лекций. Павлов весьма вероятно будет или отдан на поруки князю Г. А. Щербатову или получит разрешение жить в Нижнем у родственников“. 2. Переписка Чернышевского с профессором Иваном Андреевским о том, чтобы сей последний сделался посредником между публикою и читавшими лекции профессорами, для разъяснения причины прекращения публичных лекций. Андреевский несмотря на настояние Чернышевского отказался от этого предложения. 3. Листок с тремя вопросами по поводу публичных лекций. 4. Письмо к Чернышевскому, судя по содержанию—от профессора Костомарова, после запрещения публичных лекций. 5. Листок из дневника Добролюбова, в котором выражено сильное беспокойство по случаю сделанного в газете „Колокол“ намека на то, будто бы „Современник“ подкуплен правительством. 6. Письмо И. Б. (по почерку Ивана Бартюкова) от 29 декабря 1861 г., в котором замечательны слова: „Москва занята теперь Тверскими происшествиями,—говорят, революция будет“. 7. Письмо М. Маркович (Марко Вовчок) от 29 октября (без означения года и

места откуда написано). В письме этом она справляется, где Н. К.? и прибавляет: что вы делаете? Благополучны ли вы оба? Здесь все ходят слухи разные тот одним придет попугает, другой другим. Пожалуйста почаще пишите благополучны ли вы? 8. Письмо Салтыкова(Щедрина) от 14 апреля из Твери, в котором уведомляет Чернышевского, что он задумал издавать в Москве вместе с Унковским и Головачевым журнал с нового года и, посылая программу журнала, просит сообщить мнение Чернышевского. В письме упоминается о Европеусе и Плещееве, как о лицах, принимающих в этом деле участие. 9. Письмо Герцена без подписи, с многими выскобленными словами. В этом письме опровергается совет Чернышевского не вовлекать юношество в литературный союз по той причине, что из этого ничего не выйдет, и предлагается в темных выражених проект организации какого-то общества или союза, избрав центрами деятельности ярмарки: Нижегородскую, которую-нибудь из Днепровских и Ирбитскую или иной Урало-Сибирский пункт. 10. Анонимное письмо к Чернышевскому, в котором называют его пропагандистом, социалистом, Маратом, желающим ниспровергнуть существующий порядок и учредить демократию, и затем угрожают ему гибелью. Сверх того две тетради, писанные стенографически с разными знаками и при них ключ для шифра.

Письмо Герцена (л. 75). Письмо Герцена следующего содержания: (см. стр. 51).

Анонимное письмо (л. 83). Анонимное письмо следующего содержания: (см. стр. 54).

Отношение Следств. комиссии (л. 104). В числе писем, доставленных генерал-маиором Потаповым, оказалось одно, адресованное на имя Чернышевского из г. Бахмута, Екатеринославской губернии, от некоего Шемановского, который, судя по содержанию письма, должен быть агентом Чернышевского. Комиссия положила: обратить на это лицо внимание III отделения собственной его величества канцелярии.

Письмо Чернышевского к жене (л. 154). Из крепости Чернышевский послал жене своей письмо следующего содержания: (см. стр. 69).

Заключение комиссии (л. 157.) Чернышевский чрез посредство коменданта С.-ПБургской крепости представил в комиссию, для отправления в Саратов, письмо его к жене. В этом письме внимание комиссии обратили на себя следующие выражения: „наша жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет и наши имена все еще будут милы людям, будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами; так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь". Признавая неудобным отправление сего письма, комиссия положила: приобщить оное к делу и иметь в виду при допросе Чернышевского.

Священническое увещание (л. 158). 30 октября 1862 года в комиссии, на основании 172 ст. 2 кн. ХУ том. Свод. Зак. изд.

1857 г., сделано было священническое увещание Николаю Чернышевскому, чтобы он по делу показывал сущую правду.

Вопросы комиссии и ответы на оные Чернышевского (л. 159) Затем на предложенные комиссиею 30 октября 1862 г. вопросы он отвечал: (см. стр. 73).

Заключение комиссии (л. 162). 31 октября 1862 года комиссия, рассмотрев отобранные от Чернышевского показания, нашла, что вместо прямого и категорического ответа на предложенные ему вопросы, Чернышевский дозволил себе обратиться в комиссию с вопросом, выразив его следующими словами: „мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, что не было", и далее „я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагают подобные вопросы". Комиссия признала эти выражения в ответ на вопрос ее совершенно неуместными и имея в виду 182 ст. Св. зак. угол. т. XV, по которой ответы должны излагаться без всяких околичностей, положила: потребовать от Чернышевского, чтобы на предложенный ему вопрос дал объяснение, согласное с требованием закона.

Вопрос комиссии и ответ на оный Чернышевского (л. 163). 1 ноября 1862 года на предложенный комиссиею Чернышевскому вопрос (см. стр .75), он отвечал... (см. стр.75).

Обыск. (л. 164). В бумагах литератора Чернышевского, подлежащих рассмотрению Следственной комиссии, оказалось между прочим две тетради, писанные шифром, которые для разбора препровождены были в министерство иностранных дел вместе с находящимся при оном указателем.

Уведомление тайного советника Муханова (л. 164). Тайный советник Муханов, возвращая означенные тетради вместе с разбором части оных, сообщил, что рукописи эти писаны не шифрами, но только со сокращением и употреблением часто вместо слов, слогов и букв особых знаков, и что при всем желании со стороны министерства, по множеству текущих, не терпящих отлагательства дел, не было никакой возможности до настоящего времени разобрать всю рукопись, но уже из содержания разобранного можно думать, что слог этот имеет условленный смысл. К этому тайный советник Муханов присовокупил, что так как кроме видимого содержания рукописи могло еще находиться в оной написанное симпатическими чернилами, то употребляемы были разные способы для открытия этого, но такового письма не оказалось.

Отрывок из дневника Чернышевского (л. 224). В этом отрывке, переведенном из дневника Чернышевского, заключаются выражения, к делу относящиеся: „меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль. У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные. Что могу я другое делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите я не могу жениться. Я не могу, не в праве связать чьей бы то ни было судьбы с моею".

Уведомление доктора Окель (л. 261). Состоящий при С.-Петербургской крепости доктор Окель донес коменданту оной, что Чернышевский воздерживается с некоторого времени от всякой пищи; вследствие чего заметно ослаб; что цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый, что прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза и объявил, что не намерен принимать таковые и что он воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу.

Уведомление начальника III отделения (л. 281). Начальник III отделения уведомил комиссию, что разжалованный по высочайше утвержденному мнению Государственного совета из отставных корнетов в рядовые Всеволод Костомаров, по назначению его на службу в Кавказский линейный № 6 баталион, отправлен 28 февраля в штаб войска Кубанской области. Капитан С.-Петербургского жандармского дивизиона Чулков, сопровождавший его туда, представил ему, начальнику III отделения, отобранные им у Костомарова по прибытии их в Тулу письма, из которых одно адресованное на имя некоего Николая Ивановича Соколова, в С.-Петербург, вынуждает по своему содержанию подробного расследования. Шеф жандармов, приказав сделать распоряжение о немедленном возвращении Костомарова в С.-Петербург для допросов его в высочайше учрежденной здесь Следственной комиссии, поручил ему, начальнику III отделения, означенное письмо представить на распоряжение комиссии.

Письмо, найденное у Костомарова, на имя Соколова (л. 282). Письмо это следующего содержания: (см. стр.150).

Показание Яковлева (л. 300). Московский мещанин Петр Васильев Яковлев дал на имя генерал-маиора Потапова показание следующего содержания (см. стр. 165).

Обыск у Костомарова (л. 303). При арестовании в III отделении Всеволода Костомарова отобраны находившиеся при нем письма: три Михайлова; два и записка карандашом Чернышевского, одно и записка с каррикатурами Шелгунова и одно Плещеева.

Записка, найденная у Костомарова (л. 304). Записка следующего содержания: „В. Д. вместо „срочно обязан“ (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временно обяз.“, как это называется в Положении.

Ваш Ч.“

По предъявлении этой записки Чернышевскому он написал: „Эта записка была мне предъявлена комиссиею и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее моего. Отст. тит. сов. Н. Чернышевский“.

Отношение г.-м. Потапова (л. 317). Генерал-маиор Потапов препроводил в комиссию рапорт к нему жандармского капитана Чулкова следующего содержания (см. стр. 149).

Вопросы комиссии и ответы на оные Костомарова (л. 320). На предложенные комиссиею Всеволоду Костомарову вопросы

он отвечал; на 1-й, имя, отчество, фамилия и проч.; на вопрос 2-й... (см. стр. 171).

Дополнительные ответы Костомарова (л. 343). На дополнительные вопросы, данные комиссиею Костомарову, он отвечал: на вопрос 1-й (см. стр. 180).

Вопросы комиссии и ответы на оные Чернышевского (л. 357). На предложенные комиссиею 16 марта 1863 года Николаю Чернышевскому он отвечал: на вопрос 1 (см. стр. 182).

Постановление комиссии (л. 372). Комиссия, рассмотрев показания Чернышевского, положила: по показаниям этим дать очные ставки с Костомаровым Чернышевскому, а по показанию Костомарова — допросить бывшего студента московского университета Сороко и московского мещанина Петра Яковлева; об арестовании первого из них и о доставлении как его, так и мещанина Яковлева в III отделение собственной канцелярии, просить московского обер-полициймейстера, уведомив о сем и члена комиссии генерал-маиора Потапова.

Вопрос комиссии и ответ на оный Чернышевского (л. 375). На предложенный комиссиею Чернышевскому вопрос: — Вы показали, что поручали Михайлову, он отвечал (см. стр. 187).

Очная ставка (л. 376). На очной ставке, данной Костомарову с Чернышевским, 1-й показал... (см. стр 187.). Противу сего Чернышевский объяснил: — Я с своей стороны (См. стр. 188).

Отношение управляющего III отделением (л. 388). Генерал-майор Потапов препроводил в комиссию полученное им представление исправляющего должность московского губернского прокурора с приложенными к оному докладною запискою содержащегося в тамошнем смирительном доме мещанина Яковлева и перепискою конторы московского смирительного и рабочего домов. Записка Яковлева следующего содержания:

Докладная записка Яковлева (л. 390) (см. стр. 189).

Отношение Дома московского градского общества (л. 396). Дом московского градского общества в отношении в контору смирительного и рабочего домов писал, что московский обер-полициймейстер препроводил на распоряжение Дома градского общества доставленного к нему от заведывающего пересыльною арестантскою частию московского мещанина Хамовой слободы Петра Васильева Яковлева, взятого на Тверской станции железной дороги за буйство в пьяном виде. А как мещанин Яковлев за дурные поступки неоднократно был в приводах, то дело о нем 13 марта было предложено к выслушанию на полном собрании мещанского общества, которое, принимая во внимание прежние его поступки, приговором заключило: Яковлева за буйство на основании 570 ст. IX том. отослать в рабочий дом в работу на 4 месяца и по миновании срока освободить. Во исполнение сего приговора мещанин Яковлев препровожден при сем в оную контору для выдержания срочного времени в работе.

Отношение в комиссию управляющего III отделением (л. 399). 5 апреля доставлены арестованными: из Москвы — мещанин Яковлев и из имения Схолин Свенцианского уезда Виленской

губернии—студент Сороко, которые и оставлены арестованными при III отделении собственной его императорского величества канцелярии.

Вопросы комиссии и ответы на оные дворянина Сороко (л. 405) (см. стр. 191).

Вопросы комиссии и ответы на оные Яковлева (л. 409) (см. стр. 190).

Очная ставка (л. 413) (см. стр. 193).

Вопросы комиссии и ответы на оные Костомарова (л. 415). На предложенные комиссиею 11 апреля 1863 г. рядовому Костомарову вопросы он отвечал: на вопрос 1-й (см. стр. 193).

Очная ставка (л. 417). На очной ставке, данной Костомарову с Чернышевским, Костомаров показал (см. стр. 195).

Чернышевский против сего показания объяснил: (см. стр. 195)

Акт комиссии (л. 418) (см. стр. 201).

Предъявление в комиссии мещанину Яковлеву Чернышевского (л. 419) (см. стр. 196).

Очная ставка (л. 420). На очной ставке, данной мещанину Яковлеву с Чернышевским, Яковлев показал... Против сего показания Чернышевский объяснил... (см. стр. 196).

Вопрос комиссии и ответ на оный Чернышевского (л. 421). На предложенный комиссиею 12 апреля 1863 г. Чернышевскому вопрос, он отвечал (см. стр. 197).

Постановление комиссии (л. 424). Комиссия, рассмотрев показания, отобранные от Костомарова, Сороко и Яковлева, равно очные ставки Костомарову с Сороко и с отставным титулярным советником Чернышевским и последнему с мещанином Яковлевым — положила: 1. Показания и очные ставки приобщить к делу и иметь в виду при дальнейшем производстве оного. 2. Дворянина Иосифа Сороко по взятии от него подписки хранить в тайне обстоятельства, по коим он был привлечен к допросу, освободить из-под ареста и, возвратив отобранные у него бумаги, отправить в имение Схолин, Свенцянского уезда Виленской губернии, откуда он был доставлен, — равно отправить арестованным в московский смирительный и рабочий дом мещанина Яковлева, заключенного туда по приговору общества. Для удостоверения в подлинности записки, отобранной у рядового из дворян Всеволода Костомарова, писанной карандашом, по показанию Костомарова, отставным титулярным советником Чернышевским следующего содержания: „В. Д. вместо „срочно обяз. (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временно обяз.“, как это называется в Положении“, положила: так как Чернышевский не признал записки своею, объяснив, что почерк, коим она написана, красивее и ровнее его почерка, то на основании 205 ст. 2 кн. XV том. Св. зак. уголов., сделать через секретарей сличение почерка записки с имеющимися в деле о Чернышевском бумагами, им писанными. О явке же в комиссию для сличения почерка девяти секретарей правительствующего сената просить управляющего министерством юстиции.

При постановлении сего определения член комиссии, обер-прокурор 1-го департамента сената, действительный статский советник Гедда объявил, что сличение почерка, за силою 326 ст. 2 кн. XV том. Св. зак. уголов. должно зависеть от назначения суда и что по сему он нашел более соответственным распоряжением в отношении сличения почерка упомянутой записки предоставить суду.

Уведомление управляющего министерством юстиции (л. 432). Управляющий министерством юстиции уведомил князя Голицына, что секретари правительствующего сената рассматривают и сличают почерки только в Присутствии сената по делам, в нем производящимся, и при том не иначе, как вследствие определения правительствующего сената, а по сему не представляется возможности командировать их для сличения почерков вне Присутствия сената.

Отношение управляющего III отделением (л. 433). Редактор журнала „Современник“ г. Некрасов представил генерал-маиору Потапову лично полученное в редакции журнала из Москвы, по почте, прилагаемое письмо.

Письмо Миллера и других (л. 434). Письмо это следующего содержания (см. стр. 202).

Постановление комиссии (л. 439). Комиссия вследствие такового поступка мещанина Яковлева и безнравственного его поведения положила: Не ожидая окончания 4-х месячного срока, на который он присужден обществом в рабочий дом, отправить его теперь же на жительство и под надзор полиции в Архангельскую губернию, испросив на приведение сего в исполнение через г. председателя комиссии высочайшее его императорского величества соизволение, каковое и последовало. Сверх сего комиссия положила просить спбургского военного генерал-губернатора, о командировании в комиссию для сличения почерка пяти секретарей здешних губернских присутственных мест.

Акт сличения почерка руки Чернышевского (л. 451). 1863 года апреля 24 дня, в высочайше утвержденной в С.-Петербурге Следственной комиссии командированные секретари: со стороны губернского правления: Карцев и Степановский, со стороны уголовной палаты Филимонов и 2-го департамента гражданской палаты Беляев, производили сличение почерка записки, писанной карандашом, по показанию Костомарова, отставным титулярным советником Чернышевским, с другими бумагами им писанными и заключающимися в деле на 58 листе и в ответах Чернышевского 30 октября 1862 года, и нашли, что почерк записки имеет некоторое сходство с почерком Чернышевского, коим писаны им означенные бумаги.

Кроме сего, к делу приобщены копии с ответов полковника Шелгунова, заключающие в себе следующее:

Копия с вопросов комиссии и ответы на оные полковника Шелгунова (л. 441) **(см. стр. 198)**.

Копия с вопроса комиссии и ответ на оный полковника Шелгунова (л. 444) (см. стр. 199).

Очная ставка (л. 445.) На очной ставке, данной Костомарову с Шелгуновым, Костомаров показал... На сии улики Шелгунов отвечал (см. стр. 200).

Рапорт капитана Чулкова (л. 470). С.-Петербургского жандармского дивизиона капитан Чулков в дополнение рапорта своего от 11 марта сего года № 12 донес управляющему III отделением, что упомянутый в оном московский мещанин Петр Яковлев при разговоре с Всеволодом Костомаровым в Москве высказывал намерение свое отправиться в Петербург. По сему он заключил из отношений Костомарова к Яковлеву, что последнему известны действия Костомарова и всех тех лиц, которые имели к Костомарову какие-либо отношения, и что в сем случае Яковлев может быть полезен для каких-либо открытий, счел долгом доложить о Яковлеве управляющему III отделением и с этою целию дал ему письмо к управляющему III отделением, с которым он, Яковлев, как Чулков слышал, был задержан на Тверской станции. Выражения в письме: „он, Яковлев, мне уже оказал услугу" означают то, что Яковлев в разговорах с ним в Москве высказывал полную готовность объяснить известные ему, Яковлеву, отношения Костомарова к разным лицам и назвать этих лиц.—Эту-то готовность со стороны Яковлева он и считал важною для себя услугою, которая, как он, Чулков, полагал, если будет доведена до сведения начальства и окажется справедливою, может послужить к важнейшим открытиям каких-либо преступных действий.

Дополнение к записке

По поступлении дела сего в сенат, подсудимый Чернышевский был вытребован в Присутствие Правительствующего сената, где вычитано было ему высочайшее повеление о предании его суду Правительствующего сената и объявлены ему имена и фамилии г. г. сенаторов, составляющих Присутствие I отделения и лиц, находящихся при суде, и предложен был вопрос, не имеет ли он на какого из них подозрения. По получении ответа, что подозрения не имеет, отобрана от него в том подписка[1].

Затем вычитаны были ему данные им во время производства следствия показания и очные ставки и предложен был вопрос, не было ли ему делаемо во время производства следствия пристрастных допросов, и по получении от него объяснения, состоящего в том, что показания свои он утверждает, и

---

[1] На предъявленных мне 29 мая 1863 года в Присутствии I отделения 5-го департамента пр. сената г. г. судей сенаторов и находящихся при сем г. обер-прокурора и. г. обер-секретаря подозрения не имею. Отставной титул. советн. Н. Чернышевский.

При сем присутствовали: Матвей Карниолин-Пинский, Алексей Веневитинов, Николай Лукаш.

При сем находился обер-прокурор Чемадуров.

При сем находился обер-секретарь Кузнецов.

что пристрастия делаемо ему не было, отобрана от него в том, подписка [1].

Чернышевский в присланном через спбургского военного генерал-губернатора особом объяснении [2] изъяснил:

Дополнительное показание Чернышевского, даваемое им правительствующему сенату.

Это показание заключает в себе шесть листов.

1 июня 1863.

Отст. тит. сов. Н. Чернышевский.

Общие пояснения

I. Против каждого из обвинений я выставляю такие факты, большая часть которых общеизвестна в кругу, близко знающем меня. Доказывать их теперь же ссылками на свидетелей и отысканием документов значило бы усложнять и затягивать дело. Потому беру на себя смелость просить, чтобы Правительствующий сенат принимал настоящее показание за окончательное по полноте доказательств только относительно тех из указываемых мною фактов, в верности которых не останется сомнения у Правительствующего сената по выслушании настоящего показания, и чтобы Правительствующий сенат предоставил мне право привести более полные доказательства на те факты,

---

[1] 1863 года мая 29 дня я нижеподписавшийся в Присутствии 1 отделения 5-го департамента пр. сената дал сию подписку в том, что пристрастных допросов мне делано не было и прочитанные мне, отобранные от меня, показания мои на допросах и очных ставках я утверждаю. Имея сделать дополнения к этим показаниям, подам их в особенном объяснении.

Отст. титул. советн. Н. Чернышевский.

При сем присутствовали: Матвей Карниолин-Пинский, Алексей Веневитинов, Николай Лукаш.

При сем находился обер-прокурор Чемадуров.

При сем находился обер-секретарь Кузнецов.

[2] 1863 года 29 дня. В журнале 1 отделения 5-го департамента правительствующего сената записано:

Слушали:

Словесное прошение вытребованного сего числа из крепости отст. тит. сов. Чернышевского о том, чтобы 1) ему дозволено было подать особое объяснение по делу о нем производящемуся, 2) чтобы дозволено ему было иметь свидание с родственниками, 3) чтобы разрешено было отдать его на поруки и 4) чтобы он допущен был к чтению и рукоприкладству под запискою, которая составлена будет по его делу.

Приказали: 1) г. спбургскому военному губернатору предписать указом, когда будет изготовлено Чернышевским объяснение, представить оное в сенат установленным порядком и вместе с тем дать знать ему указом, что пр. сенат с своей стороны не находит препятствия к свиданию Чернышевского с родственниками его, если это не противно правилам о содержащихся в крепости под арестом, 2) просьбу Чернышевского об освобождении на поруки иметь в виду при докладе вопроса о том, может ли он быть освобожден на поруки, или должен содержаться в крепости, и 3) по дополнении дела всеми сведениями и по изготовлении (записки) допустить Чернышевского к чтению оной и к рукоприкладству, о чем, записав в журнал, сдать с сей статьи в экспедицию копию. Подлинный—за подписанием г. г. сенаторов.

которые по мнению сената еще нуждаются в дальнейшем подтверждении.

II. Мне известно, что кроме обвинений, против которых я могу теперь прямо оправдываться, потому что они прямо выражены, существовало против меня множество других подозрений. Например, были слухи, называвшие меня возбудителем беспокойств между студентами спбургского университета осенью 1861 года; возбудителем беспорядка, произошедшего в зале Думы весною 1862 г. на одной из публичных лекций; были также слухи, что я направляю к пропаганде запрещенного характера Главный совет петербургских воскресных школ; что я возбудил профессора Павлова написать и при публичном чтении дополнить резкими прибавлениями ту статью, за чтение которой профессор Павлов был удален из Петербурга (весною 1862); что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862)[1]. Мне неизвестно, до какой степени продолжают существовать такие слухи в кругах, в которых они существовали год тому назад; и неизвестно, может ли иметь влияние на мнение моих судей о мне более или менее определенный или неопределенный отголосок таких слухов, — отголосок, дававший мне прежде в мнении многих почтенных людей, не знавших меня лично, репутацию агитатора. Если может, то я прошу, чтобы мне дано было право разобрать и эти подозрения для отстранения сомнений в том, действительно ли я такой человек, за какого меня знают все, хорошо знающие меня лично; — человек очень мирного характера, всегда ставивший главною заботою своею то, чтобы удаляться всяких столкновений не только с уголовным судом, но и с простою полициею.

Выразив эти общие просьбы мои Правительствующему сенату, перехожу к разбору обвинений, находящихся в деле.

1. Пояснения по обвинению меня в намерении уехать за границу, чтоб издавать журнал вместе с Герценом

В конце мая или начале июня 1862 года было остановлено на восемь месяцев издание журнала „Современник“, в редактировании которого я участвовал. Через это я приобретал на время свободу жить или не жить в Петербурге. По моим домашним обстоятельствам, мне не бесполезно было переехать на время в мой родной город, Саратов. Мое семейство уехало туда 2 или 3 июля (1862), за 4 или за пять дней до моего ареста. Мы продавали лошадей, экипажи, мебель. Отчасти для окончания этого, отчасти для окончательного приведения в порядок своих литературных дел, я должен был остаться в Петербурге еще на месяц. После того, я должен был уехать в Саратов и прожить там до весны 1863 года вместе с семейством, а весною или летом 1863 г. возвратиться вместе с семейством в Петербург.

---

[1] См. в приложениях рассказ Чернышевского о визите к нему Ф. М. Достоевского.

Это предположение было известно всем моим знакомым. В искренности его не мог сомневаться никто из знавших мои семейные чувства. Продолжительная разлука с семейством — единственное серьезное страдание, которое я могу чувствовать.

Если б я думал эмигрировать, неужели я проводил бы свое семейство в Саратов, от которого так далеко до Западной Европы, а не прямо за границу из Петербурга? Или я хотел на долгие годы разлучиться с семейством?

В моих руках бывало довольно много денег. Моя жена, уезжая, взяла с собою только 500 р. А мы привыкли расходовать довольно много. Если б я думал, что моей жене придется долго жить без меня в Саратове, неужели она уехала бы из Петербурга с 500 рублей?

При отъезде, моя жена не получила от меня доверенности на заведывание моим домом в Саратове. Из этого вышли серьезные домашние неприятности для нее. По характеру ее прежних отношений к моим саратовским родным, я не мог не ждать этого — в случае, если б ей пришлось долгое время оставаться в Саратове без меня. Если б я думал надолго разлучиться с нею эмигрированьем, неужели я не дал бы ей доверенности, которую при первой возможности поспешил дать, когда был разлучен с нею арестом?

Когда меня арестовали, у меня было только 115 р. А в несколько предыдущих дней я получил до 1.500 р., или более. Но я отдал из них 300 р. типографщику, 200 р. торговцу бумагою, остальные роздал сотрудникам „Современника". Мне не было настоятельной нужды делать ни одной из этих выдач: бумажный торговец и типографщик могли ждать, сотрудники „Современника"—обратиться за деньгами в контору журнала, вместо которой я заплатил им. Так ли распоряжается деньгами тот, кто собирается эмигрировать?

Сборы моего семейства к отъезду, продажа вещей,—все это делалось длинно, со всею обычною хлопотливостью таких перемен. Надеюсь, что если б я думал эмигрировать, то у меня достало бы смысла и уменья, чтоб уехать не подав ни малейшего знака намерения двинуться куда бы то ни было из Петербурга,—быть далеко за Берлином или Стокгольмом прежде, чем кто бы ни было подумал бы, что я думаю уехать дальше Павловска, где была у меня дача.

Я был арестован в суботу (7 июля); в понедельник (9 июля) должен был придти ко мне из типографии Вульфа наборщик (бывший помощником метранпажа по „Современнику") с образцами формата и шрифта для издания, которое я хотел начать печатать дня через 3, 4 после того. Я поручил ему сделать образцы в то самое утро, как был арестован, или накануне.— Фактор другой типографии (г. Огризко) имел поручение поскорее сделать для меня образцы шрифта и формата для другого издания у Вульфа, я хотел печатать маленькие книжки, в которых думал, с разрешения авторов, перепечатывать для простого народа рассказы и отрывки из повестей. У Огризко я хотел

печатать перевод Политической экономии Милля, который был уже окончен мною.

Эти два издания должны были начаться через несколько дней,—12 или 15 июля. Еще недели две, три понадобилось бы мне оставаться в Петербурге, чтоб устроить правильность в чтении корректур, цензированьи и т. п. Устроив это, я тотчас отправился бы в Саратов. Но я предполагал очень быстро начать другие издания, из которых назову три. Я тогда уже имел столько известности, что публика стала бы покупать „собрание" моих „Сочинений". Они составляют массу более 8.000 страниц (500 печатных листов в—8) журнального формата. Я хотел многое выбросить, как не важное, другое сократить, но все-таки оставалось бы листов 300 печатных. Печатание такого огромного числа листов заняло бы много времени. Я рассчитывал сделать это года в два. Но во всяком случае, нельзя напечатать такую массу в 3, в 4 месяца. И потом, ведь не могло же издание, которое хотел я сделать в 4 или 5 тысячах экземпляров, распродаться в какой-нибудь год. Следовательно, уж это одно издание связывало меня с Россиею не на один год. А я рассчитывал, что оно даст мне несколько десятков тысяч рублей,—это не такой расчет, которым мог бы пренебречь человек без состояния, для удовольствия издавать журнал за границею. Но отнимая у меня всякую мысль об эмиграции, это издание не стоило бы мне почти никакой работы. Печатая его, я хотел готовить два другие. Я хотел составить два ручные энциклопедические словаря. Один—в два тома лексиконного формата, ценою от 7 до 10 р.; другой—вовсе маленький, страниц в 600 или 700 в 12 долю, ценою рубля в полтора, два. Книгопродавцы знают, что такие книги такой цены имели бы большой успех, и постоянно перепечатываясь, служили бы источником очень порядочного дохода на долгие годы. Я называю только эти три издания потому, что могу указать в моих бумагах расчеты, сделанные для них.

Эти расчеты свидетельствуют, что я не думал о себе иначе, как о человеке, по крайней мере на несколько лет остающемся в России. —

Я перечислил некоторые из фактов, показывающих, что я не *думал* эмигрировать. Есть другие, свидетельствующие, что я не мог, положительно не мог эмигрировать.

Я уже привык получать и проживать много. Я имел тысяч 10 в год, и больше. Но я проживал все деньги, которые получал. Дом в Саратове и кусок земли в Аткарском уезде, доставшиеся мне по наследству,—имущество слишком незначительное для человека, привыкшего иметь такие деньги от своей работы. Я оставлял и намерен был оставлять это имущество и доход с него во владении моих саратовских родственников. Но если б я для эмиграции изменил свою мысль и продал его (к чему не делал никаких приготовлений), все-таки оно не дало бы мне возможности жить за границею.—По особенности моего образования, я, читая книги на главных европейских языках, реши-

тельно не умею, до замечательной странности не умею ни говорить, ни тем более писать ни на одном из них. Следовательно, я не мог очень долго, по крайнее мере несколько лет, сделаться французским, немецким или английским литератором. А писать за границею на русском языке вещи, не пропускаемые на открытую продажу в России, значит не получать почти никакого дохода от своей работы. Итак, эмигрировать значило бы для меня обрекать свое семейство на великие страдания от нужды. Надеюсь, кто знает меня, тот не усомнится, что мысль об этом не могла быть для меня слишком привлекательна.

Или не хотел ли я уехать по опасению ареста? Я слишком давно слишком много слышал от других опасения, что меня арестуют. Если б я считал возможным, что сбудутся эти опасения, и если б хотел избавиться от этой боязни эмиграциею, то конечно не стал бы ждать июля 1862, а уехал бы в сентябре 1861 года. Но кто знает меня, тот знает, что я смеялся над опасениями других, будто меня могут арестовать. Я подробнее говорю об этом в письме к его светлости спбургскому генерал-губернатору от 20 или 22 ноября, и ссылаюсь на это письмо в дополнение настоящего моего показания.

Я не думал, я не предполагал нужды думать, я не имел возможности думать об эмиграции. Но если б я мог и хотел эмигрировать, то Герцен менее всех литераторов целого света мог представляться мне товарищем в издании журнала. На это много причин.

В письме моем к его величеству я привел, и в письме к его светлости г. спбургскому генерал-губернатору изложил подробнее две из причин, отчуждавших меня от Герцена. Я не одобрял некоторых планов Герцена, известных мне по слуху (о чем говорится в его письме, находившемся в моих бумагах), и имел личное неудовольствие на него по процессу г-жи Панаевой из-за векселей и именья покойной г-жи Огаревой. Ссылаюсь на эти письма (от 20 или 22 ноября прошлого года) в пополнение моего настоящего показания. В них я представлял только две причины, как почти не требовавшие поверки. Здесь приведу еще две, поверка которых незатруднительна.

Первая из них—моя чрезвычайно сильная привязанность к покойному Н. А. Добролюбову и дурные отзывы о нем Герцена, начинающиеся с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 „Колокола“ была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня,—но о себе я не говорю) статья Герцена „Very dangerous“. Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861), неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если бы захотел. Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек „Современника“ за 1862 г., в статье, которою начал я биографию Добролюбова. Это было напечатано мною около

того времени, когда я, говорит обвинение, будто бы собирался вступать в товарищество с Герценом. Эта моя резкость наделала тогда довольно шума в нашей литературе; и вообще, в последнее время перед моим арестом литературный мир очень хорошо знал мою неприязнь к Герцену. На это есть печатные указания в русских периодических изданиях. Для примера, укажу на „Спбургские Ведомости“ первой половины 1862 года.

Но кроме политических причин несогласия и кроме личной неприязни, существует еще одно обстоятельство, по которому я никак не мог думать о товариществе с Герценом. Я привык быть полным хозяином направления журнала, в котором участвую. Я могу уступить своему товарищу всю денежную часть, оставив на его волю помещение безразличных по своему содержанию повестей,—но направление журнала должно быть безусловно мое. С Герценом это было бы невозможно. Он не только стал бы спорить со мною о чужих статьях, но стал бы требовать, чтоб я поправлял по его замечаниям свои статьи. А я не только не мог бы допустить такого вмешательства, а сам потребовал бы от него безусловного подчинения себе, то-есть вещи невозможной. Кто не знает, что непременно я хочу быть безусловным хозяином направления журнала, в редакции которого участвую, тот не знает меня. А при этом, мысль о моем товариществе с Герценом — нелепость.

Натурально после этого, что я был до крайности удивлен, услышав на допросе 30 октября, что я обвиняюсь в сношениях с Герценом, и почел этот вопрос сделанным без всяких оснований. Но еще более был я изумлен, когда на первом из двух допросов, бывших в марте, сообщили мне, что существует письмо, выражающее согласие Герцена на то, чтоб издавать журнал со мною. Кем придуман такой невозможный для меня проект, я и не постигаю. Но если еще остается какое-нибудь подозрение в том, что я имел это намерение, то я прошу, чтобы Правительствующий сенат разрешил мне принять для исследования этого странного случая те меры, какие могут быть допущены по закону.

2. Объяснения по вопросу о мнимом шифре, найденном у меня

Эти картонные лоскутки исписаны буквами и цифрами почерка моего родственника, Алексея Осиповича Студенского, который теперь вероятно находится в Петербурге, и адрес которого вероятно известен моему двоюродному брату Александру Николаевичу Пыпину, живущему, у Владимирской, в Свечном переулке, в доме Тулякова № 43 (А. Н. Пыпин).

Уезжая в Саратов, за несколько времени перед моим арестом, г. Студенский принес мне на сохранение зеленую папку со своими бумагами, и положил или на окно моей комнаты или в нижний ящик стоявшего в ней шкапа с книгами, — не припомню в точности. Я, разумеется, и не дотрогивался до этой папки.

Вероятно в ней и нашлись эти картонные лоскутки. Что это за игрушка, вероятно объяснит г. Студенский. А я делаю такое предположение, за удачность которого, впрочем, не ручаюсь:

Незадолго перед моим арестом, были совещания людей, занимающихся русскою грамматикою (кажется, в зале 2-й гимназии), об улучшении русской азбуки и орфографии. Г. Студенский был очень заинтересован этим предметом, и занимался лексикографическим и этимологическим разложением русских слов на их составные части; — я думаю, не сделал ли он эти картонные лоскутки для пособия себе в таком занятии. А впрочем, не решаю, угадал ли я.

Я не обратил на них большого внимания, когда мне показывали их, думая, что сама комиссия почтет удобным оставить без внимания эту игрушку. Но если не обманывает меня память, лоскутки исписаны так: по краю лоскутка с начала строки идет ряд цифр, от 1 до 36 или 35, а подле цифр написаны буквы русской азбуки. Если б это был шифр, этот шифр принадлежал бы к такой системе: каждой букве соответствует одна цифра (от 1 буквы до 9-й) или 2 цифры (от 10 буквы до конца азбуки); знак каждой буквы (одну цифру, или две) надобно ставить отдельно от предыдущего и последующего знака, потому что иначе нельзя было бы различить, где брать две цифры за букву, где одну, и сам писавший не мог бы разобрать того, что написал, и никакой ключ не помог бы путанице. Поясню это примером. Пусть будет

а — 1
б — 2
л — 12;

тогда, если написать сплошь 1212, нельзя будет имеющему ключ шифра знать, как прочесть это: *абл* или *лаб*, или *абаб*, или *лл*. Потому необходимо писать врознь, — так:

1 2 12 — это будет **абл**
12 1 2 — **лаб**
12 12 — **лл.**

Но все шифры такой системы (для каждой буквы особый знак, и знак каждой буквы ставится особо от предыдущего и последующего) уже чересчур просты. Я никогда не занимался искусством дешифровки, но берусь в один вечер найти ключ к отрывку, писанному каким бы то ни было шифром этой системы. А кто занимался дешифровкою, вероятно найдет ключ в полчаса. Если б я имел надобность или охоту придумывать или употреблять шифр, то надеюсь, у меня достало бы смысла понять, что шифр такой системы слишком плох, и достало бы ума придумать шифр получше.

Прибавлю: я не такой невежда, каким предполагает меня это обвинение. Из чтения гражданских и политических и неполитических уголовных иностранных процессов мне известно, что употребление какого бы то ни было шифра признано вещью устарелою, неудобною для тайных сношений и слишком опасною для

сносящихся. И если б я хотел иметь с кем-нибудь тайные письменные сношения, то уж наверное не выбрал бы средством для них не только такой младенческой системы шифра, какую давали б эти лоскутки, когда бы служил для шифрования, но и никакой системы шифра.

3. Пояснения по показаниям г. Костомарова всем вообще

Я не юрист; потому прошу Правительствующий сенат быть снисходительным, если в этом отделе моего дополнительного показания беру предмет, который по обычаям нашей судебной практики должен быть предметом моих ответов не теперь, а в каком-либо последующем периоде моего процесса. Следственная комиссия не спрашивала меня, имею ли я причины отвода против г. Костомарова. Я не знаю, должен ли быть предложен мне этот вопрос; если нет, то вновь прошу снисходительности **Правительствующего сената** к той погрешности, что утруждаю сенат разбором вопроса, не подлежащего моему ответу. Наконец, что касается самой сущности предъявляемых мною оснований отвода, вновь прошу снисходительности **Правительствующего сената** в том случае, если причины эти неудовлетворительны: я никак не хотел бы приводить законов, не подходящих к делу, но по недостатку специального юридического знания могу ошибаться.

Мне кажется, — не знаю, основательно ли, — что г. Костомаров подходит или под какой-либо, или под некоторые из следующих законов —

Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 216 п. 1—„Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 1)лица, прикосновенные к делу".

Г. Костомаров есть лицо, прикосновенное к делу, если не сделал своих показаний против меня при самом начале следствия над ним; по статье (того же тома той же книги) 596:

> „Всякого состояния люди обязаны доносить о делах, касающихся до преступлений государственных, означенных в статьях 275 — 280 и 282 — 287 Уложения о наказ., под опасением за недонесение наказаний, определенных за сие в статьях 277, 279, 281 — 286 и 288 того же Уложения," и

статьи 17 Уложения о наказаниях:

> „Прикосновенными к преступлению считаются и те, которые, знав о умышляемом или уже содеянном преступлении и имев возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности".

Если же г. Костомаров сделал свои показания против меня при самом начале следствия над ним, то я прежде допущения показаний г. Костомарова за обвинения, подлежащие судебному рассмотрению, в настоящее время должен просить **Правительствующий сенат** об исследовании вопроса: почему, при существовании таких показаний, я не был призван к суду или какому-либо ответу в последнюю половину 1861 года, когда производилось следствие над г. Костомаровым.

Или, быть может, г. Костомаров подходит под пункт 2-й той же 216 статьи XV тома 2 ч.:

„Не допускаются в деле уголовном к свидетельству под присягою 2) имевшие с ним (подсудимым) вражду“;—мне казалось бы, что он подходит под этот пункт на основании фактов, которые я излагаю ниже.

Если же г. Костомаров подходит под какой-либо из этих законов, то мне казалось бы, что нет нужды и входить в разбор его показаний, на основании

Св. зак. т. XV кн. 2 ст. 334: „Показания свидетелей вовсе не имеют силы доказательства 1) когда они учинены без присяги“.

Перехожу к пояснению моих отношений с г. Костомаровым. Я был внимателен,—могу сказать: добр к нему. Не скрывается ли в этом нечто особенное? Да; скрывается, или, вернее сказать, обнаруживается, особенность моего характера, доходящая до такой крайности, которая служит предметом всеобщих насмешек в кругу моих знакомых, источником бесчисленных хлопот и неприятностей для меня: трудно найти человека, который не получил бы от меня всякой возможной услуги и помощи, кто бы ни был этот ищущий ее у меня,—знакомый или незнакомый, все равно. Как писатель, я известен крайнею жесткостью,—в частной жизни я страдаю противоположным недостатком.

Но кроме этой особенной, была другая, самая обыкновенная причина моей внимательности к г. Костомарову. Я был журналист. Всякий неглупый журналист знает, что должно быть внимательным к молодым, начинающим литераторам, потому что из них выходят свежие силы, а без внимательности к ним, журнал хилеет и падает. Поэтому я, для собственной выгоды, всегда был внимателен к начинающим литераторам, высматривая, не окажется ли кто из них хорошим работником. Люди, более меня зоркие, умеют скоро различать, годится или не годится молодой человек в сотрудники журнала. Мне нужно всматриваться долго. И я все еще только всматривался в г. Костомарова, не решаясь предложить ему работать в „Современнике“, пока получше не узнаю его способностей. (Быть может, не лишнее объяснить, что сотрудничество, постоянное участие в собственно журнальной работе, в так называемых текущих статьях вовсе не то, что напечатание стихов в журнале).

В таких отношениях я был с десятками начинающих литераторов. Г. Костомаров был не исключение, а подходил под общее правило. Для г. Костомарова я делал даже гораздо меньше, чем для многих других.

Эта необходимость быть внимательным и оказывать возможные услуги еще вовсе [не] составляет интимности и не свидетельствует о доверии. Это просто то, что наниматель на работу высматривает хороших работников между людьми, ищущими работы. С г. Костомаровым я был менее короток, нежели бывал со многими из начинающих литераторов. Что действительно

не был я с ним короток и почему не был, это будет видно из следующих пояснений.

Но я действительно был внимателен к нему. Например, он стал говорить, что хочет издать поэтическую хрестоматию; я отдал ему сборник подобного рода, валявшийся у меня уже несколько лет и ненужный мне. Он принял за большую услугу подарок этой вещи, непригодной мне ни на что, и просил позволения написать в предисловии, что хрестоматия, которую он сделает на основании этого сборника (уже устаревшего, и потому требовавшего большой переделки), составлена по моим советам. Когда он вздумал издать перевод „Истории литературы" Шерра, я на его просьбу помочь отвечал, что беру цензурные хлопоты и печатание на себя. То и другое не было для меня важностью. Цензор был всегда готов по моей просьбе прочесть рукопись поскорее; типография Вульфа и бумажная лавка (бывшая) Заветного имели текущий счет и кредит с конторою „Современника". Но для г. Костомарова была важна услуга, которая не стоила мне ничего.

По возвращении моем (в сентябре 1861) из Саратова в Петербург, когда г. Костомаров был уже арестован, я перестал делать для него что-либо, и между прочим отказался печатать перевод Шерра. Кто хочет объяснять это только в невыгодную для меня сторону, легко найдет две причины перемены. Возвратившись из Саратова, я узнал, что мой двоюродный брат, г. А. Пыпин, взял на себя редакцию другого перевода той же книги Шерра; натурально предположить, что я не хотел мешать успеху издания, в котором работал мой родственник: Этим, кажется, достаточно объясняется отказ мой печатать перевод г. Костомарова. А вообще, у меня, как у журналиста, исчезала причина внимательности к г. Костомарову: даровитый он был человек, или нет, все равно, он надолго лишался способности быть полезным для журнала. Я не имею права требовать, чтобы мою перемену приписывали побуждениям более благородным.

Но от чего бы ни произошла перемена, г. Костомаров увидел, что ошибся в расчетах на мою помощь, и это очень раздражило его против меня. Я говорю о факте очень известном, утверждая, что он был очень раздражен против меня.

В то время, когда производилось дело г. Михайлова, носились слухи, что у г. Костомарова найдено воззвание к барским крестьянам, или два какие-то воззвания; что по судебному исследованию найден был автор этой рукописи или этих рукописей. Если какой-либо из этих слухов основателен, то мне нет надобности доказывать, что воззвание к барским крестьянам писано не мною.— На очной ставке со мною при втором из допросов, сделанных мне в марте, г. Костомаров упомянул, что это Воззвание (или эти два Воззвания) признано (или признаны) по суду за написанные им, г. Костомаровым. Но хотя эти слова его и совершенно в мою пользу, я не ссылаюсь на них, как на что-либо достоверное, потому что вообще в словах г. Костомарова слишком много

неточностей: я только прошу о поверке этих его слов справкою с его делом.

Прибавлю: носились слухи, что г. Костомаров в продолжение своего процесса переменял свои показания и постепенно дошел в них до таких странностей, что Следственная комиссия, производившая его дело, перестала принимать его показания к сведению. Этот слух также требует поверки справкою с делом г. Костомарова.

Вообще, справка с делами г. Костомарова и г. Михайлова должна объяснить много вопросов, решение которых, каково бы оно ни было, непременно устраняет обвинения против меня, извлекаемые из показаний г. Костомарова. Из этих вопросов, в предыдущем изложении фактов уже являлись следующие: когда и как даны показания г. Костомарова (если давно, я устраняю их как уже отвергнутые судом; если недавно, я устраняю их, как показания лица, лишившегося способности быть свидетелем); переменял ли г. Костомаров свои показания или нет (если переменял, они теряют силу доказательств по взаимному противоречию; если не переменял, то значит, они признаны за основательные судом, не призывавшим меня к ответу); открыт ли судом автор рукописи (или рукописей), найденных у г. Костомарова (если открыт, мне не в чем оправдываться; если нет, то одно из двух: г. Костомаров знает или не знает его; если знает, он неспособен быть свидетелем, как лицо, бывшее укрывателем; если не знает, его показания против меня неосновательны). Другие вопросы, требующие справки с делами г. Костомарова и г. Михайлова, будут представляться в последующем изложении фактов.

Сделав эти пояснения, относящиеся ко всем обвинениям против меня, извлекаемым из показаний г. Костомарова, перехожу к разбору каждого из этих обвинений в отдельности, повторяя, что по предыдущим объяснениям мне кажется, что я имею право отвергать их без всякого разбора, как незаслуживающие судебного рассмотрения, и прося снисходительности Правительствующего сената к моей ошибке, если, не будучи юристом, ошибаюсь в этом моем мнении.

4. Пояснения по показанию г. Костомарова, будто бы я читал ему и г. Михайлову „Воззвание к барским крестьянам“, как написанную мною вещь

Г. Костомаров (зимою 1860—61 года) однажды вечером приезжал ко мне с г. Михайловым. Когда меня спрашивали при следствии, где я видел г. Костомарова в первый раз, я не мог ручаться за то, что он когда-нибудь прежде этого не видел меня в лицо или не был в одних комнатах со мной. Человек, который по своим занятиям постоянно видит новые лица,—часто и не говорящие ему своей фамилии, из авторского самолюбия, чтобы не осталось у журналиста связанного с фамилиею воспоминания о какой-нибудь плохой отвергнутой им повести или статье,—такой человек не может ручаться за то, когда именно видел его кто-нибудь в первый раз. Приведу факт из своей жизни. Г. Краевский и г. Некрасов поступили бы очень опрометчиво, если бы

сказали перед судом, когда виделись со мной в первый раз. Без сомнения, каждый из них очень хорошо помнит, когда я был у него в первый раз в 1853 году, с которого начались наши литературные отношения. Но я видел того и другого несравненно раньше. Г. Краевскому я отдал (лично, в тогдашней конторе „Отеч. Записок“) перевод биографии г-жи Ментенон из фельетона Journal des Débats, в июле или августе 1846 года; и г. Краевский был так мил, что говорил со мною довольно долго и очень ласково; но перевод мой не годился для журнала. Он очень удивится, когда я напомню ему это обстоятельство. Точно также удивится г. Некрасов, когда я скажу, что в конце 1847 года или в начале 1848 года, я видел его и сказал с ним несколько слов в тогдашней конторе „Современника“, отдавая ему написанную мною тогда повесть (содержание которой были несчастия сироты-девушки, воспитывавшейся в институте, и потом попавшей в дурные руки),—повесть, которая тоже оказалась не заслуживающею печати. Конечно, я не напомнил ни тому, ни другому об этих свиданиях, когда начинал знакомство с ними через несколько лет, и был очень рад, что они совершенно забыли о них и встретили меня, как человека, никогда еще не виданного ими.

Но когда мне сказали, что г. Костомаров говорит, что не видел меня до своего приезда с г. Михайловым ко мне, то я полагаю, что это правда; по крайней мере, это согласно с моими собственными воспоминаниями. И когда теперь мне известно, что под первым свиданием моим с г. Костомаровым разумеется приезд г. Костомарова с г. Михайловым ко мне, то я могу объяснить, как это произошло.

В ту зиму (1860—1861 года) г. Михайлов бывал у меня довольно редко, почти всегда только по утрам, на короткое время, по делам „Современника“, корректуры которого тогда читал он. Но он знал, что мои знакомые собираются у меня сидеть вечера по средам. И вот, в одну среду вечером, он приехал ко мне с молодым человеком в уланском мундире, и рекомендовал его мне, как г. Костомарова, литератора. Когда они приехали, у меня уже находилось, когда они уехали, у меня еще оставалось несколько человек гостей. Я встретил г. Михайлова и г. Костомарова в зале, где сидел с гостями, и новые два сели в кругу прежних. Через несколько времени г. Костомаров сказал мне, что хочет поговорить со мною наедине; это очень обыкновенная вещь у литераторов, журналисты привыкли слышать такие желания и исполнять их: литературные дела так близко касаются авторского самолюбия, что о них очень часто говорят наедине. Я ждал обыкновенного для журналистов объяснения о литературных намерениях, просьб о советах по каким-нибудь стихотворениям или повестям и пошел с г. Костомаровым,—одним им,—в мой кабинет. Г. Михайлов оставался в зале с другими гостями и не входил в кабинет. Все время нашего отсутствия, он оставался безвыходно в зале. Через несколько времени, я и г. Костомаров возвратились в зал. Это факты, виденные моими гостями в ту среду.

Г. Михайлов привез ко мне г. Костомарова в такой вечер, в который у меня бывали гости. Из этого я вывожу, что привозя ко мне г. Костомарова, он не имел никакой тайной цели. Для тайных разговоров не выбираются вечера, когда у хозяина собираются гости.

Мой разговор с г. Костомаровым в кабинете весь, с начала до конца, происходил наедине. Г. Костомаров очень неудачно ввел в свое показание обстоятельство, неточность которого я в состоянии доказать. Так как в этом обстоятельстве,—присутствии г. Михайлова,—не было ему надобности для его целей, то из этого я вывожу, что его воспоминания очень сбивчивы.

Итак, наш разговор с г. Костомаровым в моем кабинете происходил совершенно наедине, как очень часто происходят разговоры журналиста с литератором,—и без особенного случая я не мог бы доказать, что содержание этого разговора было вовсе не таково, как говорит г. Костомаров. Но, к счастию, через несколько дней после того произошел следующий случай. У г. Некрасова был обед. Я и г. Михайлов находились в числе гостей. За обедом г. Михайлов обратился ко мне с укоризнами в том, что я охлаждаю молодых людей и что я возбудил этим неудовольствие г. Костомарова, который говорил ему (г. Михайлову), что разговор его (г. Костомарова) со мною в кабинете показал ему (г. Костомарову) во мне апатического человека, желающего, чтоб и все другие были, подобно мне (т. е. мне, Чернышевскому), апатичными гражданами, не думающими об общей пользе, заботящимися только о своих семейных делах. Г. Михайлов осыпал меня этими укоризнами почти с самого начала до самого конца обеда, довольно продолжительного. Он сидел довольно далеко от меня (я сидел на одной из узких сторон стола, г. Михайлов—близко к другой узкой стороне стола), так что он говорил со мною через весь стол, говорил громко и с жаром, заглушая разговоры между собою других обедавших, которые скоро почти все или все перестали говорить между собою, слушая наш разговор, состоявший из длинных горячих нападений Михайлова на меня и моих коротких холодных или шутливых ответов.

Это последствие моего разговора с г. Костомаровым показывает, что этот происходивший между мною и им наедине разговор имел с моей стороны направление и содержание прямо противоположные тому, что утверждает г. Костомаров.

Мне кажется, что я могу теперь ожидать веры в следующее мое показание о действительном содержании этого разговора. Вот оно. Г. Костомаров, начав речь с Сборника переводных стихотворений, который он издавал тогда, перешел к обыкновенным жалобам литераторов на цензуру, а от них начал было переходить к тому, что вообще дела у нас в России идут плохо,—но на этом совершенно еще неопределенном периоде его слов я остановил его шутливым вопросом, велико ли у него состояние, когда он служит репетитором в одном из московских кадетских корпусов,—я привык находить, сказал я, что между преподавателями кадетских корпусов нет людей очень богатых

(о том, где он служит, я спрашивал у него прежде, когда мы сидели в зале). — „Никакого состояния, кроме маленького, разваливающегося домика у моей матушки". — Ах, у вас есть матушка? — спросил я иронически. — „И сестры", — отвечал он. — Вот как, у вас есть матушка и сестры, — сказал я с еще более горькой иронией, — и, вероятно, живут доходами с этого разваливающегося домика? — „ Нет, какой же с него доход" — отвечал он уныло — „я содержу их своею работою и жалованьем". — А когда так, — сказал я серьезным тоном, — то вам следует думать не о том, хорошо или дурно идут дела в России, а о вашем семействе, которое вы обязаны содержать вашими трудами,—сказав несколько слов на эту обыкновенную тему обыкновенным тоном людей, успевших поостыть и читающих, по всякому малейшему поводу, нотации молодым людям о семейных обязанностях и рассудительности, — я встал, и мы возвратились в зал.

Я перервал г. Костомарова так рано, что он не только не успел дойти до каких бы то ни было намеков о каких-нибудь тайных своих делах, но и не успел сказать ровно ничего особенного, — немногие слова, которые успел сказать он о плохом, по его тогдашнему мнению, ходе дел в России, были так неопределенны и бледны, что показались мне не больше, как попыткою того, что называется „полиберальничать", — обыкновенною замашкою очень многих, скучною для меня.

В горячих укоризнах, деланных мне г. Михайловым за обедом у г. Некрасова, также не было ничего такого, что могло бы возбудить во мне предположение о каких-нибудь тайных делах или намерениях г. Михайлова или г. Костомарова. Это само собою следует уже из того, что он говорил при нескольких лицах, открыто, громко. Я знал г. Михайлова за человека пылкого, но очень мало занимающегося политическими вопросами,— да и разгорячился тогда он вовсе не по какому-нибудь политическому вопросу, а из-за того, что я назвал бездарным стихоплетом г. А. Майкова (известного поэта), — г. Михайлов вспыхнул, начал говорить, что у меня нет эстетического чувства, что я унижаю искусство, отвергаю поэзию, отвергаю все высокое и благородное, что мой взгляд — холодит, леденит все благородные порывы, — вот каким рядом мыслей дошел он до того, что я охолодил и тем рассердил г. Костомарова, — и поэтому слова г. Михайлова в своей неопределенности не имели никакого политического смысла.

Но если не было ничего замечательного в содержании слов г. Михаилова, то все-таки ведь они говорились в укоризну мне, — это была сцена, неприятная для меня: полчаса слушать брань на себя, — хоть и от доброго знакомого, — это такой случай, на который не стоит сердиться, но который невольно запоминается, с обстоятельствами, к которым он относится. Вот причина, по которой врезались в моей памяти черты моего разговора с г. Костомаровым.

Но сам по себе, этот разговор не был важен; да и весь вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михай-

ловым, тоже не был важен; вот объяснение тому, что у г. Костомарова осталось слишком слабое воспоминание об этом вечере и этом разговоре, так что, делая показание, он не мог сообразить, что вводит в него такую черту, неточность которой я могу доказать, — то-есть мнимое присутствие г. Михайлова при нашем разговоре.

У меня никогда не было никакого разговора втроем с г. Костомаровым и г. Михайловым без других свидетелей. Я видел г. Михайлова и г. Костомарова вместе только один раз, и в этот раз г. Михайлов не выходил из моего зала, где сидел с другими моими гостями.

Г. Костомаров ввел в свое показание другое обстоятельство, которого не вздумал бы утверждать при близком знакомстве с моими привычками. Он говорит, будто я читал ему и г. Михайлову вещь, написанную мною. Всякий близко знающий [меня] знает, что это — нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцованье балетных танцев и собиранье милостыни под окнами. Автор только по одному из двух следующих побуждений читает кому-нибудь что-нибудь написанное им: или из авторской любви к написанному, когда дорожит тем, что написал; или по авторской скромности, чтобы просить замечаний, советов. Но всем моим хорошим знакомым известно, что в моих глазах не имеет никакой важности ничто из того, что я пишу. Быть может, когда-нибудь я напишу что-нибудь, чем буду дорожить; но это будет не политический памфлет, а большое философское сочинение. А все, что я писал до сих пор, я считаю ничтожным для себя. Я, как литератор, чрезвычайно горд, но именно по чрезмерной гордости чужд авторского тщеславия. Мне противно даже слушать, когда говорят о чем-нибудь, написанном мною, — с похвалою ли говорят, или с порицанием, или тоном безразличным, все равно, — я немедленно поворачиваю разговор на другой предмет. При такой чрезвычайной гордости, натурально, что я не могу читать и для того, чтобы спрашивать советов или замечаний у кого бы то ни было. Это было бы унизительно для меня. Я имею гордость думать, что как писатель не нуждаюсь ни в чьих мнениях и советах, и сам лучше всех знаю достоинства или недостатки того, что пишу. Я никогда ни у кого не спрашивал мнения или совета ни о чем, что писал или пишу.

То, что г. Костомаров мог ввести в свое показание такое неимоверное обстоятельство, будто бы я читал что бы то ни было написанное мною, объясняется только тем, что он не был никогда близок ко мне и потому не знает моих обычаев.

Прибавлю: по словам самого г. Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтоб я стал выдавать себя за государственного преступника, чтоб отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз? Я дорожу своею головою больше, чем предполагал г. Костомаров, делая такое показание.

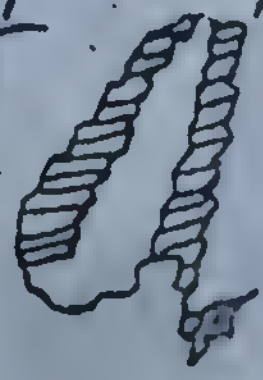
5. Пояснения на показание г. Костомарова о посещениях, сделанных ему мною в бытность мою в Москве весною 1861 года, и о записке, будто бы оставленной мною ему в это время.

Г. Костомаров говорит, что в один из дней, которые провел я в Москве весною 1861 года, когда он возвратился домой, ему отдали записку, со словами, что она оставлена ему мною, не заставшим его дома. — В дополнение к этому найдено, что г. Яковлев показывает, будто бы я, не заставши дома г. Костомарова, написал ему (г. Костомарову) записку, и, как кажется г. Яковлеву, написал ее на лоскуте бумаги, уже исписанном с другой стороны. — О способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем, я буду говорить ниже, по поводу его показания о моем посещении г. Костомарова в августе 1861 года. Здесь же я разбираю не качества показывающих лиц, а только существо самого дела.

Мне показывали записку на лоскуте бумаги, другая сторона которого исписана чем-то. Я сделал на ней надпись, что не признаю почерка этой записки своим, что он ровнее и красивее моего.

В пояснение этого, обращу внимание на две из тех особенностей, которыми ровные и красивые почерки отличаются от неровных и некрасивых. Строка состоит из трех частей: 1, росчерки, выдающиеся вверх; 2, росчерки, выдающиеся вниз; 3, средняя основная полоса строки. Пример — в этом слове „примѣр“ буквы *р* имеют росчерки вниз, буква *ъ* — росчерк вверх, буквы *и, м* не должны выдаваться ни вверх, ни вниз из основной средней полосы строки. В ровном почерке линии, проведенные по верхним и нижним оконечностям букв и частей букв, не выходящих из основной средней полосы, должны быть прямые параллельные линии; в неровном они — ломанные линии, то сходящиеся, то расходящиеся. Пример: слово *наша*, тут все части всех букв должны оставаться в основной средней полосе строки; в ровном почерке верхние и нижние части этого слова представляются в таких линиях, в неровном в таких.

Прямые части букв, занимающие эту среднюю основную полосу строки, в ровном почерке все имеют одинаковое наклонение к горизонтальной оси строки, а согнутые части — части эллипсисов, имеющих один размер, то-есть, одинаковую степень собственной искривленности, или целые ровные эллипсисы; эти части эллипсисов и эллипсисы все имеют центр на одной прямой и горизонтальной линии, то-есть одинаковое наклонение к оси строки. В неровном почерке ни одна из этих одинаковостей не соблюдается. Пример: *теплота*. Здесь в ровном почерке первые линии букв *т* и *п* одинаковы и одинаково наклонены; последние линии букв *т, п, л, т, а*, также, бо́льшая округлость буквы *е*, буква *о* и первая половина буквы *а* — также. В неровном почерке этого не будет. Словом, ровный почерк в этом отношении представляется линиями... а неровный линиями...

выпилить буквы, либо обыкновенная сапожная [illegible]
двигать руки, то эти искусственныя средства обладаютъ очень ярко
слѣдующими качествами. Изъ нихъ и слѣдуетъ заключить, объ мог-
ли вырѣзываемыя буквы. Поэтому, укажу средство распознать выре-
занныя буквы отъ напечатныхъ свободными движеніями. Это средство
— сильная лупа, или микроскопъ увеличивающій въ 10 или 20 разъ
Вырѣзанныя буквы являютъ въ увеличенномъ видѣ обрывки по толстотѣ ли-
ній, въ буквахъ естественнаго почерка всегда толстыя: въ тонкихъ
и тонкія въ болѣе толстыя постепенно. Примѣръ: прописная буква
а, — отдѣльная, вырѣзанная она, или напечатана свободно и
двойная быстро. Въ первомъ случаѣ, она подъ микроскопомъ уви-
дится въ такомъ видѣ  (тонкія, какъ перья штрихи, соединяются
ровными линіями, образуя собою сплошную массу).

Такимъ будетъ видъ рисованной буквы, видъ буквы, напечатан-
ной свободно, будетъ тоесть, при вырѣзываніи буквъ,
край бумаги имѣетъ постепенную стекловидную ломаную линію,
между тѣмъ какъ въ обыкновенномъ почеркѣ онѣ имѣютъ тенден-
цію быть кривою или прямою линіею.

Я не знаю спеціально правилъ распознаванія почерковъ, почему
прилагаю лишь открытыя мною, какія имѣю случаи хищеній
изъ этого изобрѣтенія гражданскихъ процессовъ. Изъ случаевъ недо-
статочности этихъ [illegible] особенныхъ знаковъ приложенныхъ распознаванія
почерковъ, прошу Правительствующій Сенатъ имѣть приступить къ
пятнамъ изъ дѣлающихъ дѣла этого научныхъ средствъ, какія могутъ быть
допущены по закону.

Слѣдователь [illegible] Б

Прошу сравнить мой почерк с почерком записки, напрасно мне приписываемой, в этих двух отношениях.

Мой почерк гораздо хуже почерка записки в обоих этих отношениях. Можно нарочно написать худшим, но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать. В ломанном почерке не могут уменьшиться недостатки подлинного почерка.

Если же, чтобы уменьшить эти недостатки подлинного почерка для замаскирования руки в ломанном почерке будут употреблены особенные средства: проведение линеек, очень медленное черчение (вырисовывание) букв вместо обыкновенного довольно быстрого и свободного движения руки, то эти искусственные средства оставляют очень яркие следы на написанном. В комиссии я слышал замечание: „ вы могли вырисовывать буквы". Поэтому, укажу средство распознать вырисованные буквы от писанных свободным движением. Это средство — сильная лупа, или микроскоп, увеличивающий в 10 или 20 раз. Вырисованные буквы явятся с резкими обрывами по толстоте линий, в буквах естественного почерка переход толстого в тонкое и тонкого в толстое гораздо постепеннее. Пример. Дана буква *а*, — спрашивается, вырисована она, или написана свободно и довольно быстро? В первом случае, она под микроскопом явится в таком виде (рис. 1) (части, перечерченные поперечными линиями, представляют собою сплошную массу). Таков будет вид рисованной буквы; вид буквы, написанной свободно, будет (рис. 2). То-есть, при вырисовывании букв, край черты имеет тенденцию становиться ломанною линиею, между тем, как в обыкновенном почерке он имеет тенденцию быть кривою или прямою линиею.

Я не изучал специально правил распознавания почерков; потому привожу лишь отрывочные сведения, какие мне случилось приобресть из чтения иностранных гражданских процессов. В случае недостаточности этих сообщенных мною приемов распознавания почерков, прошу Правительствующий сенат разрешить мне прибегнуть к тем из даваемых для этого наукою средств, какие могут быть допущены по закону.

Осмелюсь сказать следующее: я бы никак не подумал делать указания на приемы, употребляемые для распознавания почерков, если бы не был и не оставался в недоумении о том, каким образом было возможно приписывать писанную не моим почерком записку мне, имеющему почерк, дикая своеобразность которого режет глаза. Мой почерк так дик, что когда, бывало, в школе товарищи дурачатся, по школьническому обыкновению подделываясь под почерки друг друга и учителей, я бесился от решительных неудач написать что-нибудь похожее на обыкновенные почерки.

Относительно общеизвестного приема распознавания почерков, состоящего в сличении фигуры отдельных букв, прошу обратить внимание, между прочим, на следующие буквы и группы букв:

е, с, г выходят в моем почерке очень часто похожи друг на друга;

группа *ес* выходит подобно букве *и* (иногда бывает трудно разобрать в моем почерке *если* от *или*);

форма буквы *з* в моем почерке;

постоянная уродливость буквы *и* (первая черта обыкновенно бывает слишком велика перед второю, расстояние между ними вверху очень часто бывает слишком мало сравнительно с нижнею частью);

почерк очень часто перерывается, гораздо чаще, чем в обыкновенных почерках; эти обрывы бывают между прочим на буквах *и, л, м,* после которых не обрывается обыкновенный почерк.

В настоящем показании особенности моей руки являются менее ярко, чем в вещах, написанных стальным пером или карандашом,—притом же, я пишу это показание крупно и тщательно. Для сличения, удобнее могут служить вещи, писанные карандашом, подобно присваиваемой мне записки; таких вещей много между моими бумагами.

Сделав эти пояснения, я утверждаю, что почерк приписываемой мне записки: 1) не имеет сходства с моим почерком и относится к почеркам совершенно другого характера;

2) что он не есть ни ломанный почерк, ни вырисованный почерк, то-есть, что неизвестное лицо, писавшее эту записку, писало ее свободным и быстрым движением руки;

3) что я, как бы ни старался, не мог бы написать так ровно.

Кончив эти пояснения о почерке записки, перехожу к другим сторонам вопроса о ней.

Писать и оставлять записку, которая, если бы была действительно моя, служила бы прямою уликою,—это такая глупость, которая решительно несогласна ни с моею известностью, как человека не глупого, ни с моим мнительным характером. Если б я был такой преступник, каким выставлен в показаниях г. Костомарова, и с тем вместе такой опрометчивый глупец, каким следовало бы назвать меня, если б я написал эту записку, то конечно против меня были бы сотни улик более солидных, чем эта записка и вообще те обвинения, которые я опровергаю теперь.

Я был в Москве весною 1861 года, и заходил тогда к г. Костомарову—то и другое обстоятельство я обращаю в доказательство тому, что я не находился ни в каких преступных сношениях с ним и не предполагал, чтобы он был замешан в каком-нибудь деле тайного печатания. Недели за две перед моею поездкою было отправлено в Москву лицо, служившее по политической полиции, отправлено с поручением разыскать тайное, литографированье и печатание, производившееся тогда в Москве. Я знал это по слуху, который был тогда известен всему Петербургу, и по такому же слуху я знал, что это лицо еще остается в Москве в то время, когда я поехал туда. Мне, как и всему литературному кругу, было известно, что политическая полиция давно имеет надзор за мною. Сверх того, я должен был думать, что само дело, по которому ехал я в Москву, обратит на себя внимание политической полиции (ниже я

объясню это дело), и что поэтому надзор за мною в Москве будет особенно бдителен. Если бы я действительно был прикосновен к делу тогдашнего московского тайного печатания, то у меня по всей вероятности достало бы осторожности, чтобы не ездить в Москву в такое опасное (в случае моей прикосновенности) время. Ехать для предупреждения моих соучастников (в случае моей прикосновенности) было уже поздно; если б у меня была эта мысль, я поехал бы двумя неделями раньше. Ехать в то время, когда поехал я, значило бы (в случае моей прикосновенности) уже только понапрасну лезть в петлю. И, без всякого сомнения, у меня достало бы благоразумия не бывать в доме г. Костомарова, если б я предполагал, что он занимается тайным печатанием, которое разыскивается политическою полициею, имеющею надзор за мною. Если б я был его соучастником или знал о его участии в тайном печатании, то я конечно сообразил бы, что своими посещениями выдаю его и себя.

То, что я посещал г. Костомарова в бытность мою в Москве весною 1861 года, приобретает характер нравственной возможности только при принятии за истину того, что я не был с ним в тайных сношениях и не знал о его участии в тайном печатании.

Прибавлю: когда я познакомился с г. Костомаровым и стал оказывать участие к нему, то оказалось, что некоторые из моих знакомых знают его ближе, чем г. Михайлов. От них я услышал, что он человек, во-первых, не умеющий молчать; во-вторых, расположенный выдавать свои мечты за факты. Когда я был у него в Москве в первый раз, я уж имел эти сведения о нем. Конечно, их было бы достаточно для меня, чтобы прекратить всякие сношения с ним, если б эти сношения имели сколько-нибудь тайный или рискованный характер. Но так как я имел с ним дело только как с молодым, начинающим литератором, то для меня было все равно, скромен он или не скромен, прикрашивает или не прикрашивает факты,—при совершенной невинности и несекретности моих отношений к нему мне нечего было опасаться ни от нескромности, ни от наклонности прикрашивать факты.

Дело, по которому я ездил тогда в Москву, было следующее. Несколько петербургских литераторов, собравшихся в квартире г. Вернадского, выслушали и с некоторыми изменениями одобрили основные черты новых правил цензуры, написанные г. Вернадским, и положили подать об этом просьбу г. министру народного просвещения. Надобно было кому-нибудь отправиться в Москву для предложения участия в этом деле московским литераторам. Г. Вернадский вызывался ехать,—но не раньше, как недели через две или три. А в тот самый день, как было это собрание, „Современник“ получил сильную цензурную неприятность, которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшениях, и потому я сказал: „что откладывать в долгий ящик; если присутствующие согласны поручить это мне,

я поеду завтра или послезавтра". Они согласились, и я действительно поехал через полуторы сутки. По приезде в Москву тотчас же поехал к г. Каткову, важнейшему тогда из московских журналистов; он собрал у себя других; я был на этом собрании,—проект г. Вернадского был принят с некоторыми изменениями, г. Каткову было поручено написать записку и подробные правила; я почел свое поручение исполненным и уехал в Петербург.

6. Пояснения на показание г. Костомарова, будто я диктовал ему воззвание к раскольникам

Г. Костомаров утверждает, будто бы я диктовал ему в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам. Он не вздумал бы говорить о Знаменской гостинице, если б был ближе знаком со мною. Нет на свете человека, менее меня расположенного к посещению гостиниц, ресторанов и всего тому подобного. Г. Костомаров напрасно основался на слухе, будто бы я кутила. Нет, я не охотник кутить.

Когда я сказал это на первом из мартовских допросов, то у г. Костомарова, явившегося при втором мартовском допросе на очную ставку, было готово объяснение такому обстоятельству, как мой обед с ним в Знаменской гостинице. Он сказал: „Вы повели меня в гостиницу потому, что ваш (т. е. мой, Чернышевского) кабинет был неудобен для диктования". Но эти слова г. Костомарова показывают только, что он забыл положение моего кабинета в тогдашней моей квартире (на Васильевском острове, во 2 линии, в доме Громова). Нельзя было бы желать комнаты, более удобной для тайной диктовки. Эта комната отделена от других коридором.

Но эта комната имела менее хорошие обои, менее красивую печь, менее красивые полы, чем другие комнаты той квартиры; вероятно, г. Костомаров слышал какие-нибудь порицания моей комнаты по сравнению с другими в этих отношениях,—перезабыл, спутал,—подумал, что она неудобна для нужной ему тайной диктовки, и поэтому выстроил своею мечтою Знаменскую гостиницу. Напрасно. Очень удобно было бы поместить тайную диктовку в мой кабинет. Тогда одним неправдоподобием было бы меньше.

Но если бы мой кабинет и действительно был неудобен для тайной диктовки,—то ведь я очень хорошо знаю, что гостиницы еще гораздо неудобнее для таких занятий. Уж лучше было бы нам с г. Костомаровым отправиться для диктовки к г. Михайлову, если мои отношения с г. Михайловым и с г. Костомаровым были таковы, как говорит г. Костомаров. Или и у г. Михайлова не было удобной для того комнаты?

7. Пояснения о способности или неспособности г. Яковлева быть свидетелем

На допросах в марте и на первой очной ставке моей с г. Костомаровым еще не представлялось ничего преступного в

посещении, которое сделал я г. Костомарову в августе 1861. Но на апрельском допросе был выведен на очную ставку со мною г. Яковлев и сказал, что слышал, как я просил в это время г. Костомарова печатать воззвание к барским крестьянам. Г. Костомаров только уже подтвердил это.

В начале очной ставки г. Яковлева спросили, узнает ли он меня; но меня не спросили, не имею ли я причины отвода против г. Яковлева. Но когда по окончании очной ставки он вышел, я сказал: „Предостерегаю комиссию против этого свидетеля". Если остается хотя малейшая тень подозрения на мне от его показания, я прошу у Правительствующего сената разрешения пояснить эти мои слова.

Теперь скажу только следующее. Я не знаю, в качестве ли свидетеля, или только оговаривающего соучастника является г. Яковлев. Если в качестве свидетеля, то (прося у Правительствующего сената снисхождения к моей ошибке, когда такое мнение мое ошибочно) я полагаю, что он не имеет способности быть свидетелем. Если он сделал свои показания в недавнее время, то он был укрывателем, и следовательно есть лицо прикосновенное к делу. Если же он не был укрывателем, то-есть немедленно сообщил правительству о преступном разговоре, который будто бы слышал, в августе 1861, то, так как я не был тогда ни арестован, ни призван к ответу, из этого следует, что его показания против меня были во время процесса г. Костомарова найдены неосновательными, и что я не имею нужды разбирать их. Но от этой формальной стороны обращаюсь к существу дела.

8. Пояснения по показаниям гг. Костомарова и Яковлева о посещении мною г. Костомарова в августе 1861 года.

Показания представляют меня гуляющим по саду. Я не гуляю и не прохаживаюсь. Исключение бывает лишь когда я бываю принужден к тому желанием лица, пред которым обязан держать себя слишком почтительно, по его официальному званию. Я терпеть не могу ходить по комнате или по саду.— Это было очень ясно видно во время моего ареста. Сначала я думал, что тяжесть в голове, которую я чувствовал в первый месяц ареста, происходит от геморроя, и принуждал себя ходить по комнате для моциона. Но как только я заметил, что это боль не геморроидальная, а ревматическая, происходящая от того, что я лежал головою к окну, я стал ложиться головою в противоположную сторону от окна, и с того же дня перестал ходить,—абсолютно перестал ходить по комнате. Когда меня приглашали выходить в сад, я сначала выходил, воображая, что в это время обыскивается комната и что я возбудил бы подозрения отказом удаляться из нее; но месяца через три я убедился, что обысков не делают, подозревать не станут,—и как только убедился в этом, стал отказываться выходить в

сад. Так я абсолютно не сделал ни одного шага для прогулки по комнате до сих пор с начала сентября, —не выходил в сад с октября. Исключением были несколько дней в конце апреля, когда я принуждал себя к тому и другому по гигиенической надобности; она прошла—и вот уж больше месяца я опять бываю исключительно только в двух положениях: сижу и лежу.

Неужели я с осени предвидел, что это понадобится для возражения г. Яковлеву?—Но не предвидел же я этого за двадцать лет назад. А я по крайней мере 20 лет абсолютно не гуляю. Прогуливаться—мне скучно и противно. Это известно моим знакомым. С кем из них когда я ходил по комнате или по саду?—Ни с кем, никогда.

Я все время, когда был у Костомарова в августе 1861, просидел с ним в беседке.

Г. Яковлев говорил на очной ставке: „Г. Костомаров не повел вас (меня, Чернышевского) в беседку потому, что там был я“ (т. е. г. Яковлев). Кто знает меня, знает, что если бы г. Костомаров сказал: „в беседку итти нельзя“, — то я тотчас бы уселся на скамью, — если бы скамьи не было, я пошел бы с г. Костомаровым сидеть в комнатах; если б нельзя было сидеть в комнатах, я все время простоял бы, прислонившись к стене или дереву, или лег бы на землю, но гулять не стал никак и ни за что.

Г. Яковлев ввел в свое показание (а г. Костомаров подтвердил) мое невозможное гулянье по саду только потому, что оба они не знали моих особенностей.

Итак, г. Яковлев, говоря, что я и г. Костомаров не входили в беседку потому, что он был в ней, этим самым признает, что я и он, г. Яковлев, не могли быть вместе в беседке. Я утверждаю, что в беседке был я.

Чем доказать, что я был в беседке? Я описал г. Костомарову (на очной ставке) расположение мебели в ней. Положим, я мог говорить наудачу, и отгадать. (Хотя г. Костомаров после этого моего описания сказал: „Быть может, мы с вами и входили в беседку, но все-таки гуляли и по саду“). Но вот чего уж никак нельзя было отгадать, не видевши: на столе в беседке стоял мой портрет, в величину обыкновенного, фотографического, — но не фотографический, а рисованный. „Как это вы нарисовали?“ — спросил я. — На-память, — отвечал он. Кажется, ясно теперь, что в беседке был я.

Следовательно, неосновательны слова г. Яковлева, будто бы он, сидя в беседке, слышал отрывки разговора между мной и г. Костомаровым, гулявшими по саду. И следовательно, напрасно подтверждал эти слова г. Костомаров.

Но в беседке или саду, сидя или прогуливаясь, будучи или не будучи слышим г. Яковлевым, говорил ли я в августе 1861, чтобы г. Костомаров напечатал „Воззвание к барским крестьянам“?

Решить это поможет решение вопроса: когда было написано „Воззвание к барским крестьянам“? До высочайшего манифеста?

Или по его обнародовании, но до Бездниинского дела (о котором конечно не мог бы не упомянуть автор)? Или после того, но до получения известий, что крестьяне повсюду неохотно принимают уставные грамоты (до этого и после этого должно быть совершенно разное содержание)? Вопрос о времени, когда написано воззвание, вероятно бесспорно решается его содержанием.

По словам г. Костомарова, оно было написано до весны. В словах г. Костомарова столько неточностей, что ни на одно из них невозможно опереться. Но если „Воззвание" действительно было написано до весны, оно уже никуда не годилось в августе. Когда я сказал это г. Костомарову (на очной ставке), он даже не понял моих слов (значит, мы с ним не говорили о Воззвании ни в августе, ни когда прежде, иначе, он понял бы меня на очной ставке). „Конечно, вы говорили тогда, что весною оно имело бы больше действия", — сказал он. Не в том дело, наплыв новых фактов с весны до августа был так велик, что все содержание писанного до весны должно было никуда не годиться. Видя, что он не понимает этого, я сказал: „Мы с вами литераторы, мы должны понимать, что писанное в феврале никуда не годится по своему содержанию в августе". — „Но набор был цел", отвечал он мне на это. — Это требует справки с делом г. Костомарова. Если я был его соучастником, то я знал, что делается у него. Был ли цел набор, был ли цел станок у него 17 или 18 августа, когда я проезжал через Москву? — Если нет, то он, когда бы я был его соучастником, мог бы рассказывать мне об уничтожении станка и набора, если это не было сообщено мне прежде. Но уж никак в этом случае не оставалось места моей мнимой просьбе о печатании.

Если же станок и набор были целы, является другое соображение. Когда я выехал из Петербурга, весь Петербург уже знал, что в Москве арестованы некоторые лица, обвиняемые в тайном печатании. И, без сомнения, я стал бы просить г. Костомарова не о печатании, а об уничтожении всяких следов печатания. А вернее всего, что я не показал бы носа к г. Костомарову.

Я мог быть у него только потому, что знал себя и считал его нимало не прикосновенным к делу тайного печатания.

Но все-таки, зачем я был у г. Костомарова в августе? Когда я прожил весною несколько дней в Москве, я от нечего делать навещал и знакомых, и полузнакомых, и почти незнакомых (например, г. Маслов, управляющий московскою удельною конторою, скорее почти незнакомый, чем полузнакомый мой, особенно тогда; после, мы встречались раза три в обществе, когда он приезжал в Петербург). Но в августе я приехал в Москву с петербургским поездом, выехал из нее в тот же день с владимирским,—не показывает ли короткости, что я поскакал на свиданье с г. Костомаровым? Дело в том, что я поехал вовсе не к нему. Переехав с петербургской станции на владимирскую и взяв билет, я написал письмо к жене. Мне сказали: с этой

станции оно не попадет на нынешний петербургский поезд,—отправляйтесь в отделение почтамта. Я повез письмо. Отдав письмо, я подумал: если уж попал в город, то заеду к Плещееву. Поехал,—но вспомнил, что его нет в Москве, сказал извозчику „стой“ и начал думать, куда бы поехать. — При моем отъезде из Петербурга, Добролюбов дал мне адрес г. Головачева, сказав, что быть может г. Головачев годится в сотрудники „Современника“. Я поехал по этому адресу: собственный дом, на каком-то бульваре. „Дома г. Головачев?—Нет,—отвечала служанка. Выходя из калитки, я взглянул—перед глазами Екатерининский институт. „А, да это рядом с Костомаровым,—зайду к нему покурить“,—и зашел. Но зашел только покурить. Г. Костомаров, на очной ставке, сказав сначала, что я пробыл у него долго, согласился потом, что я торопился ехать, говоря: „опоздаю на поезд“,—точно, я говорил это: ведь неловко же сказать: мне скучно сидеть с вами, я зашел только выкурить папиросу,—потому что боюсь курить на улицах.—На самом деле, я не мог опасаться опоздать,—я приехал на станцию очень задолго до первого звонка—вероятно, слишком за час,—это можно поверить. При мне происходила сцена между военным и мужчиною высокого роста, сухощавым, в русском костюме,—это было очень задолго до первого звонка. Полиция должна знать это. Итак, я предпочел курение у г. Костомарова некурению, одинокое курение на станции курению в разговоре с г. Костомаровым,—вот пределы, показывающие степень нашей интимности.

Повторяю: быть внимательным и оказывать услуги—выгода журналиста и качество моего характера; но от этого еще очень далеко не только до тайных отношений, но и до хорошего знакомства; не только до хорошего знакомства, но и до того, чтоб не предпочитать сиденье на станции сиденью с ним.

9. Общее заключение пояснений по всем обвинениям, выводимым из показаний гг. Костомарова и Яковлева

Если остается на мне хотя малейшая тень подозрения по этим обвинениям, то я прошу Правительствующий сенат разрешить мне употребление средств для получения более полных опровержений. Средствами к тому я нахожу: то, чтобы мне дано было пересмотреть дела г. Михайлова и г. Костомарова,—в них должно быть много вещей, разрушающих настоящие показания гг. Костомарова и Яковлева; то, чтобы мне дано было рассмотреть „Воззвание к барским крестьянам“,—так как оно не писано мною, то я ожидаю найти в самом его содержании приметы того, что оно не писано мною; позволить мне внимательно рассмотреть записку, отвергаемую мною. Упоминая особенные средства к раскрытию истины, я конечно, не отважусь считать нужным для меня перечислять общие средства к тому, полезные для всякого подсудимого: мои судьи сами,

лучше, нежели мог бы сделать я, откроют все те способы к защите, какие могут быть доставлены мне из этих общих средств.

10. Пояснения по некоторым из вопросов, порождаемых предыдущим изложением или изустною частью допросов, деланных мне во время следствия

Я ссылаюсь на мои письма к его величеству и к его светлости г. спбургскому генерал-губернатору в пополнение моего настоящего показания. Но в них есть одно утверждение, которого я не могу повторить теперь. Я в них говорю, что против меня нет обвинений,—теперь, против меня выставлено много обвинений. Как мог я говорить тогда, что против меня нет и не может быть обвинений, и что я должен сказать теперь вместо этого?

Чтобы отвечать на это, прежде всего нужно знать: когда явилось в следствии, производившемся надо мною, каждое из показаний или обстоятельств, служащих материалами для обвинений. При допросе 30 октября мне не было сказано, что есть письмо, говорящее о согласии Герцена издавать со мною журнал,—находилось ли тогда это письмо в руках комиссии?—Мне не было сказано о картонных лоскутках,—имела ли тогда комиссия в виду эти лоскутки, и считала ли их достойными того, чтобы спрашивать о них, не шифр ли они?—и так далее, по каждому обвинению. Как из положительного, так и из отрицательного ответа на каждый из этих вопросов является новый вопрос. Из положительного ответа, является вопрос: если это обвинение существовало, почему не спрашивали о нем? Из отрицательного ответа является вопрос: почему ж этого обвинения не было тогда в руках комиссии, или почему она прежде не находила, а потом нашла его достойным быть предметом допроса?

Вот факты: я был арестован 7 июля. Первый допрос мне был сделан 30 октября. Но это допрос — говорю не в порицательном, а в юридическом смысле слова, не заключающем в себе ничего предосудительного—чисто только формальный,—он совершенно удовлетворительно исполнял юридическую форму, необходимость и почтенность которой я вполне понимаю и ценю: отобрать у подсудимого показания о имени, звании, летах и проч.; я знаю, что эта форма служит для ограждения подсудимого, и уже одна сама иногда открывает его невинность. Но существа дела этот допрос не представлял. Существо дела явилось только на первом мартовском допросе, более чем через восемь месяцев после моего ареста.

Эти факты многознаменательны;—я еще не имею права говорить, в какую сторону они многознаменательны; это право даст мне или отнимет у меня приговор моих судей;—но они в том, и другом случае многознаменательны.

Когда я был призван в комиссию 1 или 2 ноября (не для допроса, а для формальной замены некоторых моих выражений

другими,—замены, почтенность которой я вполне понимаю), один из членов комиссии,—я теперь знаю его имя, он сказал мне его 28 апреля, это г. Огарев,—я сказал ему в глаза, что считаю человеком честным и хорошим, и конечно не скажу за глаза меньше,—скорее я говорю в подобных случаях больше за глаза, чем в глаза,—но не потому я составил себе очень выгодное мнение о его честности, чтоб он защищал меня на допросах,—напротив, он живее всех налегал на то, чтоб я признал записку за мою, а лоскутки—за шифр, но я могу понимать и всегда ценю, когда человек честно высказывает свое мнение,—все равно, ошибочно ли или справедливо само это мнение на мой взгляд, в мою ли пользу оно, или против меня,—я в том и другом случае одинаково признаю его честность и уважаю за него человека,—итак, г. Огарев 2 ноября сказал мне, что за несколько времени перед моим арестом, я более или менее официальным образом спрашивал, могу ли я получить заграничный паспорт. Я прошу Правительствующий сенат исследовать истину по этому вопросу. Лицо, манеры и тон голоса г. Огарева всегда внушали и теперь внушают мне полную уверенность, что он никогда не унизится до уловок для получения признания,—да это и говорилось вовсе не к тому, чтобы получить от меня показание,—нет, он конечно считал основательным сведение, которое высказывал. Такое сведение важно, если основательно, для подкрепления обвинения меня в намерении эмигрировать, если же неосновательно, то как пример того, что гг. члены Следственной комиссии могли иметь неверные сведения обо мне и принимать их за верные,—то-есть с полною добросовестностью ошибаться во вред мне. Где, как, у кого я более или менее официальным образом спрашивал, за несколько дней перед моим арестом, могу ли я получить заграничный паспорт?—Мне кажется, что это заслуживает исследования; если же не заслуживает, прошу Правительствующий сенат извинить то, что я напрасно утруждал его представлением этого моего мнения.

В изустных объяснениях на допросах в Следственной комиссии я говорил многое из того, что письменно представляю теперь Правительствующему сенату в свою защиту; но многого не говорил. Почему же я не говорил тогда? Если это не разъяснится самым ходом моего процесса, то я с полнейшею готовностью объясню это Правительствующему сенату, точно так же, как и все, что потребует объяснения, по мнению Правительствующего сената. Это показание дал 1 июня 1863 года Правительствующему сенату отставной титулярный советник Н. Чернышевский.

Акт сличения почерка руки

(Сенатское производство, л. 39)

1863 года июня 19-го дня в Присутствии I отделения 5-го департамента правительствующего сената г. г. секретари сличали почерк руки титулярного советника Чернышевского на

стр. 58 подлинного дела и ответах его 30-го октября 1862 года данных с почерком, коим писана карандашная записка на 304 листе подлинного дела находящаяся, и нашли:

Два: В общем характере почерка между признаваемыми Чернышевским документами и запискою, им не признаваемою, есть разница, но буквы **ж** и **з** писано везде совершенно одинаково, в особенности буква **ж** между первой и второй палочкою расстояние больше нежели между 2 и 3. Способ писания букв **л, я** и **ъ** везде одинаков. Все это приводит их к убеждению, что на записке было сделано умышленное извращение почерка, тем более, что и в этой записке видно различие в написании одних и тех же букв, напр.В.

Три: Между признанными Чернышевским документами и запискою, им не признаваемою, сходства в общем характере почерка нельзя признать, но есть много отдельных букв, имеющих сходство; таковы: б, з, м, р, л (L), Д, я, т (j.)

Два: Характер почерка между запискою им признаваемою и непризнаваемою различен, кроме слова, помещенного на третьей строке первым,—отдельные же буквы з, ж, б, к, Д, весьма сходны.

И один: В записке, писанною карандашом (л. 58 в деле) с другою запискою, тоже писанною карандашом (л. 304 в деле), он в общем почерке руки не находит сходства кроме литер **В, Д, з, ж** и **р** в некоторых словах.

Постановление сената

(Сен. пр. л. 43)

1863 г. июня 24 дня г. г. сенаторы I отделения 5-го департамента Правительствующего сената, сличив почерк руки Чернышевского на бумагах, писанных им до предъявления еще ему записки, которую отвергает он, находящуюся на 304 л. дела, с почерком, коим писана означенная записка, и приняв во внимание, что г. г. секретарями сената, делавшими сличение, найдено сходство в 12 буквах из 25, составляющих записку, с своей стороны нашли, что и в отдельных буквах сей записки и в общем характере почерка есть совершенное сходство, с почерком же, коим писано им объяснение, присланное в сенат г. спетербургским военным генерал-губернатором, от 7 июня, которое писал Чернышевский, содержась в крепости в течение 9 дней, никакого сходства нет.

Заключение сената

24 июня 1863 года, Правительствующий сенат—выслушав ответы Чернышевского и сообразив оные с обстоятельствами дела и с результатом сличения почерка руки его секретарями сената и самим Присутствием I отделения 5-го департамента,

нашли, что подсудимый сей во время производства о нем суда должен оставаться под арестом[1] в крепости и посему опреде-

---

[1] 27 июня А. Н. Пыпин послал Потапову следующее письмо для Чернышевского:

27 июня (1863), четверг.

Сегодня я получил Твое последнее письмо, милый Николя. Завтра может быть успею еще отправить письмо к Ольге Сокр; иначе оно отправится только в воскресенье. Да она вероятно не дождется этого письма; по прежним известиям я думаю, что она около 1-го числа выедет из Саратова.

Деньги на поездку (700 р.) высланы ей 21-го июня, как только я получил ее письмо об этом.

Дело Твое, как говорят достоверные сведения, долго продлиться никак не должно. На нынешней неделе сенат должен был рассудить об освобождении или нет на поруки; я еще пока не знаю, окончилось ли это рассуждение.

При этом письме отправляются сигары и книги—если я успею завтра закупить эти последние. О Кинглеке на-днях соберу сведения. Книга действительно делает шум, и наши журналы вероятно ей воспользуются. Это конечно не помешало бы и Тебе сделать из нее что-нибудь, если Ты вздумаешь.

Будь здоров, мой дорогой. В будущий четверг мы опять видимся.

Твой А. Пыпин.

Милый Николенька, мы так долго не имели от Тебя письма после свидания, что я начала скучать о них.

Прошу Тебя писать почаще.

До четверга, мой милый. Будь здоров.

Евгения П.

P. S. Полсотни Dos Amigos* и пять томиков Диккенса посылаются.

Письмо это всполошило III отделение, которое встревожилось, как бы сенат не освободил Чернышевского на поруки. Вот относящаяся сюда переписка

Потапов—кн. В. А. Долгорукову

Долгом считаю представить письмо это на благоусмотрение Вашего Сиятельства. Не прикажете ли препроводить его чрез Министра Юстиции для передачи на усмотрение сената, так как автор письма профессор Пыпин говорит о положении дела в сенате, а между тем и т. с. Замятнин узнает, что предпола-

---

* Сигары

лили: оставить Чернышевского в том положении, в котором он ныне находится, т. е. под арестом.

галось может освобождение Чернышевского и может быть примет против этого меры. 28 июня.

Долгоруков—Потапову

Я бы попросил вас лично, в течение завтрашнего дня, повидаться с т. с Замятниным, узнав предварительно, где, в котором часу можно его застать. Об этом вы можете снестись с дир[ектором] его канцелярии. Замятнину вы лучше объясните дело на словах. Притом я не знаю, допускается ли законом доставлять записки содержашимся в крепости?—Достаточно им пользоваться свиданием с родными. 28 июня.

Потапов—Долгорукову

Замятнин в Петергофе, а барон Врангель на даче и раньше понедельника не возвратятся, а потому не позволите ли передать письмо Замятнину в Совете. Что же касается до переписки арестантов, то по правилам равелина переписка секретным арестантам не дозволяется, но Чернышевский и Комп. не секретные арестанты, а п о д с у д и м ы е, и переписка им дозволена комиссиею, когда, по окончании вопросов, она признана возможной, и сенатом, в равелине же все эти арестанты оставлены только для лучшего содержания и затем из предосторожности по известным Вашему Сиятельству причинам. 29 июня.

Управляющий министерством юстиции Замятнин—Долгорукову

Имею честь возвратить Вашему Сиятельству письмо профессора Пыпина, которое я не счел необходимым предлагать сенату, так как в нем сообщаются сведения, основанные на слухах.—Впрочем я призывал обер-прокурора Чемадурова и дал ему надлежащее относительно обстоятельства об отдаче Чернышевского на поруки наставление.—Вашего Сиятельства преданнейший и покорнейший слуга Д. Замятнин. 1 июля 1863 г.

Для воздействия на Александра II ему было представлено шефом жандармов 13 июля 1863 г. в копии поддельное письмо Чернышевского к А. Н. Плещееву, изготовленное В. Д. Костомаровым (См ниже).

О степени вины и мере ответственности титулярного советника Чернышевского[1]

Чин, имя и фамилия подсудимого. Отставной титулярный советник Николай Гаврилов Чернышевский.

В чем обвиняется. 1. В противозаконных сношениях с изгнанником Герценом. 2. В агитаторстве к возбуждению против правительства молодых людей и 3. В сочинении возмутительного воззвания к барским крестьянам и участии в сочинении такого же воззвания к солдатам.

На чем основано обвинение[2]

В письме, привезенном коллежским секретарем Ветошниковым из Лондона от Герцена Серно-Соловьевичу, Герцен писал: мы готовы издавать „Современник" здесь с Чернышевским или в Женеве, печатаем предложение об этом (стр. 4).

По этому поводу Чернышевский был арестован (стр. 15 об.).

Между тем генерал-маиором Потаповым получено было безымянное письмо, в коем предостерегают, что Чернышевский— коновод юношей, хитрый социалист и сам говорит, что он настолько умен, что его никогда не уличат. Это вредный агитатор, и надо найти средство спастись от такого зловредного человека. Если не удалить его, быть беде, будет кровь. Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия (стр. 9).

По обыску у Чернышевского, между прочим, найден алфавитный ключ к азбуке для писания посредством цифр, на 4-х бумажных палочках (стр. 184).

Кроме того, полициею собраны о Чернышевском следующие сведения: он автор многих политических статей, в которых постоянно проводит свободные идеи. Он составил круг знакомства из молодых людей, недовольных правительством, и даже лиц, сделавшихся государственными преступниками, как, например, Михайлов, Костомаров. Носятся слухи, что он автор прокламации, возбуждавшей студентов к беспорядкам осенью 1861 г. С тех пор началось над ним наблюдение полиции. 26

---

[1] Этот документ в сенатское „определение" не включен.

[2] Дальнейшее после повторено буквально в „кратком изложении", в котором отсутствуют только агентурные сведения и прибавлены ссылки на страницы дела, которые мы даем здесь.

сентября он был на сходке студентов против квартиры попечителя Филлипсона. 20 ноября в день похорон литератора Добролюбова он говорил речь, в которой старался выразить, что Добролюбов—жертва правительственных распоряжений, мученик, убитый нравственно, одним словом, что правительство уморило его. 22 декабря поздно вечером приходили к нему какие-то 4 мужчин, один в волчьей шубе, и занимались с ним до утра. Около этого времени сестра его сожгла в печке три пачки бумаг, а жена его развозила по городу какие-то книжки и давала кучеру спрятать в сарае, а потом опять взяла их. Полагали, что это воззвание Герцена „Что нужно народу". И действительно, чрез несколько времени брат жены Чернышевского студент Студенский давал кучеру читать „Что нужно народу" и тот читал в кухне при всех. В марте месяце Чернышевский, бывши у Некрасова, рассказывал, что к 26 августа готовятся по всей России манифестации, в коих будут выражены следующие желания всего образованного сословия: прощение всех политических преступников, дарование конституции, свобода печати, уничтожение цензуры, гласное судопроизводство и пр. Он говорил, что виделся с многими лицами, коноводами этих манифестаций в провинциях. В апреле разнесся слух об адресе в пользу преступника Михайлова и главными двигателями его называли Чернышевского и Шелгунова, даже видели на адресе подпись Чернышевского. Аресты некоторых посещавших Чернышевского лиц подействовали на него. Он расстался со всеми, отправил жену в деревню, распродал вещи, экипажи и намеревался уехать; но в это время открылись его сношения с Герценом, и он арестован. Он в 1859 г. ездил за границу, был у Герцена и с тех пор сделалась перемена в лондонской русской прессе, которая, быв прежде враждебна ему по денежным делам Огарева с Панаевым, стала проявлять сочувствие к нему.

У Чернышевского найдено письмо Герцена неизвестно к кому, с выскобленными во многих местах словами, в коем между прочим говорится: „Чер. поручил тому господину, который в... сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет. Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление, а между тем он человек с влиянием на юношество. Они забывают, что сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще с преднамеренною ложью? Черныш. à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником". (стр. 20 об.).

У Чернышевского найдено анонимное письмо, в коем его обвиняют в участии в пропаганде, называют его заклятым реалистом, говорят „Великорусс"—ваше произведение, называют его лакеем Искандера. Письмо это оканчивается угрозами Чернышевскому (стр. 21).

Содержась в крепости, Чернышевский в письме к жене своей, утешая ее, говорит: наша с тобой жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы

людям. Он называет себя в письме этом 2-м Аристотелем (стр. 44 об).

Замечателен находящийся в деле дневник Чернышевского, относящийся к тому времени, когда он был еще женихом. В нем он писал: „я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, меня каждый день могут взять. У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные. Сначала я буду молчать и молчать, но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться". В другом месте он говорит: „я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею" (стр. 65 и 66).

Разжалованный из отставных корнетов в рядовые по высочайше утвержденному мнению Государственного совета за печатание возмутительных прокламаций [Всеволод Костомаров] препровождаем был в Кавказский линейный баталион. Дорогою в Туле он сделался болен, и в это время написал несколько писем к своим родным. Одно из писем по величине своей показалось сопровождавшему его жандармскому капитану Чулкову подозрительным. Он, отобрав его, препроводил в III отделение собственной его величества канцелярии. Оно адресовано на имя некоего Николая Ивановича Соколова. В нем Костомаров подробно описывает свое дело и доказывает, что в преступление вовлек его Чернышевский, который и сочинял „Воззвание к барским крестьянам", напечатанное им. В этом деле принимал большое участие Михайлов (потом осужденный государственный преступник) и полковник Шелгунов, сочинивший воззвание к солдатам. Сверх сего Костомаров писал, что Чернышевский, бывши с ним в Знаменской гостинице, сочинял воззвание к раскольникам (стр. 69 — 127).

Вследствие сего Костомаров был возвращен в Петербург, где на допросах в комиссии подробно объяснил весь ход события и участие в нем Чернышевского (стр. 136, 175, 227). При обыске его в III отделении у него найдены три письма Михайлова, одно Шелгунова и записка [писанная] карандашом следующего содержания: „В. Д. вместо „срочно обяз." (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде „временно обяз." как это называется в Положении. Ваш Ч." Костомаров объяснил, что эту записку оставил у него Чернышевский, не застав его дома, для исправления вкравшейся ошибки в воззвании, им сочиненном, а им, Костомаровым, печатанном, к барским крестьянам. И действительно в воззвании, имеющемся в деле Костомарова, значится: срочно обязанные, а не временно обязанные. Эту записку Чернышевский не признает за писанную им (стр. 131 об.).

В марте месяце московский мещанин Яковлев прислал к генерал-маиору Потапову показание, в коем объяснил, что летом 1861 г. он занимался перепиской сочинений у Костомарова. Очень часто видал он у него приехавшего из Петербурга какого-то знаменитого писателя Чернышевского. Раз, когда он занимался перепискою в беседке, Костомаров и Чернышевский, ходя под

руку по саду, разговаривали и произносили слова, из которых ему удалось запомнить следующие фразы, сказанные Чернышевским: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла". Чернышевский просил Костомарова о скорейшем напечатании этой статьи. Не понимая тогда значения этого разговора, он не считал нужным доводить об этом до сведения правительства, но ныне, узнав, что Костомаров осужден за это, во избежание ответственности, и по обязанности всякого честного гражданина, считает долгом донести о сем (128, 218).

Капитан Чулков донес III отделению, что во время препровождения Костомарова он, по болезни его, должен был остановиться в Москве на сутки. Здесь посетил его мещанин Яковлев, из разговоров коего с Костомаровым он заметил, что ему известны все отношения Чернышевского к Костомарову. Он, Чулков, сказал Яковлеву, не может ли он что-либо подтвердить и письменно. Яковлев на это согласился и дал [письменное показание] (ст. 263).

Яковлев, отправившись в Петербург для подробного объяснения всех обстоятельств, был задержан на Тверской станции Николаевской железной дороги за буйство в пьяном виде, возвращен в Москву и по распоряжению мещанского общества заключен в смирительный дом на 4 месяца (стр. 219).

Костомаров в показаниях своих, между прочим, объяснил, что из Москвы он ездил в Петербург с дворянином Сороко, где он познакомился с Михайловым, с которым был у Чернышевского и получил от него для напечатания воззвание к барским крестьянам и 200 руб. сер. на сей предмет (стр. 136, 145, 227).

Сороко, не отвергая поездки своей с Костомаровым в Петербург и знакомства с Михайловым, показал, что у Чернышевского не был и никакого воззвания не принимал (стр. 213).

Яковлев, быв вытребован в комиссию, подтвердил донос свой (стр. 218).

Редактор журнала „Современник" Некрасов представил генерал-маиору Потапову полученное им из Москвы письмо, от 13 апреля, писанное от 5 лиц, содержащихся в смирительном доме по политическим преступлениям, в коем они пишут, что явился к ним какой-то арестант Яковлев и объявил, что тоже содержится за политическое преступление, и просил совета. Сначала он рассказал, что ехал в Петербург по очень важному делу, но за пьянство и буйство взят и по распоряжению общества за дурное поведение посажен в рабочий дом. Рассказ его, зачем он ездил в Петербург, был следующий: он был знаком с Костомаровым. На-днях получил записку с приглашением в гостиницу „Венеция". Придя туда, изумился, увидав Костомарова в солдатской шинели и с ним жандармского офицера. Костомаров предложил ему следующее: вот тебе письмо к моей матери, отдай ей в Петербурге, она научит, что делать и ты будешь награжден хорошо. На вопрос их, не говорил ли Костомаров, что делать? Яковлев отвечал: говорил, что я в III отделении

должен показать о разговоре Костомарова с Чернышевским о барских крестьянах, как это было объяснено в показании Яковлева. Он спросил: если я дам такое показание, освободит ли меня Потапов из рабочего дома? Они отвечали: навряд, за ложное показание скорее будут преследовать. Сначала они не поверили Яковлеву, но потом, увидев его с жандармами, припомнили разговор с ним и поневоле пришли к предположению, что Чернышевский обвиняется в политическом преступлении, что Костомаров и семейство его хотят через Яковлева обвинить его. Все это они готовы подтвердить присягою (стр. 244).

Комиссия, по выслушании сего письма [заключила]: за такой поступок Яковлева и безнравственное его поведение, не выжидая 4-х месячного срока, отправить его на жительство в Архангельск, на что испрошено высочайшее соизволение (стр. 250).

Во всех вышеозначенных обвинениях Чернышевский не сознался, объяснив, что с Герценом он был во вражде по делу Панаевой, а при том по гордости своей не мог быть сотрудником его, т. е. подчиниться ему. Не признавая записку, найденную у Костомарова за писанную им, он подробно объясняет, как надо сличать ее (стр. 54, 63, 181, 204, 237).

В комиссии по сличении записки этой три секретаря нашли некоторое сходство (стр. 251), а в сенате 8 секретарей нашли, что в общем характере почерка есть разница, но в отдельных буквах есть много сходства.

Чернышевский, опровергая показания мещанина Яковлева, говорит, что Яковлев совершенно солгал, рассказывая, как он, (Чернышевский) ходил с Костомаровым, ибо у него вовсе нет привычки ходить, он или сидит или лежит (стр. 235).

Найденную же у него азбуку он объясняет тем, что она вероятно оставлена у него братом жены его. Сам же он слишком умен, чтобы прибегать к такому пустому средству для переписки, которое весьма легко открыть. Его обвиняют, будто бы он хотел уехать за границу, и для сего продавал свое имущество. Это совершенная ложь, а он хотел уехать в Саратов в свой дом, так как имел свободное время по запрещении „Современника“ (ст. 63, 181, 54, 204, 237).

Отрицая все обвинения Костомарова на допросах и очных ставках, он доказывает, что только знаком был с Костомаровым, как начинающим литератором, и оказывал ему свое покровительство. Притом показания Яковлева и Костомарова, одного как осужденного, а другого как недонесшего своевременно, по закону не имеют никакой силы. Обвинение Костомарова в писании прокламации в гостинице ложно, ибо он в гостиницы не ходит (также).

Подлежит ли содержанию в крепости, или может быть освобожден из оной. Оставить г. Чернышевского под стражею в Петропавловской крепости.

Обер-секретарь Дмитрий Кузнецов.

Записка о литературной деятельности Н. Г. Чернышевского

Министерство юстиции
2 июля 1863
№ 13209

Г-ну обер-прокурору I отделения 5-го департамента правительствующего сената

Препровождаю при сем к вашему превосходительству сообщенную мне статс-секретарем кн. Голицыным записку о литературной деятельности отставного титулярного советника Чернышевского для предложения Правительствующему сенату к совокупному рассмотрению с делом о нем производящимся.

Управляющий министерством юстиции Д. Замятнин[1].

Две теории, заключающие в себе разрушительные элементы разложения, угрожают опасности нашей общественной жизни при самом начале ее благотворного развития. — Первая теория — материальный фатализм, отрицающий индивидуальную нравственную свободу человека, есть извращенное учение нравственной философии; другая — социализм, неисходно переходящий в коммунизм, ставит себя в основание новой политико-общественной экономии.

По учению первой теории, человеческие деяния совершаются не от свободной решимости разумного человека, не вследствие выбора его совести между добром и злом, а определяются и творятся *исключительно* неодолимою силою среды, в коей живет человек, неотклонимым могуществом природы географической, организации человека и происходящих оттуда обычаев и учреждений. Таким учением уничтожается нравственная *вменяемость* человеческих деяний. Если нет в человеке свободной нравственной воли и деятельности, тогда нет греха, нет преступления, нет стыда, — все деяния безразличны; тогда не за что человека хвалить и хулить, награждать и наказывать. Награжденный для этого класса людей смешон; преступник есть только *жертва общества*, а законное преследование злодея есть только беда.

Этот материалистический фатализм есть результат того учения, которое отрицает духовную природу в человеке и отвергает бытие божие. Оно исходит из тех основных мыслей, что как *животные*, так и *растения наравне*, т. е. не различаясь между собой, *тождественные* по природе и *единые* по составу своему и жизни, суть скопление разно-вещественных ячеек; что вообще *жизнь* есть не что иное, как химический процесс ячеек, разнообразно разлагающихся и слагающихся между собою и окружающею их средою; что такой процесс и акт размножения и есть единственное допускаемое разумом *бессмертие вещества*; что высший организм в природе, с таким же процессом химическим, но искусно снабженный раздельными органами для

---

[1] Эта бумага и приложенная к ней записка не включены в сенатское „определение".

каждого отправления, есть *человек* — произведение веществ природных, в коем инстинкт называется *разумом*.

Изложенная теория, распространившись отдельно, без связи со второю, была бы способна произвести в государстве увеличение числа преступлений; но это учение в своем применении введено в другую теорию, которая направлена *прямо* против всего благоустроенного общества. — на его силы, труды, богатство и учреждения, короче сказать — введено в социализм и коммунизм. Социализм, переходящий в коммунизм, есть учение о необходимости распределения материального богатства, т. е. разделения его между всеми лицами народонаселения не на юридических основаниях отсталых, как говорит эта школа, общественных учреждений, а на прогрессивных *соображениях* новых экономистов, *с созданием других* (коммунистических) *форм правления*. Эти две теории составляют в наше время зерно будущих общественно-правительственных переворотов в Европе. Сторонники их — не заговорщики, а проповедники революций. С тех пор, как *совершаются* революции, говорят они, не стоит заниматься заговорами. Эти слова характеристичны. Стоит ли прибегать к такому опасному средству, когда есть возможность, отвергая, по теории нигилизма, стыд, преступление, грех и указывая, по теории коммунизма, на готовые чужие капиталы и ценности, спокойно, сидя за письменным столом, проповедывать массе народа: богатства распределены не так! они распределены вредно для общества! кто живет на проценты, прибыток, ренты, тот *похищает достояние общества*; надобно сообща разделить ценности арифметически, так, чтобы *их делитель* был *цифра населения*, *делимое — цифра ценностей*, и выйдет *частное* — это частное есть *количество ценностей, принадлежащих каждому лицу*.

Из наших периодических изданий „Современник“ в последние годы являлся проводником обеих указанных теорий в статьях Чернышевского, обзор которых составляет предмет настоящей записки.

А. Материальный фатализм

Для социалистов и коммунистов воля человеческая разумно-свободная, опирающаяся в выборе деяний на совести или сознании добра и зла, делала всегда, как само собою разумеется, много хлопот. С одной стороны, вводимая ими совершенная зависимость от общества по имению и управлению, необходимость руководиться природою, требует, конечно, сильной дозы самоотвержения, нигилизма. Тут для привлечения себе адептов пропагандисты коммунизма прибегают к теории материального фатализма, животного инстинкта, несправедливо называемого разумом, к отвержению духовности и материализму. Но, с другой стороны, все-таки возникает необходимо вопрос: как же будущий коммунист, без свободной воли, уживется в утопической коммуне? Чем будет он руководиться, чтобы безобидно поставить себя относительно своих собратов? Тут дают ему

иные некоторую волю, напр., на выбор труда, на разумное соревнование, на общее содействие. Доза этой свободы так мала, что Бокль все-таки прямо отвергает свободную волю, но Чернышевский, желая обольстить *индивидуальною самостоятельностию в коммунизме*, высказал мысль, что *люди существенно все одинаковы!* („Атеней", 1858 г., май и июнь). Коммунисты приобрели себе драгоценную находку в том положении, что *каждый человек — как все люди, что в каждом — то же, что в другом.* Это положение дозволяет выводить из него те же следствия, как из материалистического фатализма. Так, из развития означенной мысли оказывается: 1) что этот фатализм тождественности есть *материальный*, естественный (там же, стр. 76); 2) что человек, лишенный свободы нравственной, лишается и вменения (стр. 78), и 3) что вины в человеке нет, а есть беда (стр. 79).

Стеснение индивидуальной свободы в коммунизме сознают все наблюдатели коммунистических тенденций. Чернышевский в одном месте сам напоминает об этом („Современник", 1860 г., № 1, „Современ. обозр.", стр. 60), но опровержения на это замечание не поместил нигде, а только рассказал далее, каким путем в изустных спорах он с торжеством опровергал своих противников.

Замечательна еще одна сторона в учении Чернышевского. Он иногда проповедует высокие истины, — напр., *человек обязан искать истины, поступать честно*, общество обязано стремиться к водворению *справедливости, правды, законности.* Но такие принципы, *предписывающие что-нибудь делать*, имеют у Чернышевского два значения: одно значение их только *общее*, теоретическое, *неопределенное*: истины их, взятые *в частности*, могут терять свой всеобщий характер, свой неизменный тип; другое значение их *частное*: в сфере практической, а не в теории, в сфере действия, а не мысли; тут коль скоро общая мысль переходит в применении своем в практику и уже указан способ ее исполнения, она может изменить первообразному своему характеру всеобщности, потерять свою безысключительную применимость. Так, самое общее положение — *поступай честно*, при определении способа применения может допускать *некоторые исключения.* А всякое другое правило допускает еще *больше* исключений. Неопределенность общих принципов даже такова, что они дозволяют (под пером Чернышевского) различные для себя выражения; так, *поступай честно* (по его мнению) равносильно принципу: *поступай согласно с природой*, или: обязанность поступать честно, по природе — неразлучна с организмом человека.

Итак, в частности, в приложении к практике общие принципы подвержены изменению: напр., *честность вообще* требует истины, но *в частности честность почти всегда* (не абсолютно, а только *почти* всегда) требует соблюдения истины; *иногда она требует нарушения истины.* Случаи, в которых нарушение истины может допускаться, принадлежат исключительно практической сфере, они относятся к жизни действия.

Б. Социализм и коммунизм

Учение о материальном фатализме, не составлявшее главной стороны тенденций Чернышевского, далеко неполно развито в его сочинениях; напротив, теории социализма и коммунизма изложены весьма подробно: им, с скрытыми их следствиями, в 1860 г. Чернышевский посвящал все свое время.

Главным источником для уразумения автора служат три его произведения, помещенные в „Современнике"; из них два содержат теоретическую сторону учения, третье — сторону историческую или применительную.

1. *„Капитал и труд"* — большая статья („Современник", 1860 г., январь), написанная по поводу сочинения профессора Горлова („Начала политической экономии"), содержит почти целую теорию социализма и коммунизма в сокращении.

2. Перевод Политической экономии английского ученого *Милля*, весьма приближающегося в своих воззрениях к Прудону, сделанный Чернышевским и снабженный его примечаниями, — тянется почти во всех книжках „Современника" 1860 г. и переходит в 1861 г. Переводчик своими примечаниями и толкованиями, присоединенными к переводу, стремится Милля переделать в Прудона. Этот перевод и объяснения содержат целую систему учения, проповедуемого Чернышевским.

3. Для распространения этого учения в том же 1860 году написана весьма резкая для правительства и достаточных классов статья под заглавием *„Июльская монархия"*, в которой выставлены тенденции как французских, так и всяких либералов, демократов, возникновение социализма и бунты работников; правительство Луи-Филиппа, пренебрегавшее низшими классами, выставлено в самом черном свете, и на этом основании выведена несостоятельность династии июльской. Статья написана вследствие выхода мемуаров Гизо, но автор сам говорит, что он не держался этой книги, издание которой служило для него только предлогом для изложения фактов с точки зрения диаметрально противоположной Гизо, и по другим источникам (Луи Блан).

Основание всей теории коммунизма состоит в том, что *труд* есть *единственный производитель ценностей!* Давать участие в производстве *капиталу* — одни фразы („Труд и капитал", „Современник", 1860 г., янв., стр. 38).

Отсюда следует:

1. Что потребление произведенных ценностей по праву не принадлежит никому другому, как *работнику*: так как *капиталисты* не трудятся.

2. Судя по теперешнему положению вещей, нужно другое распределение богатства. Да и вообще всякое потребление имеет основою *распределение* (стр. 19 той же статьи).

3. Поэтому богатство — излишек ценностей — непроизводительно, вредно: оно произошло в обиду работнику. „Каждая индейка, покупаемая в Петербурге за 3 рубля, отнимает у об-

щества пуд говядины. Каждый аршин сукна, ценою в 10 рублей серебром, отнимает у кого-нибудь теплую шубу" (стр. 43 и 44).

4. Богатые составляют *лигу*. Рабочий класс еще не понимает этого. „Среднее сословие уже действует на исторической сцене, а главная масса еще не принималась *за дело*: ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности" („Совр.", 1861 г., май, стр. 115). Масса убеждена, что роскошь и воровство одинаково непроизводительны, вредны; роскошь их обкрадывает, убавляет от их заработков.

5. Распределение путем *переворотов* должно совершиться в том смысле, что часть каждого члена общества по возможности будет близка к средней цифре, полученной из отношения массы ценностей к числу народонаселения (стр. 18 и 50).

6. Осуществлению этого идеала мешает *лига*: она вся основана на существовании *факта* (не закона) *собственности* и *обычая наследства* (стр. 36).

7. Должны быть даны новые учреждения, имеющие целию перевести ценности только в руки лиц, вносящих в общество *труд*, *лишив* ценностей лиц, которым принадлежат капиталы, потому что: а) капиталисты располагают только силами других лиц, которым поэтому принадлежат ценности одним по праву, б) трудящийся не должен иметь более того, что сам произвел, а капиталисты захватывают ценности, произведенные другими (воровство) (стр. 51).

8. Средства, представляемые теориею для осуществления этого состояния, несколько похожи на предприятие из среды общества таких подвигов, какие совершил американец Вакер, или какие совершало Парижское общество Des amis du peuple, которое располагало таким могуществом, что вооружало батальон и отправляло на помощь Бельгии против Голландии.

9. При настоящем положении общества в Европе эта теория лежит в основании деятельности—*в Англии*:—у работников; это видно из союзов их или стачек, обнаруживающихся в колоссальных отказах от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы; во *Франции*—у учеников Прудона и Сен-Симона; в *России*—у раскольников и отчасти в общинном землевладении.

Здесь нельзя не вспомнить, что в одной из статей Чернышевского („Капитал и труд") начертан подробный план коммунистического устройства общества, основанного как бы для образца. Этот план, в своем изложении, обставлен, естественно, весьма благовидно и благонамеренно, скрываясь под формою обыкновенного товарищества для совокупной четырьмя или пятьюстами семейств эксплоатации земледельческих продуктов с устройством мастерских общих и для других производств, с согласия правительства, даже при его пособии. План назначен для государства, которое хотя не поименовано, но которое очень нетрудно угадать по приведенным тут же признакам: 1) оно дает десятками миллионов взаймы компаниям железных дорог; 2) тратит десятки миллионов на разные великолепные

постройки; 3) богато полями и другими угодьями; 4) признак, что в нем, для помещения товарищества трудящихся, находится, среди полей, множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок, конечно, не подходит ни к одному из существующих теперь государств, но совершенно подходит к Франции 1793—1799 годов. Припомнив утопию в воззвании „К молодому поколению" о распространении подобных коммун, приняв в соображение первые три признака, подходящие теперь к России, и четвертый, вероятно (в мысли автора) *имеющий подходить*ь,—нельзя не убедиться, что план имеет в виду дать новый вид нашему отечеству.

Распространители идей коммунизма выказали огромные таланты, когда они не только развили учение, но и дали приемы уничтожить все существующее, все устроенное на религии, нравственности, законах, обычаях. Методы эти могут быть рассматриваемы с трех сторон: а) или для обойдения цензурного устава, или б) для наведения мыслей юных адептов коммунизма на новые коммунистические начала, для сообщения им определенных форм и приемов в борьбе при столкновении с прежним порядком вещей. Тут придуманы два метода: один—*отрицательный*, уничтожительный, разрушительный, а другой—*гипотетический* или способ суждения *по предположению*.

Что касается методы для обойдения цензуры, которая впрочем в 1860 году была очень слаба, то приемы были отчасти общие: ослабление мысли, смягчение, ограничение чрез прибавление слов: *иногда, некоторый, иной*; сваливанье всего дела на западных народов; это все делалось и трактовалось так, что ясно было, что идет дело о принципах и истинах всеобщих.

Специальные приемы Чернышевского состоят в следующем:

а) В главную цепь суждений и умозаключений он вставляет обыкновенно слова и фразы из обыденной жизни, из сведений пошлых, впрочем несколько идущих к делу, и вслед затем опять продолжает главную свою мысль и опять прерывает подобною болтовнею и пошлыми речами. О Чернышевском нельзя сказать того, что обыкновенно говорится о газетах: читать над строками. У него должно читать буквально между строками, отделенными одна от другой пустою болтовней. Это его главный, преобладающий тон. Колорит резкий стерт с мысли перерывами очевидно нелепыми, но он стерт, как сказано, грубо, и послушная фаланга читателей поневоле вчитывается, размышляет, а тогда уже не трудно отыскать преобладающую мысль. Надобно полагать, что ключ к этому секрету открывался иногда словесно, иногда сам автор в важных местах советовал вникнуть в дело, которое, впрочем, *само за себя говорило*. б) Другой прием, свойственный Чернышевскому, есть буффонство и глумление. Везде где он начинает буффонить, за этим глумлением непосредственно следует самое резкое место. в) Иногда он торжественно заявляет, что о том-то и о том-то он говорить не будет, и не дорожит этим: в одном

месте он плюет на коммунизм, но читайте дальше, дальше он говорит, и как говорит! Под конец коммунизм оживленный является необходимым исходом для настоящего порядка! г) Иногда мысль выставляется у него в свете весьма неблагоприятном, но зато сряду жестоко опровергаются ее противники. д) Наконец, он никогда не пропустит случая доказать свою мысль каким-нибудь существующим учреждением или обычаем, которое отчасти напоминает его мысль или имеет некоторое к ней отношение. Так в праве государства отчуждать от частного лица недвижимую собственность, нужную для какой нибудь важной общественной надобности или предприятия, Чернышевский видит начало коммунизма, распоряжающегося посредством своих представителей общественным достоянием.

Отрицательный способ связан не только со всею системою коммунизма, но и со всем логическим и метафизическим строем ума и духовной деятельности человека. Он есть ужасное изобретение разрушительного мышления нашего времени. Понятие об этом способе дано Чернышевским в „Современнике“ 1860 г. за апрель и май — в критике книги Лаврова.

Известно, что школа материализма отвергает всякое духовное начало: нет в человеке души, нет воли, нет свободы, нет добра и зла, нет вменения. „Наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о *дуализме* человека“ (349 стр. „Современник“, май). Никакого дуализма в человеке не видно; если бы человек имел, кроме *реальной* своей натуры, другую, духовную натуру, то эта натура обнаружилась бы где-нибудь.

Короче: души нет, — одна животная натура в нас!

Для уразумения всей важности методы отрицательной надлежит сообразить следующее: Так как доселе вера, и совесть, и философия учили противному, т. е. что в одном человеке соединены две природы: духовная и телесная, то естественно, что от *принятия* в обществе человеческом *духовного начала* как в мысли, так и в практике, есть в обществе множество сторон и учреждений *духовных* или, по крайней мере, основанных на *духе;* такие стороны духовные есть в сферах семейной, гражданской, государственной, религиозной; эти духовные стороны, выражаемые часто, как аксиомы, принимаются, верятся, возвышают человека до неба и Творца.

Новая школа не принимает духовности; следовательно должно отринуть, отказать в бытии, уничтожить в обществе и учении все основанное на духовности во всех сферах: в семье, в гражданстве, в государстве, в добродетели, в науке, в вере, — да тогда всего этого и не будет, не будет и святости, и семьи, и права, и власти, нет добродетели, нет самоотвержения и соединения религиозного с богом. Даже нет и мысли, потому что по этой философии *мыслят и собаки*. Таков отрицательный метод, задача которого состоит в том, чтобы на основании отречения от духа и от невидимой идеи провести это отречение через все сферы, в какие только может поставить себя человек по своей всесторонней природе!

На чем основывает эта школа свое отвержение от духа? На начале самом детском, именно, что духа никто не видит, от духа никто ничего не слышал! „В эту минуту вы, читатель, уверены, что, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы так думаете потому, во первых, что не видите его глазами, не слышите его рыкания. Есть у вас второе ручательство: это факт, что вы живы. Если б в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас" и проч.

Приняв в основание этот нигилизм, материализм, фатализм жизненный, автор научает, как должно отвергать все духовное. Этот отрицательный метод иначе называется: *заключение о характере неизвестного по характеру известного. Известным* здесь называются *истины наук материальных* или *математических;* имеющих назначением приложение к *материальным* величинам. Неизвестное—это духовный мир. Делать заключение о характере неизвестного по характеру известного значит судить *о мире духовном* с точки зрения наук материальных и все духовное, как сказано, отвергать, низводя все в сферу материализма.

Таким образом в излагаемом учении вместо свободной воли поставлена необходимость причинности. Отвергнув свободу и хотение, последователи этого учения уже не допускают различия между добрым и злым человеком. Для этой школы нет добродетели. Жена плачет о потере мужа, мать плачет о смерти дитяти: это отголосок эгоизма (стр. 33).

Как вид, как подробность в приложении методы отрицательной является метода *гипотетическая* или *предположительная.*

В работе отрицания, конечно, школа Чернышевского встретила целый живой мир: восточный и западный, прошедший и настоящий, верящий в духовность и благоустройство. Особенно законы, ограждавшие и ограждающие собственность и наследство, повсюдны. Для этой специальной борьбы с собственностью, для убеждения людей в необходимости нового *распределения,* изобретен новый прием—*гипотетический* или предположительный.

Особенность его есть следующая:

Обыкновенно политико-экономы для своих выводов пользуются статистическими данными: но факт статистический есть произведение истории, он сотворился жизнию народа при господстве известной веры, законов, правления, обычаев. Поэтому, принявши статистическое данное, автор должен был принимать и факт исторический его всякого деятеля.

Но этого-то наши экономисты и несогласны делать по закону отрицания. Для сего, чтобы провести свою мысль, они учат, что фактов статистических принимать не нужно, а нужно предположить известное состояние людей на основании мысли (фантазии) автора. Так они предполагают (вне существующего мира) известное место, с таким-то народонаселением, мужским и женским, с таким-то количеством рабочих сил, времени, и выводят потом конечно те же результаты, какие сначала уже были в их мысли, и которые они как будто бы вывели на основании *предположительных данных.* „Ваши статистические дан-

ные,—говорят они,—не суть данные чистые, одною причиною произведенные, а произведены они многими причинами, а наши *предположительные* данные суть данные чистые, верные, стоит их только увеличивать или уменьшать". На это можно ответить, что это-то и доказывает *фантастичность* данных ваших: значит, в жизни действуют многие факторы, *вдруг и постоянно*, и отклоняться от них мы права не имеем.

Этим гипотетическим методом Чернышевский пользовался постоянно в своих замечаниях на политическую экономию Милля и с помощию его выводил свои результаты, которым недоставало одной реальной действительности.

Подобная литературная деятельность Чернышевского принесла горькие плоды. Проповедуемое им вредное учение было усвоено неопытною молодежью, которая, проникнувшись новыми идеями, пожелала осуществить их на деле путем опасной пропаганды и прибегла для того к тайной печати. В подметных прокламациях высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский, с тою лишь разницею, что в прокламациях они не прикрыты ученою диалектикой, а являются в безыскусственной форме и осязательной нелепости. Те самые политико-экономисты старой школы (Бастиа, Рошер, Рау) на которых с ожесточением нападал Чернышевский в своих сочинениях, составляют предмет резких и грубых нападок для авторов подметных листов. Наконец, насильственные средства к осуществлению новых порядков указываются в прокламациях с беззастенчивою откровенностию такие же, на какие Чернышевский, стесненный условиями цензуры, мог в своих литературных произведениях только намекать более или менее ясно. Словом сказать, прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его—подробный к ним комментарий.

Заключение сената

1863 года июля 10 дня. В журнале I отделения 5-го департамента Правительствующего сената записано:

Г. Г. сенаторы имели рассуждение о том, что в деле о тит. сов. Чернышевском есть записка III отделения о частной жизни его и представленная г. обер-прокурором другая записка о литературной его деятельности, в коих не заключается фактов, могущих быть принятыми за основание к разрешению дела его. Приказали: бумаги сии, сообщенные секретно, не вносить в записку, о Чернышевском составляемую, к чтению которой он имеет быть допущен, о чем, записав в журнал, сдать по сей статье в экспедицию копию.

Предложение г. обер-прокурора

Г. обер-прокурор I отделения 5-го департамента сената в предложении своем, от 21 июля 1863 г. за № 826, Правительствующему сенату изъяснил, что главный начальник III отделения собственной

его императорского величества канцелярии препроводил к статс-секретарю князю Голицыну полученное во вверенном ему управлении письмо титулярного советника Чернышевского к Алексею Николаевичу (вероятно Плещееву), вместе с копиею этого письма. Так как в письме этом заключаются обстоятельства, относящиеся к делу Чернышевского, то упомянутое письмо с копиею оного князь Голицын препроводил к г. управляющему министерством юстиции для совокупного рассмотрения в Правительствующем сенате с делом о Чернышевском. К сему князь Голицын присовокупил, что помещенные в письме начальные слова „Сул", „Сор" и буква К., по всей вероятности, должны означать фамилии Сулина, Сороко и Костомарова, так как о сих лицах упоминалось в произведенном под его председательством Следственною комиссиею деле о Чернышевском.—Упомянутое письмо с копиею, по поручению г. управляющего министерством юстиции, он, г. обер-прокурор, предложил Правительствующему сенату для совокупного рассмотрения с делом о титулярном советнике Чернышевском. Письмо это следующего содержания:

Копия с письма Добрый Друг Алексей Николаевич! Может быть Вы и справедливы, упрекая меня за слишком большую доверчивость, оказанную людям, едва мне знакомым; я и сам очень хорошо знаю, что несмотря на все, принятые мною предосторожности, рискую очень м(ногим), но — кто виноват? Вы знаете, что времени терять нельзя; (теперь) или никогда; тут размышлять много было бы преступлением, — слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкой, никогда непоправимой. Вы вот около уже полугода водите нас со своим станком, и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтоб дело наше было выиграно. В то время, как Вы откладывали со дня на день, (нам) подвернулись под (руку) люди, хотя, (са)ми по себе, и, весьма, как ви(дно), пуст(еньк)ие, но все-таки энергичные и более года занимавшиеся тайным печатанием, стало быть, вести свое дело умеющие. Мы не могли не воспользоваться таким удобным случаем (напе)чатать свой манифест, тем более, (что в) случае неуспеха самая большая доля ответственности падает на них самих. Тем не менее Вы все-таки примите свои меры к прекращению всех слухов, которые могут повредить нам, потому что я уже не от Вас одних слышу, что Сулин [или как там его] хвастает знакомством со мной, и рассказывает будто (я) отдал ему (для) тайного печатания свое сочинение [?]. Старайтесь заглушить эти слухи; это будет Вам тем более легко, что, как я слышал, и Сул., и Сор. не пользуются в Москве репутацией людей положительных и дельных.

Что касается до К., то на него, кажется, можно положиться, хотя, конечно, и с ним нельзя чересчур откровенничать, не следует, не испытав предварительно верности его на деле. Впрочем он (мне ка)жется человеком дельным и (полезным) и я во всяком (случае (весьма) благодарен Вам за знакомство с ним.

Я ничего не пишу Вам теперь о *литературных* делах, хотя на (копи)лось довольно много новостей для (Вас небезынтерес-

ных). По обыкновению с(пешу, и)ли лучше сказать спешит К., с которым я отправляю это письмо.

Вы все попрежнему продолжаете сомневаться в добром исходе нашего дела; так (не) годится. Больше энергии, больше веры (в) успех. Дремать грешно в такое удо(бное) время, когда все проснулось. Оттого (у Вас) ничего и не выходит. Нет, мы не тер(яем времени в бесплод)ном раздумьи. Посмотрите, каких (чудес) наделал Л. с своими офицерами или 23 в Понизовьи. Ваша работа легче, а подвигается медленнее; отчего? Энергии мало, мало силы воли.

Совсем некогда [1]. Жму Вашу руку.

Ваш Чёрныш.

Скоро буду писать (через К.).

Допрос Н. Г. Чернышевского

24 июля 1863 года на предложенные присутствием Правительствующего сената Чернышевскому вопросы, он отвечал:

Протокол допросов, предложенных 24 июля 1863 года присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому.

Допросы производили г. г. сенаторы: Матвей Михайлович Карниолин-Пинский, Карл Бурхгартович Фон Венцель, Алексей Владимирович Веневитинов, Николай Евгеньевич Лукаш.

Вам предъявляется письмо с заглавием: „Добрый друг Алексей Николаевич“, причем имеете объяснить:

1

Когда и где писано Вами это письмо?

Ответ. Это письмо не мое; я не знаю, кем и когда оно написано.

2

Кто такой „Алексей Николаевич“, к которому написано оно, какое у него звание и фамилия, когда Вы с ним познакомились, в каких были и находитесь отношениях, где он проживал в то время, когда Вы писали к нему письмо, и где теперь проживает?

Ответ. Я не знаю кто такой Алексей Николаевич, к которому писано это письмо.

Но в ответе на 12 пункт я высказываю свое предположение о том, кого разумеет автор письма под этим именем, если письмо это есть подделка, нарочно составленная.

3

В какой слишком большой доверчивости и по какому поводу упрекал вас „Алексей Николаевич“ и кого вы разумели под людьми едва вам знакомыми, которым вы оказывали доверчивость?

Ответ. Это не мои слова, потому что письмо не мое.

[1] написано через ять.

4

Противу чего и какие вы принимали предосторожности и чем, несмотря на оные, по вашему выражению, очень многим „рискуете“?

Ответ. Это не мои слова, потому что письмо не мое.

5

К каким обстоятельствам или предположениям относятся слова, что времени терять нельзя, что должно быть теперь или никогда и почему раздумывать о сем много было бы преступлением, слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкою, никогда не поправимой?

Ответ. Не знаю, потому что письмо не мое.

6

О каком станке вы пишете, которым водит вас Ал. Ник. около полугода, для чего он был вам нужен и чем именно он довел вас до того, что откладывать вы не можете, если хотите, чтобы дело ваше выиграло? Какое это дело, чье оно, кроме вашего, так как вы пишете „наше дело“? в чем именно оно заключалось и в каком положении находилось и находится?

Ответ. Это письмо не мое, и я не знаю, о каком станке говорит автор.

7

Кто такие люди, подвернувшиеся вам (кому именно, ибо пишете к нам подвернулись) под руку, более года занимавшиеся тайным печатанием, как их зовут, когда, где, как они с вами познакомились, в каких были с вами отношениях, что в течение более года печатали, где и каким способом, и какое делали употребление из напечатанного? Почему вы их признаете хотя и весьма пустенькими, но энергичными, умеющими вести свое дело?

Ответ. Я не знаю, кого разумел автор письма, которое не мое, когда говорил о этих людях и какие обстоятельства своего знакомства он разумел.

8

Какой вы напечатали свой манифест, воспользовавшись встречею с упомянутыми выше лицами, в чем заключался этот манифест, сколько напечатано и кем именно экземпляров и где они находятся, и в случае какого неуспеха большая доля ответственности падает на них самих? О какой ответственности вы тут упоминаете и почему полагаете, что большая доля оной должно пасть на них, а не на вас?

Ответ. Я не печатал никакого манифеста и потому не знаю ничего об обстоятельствах, указываемых этим вопросом.

9

К прекращению каких слухов вы просите принять меры, и чем эти слухи могут вам повредить?

Ответ. Не знаю, о каких слухах говорит письмо, не принадлежащее мне.

10

Кто такие Сулин, Сор. и К., о которых вы пишете в своем письме, как их имена, отчества, фамилии, звания и где они жили, при каких обстоятельствах вы с ними познакомились, и где они после находились? От кого вы слышали, что Сулин хвастает знакомством с вами и рассказывает, что отдали ему для тайного печатания свое сочинение? Если вы действительно передали ему для сей цели свое сочинение, то какое именно, было ли напечатано и какие были сему последствия?

Ответ. Имя г. Сулина я узнал из слухов о процессе г. Костомарова; кто такие Сор. и К., я не умею сказать положительно; но судя по сопоставлению фамилий, полагаю, что под Сор. разумеется в письме Сороко, фамилию которого я знаю, как прикосновенную к процессу г. Костомарова, по слухам, и о знакомстве с которым мне были предлагаемы вопросы в высочайше утвержденной комиссии; а под К.,—по тем же основаниям, я предполагаю разумеющеюся фамилию г. Костомарова. Что разумеется под отношениями и отзывами автора письма, я не знаю.

11

Почему вы просите стараться заглушить эти слухи, и присовокупляете, что Сул. и Сороко не пользуются в Москве репутацией людей положительных и деятельных? Почему вы при этом обратили внимание на Москву?

Ответ. Это не мое письмо, потому я не умею объяснить смысла этих слов.

12

В какой верности и на каком деле надо испытать К. по вашему мнению, прежде нежели с ним откровенничать? Кто и кому благодарен за какое знакомство?

Ответ. Что обозначают эти слова, я не знаю; но полагаю, что автор письма, если оно поддельное, высказал эти слова по ошибочному предположению, будто бы я познакомился с г. Костомаровым через г. Плещеева, которого зовут Алексей Николаевич. Если же письмо не злонамеренная подделка, а просто, неизвестно мне почему, показавшееся похожим на мое письмо, то я не знаю, что обозначают эти слова.

13

С кем вы послали это письмо, о котором вы пишете, что он спешит?

Ответ. Это письмо не мое, потому не знаю, с кем оно послано своим автором.

14

О добром исходе какого вашего дела вы пишете сомневается Ал. Ник. и почему вы присовокупили так не годится? В какой успех вы склоняете иметь более энергии, более веры? Что должно понимать под выражениями: дремать грешно в такое удобное время, когда все проснулось?

Ответ. Не знаю, потому что письмо не мое.

15

Что не выходит у Ал. Ник., в чем вы его упрекаете, присовокупляя, что вы времени не теряете в бесплодном раздумье?

Ответ. Не знаю, потому что письмо не мое.

16

Кто Л., о котором вы упоминаете, и какие чудеса (как вы выражаетесь) он наделал с своими офицерами? Что значит цифра 23 и потом—в Понизовьи?

Ответ. Не знаю по той же причине.

17

В чем именно заключается работа Ал. Ник., которая легче, но подвигается медленно? Медленнее какой другой работы?

Ответ. Не знаю, по той же причине, то-есть, потому, что письмо не мое.

18

Писали ли вы вскоре после этого письма другое через К., как обещали?

Ответ. Это письмо не мое, потому не могу ничего отвечать на этот вопрос.

Акт сличения почерка руки Чернышевского

(Сен. пр., л. 112).

1863 года июля 30 дня, вследствие заключения Правительствующего сената, секретари сената, сделав сличение почерка руки титулярного советника Чернышевского на письме, начинающемся словами: „Добрый друг, Алексей Николаевич", им не признаваемом, с ответами, данными Чернышевским в Правительствующем сенате 24 июля и другими бумагами, в деле находящимися, им писанными и не отвергаемыми, нашли:

По сличении предложенного к рассмотрению письма с имеющимися в деле бумагами, признанными Чернышевским за писанные им самим, и в особенности на листе 305[1] подлинного дела, все секретари сената, приглашенные к сличению, нашли единогласно, что как сие письмо, так и означенные бумаги писаны одною и тою же рукою[2].

---

[1] На 305 листе—письмо Чернышевского к Всеволоду Костомарову от 2 июля 1861 г., напечатанное выше (см. стр. 169).

[2] В 1927 г. редакция журнала „Красный архив" нарядила комиссию из специалистов-графологов для определения подлинности приписанных Чернышевскому записки и письма. Комиссия произвела детальный анализ этих документов и почерка как Чернышевского, так и Костомарова, и пришла к следующему выводу: „Сравнительный приметоописательный графический анализ признаков почерков Чернышевского и Костомарова и признаков почерка подозреваемых записки и письма привели к установлению, что последние состоят из смеси неискусно подделанных типов почерка Чернышевского с явными признаками почерка Костомарова. Насколько Костомаров мастерски умел изменять свой почерк и придумывать новые почерка, настолько он был неосмотрителен в подражании чужого почерка, а судебные власти в хранении такой копии спорного

Заключение Сената

(Сен. пр., л. 113)

1863 года июля 30 дня. Присутствие I отделения 5-го департамента Правительствующего сената, сличив почерк руки Чернышевского на бумагах, им не отвергаемых, с письмом, начинающимся словами: „Добрый друг Алексей Николаевич", нашли с своей стороны, что заключение секретарей сената, признавших, что бумаги сии писаны одною и тою же рукою— правильно; и посему единогласно определили: вышеуказанное заключение секретарей Правительствующего сената, сего числа составивших вышеупомянутый акт сличения почерка титулярного советника Чернышевского, утвердить во всей силе.

Показание Костомарова

(Сен. пр., л. 115)

31 июля 1863 г. разжалованный из корнетов в рядовые Всеволод Костомаров, быв вызван в присутствие I отделения 5-го департамента Правительствующего сената, показал [Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года июля 31 дня, я, нижеподписавшийся, будучи вытребован в Присутствие I отделения 5-го департамента Правительствующего сената, показал:]

Когда я познакомился с Михайловым ему, вероятно, было уже известно, что я принадлежал к компании господ, занимавшихся тайным печатанием. Потому что когда я, во время моего второго визита, предложил ему купить несколько экземпляров привезенной Сорокою книги „Император Николай", — Михайлов принял мое предложение и без малейшей недоверчивости взял доставленные ему экземпляры. В тот же, а может быть и на следующий раз он предложил мне отпечатать что-нибудь, как он выразился, „более действительное", — какую-нибудь прокламацию. Станок собственно был не мой, — я был только **знаком** с его владетелями, — поэтому я не мог дать Михайлову на тот же раз своего согласия, — не повидавшись прежде с Сулиным или Сорокой, который в то время был в Петербурге. — Помнится, — а может быть я и ошибаюсь, — что я не говорил этого Михайлову; для меня было выгоднее в глазах Михайлова оставаться хозяином тайного станка; поэтому я только сказал ему, что прež-

---

письма. Для опытного графолога достаточно высоких начальных кавычек и буквы „ф", чтобы считать спорные письма поддельными.

Стилистически спорное письмо является подражанием письма Чернышевского к Костомарову от 2. VII. 1861. Вставленная в этом письме в скобки фраза на 2 и 3 строках: (или, как это называется —об утопленнице-то) подражалась в спорном письме на 31 и 32 строках в форме (или как там его). К тому же дважды упоминаемый в письме Чернышевского к Костомарову „Алексей Николаевич" служил с удобством в качестве адресата для спорного письма, что заметно по большому сходству начертания этого имени, которое Чернышевский в дознаниях писал с большими отклонениями в формах букв".

Подробности экспертизы см. в томе 25-м „Красного архива", 1927, стр. 152—159.

де, чем я дам ему слово напечатать прокламацию, мне бы хотелось прежде прочесть ее. С тем я и расстался с ним на первый раз. Потом я поговорил с Сорокой, тот согласился за себя и за Сулина. Когда я увиделся после этого с Михайловым, он мне сказал, что у него наготове нет покуда ничего для печати, а что есть нечто очень хорошее у Чернышевского, к которому я имел тоже рекомендательное письмо от Плещеева, но еще не успел съездить. Мы поехали к Чернышевскому вместе с Михайловым, **именно с тем, чтобы прочесть прокламацию, которую хотели дать мне напечатать.** Это было вечером; у Чернышевского собрались гости; мы, впрочем, ушли в кабинет и там читали приготовленную им, по словам Михайлова, прокламацию,— или как он назвал ее,—**Поклон** к барским крестьянам, в его первоначальной редакции. **Поклон** этот мне не понравился и я наотрез отказался его взять. Да и вообще, увлечение у меня прошло очень скоро, и мне хотелось совсем отстранить себя от всякого участия в печатании каких бы то ни было воззваний. Но высказать этого перед Чернышевским и Михайловым мне, разумеется, не хотелось. Потому я и тут не отказался наотрез, а только предложил Чернышевскому сделать в прокламации изменения, на которые, я был уверен, он не согласится. Так и вышло. Чернышевский отказался сделать изменения, а я отказался печатать воззвание в том виде, в каком мне его читал Чернышевский. Я уж не помню, все ли было переговорено нами в одно это свидание, или мы уж в другой раз договорились до того, на чем порешили. Только я поспешил уехать в Москву для избежания дальнейших предложений,—потому что Михайлов выразил мне (дорогой от Чернышевского) надежду, что он уговорит его сделать поправки в Манифесте, а если нет,—так сам напишет. Я, не дождавшись ни того, ни другого, уехал в Москву, а Сороко с своими книгами остался. Я тщательно скрыл от него адрес Михайлова,—хотя сказал, что отдал ему книги. Но Сороко, по отъезде моем узнал адрес Михайлова от Цебрикова, и явился к нему за получением денег. Михайлов между тем, вероятно, одержал победу над Чернышевским, потому что вручил Сороке Манифест уже исправленный большею частию согласно с моими указаниями. С этим Манифестом и деньгами на печатание Сороко приехал в Москву и начал приготовления к печати,—вместе с Сулиным. До меня стали доходить слухи, что Сулин получил от Чернышевского его сочинение для напечатания. Слухи эти меня встревожили; я иду к Сулину, с которым уже твердо решился было прекратить знакомство, и узнаю, что он, через Сороко, точно получил рукопись от Чернышевского. Я сейчас же поехал в Петербург предупредить Чернышевского и других; Чернышевскому повез я письмо от Плещеева. Чернышевский был очень встревожен, но утешал и меня и себя тем, что если эта болтовня дойдет до правительства, то он, Чернышевский, ото всего отопрется,—потому что улик на него никаких нет. Я спешил в тот же день уехать в Москву назад, решившись перенять работу от Сулина, и потом,

под каким-нибудь благовидным предлогом, прекратить ее совсем; потому что наотрез отказаться от участия в этом деле я не мог, не уронив себя во мнении Михайлова и Чернышевского, которыми я дорожил совершенно для других целей. В этот приезд я получил от Чернышевского письмо к Плещееву, которое он вынес мне из кабинета. Потом я поехал к Михайлову и пропустил уже время поезда в Москву. Кажется, тогда-то мы принялись за составление второй прокламации — **к солдатам**, — я, Шелгунов и Михайлов; прокламацию эту я вовсе и не намерен был печатать, а участвовал в составлении ее только из угождения Михайлову. Когда по нашему мнению Шелгунов написал дрянь, — а он упорно отстаивал достоинства своей прокламации, — Шелгунов предложил мне, переодевшись, пойти к солдатам, поговорить с ними в духе и тоне прокламации и посмотреть, какое она произведет действие. Мы и пошли — только я ни с кем не говорил о прокламации и даже, боясь попасться, и ходил-то все по малолюдным переулкам, — а Шелгунова я застал беседующим с солдатами. Повторяю, что я не помню хорошенько, когда это было: тогда ли, как я привозил к Чернышевскому письмо от Плещеева, или в другой приезд? Я в то время ездил в Петербург очень часто, — раза по два в месяц.

Что же касается до письма к Плещееву, то я его куда-то затерял дорогой; так и сказал я Чернышевскому. А после, когда я нашел его за подкладкой своего саквояжа, — оно уже было и измочено, и изорвано, — одним словом в таком виде, что отдать его Плещееву мне было уже совестно, — да оно уже не имело бы и смысла.

По приезде в Москву я уговорил Сулина перенести станок ко мне на квартиру, решившись прекратить печатание под каким-нибудь вымышленным предлогом. Предлог представился прекрасный, когда Сулин, вероятно, не захотев играть второстепенную роль в деятельности тайного книгопечатания, — просил своего приятеля написать мне предостерегательную записку. Записка эта в самом деле меня встревожила, и я сейчас же по ее получении стал уничтожать все следы начатой нами работы. Незадолго перед этим Чернышевский был в Москве и, посетив меня, видел набор своего Манифеста.

Летом, когда уж печатание было давно прекращено, Чернышевский опять был в Москве (по делам цензуры — просить у литераторов подписей под адрес государю) и сильно уговаривал меня продолжать печатание Манифеста. Но тогда уж я отказался наотрез, ссылаясь на то, что за мной следит полиция.

После этого об манифестах этих я ничего и ни от кого не слыхал, до самого своего ареста. [В сем показании что зачеркнуто: „увлечен“ и „летом проезжал через Москву“ — то верно.] — К сему показанию разжалованный из корнетов в рядовые Всеволод Дмитриев Костомаров руку приложил.

При сем присутствовали: (подписи)

Извлечение из дела о Костомарове

А) Воззвание к барским крестьянам следующего содержания:

Барским крестьянам от их доброжелателей поклон.

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, которую дал вам царь, сами вы теперь знаете.

Много тут разговаривать нечего. На два года остается все попрежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут, да отмежуют. Как не в два года! Шесть лет, либо 10 лет проволочут это дело. А там что? Да, почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будут. Знаете вы сами, не ново это слово: „жалуйся на барина". Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты заберут, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известно дело: коза с волком тягалась — один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, пока волки останутся, значит помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтоб волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок вам от царя дан, — что значит, не больно-то хороши для вас нынешние порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ноне срочно-обязанными вас звать велят, а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочно-обязанные, вишь ты глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова. А по нашему надо сказать: вольный человек да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает взаправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь: хорош ли он.

Так вот оно как: два года ждать, царь говорит, покуда земли отмежуются, — а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет, а потом еще семь лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять не на семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет. Так значит живите вы по-старому в кабале́ у помещика все эти годы, два года да семь лет,

значит девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти никуда не моги: значит не стал еще вольный человек, а все остается срочно-обязанный, значит все такой же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь,—малые мальчики до бород, аль и до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну, а покуда она придет, что с вашей землею будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отберут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещика да без потачки им от межевщиков, по самому царскому указу... А без потачки помещикам межевщики делать не станут—ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что оставят вам земли менее, чем наполовину против прежней; где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо меньше, мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, или оброк плати почти что такой же, как прежде за две десятины. Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит должен будет придти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну, мужик на все будет согласен, что барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжеле нонешнего.

Да за одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину за луга подавай, ведь сенокос-то почитай что весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, ведь лес-то почитай что во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу.

Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести,—не на год, а на десять лет разоренья сделает. С реки на колодцы пересадит, на гнилую воду да на вшивую; с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото, вот тебе и огороды, вот тебе и коноплянники, вот тебе и выгон добрый, все поминай, как звали. Сколько тут перемрет народу, на болотах-то да на гнилой-то воде! А больше

того ребятишек жаль: их лета слабые, — как мухи будут на дрянной-то земле да на дрянной-то воде мереть. Эх, горькое оно дело! А гробы-то родительские — от них-то каково отлучаться?

Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так они значит уж в чистой, как есть, в кабале у него; на все есть у него одно такое словцо, что в ноги ему упадет мужик да завопит: „Батюшка, отец родной, что хочешь требуй, — все выполню, весь твой раб!". А словцо у барина таково: „коли не хочешь такую барщину справлять, либо такой оброк платить, как я хочу—перенеси усадьбу". Ну и сделаешь все по этому словечку.

А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да я его в счет не ставлю: плохо ты работал; завтра приходи отработывать. Ну, и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.

Это все об том говорится, как мужикам будет жить, пока их срочно-обязанными звать будут,—значит девять лет, как в бумаге обещано, а на деле дольше будет, лет до двадцати, либо до тридцати.

Ну, так, а потом что будет, когда значит мужику разрешено будет отходить от помещика? Оно пожалуй что и толковать об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальшем времени рассудить можно.

Когда срочно-обязанное время кончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, которая была тебе отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты срочно-обязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог, а когда перестал ты срочно-обязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может когда срочно-обязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят, — оно попросту сказать и значит, что барин у мужика землю отнять может, а мужиков прогнать.

Это о том времени, когда срочно-обязанным вас называть перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогонять, ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно; оно впрочем на то же выходит.

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, или в Питер, али на фабрики? Там уже все

полно, больше народу не требуется, поместить некуда. Значит походит, походит по свету, по большим городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернется. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо там в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли что делать, куда деваться, кроме, как в батраки наняться. Ну, и нанимайся. Сладко ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно; а тогда гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, так везде будут сотни да тысячи народу шататься, да просить помещиков, чтобы в батраки их взяли. Значит уж помещичья воля будет, какое житье им определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да семья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж и давно заведен этот порядок: вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там и таких нет: в землянках живут да в хлевах, а то в сараях больших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, у них вечно так. У нас в русском царстве есть такая поганая земля,—где города Рига, да Ревель, да Митава стоят; а народ тоже христианский и вера у них тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а потому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля, а коли дурно, то и поганая.

Так вот оно к чему по царскому то манифесту да по указам дело поведено; не к воле, а к тому оно идет, что в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит знал. Ну и рассудите, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно. Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уже и не памятно; а других не больно давно, так что деды помнят, прабабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матушкою Екатериною величают. Хороша матушка,—детей в кабалу отдала.

Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит что он, что они,—все равно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону. А что манифест да указы выпустил, будто волю вам дает, так он только для обольщения сделал. А почему сделал,

вот почему: у французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано.

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая и в правду-то воля бывает? Хотите знать, так вот какая.

Вот у французов есть воля. У них нет разницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли—значит богат он; мало—так беден; а разницы по званию нет никакой, все одно, как богатый помещик либо бедный помещик—все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один, и наказание одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу, все равно как у нас помещики тоже юнкерами или офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованье солдату большое дается; значит доброй волей идут служить, сколько требуется людей.

А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это может и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот значит умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот еще в чем у них воля. Паспортов нет; каждый ступай куда хочет, живи как хочет, ни от кого разрешения ему не дано.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал, у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у них судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте, в ту же минуту в острог его запрятали бы.

А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь; а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может, и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старостою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру страх имеет. Полковник ли, генерал ли, у них все одно, пред старостою шапку ломит и во всем старосту слушаться должен; а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, пред старостою, али ослушался старосты, староста его, полковника-то, аль генерала-то, в острог сажает,—у них пред старостою все равно: хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, все одно, староста над тобою начальствует, а над старостою мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому, что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь значит для всего народа ста-

роста и народ значит над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается; а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам не угоден, мы тебя сменяем,—иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше, а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушанье. Ну, царь и пойдет от них куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости, Христа ради там складчину ему сделают промеж себя, по грошу или по копейке с души, что б в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгой же: потачки царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли хотят; а не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года; как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему по-иностранному президентом, тогда народу лучше бывает жить, и народ богаче бывает. А то и при царе можно тоже хорошо жить, как англичане и французы живут, только значит с тем, чтобы царь во всем народу и послушание оказывал, и без народа ничего делать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел, и чуть что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается.

Так вот она какая взаправду-то воля бывает на свете: Чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы паспортов не было, и подушного оклада не было бы, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит и воли нет, а все одно: обольщенье в словах.

А как же нам, русским людям, и в правду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и не то чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись.

Вот вы, барские крестьяне, значит одна половина русских мужиков. А другая половина государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да паспортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, а чтобы у них тоже мир был всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

„Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон".

А вот тоже солдат,—ведь он из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки.

А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему житье что ли больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принуждению, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти, да хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей сереб. каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром. А и принуждения никакого нет, хочешь оставайся, хочешь в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, до ста руб. сереб. награды за то, что своим братьям-мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам, и себе добро сделают. И поклон им от нас скажите:

„Солдатам русским от их доброжелателей поклон".

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и не мало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть.

Так вот какое дело, надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда везде готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом-мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уже увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народу да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет и единодушие в нем

есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет.

А это наше письмецо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата—мужика да солдата ото всех его прячьте, потому что для мужика да для солдата наше письмецо писано, а к другому ни к кому оно не писано,—значит, окроме вас, крестьян да солдат, никому и знать об нем не следует.

Оставайтесь здоровы да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры до времени, а уж от нас вы без наставленья не останетесь, когда пора будет.

Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит. А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся"[1].

Б. В деле Всеволода Костомарова в показаниях Костомарова, Михайлова, Сулина и Сороки о титулярном советнике Чернышевском не упоминается.

Законы, приличные к делу т. XV Св. закон. уголовн: ст 283, 284, 285, 286. Кн. 2. ст. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313.

Кроме означенных законов, более приличных к делу сему нет.

Обер-секретарь Дмитрий Кузнецов.

Подписка Н. Г. Чернышевского

1863 года августа 13 дня я, нижеподписавшийся, будучи вызван в I отделение 5-го департамента Прав. сената дал сию подписку в том, что сего числа приступил к чтению записки из дела, обо мне составленной, которое обязуюсь окончить в узаконенный срок и подать рукоприкладство.

Отст. тит. сов. Н. Чернышевский.

---

[1] Принято думать, что автором воззвания к барским крестьянам действительно был Чернышевский. Основанием для такого мнения послужили следующие слова в воспоминаниях Н. В. Шелгунова:

„... В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию „К солдатам", а Чернышевский прокламацию „К народу" и вручил их для печатания Костомарову. Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я". (См. **Н. В. Шелгунов, „Воспоминания"**, Госиздат, Москва—Петроград, 1923, стр. 33) Когда Шелгунов писал эти воспоминания, многое до такой степени изгладилось из его памяти, что вслед за приведенными строками он говорит: **„Содержание прокламации „К народу", „К солдатам" я забыл.** Таким образом установить **тождество** прокламации „К народу", до нас не дошедшей, с воззванием к барским крестьянам в том виде, как мы его знаем, на основании **одних** воспоминаний Шелгунова нельзя. Рукопись попавшего в руки властей воззвания **писана Михайловым.** По показаниям самого Костомарова, первоначальный текст воззвания был будто бы Чернышевским изменен по его, Костомарова, настоянию,

Заявление Н. Г. Чернышевского

В Правительствующий сенат от отставного титул. советника Чернышевского. Образец черновой литературной работы Чернышевского, содержащий в себе пятнадцать полулистов и один полулист пояснительной заметки (писанной 14 августа).

В той части записки по делу Чернышевского, которую Чернышевский прочел 13 августа, очень много говорится о литературной деятельности Чернышевского, о личных свойствах его характера, особенно о его самолюбии. Эти соображения подтверждаются авторами бумаг, их содержащих, посредством извлечений из черновых бумаг и семейных писем Чернышевского.

Чернышевский находит полезным для разъяснения представить вложенный здесь образец черновой его работы, заключающейся на 15 листах его неумерации, деланной его рукою ныне поутру, 14 августа[1].

Это нужно для облегчения разбора дела о Чернышевском— в его ли пользу, или нет, он предоставляет решить пр. сенату.

Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.*

14 августа 1863 г.

иначе он не соглашался печатать его, и набран был измененный текст. В корректурном листе набора первоначально стояло выражение „**срочно** обязанные" вместо „**временно** обязанные", как следовало согласно Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, и Чернышевский будто бы просил Костомарова запиской (подложность которой установлена с полною несомненностью!) заменить неправильный термин правильным. Но Чернышевский и позднее употребил термин „срочно обязанные" в своих „Письмах без адреса", писанных в феврале 1862 г. и не пропущенных цензором „Современника". Вряд ли к тому времени он опять забыл бы правильный термин.

Помимо прочих соображений, само содержание некоторых частей воззвания к барским крестьянам таково, что автором их не мог бы быть Чернышевский. Так, там, где говорится о настоящей воле, в пример приводятся не только Англия, но и Франция при Наполеоне III!—„У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен..Потому что царь у них значит для всего народа староста, и народ значит над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается; а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты царь над нами уж не будь царем, ты нам не угоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше, а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушанье..." Мнение Чернышевского о порядках при Наполеоне III слишком хорошо известно, чтобы можно было считать его автором подобных демагогических идиллий! Не употребил бы Чернышевский и такой фразы, как: „А гробы-то родительские—от них-то каково отлучаться?"

Итак, прокламация, написанная, по свидетельству Шелгунова, Чернышевским, не тождественна с дошедшим до нас текстом воззвания к барским крестьянам, и требуется обстоятельное исследование последнего, чтобы определить, что в нем могло принадлежать Чернышевскому. Сам Костомаров даже в январе 1863 г. еще называл автором воззвания **Михайлова** и только в феврале, сочиняя под редакцией Потапова письмо к вымышленному им Соколову, указал на Чернышевского и в доказательство подделал затем под руку Чернышевского упомянутую записку и письмо к А. Н. Плещееву, привлекши и готового подтвердить ее лжесвидетеля в лице Яковлева.

[1] Эта рукопись содержит брошенное автором начало „Рассказа о Крымской войне, по Киглеку" и часть романа „Алферьев" (см. эти произведения, изданные под нашей редакцией). Сенат не обратил внимания на эту рукопись.

P. S. Он просит гг. делопроизводителей просматривать листы по порядку нумерации, деланной им 14 августа, — читать всего сплошь не стоит, по его мнению, достаточно употребить часа полтора или два на пересмотр.

Но если гг. делопроизводители будут читать внимательно, сплошь, то тем лучше для разъяснения дела. Отставной тит. сов. *Н. Чернышевский.* 14 августа 1863.

Чернышевский предполагает, что легче всего понять эти странные работы, если предположить, что этот материал для будущих романов, именно для таких частей романов, в которых изображается состояние очень сильного юмористического настроения, доходящего почти до истеричности. Но, конечно, он не в праве требовать, чтобы гг. делопроизводители ему верили на слово. Отставной тит. сов. *Николай Чернышевский.*

Сведение Чернышевского

(Сен. пр., л. 135)

Во время рукоприкладства Чернышевский в присутствии Правительствующего сената подал сведение, в коем изъяснил, что, прочитав в записке Правительствующего сената результат сличения почерка с почерком письма к Алексею Николаевичу, он просил, если не противно закону, дать ему самому возможность сличить отвергаемое им письмо: a) с бумагами, писанными почерком В. Костомарова, и b) с бумагами, писанными им самим, которые были принимаемы за основание для сличения его почерка с почерком письма, дать ему на рассмотрение эти бумаги. При рассмотрении отвергаемого им письма и бумаг почерка Костомарова он находит полезным пользоваться сильною лупою, увеличивающею в 10 — 12 раз, и просит сенат или приказать доставить ему ее или разрешить приобресть ее[1].

---

[1] Прочитав на листах 409 - 410 черновой (дополнительной) записки по моему делу изложение результатов сличения почерка письма к Алексею Николаевичу, которое я называю непринадлежащим мне, с моими подлинными письмами или бумагами, я осмеливаюсь Пр. с. разрешить мне, если то не противно закону, „прибегнуть к тем из даваемых наукою для распознавания почерка средств, какие могут быть допущены по закону“ (мое дополнительное показание, записка, лист 351).

Из них первое требует, чтобы мне самому дана была возможность сличить отвергаемое мною письмо с A) бумагами, несомненно писанными почерком г. В. Костомарова; B) бумагами, писанными мною, которые были принимаемы за основание для сличения моего почерка с почерком письма.

Итак, имею честь просить Правительствующий сенат, если не противно закону, дать мне на рассмотрение эти бумаги. При рассмотрении отвергаемого мною письма и бумаг почерка г. Костомарова нахожу полезным пользоваться сильною лупою, увеличивающею в 10 — 12 раз; прошу у Пр. с. или приказания доставить ее мне, или разрешения мне приобресть ее.

20 августа 1863. Отставной титулярный советник *Николай Гаврилов сын Чернышевский.*

Заключение сената

(Сен. пр., л. 138)

Правительствующий сенат, по выслушании означенного сведения Чернышевского, 21 августа сего года заключил: Хотя подсудимый титулярный советник Чернышевский в поданном им сведении домогается предъявить ему сличаемые бумаги, и тем дать ему возможность самому сделать сличение, сверх сего приказать доставить ему лупу, увеличивающую в 10—12 раз для сличения, но Правительствующий сенат признал таковое домогательство Чернышевского незаконным; ибо сличение почерка руки его сделано секретарями, и затем присутствием Правительствующего сената на точном основ[ании] 205 ст. 2 кн. XV Свод зак. угол. и 350, 351 и 354 ст. т. X Свод. зак. гражд. книги 2-й, с соблюдением всех предписанных законами сими правил, того же, чтобы самому подсудимому дозволено было делать сличение своего почерка с актом им отвергаемым, или употреблять для сличения сего лупу, в законах постановления нет, а посему определил: домогательство Чернышевского, как не основанное на законе, признать не заслуживающим удовлетворения, о чем и объявить ему в присутствии Правительствующего сената, что и исполнено[1].

Постановление сената

1863 года сентября 2-го дня. В журнале I отделения 5-го департамента Правительствующего сената записано:

Слушали: Словесное прошение тит. сов. Чернышевского о том, что со времени представления его в сенат для рукоприкладства ему воспрещено свидание с родными его, а между тем вскоре возвратится в СПБ жена его, с коею он просит сенат разрешить ему свидание.

Приказали: Г. СПБ военному генералу-губернатору для зависящего с его стороны распоряжения дать знать указом, что представление Чернышевского в сенат для чтения записки и рукоприкладства не должно служить препятствием свиданиям его с женою и прочими родственниками. — Подлинный за подписанием г. г. сенаторов.

Рукоприкладство Н. Г. Чернышевского

Записку сию читал; нахожу ее составленною с делом правильно; на господ сенаторов, обер-прокурора, обер-секретаря и секретаря подозрения не имею; при слушании дела быть желаю; причем покорнейше прошу Правительствующий сенат принять во внимание рукоприкладство мое, при сем прилагаемое на одном

---

[1] 1863 года августа 21 дня я, нижеподписавшийся, быв вытребован в присутствие I отделения 5-го департамента сената, дал сию подписку в том, что заключение сената на просьбу мою о сличении почерка руки моей мне объявлено, — выслушал. Отст. титул. советн. Н. Чернышевский.

листе. Отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский [25 сентября 1863].

Прошу Правительствующий сенат обратить внимание на следующие обстоятельства:

1. Выписка [1] л. 15. Я был арестован по подозрению в намерении эмигрировать; но не только намерение эмигрировать, и самое эмигрирование не составляет преступления; преступлением становится уже только ослушание приказанию возвратиться. Св. зак т. XV кн. I ст. 368 (также 367, 369, 370).

2. Мои письма к его величеству и г. генерал-губернатору, писанные в ноябре, не внесены в дело. Выписка, л. 297.

3. Картонные лоскутки мнимого шифра, дело л. 167-170 прошу сравнить с действительными ключами шифра, в которых нумерация букв различна, между тем, как на лоскутках одинакова. Дело, л. 297.

4. Письмо г. Костомарова имеет все признаки, отличающие произведение вымысла от фактического рассказа. Дело, л. 282. Лицо, к которому адресовано письмо, очевидно есть лицо выдуманное, дело, л. 321.

5. У г. В. Костомарова 5 марта не было улик против меня, дело, л. 287 обор. А 7 марта явилась в руках лиц, обыскивавших его, записка карандашом, приписываемая мне, дело, л. 303.

6. Письмо о разговоре г. Яковлева в смирительном доме, л. 434, подтверждено официальными актами, дело, л. 396, и решением комиссии высочайше одобренным, дело, л. 438 и 446.

7. В дополнительном показании моем Правительствующему сенату я вызывался подтвердить приводимые мною факты. В деле есть уже подтверждения большей части их, например, на листах 342, 305, 306, 326 дела.

8. Слова мои о влиянии неосновательных слухов обо мне на начатие и ведение процесса против меня (выписка, л. 284) подтверждаются тем, что подобными слухами наполнено дело; примеры их листы 48—53 дела.

9. Слова мои об истинной причине раздражения г. Костомарова против меня делаются несомненными после того, как сам г. Костомаров ясно намекает на нее и отказывается пояснить свои слова; выписка, л. 318, дело л. 342.

10. Солидный характер г. Плещеева, известный сотням лиц, несовместен с отношениями, в которые ставит его ко мне „письмо к Алексею Николаевичу“, выписка, л. 397. Лживость этого письма конечно уже раскрыта и официальными мерами по поводу этого письма, подвергавшими г. Плещеева неприятностям.

11. В „письме к Алексею Николаевичу“ слово некогда (нет времени) написано нѣкогда (когда-то, когда-либо). Выписка, л. 400 обор.

12. Это письмо есть подлог,—факт подобного рода нуждается в точнейших средствах исследования истины, о которых го-

---

[1] Пояснение всех ссылок Чернышевского в этом и других его заявлениях мы даем далее.

ворю я на листе 346 выписки и в бумаге, поданной мною Правительствующему сенату по поводу акта сличения почерка этого письма.

13. Появление „письма к Алексею Николаевичу“ противоречит словам г. Костомарова перед его появлением, что у него, г. Костомарова, уже не остается улик против меня; дело, л. 341; выписка, л. 418 обор.

14. Появление „письма к Алексею Николаевичу“ заставило делать новые выдумки, противоречащие прежним его показаниям и его письму к Соколову; все его показание 31 июля (л. 411 след.) проникнуто подробностями, несовместными с его прежним изложением его мнимых тайных сношений со мною; вот некоторые черты несовместности:

Показание г. Костомарова 31 июля.	**Прежние слова г. Костомарова.**
В первый свой приезд в Петербург, имел он рекомендательное письмо ко мне от Плещеева (выписка, л. 413).	Он, уже познакомившись с Михайловым, „не знал, как устроить знакомство“ со мною, и только Михайлов познакомил его. О рекомендательном письме — ни слова; явно, его не было (л. 325 дел.)
Первая редакция прокламации к барским крестьянам, при первом чтении ее у меня, не понравилась г. Костомарову; выписка, л. 413 обор.	При этом первом чтении, г. Костомаров был в таком восхищении, что даже не мог говорить, и потому Михайлов увез его (дело, л. 287 обор.).
Итак, г. Костомаров тут же, в первое свидание со мною, при первом чтении в моем кабинете, потребовал изменения редакции; я не согласился; г. Костомаров отказался печатать. Он не помнит, виделся ли со мною еще раз для продолжения переговоров, — одно или два свидания мои с ним были заняты ими; но он и я лично вели переговоры (выписка, л. 414).	Требование изменить редакцию прокламации явилось у г. Костомарова только при-втором ее чтении (у Михайлова), — только тут, на другой день после первого чтения; переговоры со мною вел исключительно Михайлов, ездя для этого ко мне один, без Костомарова, и г. Костомаров знает об этих переговорах только по пересказу Михайлова (дело, л. 327, 329, 287).
Все эти чтения и переговоры —	выдумка г. Костомарова.
Во время своих занятий тайным печатанием (несколько месяцев) г. Костомаров ездил в Петербург „очень часто“, „раза по два в месяц“ (выписка, л. 418)	Он до своего арестования ездил в Петербург, „кажется“ ему, только два раза (дело,290)

Узнав, что рукопись прокламации в Москве, г. Костомаров „сейчас же“ поехал в Петербург предупредить меня; в эту поездку он получил от меня „письмо к Алексею Николаевичу“ (выписка, л. 416, 417).

Узнав, что рукопись в Москве, он занялся приготовления[ми] к печатанию и печатанием ее (дело, л. 288), а известил меня письмом о том, зачем, по показанию 31 июля, сам ездил в Петербург (дело, л. 376, ф).

По всему этому, прошу Правительствующий сенат повелеть освободить меня от содержания под арестом; и применить статьи 383, 390, 392, 404, 475, 1206 и 1288 Св. зак. т. XV книги I к лицам, которые, по исследованию, окажутся виновными в нарушениях закона по моему процессу. Отставной титулярный советник Николай Чернышевский.

Допрос Костомарова

(Сен. пр., л. 169)

На предложенные 23 сентября 1863 года присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената рядовому Всеволоду Костомарову вопросы: В показании, данном Вами в Правительствующем сенате, вы объяснили, что имели от Чернышевского письмо к Плещееву, которое сначала затеряли, а потом нашли его, но уже изорванным и измоченным, а посему и не передали его Плещееву. При делах Правительствующего сената имеется письмо Чернышевского к Плещееву, при сем вам предъявляемое, по которому имеете объяснить: 1) То ли это письмо, которое передал Вам Чернышевский для передачи Плещееву? Отвечал: Предъявленное мне письмо—то самое, которое г. Чернышевский передал мне для передачи г. Плещееву. На вопрос 2-й: Когда и каким образом вы познакомились с Плещеевым, почему он рекомендовал вас Чернышевскому и какие были отношения сего последнего к Плещееву? Отвечал: С г. Плещеевым я познакомился по поводу издаваемого мною сборника „Поэты всех времен и народов“;—после издания 1-го выпуска этой книги я приехал к Плещееву просить его участвовать в следующих; к Чернышевскому он меня рекомендовал как автора некоторых стихотворений, помещенных в „Современнике“, за которые мне следовало получить деньги. Об отношениях г. Плещеева к Чернышевскому мне ничего неизвестно, как равно неизвестно и то, имел ли намерение г. Плещеев печатать какие-либо прокламации, как видно из письма г. Чернышевского к Плещееву. Когда Чернышевский передал мне письмо к Плещееву, я был уже знаком с ним чрез Михайлова, хотя и имел рекомендательное письмо от Плещеева. Переговоры же о печатании начались прежде всего через Михайлова, и когда я приехал к Чернышевскому, я нашел [его] уже предупрежденным и знакомым с моею прежнею деятельностию по тайному книгопечатанию. На вопрос 3-й: Не признаете ли возможным объяснить еще что-либо относительно составления, печатания и

распространения прокламации? Отвечал: Более я ничего не имею объяснить относительно составления, печатания и распространения прокламации. К сему имею присовокупить то, что г. Плещееву известно было то, что я участвовал в печатании книги „Разбор книги барона Корфа: Император Николай и 14 декабря".

Прошения Чернышевского

(Сен. пр., л. 175—190)

В самый день подачи рукоприкладства, то-есть 25 сентября 1863 г., отставной титулярный советник Николай Чернышевский подал в Правительствующий сенат два прошения, в коих изъяснил: В 1-м:

[**Подано 25 сентября 1863 г.**

Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший

Просит отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:]

1

Мой процесс веден так, что решение его в том или другом смысле имеет для правительства важность, далеко превышающую решение того, какова будет моя личная судьба.

2:

Потому, сказав это, я исполняю долг русского подданного, прося Правительствующий сенат, или принять во внимание политическую сторону фактов, приводимых в моем рукоприкладстве, или принять те меры, какие повелеваются законом в подобных случаях, а потому всеподданнейше прошу,

Дабы повелено было рассмотреть политическое значение фактов, совершившихся по моему процессу. Отставной тит. сов. Николай Гаврилов сын руку приложил. Сентября 25 дня 1863 года.

К поданию надлежит в первое отделение пятого департамента Правительствующего сената.

[И во 2-м: Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший!

Просит отставной титулярный советник Николай Гаврилов сын Чернышевский, а в чем мое прошение, тому следуют пункты]:

1.

По прочтении моего дела для сделания рукоприкладства, я нахожу средства в значительной степени пояснить обстоятельства моего процесса на основании данных, которые представляются бумагами, заключающимся в этом деле. Те, что можно было по закону ввести в форме рукоприкладства, я изложил в нем; пояснения, не вошедшие в рукоприкладство, излагаю в этой моей просьбе.

2.

По изложению обстоятельств моего арестования надобно заключать, что самый факт ареста был произведен по распоряжению, еще не уполномоченному высочайшею волею государя императора, которому было доложено об арестовании меня, как о факте уже совершившемся, только для испрошения высочайшей воли по вопросу о том, в каком месте заключения содержать лицо, уже арестованное. Я теперь сужусь по обвинению в политическом преступлении; следственно, самый характер процесса моего обязывает меня выставлять на обсуждение надлежащих правительственных учреждений политическую сторону моего процесса. Не зная, как не-юрист, в праве ли Правительствующий сенат принять во внимание эту (политическую) сторону дела, я излагаю ее в отдельной просьбе, для того, чтобы настоящая моя просьба не погрешала по форме, если просьба к Правительствующему сенату о принятии во внимание политической стороны дела есть погрешность против формы.

3.

Фактом моего арестования правительство и один из его органов — высочайше учрежденная Следственная комиссия — с одной стороны, а с другой—один из подданных его императорского величества, именно я, были поставлены в такое отношение: арестован человек, против которого нет обвинений; это положение имело первым своим последствием нарушение Св. законов т. XV кн. I статья 475. Допрос мне в первый раз был сделан спустя только уже около четырех месяцев после моего арестования, и только на этом допросе была высказана причина моего арестования (выписка, л. 54)[1].

4.

Время шло; надобно же было представить в высочайше учрежденную комиссию что-либо под именем улик или обвинений против меня. И вот, явились на внимание комиссии разные бумаги из числа найденных у меня. Из чтения моего процесса я увидел, что не было обращено никакого внимания на особенности положения журналиста и потому выставлены были, как факты подозрительные по своей странности, такие обстоятельства, которые необходимо связаны с профессиею журналиста. Со мною было то самое, как если бы, нашедши в лаборатории химика химические реактивы, стали удивляться этому и строить на этом юридические действия против него. Потому, вижу теперь необходимость изложить некоторые особенности профессии журналиста.

5.

Первая из них—та (неприятность для людей нежного темперамента и) безразличная для журналистов, привыкших к

---

[1] Пояснение ссылок Н. Г. Чернышевского в его заявлениях см. в приложении.

своему положению, проделка оскорбляемых ими литературных или сословных самолюбий, что журналист нередко получает пасквили против себя. Таких пасквилей—не мало в моих бумагах. Выбраны были те из них, которые имеют своим содержанием политическую брань на меня. Эти пасквили введены в дело в нарушение Св. зак. т. XV ч. 2 ст. 53.

6.

Ясно, что письмо г. г. Герцена и Огарева (дело, л. 72) прислано было ко мне как пасквиль или подметное письмо. Ясно, что оно однако же теперь уже не может быть не принято во внимание, потому что из него уже извлечены комиссиею многие вопросы Чернышевскому (дело, л. 359). Поэтому я уже имею право ссылаться на него. Поясню при этом, что я обязан был, как литератор, сохранить у себя этот документ: он важен для истории литературы, и всякий ученый, занимающийся ею, скажет, что я поступил бы недобросовестно, если бы или уничтожил его или передал в какой-нибудь архив официального места, не открытый для ученых, занимающихся историею литературы. Это письмо показывает неприязненность моих отношений к г. г. Герцену и Огареву; оно явно выставляет, что подозрение в моем намерении эмигрировать для сотрудничества с Герценом было неосновательно. Оно показывает также (дело, л. 359), что на самом деле я поступал противоположно лживым слухам обо мне, о которых буду говорить ниже.

7.

Также, я уже имею право ссылаться на другой пасквиль против меня, когда он введен в дело. Это—анонимное письмо ко мне (дело, л. 83). Я прошу обратить в нем внимание на слова безыменного автора ко мне: „Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения“ (л. 84). Они показывают истинный источник бывших обо мне слухов, как о человеке злонамеренном: сословное раздражение той части дворян-землевладельцев, которая была недовольна освобождением крепостных крестьян. Видя, что с одной стороны напор на правительство по этому делу очень силен (например, требуются невозможные цифры выкупа по расчету дохода в 70 или 80 р. с. с тягла, с капитализациею из 5%,—около 600 руб. сер. за ревизскую душу),—я считал полезным противодействовать этому наивозможно сильным отстаиваньем низких цифр, чтобы правительство имело возможность остановиться на умеренных, возможных величинах выкупа.

8.

Это письмо введено в дело; оно послужило одним из источников для письма г. В. Костомарова к г. Соколову. Там и здесь подозрения на меня выводятся из того, что я социалист.—В печатной литературной полемике мои литературные противники действительно называли меня социалистом; называли также Кромвеллем, Бонапарте и проч. Я не имею ровно ничего против употребления этих или каких бы то ни было других укоризненных

или обвинительных прозваний против меня в литературной полемике. Я надеюсь, что огромное большинство литераторов, полемизирующих против меня, и большинство рассудительных читателей понимает истинное значение резких выражений в полемике: они служат приправою, без которой спор казался бы скучен публике.

Это реторические фигуры: метафоры, метонимии, гиперболы.— Но я не ждал, чтобы полемический термин моих литературных противников был введен в следственное дело против меня с юридическим смыслом. Я твердо убежден, что огромное большинство их вознегодовало бы на этот факт, если бы узнало о нем.

В юридическом смысле слова,—в серьезном ученом смысле, который один имеет юридическое значение, термин „социалист" противоречит фактам моей деятельности. Обширнейшим из моих трудов по политической экономии был перевод трактата Милля, ученика Рикардо; Милль—величайший представитель школы Адама Смита в наше время; он гораздо вернее Адаму Смиту, чем Рошер. Из примечаний, которыми я дополняю перевод, обширнейшее по объему исследование о Мальтусовом законе. Я принимаю его, и стараюсь развить Мальтусову формулу. Этот принцип—пробный камень безусловной верности духу Адама Смита. Я не социалист в серьезном ученом смысле слова по очень простой причине: я не охотник защищать старые теории против новых. Я,—кто бы я ни был,—стараюсь понимать современное состояние общественной жизни и вытекающих из нее убеждений. Распадение людей, занимающихся политическою экономиею, на школы социалистов и не-социалистов—такой факт в историческом развитии науки, который отжил свое время. Практическое применение этого внутреннего распадения науки также факт минувшего: в Англии, давно; на континенте Западной Европы—с событий 1848.—Я знаю, что есть многие отсталые люди, полагающие, что это мое мнение подлежит спору; но это спор уже о том, основательны ли мои ученые убеждения,—предмет, чуждый юридического значения. А между тем, он введен в дело.

9.

В дело введено мое письмо к жене (л. 154). О политической стороне этого факта не говорю здесь: она излагается мною в другой просьбе моей. Письмо это дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, много раз повторяются потом в деле; как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия, и наведения тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка (дело, л. 157, л, 283 и 286). В числе моих слабостей есть гордость,—качество, противоположное мелкому самолюбию, хотя бы и непомерному,—но все-таки, качество, имеющее свои забавные стороны. Я люблю смеяться над своими слабостями. Все мои статьи, все мои письма к людям близким наполнены моим иронизированием над собою. Может быть, это также недостаток. Но до него нет дела уголовному следствию.

Ирония не предмет XV тома Свода законов. Между тем я нашел в деле факт, о котором говорю.

Действительно ли я человек непомерного самолюбия? — Пусть прочтут серьезные страницы моих статей. В них я называю — даже в нашей бедной современной русской литературе — нескольких людей, которых ставлю выше себя по ученой и публицистической деятельности. Пусть обратятся с вопросом к людям, знающим меня близко, — такой ли я человек, который бы тяготил кого-нибудь своим самолюбием. Пусть же употребят серьезные, достойные средства к разъяснению психологического вопроса, который не подлежит суду по XV тому Свода законов, но который я вижу введенным в дело для осуждения меня по этому тому.

Но, — нарушая границы между биографическим любопытством и юридическими обязанностями, не захотели даже принять серьезных средств к открытию истины, а сделали гораздо проще: дали юридический смысл ироническому отрывку.

Мое письмо к жене, приводимое в деле, состоит из двух частей: в одной я говорю о себе так, что посмеется над этою частью письма всякий, — и я смеялся, когда писал ее, — смеялся над собою, преувеличивая до нелепости ту сторону моих ученых предположений, которая забегает в будущее: я излагаю план таких ученых работ, для исполнения которых нужно несколько сот лет работать день и ночь, работ, которых не в состоянии исполнить никто на свете; в этой части письма я называю себя продолжателем Аристотеля. В другой половине письма, о действительных делах, я просто говорю моей жене, что она, по моему мнению, может лучше меня рассудить, потому что умнее меня (л. 155, оборот). Ясно, что первая половина письма — мое иронизирование над самим собой. Но не умели или не могли обратить внимание на такой простой способ понять, в чем тут вся вещь.

10.

Но при всех этих вещах, все-таки, не было ни улик, ни даже таких фактов, на которых можно бы было основать серьезное следствие против меня. Высочайше учрежденная комиссия видела это. Желая дать ей путь выйти из положения, в которое она была поставлена фактом моего арестования, я написал, после первого моего допроса, письма к его величеству и к г. генерал-губернатору. Этих писем нет в деле (выписка из дела, л. 297). Почему их нет в нем, я говорю в другой моей просьбе.

11.

Комиссия видела недостаточность подозрений, взводившихся на меня бумагами, бывшими в ее руках во время первого допроса (30 октября). Потому, после этого допроса (16 ноября, по отметке на л. 164) были доставлены ей тетради моего дневника (л. 181 следд.) с картонными лоскутками (л. 167 следд.), которые в бумаге, передающей их комиссии, названы „указателями“

„шифра“, хотя в это время уже было удостоверение от министерства иностранных дел, что мой дневник писан не шифром (тот же 164 лист).

12.

Политическую сторону введения в дело вещей, подобных моему дневнику, я разъясняю в другой моей просьбе. Здесь оставляю политическую сторону вопроса без рассмотрения.

Способ сокращенного писания подобного моему, употребленному в дневнике, употребляется, в большей или меньшей удачности сокращений, почти всеми студентами университетов, записывающими лекции. Это служит заменою стенографии, а не тайным письмом. Я с детства писал очень много, и еще в семинарии записывал таким образом лекции, — тетради этого периода, еще детского, находятся в моих бумагах. В университете привычка развилась у меня. Из того периода в моих бумагах есть между прочим весь „Герой нашего времени“ Лермонтова, переписанный таким способом. И после я точно также писал почти все, что писал для себя (например, в деле л. 61 и 62, черновые списки с моих писем к профессору Андреевскому, оставленные у себя мною для будущих справок). Все это было в руках и перед глазами лиц, разбиравших мои бумаги. И все-таки на л. 164 дневник мой выдается за написанный шифром, — даже после уверения министерства иностранных дел, что он писан не шифром.

Что такое этот дневник? —Министерство иностранных дел нашло, что не следует понимать его в смысле обыкновенного дневника (л. 164, оборот). В бумаге, присланной в комиссию, это мнение министерства передается словами: „можно думать, что слог этот имеет условный смысл“. Я не знаю, до какой степени точно передан этот отзыв министерства в этой бумаге; подлинного отзыва министерства нет в деле. Разбиравшим бумаги мои должно было бы знать, что они разбирают бумаги литератора. При разборе бумаг они могли бы заметить, что им попадаются повести, писанные моею рукою. Если бы они потрудились заметить эти два обстоятельства, мне не пришлось бы утруждать Правительствующий сенат объяснениями факта, которому не следовало бы попадать в дело.

Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах,—рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романа и в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости, Годвин также. Роман—вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни. Мною написаны груды

таких материалов—и брошены; довольно написать, хранить незачем,—цель: утверждение в памяти—уже достигнута. Но я не мог уничтожить некоторых моих черновых работ, потому что они были писаны на одних листах с вещами, которые я считал интересными для меня. Тетради, внесенные в дело,—именно таковы. Среди материалов для будущих романов набросаны кое-какие отметки из моей действительной жизни (например, список дней, когда я в первый раз говорил с моею невестою, когда она дала мне слово).

Надобно объяснить, что у меня, как почти у всех беллетристов, порядок возникновения романа таков: берется факт, отдается на волю фантазии, она играет им,—это самый важный период так называемого „поэтического творчества". Итак тут в моем дневнике вольная игра моей фантазии над фактами. Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю эти вымышляемые мною сцены.

Что же я вижу здесь в деле? Берут одну из этих сцен и дают ей юридическое значение. На этом основан весь ход моего процесса до передачи его в Правительствующий сенат. Сцена состоит в том, что какое-то „я" говорит девушке, что может со дня на день ждет ареста, и если его будут долго держать, то выскажет свои мнения, после чего уже не будет освобожден. В тех же тетрадях есть многие другие „я". Одного из этих „я" бьют палкою при его невесте (л. 213). Можно удостовериться справкою, что ни тогда, ни вообще когда-либо со мною, Чернышевским, ни при его невесте, ни без невесты не случалась ничего такого. Я могу объяснить, из каких фактов взята мною, как литератором, сцена, вошедшая в дело с таким важным влиянием на него. Это прикрашенный идеализациею случай из жизни Йоганна Кинкеля (известного немецкого ученого, о котором тогда много писали в газетах), приспособленный мною, как романистом, к рассказу, незадолго перед тем слышанному мною от Николая Ивановича Костомарова(не имеющего ничего общего с г. В. Костомаровым) —он был арестован в то время, как собирался жениться (за пять лет перед тем). Два очень простые соображения могли бы показать, что сцена, созданная мною, литератором, для будущего романа, не могла относиться к моей действительной жизни: 1) у меня, Чернышевского, не было тогда не только друзей, даже близких знакомых между важными людьми; в этой сцене действует человек, имеющий за себя сильных в правительстве друзей; 2) тогда (весною 1853) не было в России, не только в Саратове, где я жил уже два года, даже в столицах, никакой политической жизни, не только тайных обществ. Это факт, принадлежащий истории.

13.

В другой моей просьбе я поясняю отношение между предположением, основанным на этой сцене, и фактами моего процесса, здесь я только скажу, что действительно я, Чернышевский, поступил наконец так, что оказалась разница между ним и

романическим лицом, слова которого были ему приписаны (дело, л. 247, 252, 256, 257, 258; поясняются листом 261; но в деле нет первых записок моих по этому обстоятельству, и нет письма, написанного мною с целью открыть комиссии истинное положение дела. Письмо это имеет форму ответа моей жене на ее вопрос о том, в чем состоит мое дело. Я не знаю, было ли оно доложено комиссии).

14.

Итак, по связи между предыдущими фактами, объясняемой мною в другой просьбе, в начале марта (8 марта по отметке на л. 281) в комиссию были, наконец, доставлены, — только уже по прошествии восьми месяцев после моего арестования, — такие документы, которые она могла принять за основания для начатия процесса против меня.

15.

Первый из этих документов — письмо к Соколову. По приблизительному моему счету, оно имеет до 30000 букв; оно занимает в выписке 117 страниц. Требуется значительное время, чтобы переписать набело такое произведение. Список, взятый у г. В. Костомарова г. Чулковым и находящийся в деле (л. 282 следд.), очевидно, есть беловой список.

Изготовление чернового подлинника требовало времени, еще более значительного, чем переписка его набело. Литературная отделка труда тщательна. Расположение его частей многосложно и обдуманно. Г. Костомаров приехал в Тулу 5 числа марта поутру (318). В тот же день, 5 марта, письмо это было уже найдено у него г. Чулковым (л. 318). На письме выставлено „Тула, 5 марта“, — но оно не могло быть ни изготовлено, ни даже только набело переписано в Туле. Оно заготовлено раньше, это очевидно по расчету физической невозможности противного. Итак, где же оно изготовлено? 1 марта г. Костомаров приехал в Москву, и у него был посетитель, г. Яковлев (л. 317); посещение г. Яковлева было продолжительно, как видно из важности предмета их совещания и из того, что г. Костомаров и г. Чулков должны были убеждать г. Яковлева (л. 317, 300, 470). 2-го числа г. Костомаров был уже болен, или должен был держать себя, как больной (л. 317, оборот); это продолжалось до самого его выезда из Москвы; он не мог в эти три дня много заниматься письменною работою; и кроме того, у него в это время бывало много посетителей (317, оборот). Человек опытный в литературных работах видит, что и в Москве не могло найтись достаточно времени у г. Костомарова, — что он взял с собою свою работу (или не свою, а только переделанную им с другой, чужой работы), когда поехал из Петербурга (28 февраля). Сличение этой работы с письмом Герцена обо мне, найденным у меня, — с пасквилем на меня, найденным у меня, — с ироническою частью моего письма к жене (л. 72, 2, 154) обнаруживает, что „письмо к Соколову“ есть литературная работа, половина которой основана на этих документах, — что они были под глазами у составителя „письма

к Соколову“ во время его работы. Это очевидно для человека, имеющего опытность в разборах подобного рода вопросов (в критической технике), — точно так же, как и следующее: „письмо к Соколову“ есть произведение вымысла (зачеркнуто: „поэма“, как шутливо выражается о нем сам г. Костомаров), „чуть ли не целая эпопея“, по шутливому выражению самого г. Костомарова (л 282); — в ученом и истинном юридическом смысле это, конечно, не „эпопея“ в частности, но „произведение вымысла“. Как всякое произведение вымысла, оно пропитано подробностями, невыдерживающими юридических вопросов: „кто“, „когда“ и „где“.

Г. Костомаров приписал этому произведению вымысла юридическое значение (322 лист, он готов подтвердить присягою подробности письма, которые можно будет ввести в дело; это письмо есть „откровенная беседа с старым другом“). Комиссия не занялась исследованием той стороны письма, которую я выставляю; но и на те малочисленные „кто“, „где и „когда“, которые предлагались ему по поводу „письма к Соколову“, г. Костомаров часто был должен отвечать, как всякий автор вымышленного произведения стал бы отвечать на юридические вопросы о подробностях его вымысла, — „не умею объяснить“, „не знаю“. Из этих случаев самый любопытный — г. Костомаров не знает даже, какое звание имеет лицо, которое он называет своим старым, задушевным другом: „чин и звание г. Соколова неизвестны мне“, — говорит г. Костомаров (л. 321), — ясно, что даже этот друг есть поэтический вымысел.

Я скажу, откуда, по всей вероятности, взята фамилия для этого вымышленного лица. „Соколов“ упоминается в письме г. Плещеева, которое находилось при г. Костомарове в Туле (штемпель письма г. Плещеева — 4 июня 1861). Но по этому письму, этот действительный г. Соколов вовсе не „старый, задушевный друг“ г. Костомарова (311 лист). Подобное заимствование фамилий для вымышленных лиц — очень обыкновенная вещь.

Комиссия не обратила внимания даже на то, что если бы этот г. Соколов, вымышленный поверенный тайн г. Костомарова, не был лицо вымышленное, то не было бы ни малейшего затруднения отыскать его, хотя бы г. Костомаров не знал или не захотел указать его адреса: у него очень много примет, с которыми трудно человеку затеряться в толпе (л. 321).

Точно также г. Костомаров не помнит цвет, формат и клеймо бумаги первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам (326 лист); но если бы эта рукопись была читана при нем два раза и служила предметом споров, то нельзя было бы не заметить ему ее формата и цвета.

Точно также, он не знает личностей, которые „стали жертвами“ моего агитаторства, и о которых столько рассуждает в письме к Соколову; „я вовсе не имел в виду какие-либо личности“, принужден он сказать на вопрос: кто они? (л. 339). Ясно, что эти личности — реторическая фигура, называющаяся „просо-

попеею".—Впрочем, он прибавляет, что это „авторы журнальных статей" (л. 339), или, в другой раз, что это „молодые люди, которые агитировали", как ему „кажется", под моим „влиянием" (л. 346), — но это ему только „кажется" (346), — это только его „личный взгляд", „непогрешительность которого" он „не намерен упорно отстаивать" (л. 339,оборот); он принужден даже сказать, что у меня не было своего „кружка", и называет это свое выражение „неосмотрительным"(л. 339.). Он никого не знает, кроме себя, кто стал бы агитатором по моему влиянию; а сам он занялся тайным печатанием до знакомства со мною. Ясно, что все это выдумка: и мое агитаторское влияние на г. В. Костомарова, и чтение первоначальной редакции воззвания к барским крестьянам, и эта первоначальная редакция.

16.

Но показание, вопросы для которого можно было извлечь из письма к Соколову, не могло опираться ни на какие доказательства (сам г. Костомаров на допросе сказал, что только поэтому и удерживался до той поры от показания против меня, л. 332). Явилась в комиссию записка, писанная карандашом. Она найдена вследствие того,что нашлось письмо к Соколову, — нашлось именно при обыске г. Костомарова в III отделении собственной е. и. в. канцелярии (л. 303). Находка эта противоречит „откровенной беседе" г. Костомарова со „старым другом", г. Соколовым (л. 322),в которой, за три-четыре дня перед тем, он говорил, что не имеет письменных улик против меня („были", но он что-то „сделал" с ними, л. 284, оборот;) что он сделал с ними? — почему не имел их 5 марта в Туле? — потому что „сжег", — говорит в одном месте об одном документе, который будто бы был у него (л. 337); в другом месте, отказывается объяснить, что сделал с ними (л. 341); в третьем месте, вставлено в дело шифрованное письмо, которое он дешифрирует и которое излагает, что письма против меня отданы на сохранение лицу, имени и адреса которого он сам (г. Костомаров) не знает (л. 296).

Истина очень проста: все это — выдумка. Никогда никаких письменных улик против меня не имел г. Костомаров. Записка карандашом — не моя; прошу строжайше рассмотреть ее. Степень технической точности ее рассмотрения свидетельствуется тем, что подпись ее прочтена за букву Ч., между тем как это буква С. (подлинник записки, дело, л. 304; выписка, л. 131, оборот). Рассматривавшие были вовлечены в оплошность тем, что не знали, каким образом ведется дело против меня, и потому были чужды предположения обмана в документах, предъявляемых против меня.

17.

Но лица, вводившие в такой обман, натурально ждали, что обман этот может как-нибудь и не удаться. Потому записка карандашом казалась им недостаточна, и явился против меня, сверх улики, и уличатель, г. Яковлев. После того, как он за свое показание против меня отправлен на жительство и под

надзор полиции в Архангельскую губернию (л. 448), я считал бы излишним рассматривать его показания против меня; однако же, скажу несколько слов.

Г. Чулков известился о своем отъезде через Москву с г. Костомаровым только 27 февраля; 28-го они выехали (л. 317, 281); на другой день, — в первый же день их приезда в Москву, г. Яковлев уже знает о их приезде, является к ним, пишет свой донос на меня (л. 390). Г. Чулков свидетельствует, что г. Яковлев „уже оказал ему услугу“ (л. 392), г. В. Костомаров тоже говорит, что г. Яковлев оказал ему „весьма важную услугу“, и что он, г. Костомаров, „подарил“ г. Яковлеву „свое пальто“ (л. 394).

Г. Яковлев, отправившись доносить на меня, по дороге пьет и буйствует, как сам говорит (л. 390). Итак, у него есть средства пить до буйства, когда он „оказывает услугу“.

Он уже „неоднократно за дурные поступки был в приводах“ по делам московского мещанского общества (л. 396).

Слова, которые влагает мне в уста г. Яковлев (л. 300 и л. 411)— заглавие и начало прокламации (выписка л. 421)—неужели я помнил ее наизусть? И неужели не выражался бы в разговоре короче и проще? Многосложные письменные заглавия не употребляются в разговоре; и какая надобность была декламировать начало прокламации? Ведь это не стихи, а проза; так не бывает.

На вопрос, почему медлил показанием против меня, г. Яковлев отвечал, что только в феврале узнал о характере процесса г. Костомарова (л. 409); а между тем, он виделся с г. Костомаровым в ноябре 1862 (л. 411, оборот), когда уже было и высочайше утверждено мнение Государственного совета по делу г. Костомарова.

При предъявлении меня г. Яковлеву была нарушена форма, по которой следует в подобных случаях показывать обвинителю несколько человек (л. 419), — явно, опасались, что г. Яковлев не сумеет выбрать, кто из них я.

Кроме всего этого, весь ход дела поясняется словами самого г. Яковлева, приводимыми в письме, по которому г. Яковлев наказан за этот свой поступок. Этим решением явно признана справедливость этого письма (л. 434); притом, подробности разговора, передаваемого этим письмом, подтверждаются документами, находящимися в деле, которые не могли быть известны писавшим письмо (л. 436, 437, 394, 388). По записке г. Чулкова (л. 392) от 1 марта, желание г. Яковлева доносить на меня было известно со 2 или 3 марта; но только 3 апреля комиссия постановила: вызвать его к допросу (385); итак, целый месяц колебались, прежде чем, вынужденные крайностью, решились ввести комиссию в эту ошибку.

Рапорт г. Чулкова, объясняющий его выражение, что „г. Яковлев оказал ему услугу“, подан уже по решении комиссии испросить и по испрошении высочайшего повеления передать мое дело в Правительствующий сенат; на этом рапорте число и месяц его подачи подскоблены (л. 470; подскоблена ли цифра

7, не могу наверное рассмотреть без лупы; имя месяца „мая“— очень явно написано по подскобленному).

18.

В дополнительном показании моем в Правительствующий сенат я вызывался подтвердить подробными доказательствами те факты этого показания, которые покажутся еще нуждающимися в подтверждении (выписка, л. 287). В записке и в деле я уже нашел подтверждения для большей части фактов, приводимых мною. Приведу лишь немногие, для примера.

Я говорю в показании, что на мое арестование и ведение дела против меня имели [влияние] ложные слухи (л. 284, выписка). Их примеры в выписке: листы 9-18 — безыменное письмо, о котором я говорил выше; оно основывается на лживых слухах о моем участии в столкновениях, бывших в спбургском университете; когда и в каком духе я вмешался в эти дела, видно по документам (дело, л. 58, 59—62, 63,64—65), их объяснение, если нужно оно, докажет: 1) что я познакомился с г. г. студентами, имевшими влияние на товарищей своих, только уже после манифестации в Думе; 2) познакомился с целью быть посредником между ними и князем Щербатовым (Г. А.), благородно начавшим тогда хлопотать о предотвращении дальнейших столкновений; 3) что когда я таким образом познакомился с молодыми людьми, которых прежде считал, — как и другие считали, — поднимавшими беспорядки, то к удивлению моему получил документы, доказывавшие, что беспорядки поднимаются действием опрометчивости лиц, гораздо старших их летами и почтенных по положению в обществе, — не злонамеренностью, а только безрассудною опрометчивостью этих лиц, — и доказательства были так неоспоримы, что самый яростный из обвинявших в печати злонамеренность г. г. студентов увидел себя принужденным подписать и подписал акт, говорящий что в беспорядках виноваты не студенты, а другие лица; 4) {в оригинале ошибочно стоит 5} что я находил нужным для предотвращения беспорядков то самое, что находили тогда нужным г. министр народного просвещения и князь Щербатов, бывший попечитель СПБургского учебного округа, и действовал в том же духе.—Прошу сравнить с этим „Записку из частных сведений“ (дело, л. 48—53).

Другие примеры слухов, столь же неосновательных и столь же вредных мне, отмечу на листах выписки: 35—43; л. 103 следд., л. 175 следд.)—В деле я нахожу сведения и мнимые документы, еще более неосновательным образом введенные в процесс против меня. В дело внесены: статья г. Мечникова, присланная для напечатания в „Современнике“ (л. 16—35); „Записка из частных сведений“ (л. 48—53)—документ, который будет одним из любопытнейших памятников нашей процедуры для будущего ее историка, и часть которого однако же вошла в окончательный доклад комиссии обо мне (дело, л. 455 след.); две статьи г. Шемановского, присланные мне для передачи г. министру народного

просвещения и с его частного одобрения напечатанная в „Современнике“ (л. 92 след., л. 109 след.); дневник мой; письмо г. Чацкина о тайнах женщины, имевшей мужа (л. 36). Об ужасном вреде для правительства от введения (в дела политического характера) документов такого рода, я говорю в моей другой просьбе.

Я говорю (выписка, л. 287), что ложное истолкование моих сборов к отъезду в Саратов было основанием решения арестовать меня по поводу письма г. Герцена, и в доказательство ссылаюсь на слова, в которых был передан этот слух мне одним из г. г. членов комиссии (выписка, л. 389). Я нашел в деле указания, по которым теперь могу даже пояснить, как произошло это извращение факта, подобное вещам, прочтенным мною в „Записке из частных сведений“. Находя в деле приводимые с юридическим значением неожиданные мною психологические сведения обо мне и вывод из этого, что я непременно, уже по устройству моей души, должен быть заговорщиком, я принужден объяснить, что психологические исследования, хотя бы даже и обо мне, требуют специальной ученой подготовки, которая, например, показала бы господам исследовавшим, что человек, иронизирующий над своими недостатками, не способен резать людей для удовлетворения слабостям своим, если б и имел их; и что приписываемая ему в преступление слабость (самолюбие; тщеславие) прямо противоположна качеству, которое, если и есть недостаток, то уже вовсе не уголовный—качеству гордости, которая, как известно из психологии, только дает отпор дерзким нахалам, а без того внушает человеку держать себя очень спокойно (л. 342). Такие объяснения принужден я делать в моем процессе—это факт.

Итак, я должен пояснить, что я известен всем моим знакомым за человека очень уживчивого и мягкого, и, например, работать вместе с Герценом не мог бы (л. 342, выписка) не по неуживчивости моего самолюбия, а потому, что я человек с твердыми убеждениями, которые неодинаковы с убеждениями г. Герцена. Я не хочу этим сказать, его или мой образ мыслей лучше в юридическом отношении,—закону нет дела до образа мыслей, каков бы он ни был,—я хочу только сказать, что я человек более поздней философской школы, чем г. Герцен. Я никак не ждал, что увижу необходимость делать эти ученые замечания в моем процессе.

19.

Я говорю, что все слова в письме г. Герцена, которые послужили поводом к моему арестованию, загадочны для меня (л. 303, выписка). Теперь, взглянув на самое письмо, я нахожу это место и сопровождающие строки—вещью, еще более загадочною. Ограничусь одним замечанием. Письмо уже спрашивает, печатать ли объявление о моем соредакторстве с Герценом,—или даже уже положительно говорит, что объявление об этом печатается (выписка, л. 265). Такие вещи не печатаются до выезда соредактора из России. Эта приписка требует очень внимательно-

ного исследования, если еще не объяснена самыми фактами, которые остаются мне неизвестны.

20.

Я говорю (выписка, л. 312), что г. Костомаров очень давно распускал слухи, которые были оставляемы без внимания по убеждению других в неудобстве пользоваться его готовностью делать политически-уголовные показания. Теперь, видя, что дело против меня начато серьезным образом на основании письма г. Костомарова к Соколову, я приведу один из фактов, известных не мне одному. Есть другая, более ранняя редакция того же произведения; список ее был у меня под глазами очень задолго до моего ареста, и я не имею средств знать, уничтожен ли подлинный список, писанный рукою самого г. Костомарова. В той редакции дело излагается столь же вымышленным образом, но в духе не том, и с другими фактами (также неверными). В том произведении я играю гораздо меньшую роль, чем III отделение собственной канцелярии его величества: г. Костомаров утверждал там, что его подвергали жестоким истязаниям, и ими принудили делать показания (дух произведения был тот самый, какой вылился из души г. Костомарова на л. 323, оборот, дело).

Я говорю (л. 313, выписка), каковы были мои действительные отношения к г. Костомарову; они доказываются письмами моими к нему, находящимися в деле (л. 305, 306, 307), — я стараюсь помочь г. Костомарову, как человеку небогатому. В одном из писем (л. 306) я стараюсь устроить отъезд его гувернером за границу, — неужели я хлопотал бы об этом, если бы он был моим агентом по тайному печатанию в Москве? — Я говорю, что г. Костомаров был раздражен против меня ошибкою в надежде на мою денежную помощь после его арестования. Он сам говорит, что у него были со мною „столкновения", которые „прямо относятся к его личным интересам" (дело, л. 342), и отказывается пояснить это. О своем ожесточении против меня он много раз говорит в письме к Соколову, — и приписывает его, кроме „личных столкновений", разности со мною в политических тенденциях; из того, что он говорит по этому предмету, видно, что он сам никогда не имел отчетливого образа мыслей.

Я говорю (выписка, л. 332, 339), что памятный мне по постороннему обстоятельству вечер, проведенный у меня г. Костомаровым вместе с г. Михайловым, сам по себе не представлял ничего замечательного, и что поэтому г. Костомаров плохо запомнил его, — и он сам свидетельствует, что не помнит ни моих гостей, ни их и своего разговора со мною (дело, л. 326).

21.

Факты, которые совершились по рассмотрению записки и письма, выдаваемых за мои, — я говорю об актах сличения

почерков, — показывают, что без помощи технических знаний и пособий труды для исследования истины по техническим вопросам безуспешны.

22.

Я говорил (выписка, л. 356), что если бы находился в тайных сношениях с г. Костомаровым, то нашел бы неудобным посещать его во время моей поездки в Москву по цензурным делам; это повело к тому, что г. Костомаров выдумал особую мою поездку в Москву, — поездку, предшествовавшую поездке по цензурным делам (выписка, л. 420). Этой поездки не было. А во время ее-то именно г. Костомаров и выставляет меня видевшим шрифт. Я не выезжал из Петербурга ни на один день в 1860 и до самой поездки моей по цензурным делам в 1861 году. Я не мог бы укрыть своего отсутствия из Петербурга хотя бы на один день, потому что у меня ежедневно бывали наборщики и рассыльные типографии „Современника“ за получением статей и корректур по журналу. Мой отъезд хотя бы на один день был бы замечен десятками людей, работавших в типографии г. Вульфа.

23.

В показании г. Костомарова Правительствующему сенату обстоятельства его второй поездки в Петербург изложены им так, что мне не оставалось бы времени узнать, что он не уехал в Москву и что я еще могу найти его в Петербурге после того как он ушел от меня поутру с мыслями ехать в Москву (выписка, л. 416 — 417). А в эту поездку происходила, по его прежним показаниям, диктовка в Знаменской гостинице.

24.

К листу 370 выписки считаю нелишним заметить, что теперь, с месяц я опять гуляю по саду, но опять только по гигиеническим надобностям.

25.

Просмотрев прокламацию к барским крестьянам, я вижу, что автор ее еще не имел известий и о Безднинском деле, не только о том, что мужики весною 1861 года вообще неохотно шли на уставные грамоты. Всякий публицист найдет нелепым хлопотать в августе 1861 о печатании такого устарелого произведения. Единственным предлогом для моих придуманных им просьб об этом г. Костомаров придумал, что набор был тогда еще цел (выписка, л. 376). А по сведениям из дела о г. Костомарове и словам его самого, шрифт был уничтожен, не только набор был разрушен, задолго до того времени (выписка, л. 111, 113).

Считаю долгом оговорить описку, сделанную мною по листу 376 и 380 выписки: проезд мой через Москву был не 17 или 18-го, а 7 или 8 августа.

26.

Листы 387 и 391 (по записке) поясняются (отчасти) листами 264, 313, 349—355, 418 дела, в сличении с листом 229, оборот и 224, обор., строки, подчеркнутые синим карандашом.

27.

Для объяснения того, как и зачем возникло „письмо к Алексею Николаевичу“ (л. 396 выписки), считаю долгом просить Правительствующий сенат обратить внимание на то обстоятельство, что мое дополнительное объяснение Правительствующему сенату от 1 июня (л. 282 выписки) прошло через несколько рук прежде, чем поступило в Правительствующий сенат.

28.

Г. Костомаров говорит, что письмо это было найдено им за подкладкою саквояжа еще до его ареста (выписка, л. 418); но на прежних показаниях он говорил, что у него уже не остается улик после представления записки карандашом, единственной улики (зап., 141, 174); ясно, что письмо к Алексею Николаевичу явилось у него в руках уже после того.

29.

Когда явилось это письмо, г. Костомаров уже забыл, что сам говорил в комиссии: „Плещеев (Алексей Николаевич) не имел предположения, что, я (Костомаров) занимаюсь тайным печатанием, и сам не занимался ничем подобным“. Слова г. Костомарова сами по себе не были бы надежным заявлением факта; но этот факт с несомненностью известен всем сотням людей, знающим г. Плещеева, и вероятно уже обнаружен официальными мерами, которые повлекло за собою „письмо к Алексею Николаевичу“.

Я утверждаю, что это письмо подлог, и смею наверное ручаться в следующем: сам г. Костомаров, если еще не разгласил, разгласит это. Появление письма к Алексею Николаевичу и надобность объяснить это были обстоятельствами, которых не предвидел г. Костомаров при своих прежних показаниях и в письме к Соколову. Потому, показание его 31 июля не сходится с ними. Кроме черт разногласия, приводимых в моем рукоприкладстве, легко найти десятки других. Если бы нужно было я готов сделать это. Не делаю этого здесь, чтобы не удлинять моей просьбы.

А посему всеподданнейше прошу,

Дабы повелено было освободить меня от суда и следствия, с предоставлением права иска на лиц, которые незаконными своими действиями причинили мне денежные убытки, освободить меня от содержания под арестом с сохранением мне права жить, где мне будет нужно по моим делам, в том числе и обеих столицах, и применить приводимые мною в рукоприкладстве статьи Свода законов к лицам, которые по исследовании окажутся виновными в их нарушении.

Отставной тит. сов. Николай Гаврилов сын Чернышевский руку приложил.

В сей просьбе моей зачеркнуты следующие слова, буквы и цифры: на листе 2-м: 359, на л. 3-ем: сии гиперболы; юр; защищать ч д: факт в; на л. 4: 157; мои; юриспр.; называю себя

Арист; даже о ж; К; на листе 5: об; этот; л. 6 писать; кро пер история; уу; л. 7 за которое; объяснения моей жене; 4 числа; гости, как вивн видно из упоминания об одном из ни на л. 8 поэма, как шутливо выражается о нем сам г. Костомаров; на л. 9 тут же; что эти молодые после; на л. 10: донос г; л. 394; в пись на л. 11 деле; упоминаем в; выписка л. 4; этих; на л. 12 психологиче; на л. 13 приводимыми; на л. 14 шрифт.

К поданию надлежит в первое отделение пятого департамента Правительствующего сената 25 сентября дня 1863 г.

Ответы Плещеева

(Сен. пр., л. 197)

На предложенные 2 октября 1863 года Присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената коллежскому регистратору Плещееву вопросы:

В Правительствующем сенате производится дело об отставном титулярном советнике Чернышевском, обвиняемом в сочинении и распространении возмутительных воззваний. В деле этом есть письмо к вам Чернышевского, которое хотя и не доставлено по назначению, но тем не менее доказывает, что вы были в самых близких с ним сношениях. Из этого письма видно, что вы упрекали его за слишком большую доверчивость к людям, едва ему знакомым, что вы около полугода водите его с своим станком, что Сулин по вашим словам хвастает знакомством с Чернышевским и рассказывает, будто бы он дал ему свое сочинение для тайного печатания, что вы познакомили Чернышевского с Костомаровым, что вы сомневаетесь в добром исходе какого-то общего с Чернышевским дела, что вам известно, каких чудес наделал какой-то Л. с своими офицерами, или 23 в Понизовьи, и что у вас есть какая-то работа, которая подвигается по мнению Чернышевского медленнее, потому что в вас мало энергии, а посему имеете объяснить:

1. Какие были отношения ваши к Чернышевскому, и в чем именно состояли? Отвечал:

Сношения мои с Чернышевским постоянно ограничивались литературой; делом журнальным, так как он принимал значительное участие в редакции „Современника".

На вопрос 2: К каким людям за излишнюю доверчивость вы упрекали Чернышевского и почему вы предостерегали его от излишней доверчивости, в каких именно делах он по мнению вашему не должен был быть доверчив и в чем именно состояли эти дела Чернышевского? Отвечал:

Я не упрекал никогда Чернышевского в излишнем доверии к кому то ни было, и не знаю никаких дел за Чернышевским, в которых бы он не должен был быть доверчив.

На вопрос 3: Какое сами вы принимали участие в этих делах Чернышевского? Отвечал:

Участия никакого я не мог принимать, так как мне совершенно неизвестно какие именно эти дела, и были ли такие дела.

На вопрос 4: С каким станком своим вы водили его и прочих около полугода, что это за станок, не относится ли он к тайному печатанию, не участвовали вы в деле тайного печатания, а если участвовали, то в чем состояли ваши по этому поводу действия? Отвечал:

Ни о каком станке не имею понятия и ни в чем подобном не принимал.

На вопрос 5: Где и при ком хвастал Сулин знакомством своим с Чернышевским, и тем, что он дал ему свое сочинение для тайного печатания, кто такой Сулин, какое это было сочинение Чернышевского, данное Сулину для тайного печатания, и что вам известно о тайном печатании Сулиным сочинений и каких? Отвечал:

Никогда я не слышал, чтобы Сулин хвастался чем-нибудь подобным; да и трудно было бы мне слышать, так как я знакомства с Сулиным никогда не водил. Ни о сочинении, данном будто бы Сулину, ни о тайном печатании им чего бы то ни было, никогда я не слыхал. Сулин, кажется, студент или вольный слушатель московского университета.

На вопрос 6: По какому поводу вы рекомендовали Чернышевскому Костомарова и что известно было вам о тайном печатании сего последнего? Отвечал:

Костомарова я никогда собственно Чернышевскому не рекомендовал; но когда он уезжал в Петербург, года два тому, если не ошибаюсь, то писал о нем к кому-то из редакторов „Современника“ (как о хорошем переводчике, знающем языки и могущем принести пользу журналу), но только не к Чернышевскому, потому что он заведывал критическим и ученым отделом журнала, а не литературным, Костомаров же преимущественно занимался переводом стихов. О тайном печатании Костомарова мне ничего неизвестно.

На вопрос 7: Какое у вас с Чернышевским было общее дело, в добром исходе которого вы сомневались? Отвечал:

Общего дела с Чернышевским я никогда никакого не имел.

На вопрос 8: Кто такой Л., который наделал чудеса с своими офицерами или 23 в Понизовьи, о каких офицерах идет здесь речь и кто такие 23 в Понизовьи? Отвечал:

Все это для меня совершенно непонятно: не знаю никакого Л., никаких офицеров и не понимаю даже, что значит 23 в Понизовьи.

На вопрос 9: Какая работа была возложена на вас именно, кем, в чем состояла она, и почему она легче другой и какой работы? Отвечал:

Никакой работы никем возлагаемо на меня не было.

На вопрос 10: Не имеете ли чего объяснить в отношении тех обстоятельств, о которых предлагаются вам настоящие вопросы? Отвечал:

Более объяснить ничего не имею.

А К Т

1863 года октября 2 дня в присутствии I отделения 5-го департамента Правительствующего сената предъявлено было колежскому регистратору Плещееву письмо, начинающееся словами: „Добрый друг Алексей Николаевич“ и кончающееся словами: „Совсем нѣкогда. Жму вашу руку. Ваш Черныш. Скоро буду писать через К.“ При сем Плещеев объявил, что почерк руки, коим писано сие письмо, похож с почерком Чернышевского, особенно первая страница, но после как-то сбивается, особенно в конце. О чем присутствие и положило составить сей акт.

(Подписи)

Очная ставка Н. Г. Чернышевского с Костомаровым

Очная ставка, данная 14 октября 1863 года присутствием I отделения 5-го департамента Правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому с рядовым Всеволодом Костомаровым по случаю разноречия в их показаниях, на коей происходило следующее:

Я, нижеподписавшийся, уличаю г-на Чернышевского в том, что — познакомившись с г. Чернышевским при посредничестве г. Михайлова, я получил от г-на Чернышевского предложение напечатать воззвание „К барским крестьянам“, составление которого г. Чернышевский приписывал в то время себе. Дело это происходило следующим образом. Раз, когда я, еще лично незнакомый с г. Чернышевским, был у г. Михайлова, тот предложил мне ехать вместе с ним к г. Чернышевскому. Когда мы приехали к г. Чернышевскому, у него были гости, однако он, перекинувшись со мною несколькими словами, сейчас же увел нас с Михайловым в свой кабинет, и там, после коротенького разговора, начал чтение воззвания к барским крестьянам. Г-н Чернышевский, очевидно, был уже предуведомлен г. Михайловым и обо мне, и о моем согласии, — которое я дал Михайлову, — напечатать воззвание, если оно не будет противоречить моим убеждениям. Но воззвание, прочитанное мне в этот вечер г. Чернышевским, было такого рода, что взяться за его печатание я не мог; однако, в этот вечер я не высказал этого г. Чернышевскому, а сказал это уже после, Михайлову, когда мы, на другой день, читали опять манифест на квартире г. Михайлова. Я высказал тогда свой взгляд на дело и предложил, что если г. Чернышевский будет согласен на изменения, то я, пожалуй, напечатаю его воззвание. С этим предложением г. Михайлов ездил к г. Чернышевскому, и в следующее наше свидание сказал мне, что г. Чернышевский, хотя и с трудом, но все-таки согласился на некоторые перемены. Однако я все-таки отстранил от себя, под разными предлогами, печатание воззвания и вскоре уехал в Москву. В Петербурге оставался приехавший со мною из Москвы г. Сороко, привезший с собою экземпляры тайно напечатанной книги „Император Николай и 14 де-

кабря". Несколько экземпляров этого издания взял у меня г. Михайлов и по отъезде моем Сороко явился к нему за следующими за них деньгами. Тогда г. Михайлов передал уже г. Сороке (или, как мне г. Сороко рассказывал, возил его к г. Чернышевскому и тот сам ему передал воззвание) и передал Сороко уже исправленный текст воззвания, в том экземпляре, который имеется при делах Правительствующего сената. С этим экземпляром и с деньгами, данными на расходы, Сороко возвратился в Москву. Через несколько дней после его возвращения до меня дошли такого рода слухи: что г. Чернышевский приезжал в Москву и отдал Сулину печатать свое сочинение. Слухи эти дошли в то же время и до г. Плещеева, об чем тот сейчас же и уведомил г. Чернышевского. Вслед за этим я поехал в Петербург и, увидевшись с г. Чернышевским, еще раз рассказал ему об этих слухах и предложил печатание брошюры взять на себя. Г. Чернышевский, уверив меня, что все перемены, указанные мною, сделаны, был очень рад передать мне работу. Уезжая из Петербурга, я получил от г. Чернышевского письмо для передачи А. Н. Плещееву. Письмо это я затерял, но через несколько времени нашел его между подкладкой своей дорожной сумки, подмоченное и измятое. В таком виде мне не хотелось отдавать его г. Плещееву, и я удержал его у себя. — Я не утверждаю, в этот ли приезд или в другой — г. Чернышевский диктовал мне в Знаменской гостинице воззвание к старообрядцам. Но, если это было и в другой мой приезд в Петербург, то времени между ними должно было пройти очень мало: как то, так и другое происшествие было, что я твердо помню, весною 1861 года. — Когда набор нескольких полос воззвания был сделан, меня посетил в Москве г. Чернышевский и видел у меня все сделанные мною приготовления к печати. На другой день, когда я возвратился из типографии, я нашел у себя записку, оставленную мне приезжавшим во время моего отсутствия г. Чернышевским, где он просил меня сделать в прокламации его следующие изменения: вместо „срочно обязанн." поставить „временно обязанн". Вскоре после того, как приступлено было к печати I-й формы (именно в ту самую ночь, когда мы тискали корректуру), я получил записку, предостерегавшую меня от полицейского обыска. Вследствие этого предостережения я прекратил на время работы, причем г. Сулин часть шрифта (я не помню хорошенько, весь [ли] он **набор** взял с собою) и станка увез [с] собою. Когда г. Чернышевский потом посетил меня во время хлопот о цензуре (когда это было, я не помню, но **могло случиться** даже на другой день после того, как я разобрал станок), — действие станка было уже приостановлено. В следующее посещение г. Чернышевского, летом, я тоже не занимался уже тайным книгопечатанием, и несмотря на все убеждения г. Чернышевского продолжать печатание воззвания к крестьянам, — я не согласился на это. Был ли г. Яковлев свидетелем этого разговора, я не знаю; но полагаю, что невидимый нами он мог слышать хотя часть нашего разговора, ибо разговор наш происходил в саду,

и г. Яковлев мог быть где-нибудь за деревьями или за забором. В сей очной ставке по перечеркнутому написано: „экземпляр“ — Петербурга — зачеркнуто слово „его“ — Чернышевского. — К сей очной ставке рядовой Всеволод Костомаров руку приложил.

Я, нижеподписавшийся, оставаясь при своих прежних показаниях, отвечаю на улики г. Костомарова следующее:

На очной ставке этой, бывшей 14 октября, он впал в противоречие с своими прежними показаниями; он говорил:

что он ездил в Петербург предупреждать меня о слухах, предшествовавших перенесению в его дом печатания прокламации барским крестьянам;

что в эту поездку,—„кажется ему“, он не помнит,—было диктовано воззвание к раскольникам;

что возвратившись из этой поездки, он взял к себе в дом печатание прокламации к барским крестьянам; что во время набора ее, я приезжал к нему (в Москве) и видел набор;

что на другой день, я оставил у него написанную мною записку карандашом; что вскоре он напечатал лист (или четыре полосы) прокламации;

что после того, он получил предостерегательную записку;

что после того, он отправил набор или часть набора из своего дома;

что уже после этого, я опять приезжал к нему, когда печатание было уже прекращено;

что потом, летом, наш разговор был подслушан г. Яковлевым, которого он после своего ареста увидел только уже на очной ставке (этих слов его, сказанных им на очной ставке 14 октября, я не нахожу в этом письменном его повторении ставки);

а по поводу письма к „Алексею Николаевичу“:

что он поехал в Петербург вслед за предостережением, данным мне от Плещеева; что когда он в это время был у меня, я просил его взять печатание прокламации от Сороко и Сулина к нему, и что—„кажется ему“, он не помнит—в этот приезд было диктовано ему мною воззвание к раскольникам;

что в эту поездку его я отдал ему „письмо к Алексею Николаевичу“—Плещееву—и Костомаров не помнит, опоздал ли он (вышедши от меня с этим письмом) на поезд, отходящий в Москву (этих слов, что не помнит, опоздал ли, сказанных им на очной ставке 14 окт., я не нахожу в этом письменном повторении его ставки); что он затерял это „письмо к Алексею Николаевичу“ и уже много времени спустя (в письменном этом повторении написано: „несколько“ времени) нашел его под подкладкою саквояжа;

и что он сам представил это письмо (этих слов я также не нахожу в этом письменном повторении его ставки).

Эти его слова разноречат с прежними его показаниями, или противоречат фактам, не подлежащим сомнению.

К сей очной ставке отставной титулярный советник Николай Чернышевский руку приложил.

Вследствие напоминания г-на Чернышевского к сей очной ставке имею дополнить, что я действительно на очной ставке говорил г-ну Чернышевскому, что г. Яковлева после своего ареста увидел только уже на очной ставке; что говорил г. Чернышевскому о том не помню опоздал ли с письмом к г. Плещееву — на поезд, отъезжавший в Москву; а что касается до слов „несколько времени“ — то, сколько мне помнится, я говорил так и вчера; и что я действительно говорил, что письмо представлено самим мною. К сему дополнению рядовой Всеволод Костомаров руку приложил. Что сверх строки написано „на очной ставке“ — то верно. Рядовой Всеволод Костомаров.

На сие дополнение г. Костомарова дополняю, что выражения „несколько времени“ или „много времени“ не имеют противоречий между собою, и что по обстоятельству, к которому относятся они, я покорнейше прошу Правительствующий сенат не считать этой разности выражений важною; я делал оговорку о ней только для соблюдения формы. — Слова г. Костомарова в этом письменном повторении его личной ставки, действительно и сказанные им на самой очной ставке, о чтении прокламации к барским крестьянам в моем кабинете и о переговорах для перемен в ее редакции, я опровергаю согласно с прежними показаниями.

Очная ставка Костомарова с Плещеевым

(Сен. пр., л. 212)

На очной ставке рядовой Всеволод Костомаров с коллежским регистратором Плещеевым—Костомаров показал:

Я, нижеподписавшийся, продолжаю утверждать, что я был рекомендован г. Чернышевскому А. Н. Плещеевым как сотрудник „Современника“, и что г. Плещеев знал о моем участии в тайном печатании книги „Император Николай и 14 декабря“ и имел экземпляр этой книги, подаренный или проданный ему мною. Противу сего Плещеев объяснил: Я, нижеподписавшийся, на улику г. Костомарова имею объяснить следующее: О тайном напечатании им книги „Император Николай и 14 декабря“ я не знал и экземпляра от него ни в подарок, ни за деньги не получал. Чернышевскому, сколько мне помнится, я г. Костомарова не рекомендовал; впрочем память могла изменить мне, так как этому прошло два года, если не больше.

Указ сената

(Сен. пр., л. 174)

Правительственный сенат, усматривая из дела, что Чернышевский в бумагах, в сенате подаваемых, ссылается на письма свои, писанные им в ноябре месяце к его императорскому величеству и г. военному генерал-губернатору, которых в деле нет, предписал с.-петербургскому военному генерал-губернатору прислать вышеупомянутые просьбы его, если не встретится к тому препятствий.

Рапорт генерал-губернатора

(Сен. пр., л. 218)

На сие генерал-губернатор донес, что упоминаемое письмо титулярного советника Чернышевского, которое по его объяснению писано было им к нему, генерал-губернатору, в ноябре прошлого года, не может быть представлено им в сенат потому, что он, генерал-губернатор, вовсе не получал означенного письма. — О доставлении Правительствующему сенату письма подсудимого Чернышевского, писанного им к государю императору, сообщено от него генерал-адьютанту князю Долгорукову [1], для зависящих с его стороны распоряжений, если только письмо это находится при делах III отделения собственной его императорского величества канцелярии, и к передаче его в сенат не встречается препятствий.

То же л. 219

Другим рапортом князь Суворов донес, что г.-м. Потапов за отсутствием г.-а. князя Долгорукова сообщил ему, что полученные в III отделении канцелярии, в феврале сего года, записка титулярного советника Чернышевского и письмо его на его, генерал-губернатора, имя препровождены в высочайше учрежденную в С.-Петербурге Следственную комиссию, которая согласно журналу своему, состоявшемуся 11 числа того месяца, приобщила эти бумаги к делу, отправленному к управляющему министерством юстиции при отношении от 14 мая за № 735-м.

Справка из дела о Михайлове

Литератор Михайлов, бывший губернский секретарь, судившийся в сенате за распространение привезенного им из Лондона возмутительного воззвания „К молодому поколению“ и сосланный на каторгу, во время производства над ним в сенате следствия,—между прочим показал, что он имел в руках своих воззвание и к барским крестьянам и к солдатам, из которых последнее переписывал и исправлял, но не открыл никого из своих сообщников.

---

[1] **Суворов—Долгорукову**, 3 октября 1863 г. № 2539.

Правительствующий сенат, сообщая мне, что подсудимый Чернышевский в бумагах, подаваемых сенату, ссылается на письма свои, писанные им в ноябре 1862 г. к его императорскому величеству и ко мне, которых нет при деле, производимом в сенате, указом от 30 минувшего сентября предписал мне прислать в сенат вышеупомянутые письма, если не встретится к тому препятствий.

Полагая, что всеподданнейшее письмо подсудимого Чернышевского находится в III отделении собственной его императорского величества канцелярии, долгом считаю о вышеизложенном требовании Правительствующего сената уведомить ваше сиятельство для зависящих распоряжений, покорнейше прося о последующем почтить меня уведомлением. При этом имею честь присовокупить, что вместе я донес Правительствующему сенату, что требование оного относительно доставления письма Чернышевского на мое имя, мною исполнено быть не может, так как означенного письма я не получал.

Правительствующий сенат испрашивал высочайшее повеление, следует ли Михайлова судить отдельно за то преступление, за которое он был предан суду I отделения 5-го департамента сената, т. е. за распространение воззвания „К молодому поколению“, или совокупно с падающим на него обвинением в отношении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам.

Государь император высочайше повелеть соизволил: Судить Михайлова за распространение прокламации „К молодому поколению“ отдельно от других падающих на него обвинений.

Обер-секретарь Кузнецов.

2-е дополнение к записке

В деле Костомарова есть копия с показания бывшего губернского секретаря Михайлова, относящегося к настоящему делу и отобранного от него во время производства о самом нем в 5-м департаменте следствия.

Показание Михайлова

Содержание его следующее: На вопрос: хотя в ответах, данных вами 18 октября, вы показали, что никаких других преступлений не сделали, но из имеющихся в сенате сведений видно, что вы прикосновенны и к делу о распространении запрещенных сочинений, по которому производится следствие. Объясните с подробностью, в чем состоит прикосновенность ваша к этому делу; сознаете ли вы себя виновным и в распространении других запрещенных сочинений, кроме воззвания „ К молодому поколению“, и каких именно; а также кто были вашими участниками в этом преступлении? Михайлов отвечал: прикосновенность моя к указанному делу заключается в том, что при аресте в Москве г. Всеволода Костомарова найдены у него два рукописные сочинения: „К крестьянам“ и „К солдатам“. Как то, так и другое были у меня в руках и оба получены Костомаровым от меня, одно (последнее) лично, а другое чрез студента Сороко. В сочинении их я не принимал участия и получил их не помню от кого, как ходившие будто бы в рукописи по рукам. Одна из этих статей, написанная неразборчиво и с пропусками повидимому, была мною переписана несколько измененным почерком, и при переписке я только прибавил, с чисто литературной точки зрения, несколько строк, самого содержания которых теперь не помню. Даны мною были помянутые сочинения Костомарову лишь для его личного прочтения и затем уничтожения. Других запрещенных сочинений, кроме листа „К молодому поколению“, я не распространял. Когда именно даны мною Костомарову и Сороко помянутые рукописи, я в точности не помню, но около весны нынешнего года или в конце зимы. Сверх сего Михайлов на предложенные ему высочайше учрежденною в Москве Следственною комиссиею вопросы 15 ноября 1862 года отвечал: На вопрос: Отставной кор-

нет Всеволод Костомаров, при очной ставке с одним из обвиняемых по производимому делу, объяснил, что бывшие у вас возмутительные воззвания: „К барским крестьянам“ и „К русским солдатам“ переданы вами—первое Иосифу Сороке, а последнее ему, Костомарову, не для прочтения и уничтожения, как объяснили вы в показаниях, данных в комиссии 29 сентября и 2 октября, но для напечатания. Сознаете ли вы справедливость этого показания Костомарова? Отвечал: Я действительно желал, чтобы воззвания были напечатаны; но, отдавая их, плохо на это рассчитывал и не помню, выражал ли даже положительно свое желание. На вопрос: Тот же Костомаров показывает, что воззвание „К барским крестьянам“ было уже набрано и оттиснут корректурный лист, который им, Костомаровым, передан вам. Объясните, точно ли корректурный лист воззвания „К барским крестьянам“ отдан вам, с какою целью и куда вы его девали? Отвечал: Корректурный лист, помнится, был точно передан мне Костомаровым; на нем, если не ошибаюсь, была только часть рукописи. При этом Костомаров, кажется, говорил мне, что на том и остановилась попытка напечатать воззвание. Я лист тотчас же уничтожил. На вопрос: По показанию Костомарова при покупке разных типографских принадлежностей, заготовляемых для исполнения упомянутой работы, издерживались деньги из 200 руб., полученных Сорокою одновременно с получением от вас воззвания „К барским крестьянам“. Действительно ли вы давали деньги Сороке на приведение намерения вашего отпечатать воззвание в исполнение, и не имеете ли вы расписки Сороки в получении тех денег, если имеете, то укажите, где она находится? Отвечал: Не помню, давал ли я деньги Сороко; но если и давал, то расписки не брал.—На вопрос: По какому поводу в деле печатания воззвания принимал участие Иосиф Сороко, был ли он непосредственным деятелем к исполнению намерения вашего отпечатать воззвание, или он приглашен для содействия, и в чем таковое заключалось, а также была ли ему известна цель, с которою предпринималось печатание воззваний? Отвечал: Я отдал Сороке воззвание, как человеку, который говорил мне, что знает возможность напечатать рукопись в Москве. Я говорил только, что желал бы, чтобы воззвание было напечатано; но не настаивал на этом положительно, и не требовал, чтобы мне был доставлен по напечатании хотя один экземпляр.

Письмо Костомарова Яковлеву

Контора смирительного и рабочего домов в Москве препроводила к московскому губернскому прокурору отобранные у Яковлева два письма. Одно из них от капитана Чулкова к Потапову, в коем он рекомендует Яковлева, как оказавшего ему услугу и могущего быть полезным, а другое от Костомарова следующего содержания: „Милая моя; я в Москве уже,—по обыкновению весел, здоров и благополучен. Петр Васильевич оказал мне

весьма важную услугу,—и сообразно этому будет конечно принят Тобою. Я подарил ему свое пальто, пожалуйста, отдай.—Ну, больше я ничего тебе не пишу,—во-первых, нечего, потому что я ни с кем еще не видался; во-вторых... Ты догадаешься почему.

Крепко целую тебя и мою милую Маху. 1 марта".

Дополнение к краткому изложению

По поступлении дела в сенат Чернышевский был вызван, объявлено было ему высочайшее повеление о предании его суду сената и прочитаны данные им при следствии показания, которые он утвердил (стр. 281). Затем прислал он в сенат особое объяснение, в коем изложил обстоятельства дела к своему оправданию (стр. 281).

По сличении в сенате почерка руки **Костомарова**[1] с запискою к нему Чернышевского секретари сената нашли сходство в 12 буквах из 25, составляюших записку, — а присутствие сената нашло и в отдельных буквах и в общем характере почерка совершенное сходство (стр. 391 об. и 392, 393, 394.)

Сенат, выслушав ответы Чернышевского и сообразив их с обстоятельствами дела и с результатом сличения почерка руки его на записке, нашел, что он должен содержаться в крепости до окончания о нем дела (стр. 394 об.)

Обер-прокурор предложил на рассмотрение сената полученное им из III отделения собственной канцелярии письмо Чернышевского, начинающееся словами: „Добрый друг Алексей Николаевич." В этом письме он укоряет друга в нерадении и говорит, что он полгода водит его со своим станком, а он, Чернышевский, воспользовался случаем, когда ему подвернулись люди, хотя и пустенькие, но уже занимающиеся таким печатанием, стало быть, свое дело вести умеющие, чтобы напечатать свой Манифест. Далее в письме упоминается о Сулине и Сороко, говорится о Костомарове и выражается благодарность за знакомство с ним. Чернышевский побуждает друга к деятельности и говорит: посмотрите, каких чудес наделал Л. с своими офицерами или 23 в Понизовьи (стр. 395 об — 401.)

По предъявлении Чернышевскому письма сего он отрекся от оного (стр. 401).

По сличении почерка руки письма сего с почерком руки Чернышевского, секретари сената единогласно объявили, что письмо это и бумаги, писанные Чернышевским и им не отвергаемые, писаны одною и тою же рукою (стр. 409 об.)

Присутствие сената нашло заключение секретарей правильным и утвердило оное в своей силе (стр. 410 об).

Рядовой Костомаров был вытребован в сенат и подтвердил данные им при следствии показания, — дополнив, что письмо, начинающееся словами: „Добрый друг Алексей Николаевич", дано было ему Чернышевским для передачи Плещееву,

---

[1] Так в оригинале.

но он затерял его, а потом, найдя за подкладкою саквояжа замоченным и разорванным, посовестился отдать Плещееву (стр. 411, 453).

В деле Костомарова, приложенном к настоящему делу, есть воззвание к барским крестьянам. Оно писано языком простонародным, заключает в себе превратное толкование Положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян; в нем говорится, что государь обманул крестьян и что на основании Положения они будут еще в большей кабале, чем были доселе, и окончательно разорятся. Затем объясняется крестьянам, в чем именно состоит воля, приводится в пример Франция, Англия, Швейцария, Америка, где нет будто бы ни подушных, ни рекрутства, ни паспортов, где всем управляет народ, где цари находятся под властью народа, который и выбирает и смещает царей, если они не нравятся ему (стр. 421).

В заключении автор прокламации приглашает барских крестьян готовиться добывать себе волю втайне, подговаривать к тому же государственных и удельных крестьян и солдат, а когда все будет готово, он обещает дать сигнал к общему восстанию. В этом воззвании везде упоминаются срочно обязанные, каковую ошибку, как выше упомянуто, просил Костомарова Чернышевский запискою исправить при напечатании (стр. 421—448).

Во время рукоприкладства под запискою, в сенате составленною, Чернышевский просил сенат дозволить ему самому сделать сличение письма, начинающегося словами: „Добрый друг Алексей Николаевич“, посредством лупы, увеличивающей (аго в ориг.) в 10 или 12 раз (стр. 451).

Но Правительствующий сенат, имея в виду, что при сличении письма его в сенате соблюдены все законные формальные обряды, в домогательстве Чернышевскому отказал (стр. 451 об).

Затем Чернышевский в самый день подачи рукоприкладства подал в сенат два прошения с изложением процесса своего и обстоятельств к своему оправданию (стр 457 — 477).

Коллежский регистратор Плещеев, быв вызван из Москвы и допрошен в сенате, ни в получении письма от Чернышевского, ни в каких противозаконных с ним сношениях не сознался (стр. 477).

В сем показании утвердился он и на очной ставке с Костомаровым, который впрочем не уличал его прямо в противоза[ко]нных с Чернышевским сношениях (стр. 535).

На очной ставке Чернышевского с Костомаровым, который остался при своих показаниях (стр. 527 об.)

Чернышевский в прошениях своих, в сенат подаваемых, ссылался на прошения, подаваемые им в ноябре месяце государю императору и генерал-губернатору, посему сенат требовал от сего последнего сведений о сих прошений (так в ориг.) Но князь Суворов донес, что прошений сих подаваемо не было Чернышевским, а в феврале месяце подана была им записка и письмо на имя генерал-губернатора, которые приобщены к делу (стр. 536 об.).

Справка из дела Михайлова

Михайлов во время производства о нем в сенате дела показал, что имел в руках своих и воззвание к барским крестьянам и к солдатам, последние даже и переписывал, но не открыл своих сообщников (стр. 539).

Государь император на представление сената, следует ли Михайлова судить отдельно за распростра[не]ние им воззвания „К молодому поколению“ или совокупно с делом о воззвании к барским крестьянам, высочайше повелеть соизволил: судить Михайлова отдельно (стр. 540).

Из аттестата о службе Чернышевского видно, что он воспитывался сначала в семинарии, потом в университете, был преподавателем во 2-м кадетском корпусе, потом причислился к губернскому правлению канцелярским чиновником, был учителем русской словесности в Саратовской гимназии, аттестовался способным и достойным, а в 1859 году вышел в отставку по прошению с утверждением в чине титулярного советника. Женат, имеет 2-х детей, от роду ему 35 лет. (стр. 540 об.).

Законы приличные к делу: т. XV Свод. зак. уголов. кн. I ст. 283, 284.

Кроме означенных законов, более приличных к делу сему, нет.

Обер-секретарь Дмитрий Кузнецов.

Сообщения и подписки Н. Г. Чернышевского

Мой аттестат о службе, полученный мною при отставке, должен находиться там же, где находятся и другие мои бумаги, взятые при моем арестовании, — вероятно в III отделении собственной его величества канцелярии, — или в высочайше учрежденной Следственной комиссии.

Отст. титул. сов. Н. Чернышевский.

17 окт. 1863.

* * *

Мой аттестат об отставке выдан мне в (половине 1859 года) из с.-петербургского губернского правления, в котором я числился на службе.

Отставной титулярный советник Н. Чернышевский.

26 октября 1863.

* * *

1863 года октября 14 дня я, нижеподписавшийся, будучи вытребован в присутствие I отделения 5-го департамента Пр. сената, дал сию подписку в том, что 1) на г. сенатора графа Толстого (Дмитрия Андреевича), имеющего судить дело мое, подозрения не имею и 2) что во время производства дела моего в сенате пристрастия мне делаемо не было.

Титулярный советник (в отставке) Николай Чернышевский.

* * *

1863 года октября 15 дня я, нижеподписавшийся, будучи вытребован в присутствие I отделения 5-го департамента Пр.

сената, дал сию подписку в том, что на предъявленного мне г. сенатора Б. И. Бера, имеющего судить дело мое, подозрения не имею.

Отст. тит. сов. Николай Чернышевский.

* * *

1863 года октября 31 дня. Я, нижеподписавшийся, будучи требуем Пр. сенатом согласно изъявленного мною желания для нахождения при слушании записки из дела моего в сенате, дал сию подписку в том, что во все время слушания означенной записки я находился при оном.

Отст. тит. сов. Николай Гаврилов сын Чернышевский.

Вопросы по делу об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, обвиняемом в государственном преступлении [1]

1. **Все** ли справки собраны и все ли соблюдены обряды, законами предписанные?	Все.
2. **Изобличается ли** отставной титулярный советник Чернышевский в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом, стремящимся пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, и в участии с Герценом в сих преступных его замыслах?	Не изобличается.
3. Если не изобличается, то **не следует ли** по сему обвинению на основании 304 ст. кн. 2, том XV признать его не доказанным?	Следует.
4. Принимая во внимание показания разжалованного из корнетов в рядовые Всеволода Костомарова о том, что воззвание „К барским крестьянам“ писано Чернышевским, и подтверждение сего обвинения а) запискою, найденною у Костомарова, относящеюся именно к сему воззванию, почерк руки которой признан присутствием Правительствующего сената весьма сходным с почерком Чернышевского; б) показанием мещанина Яковлева о слышанном им разговоре Чернышевского с Костомаровым о сем воззвании и в) показанием бывшего под судом в Правительствующем сенате государственного преступника Михайлова о сем воззвании, совпадающим с объяснениями Костомарова, — **не следует ли** признать, что улики сии составляют полное нравственное убеждение в том, что воззвание „К барским крестьянам“ писал Чернышевский и принимал меры к его напечатанию в видах распространения?	Следует.

[1] Этот документ в сенатское определение не включен.

5. За состоявшимся в Правительствующем сенате постановлением, коим утверждено единогласное мнение секретарей сената, состоящее в том, что письмо, имеющееся в деле и начинающееся словами: „Добрый друг Алексей Николаевич“ писано рукою Чернышевского, к Плещееву, **не следует ли** документ сей признать несомненным обличительным актом против подсудимого Чернышевского, и за сим судить его на основании тех данных, которые выражены им в этом акте? Следует.

6. Если следует, то принимая во внимание, что в письме этом он, укоряя друга своего в медленности, говорит, что они воспользовались случаем, когда им подвернулись люди, занимающиеся тайным печатанием, напечатать свой манифест, что он просит его постараться уничтожить вредные для него слухи, про него распространяемые; что он указывает другу своему на успехи, которые сделал Л. со своими офицерами (известное возмутительное воззвание) и 23 в Понизовьи, что в конце письма вновь укоряет друга в недостатке энергии, **не должно ли** признать, что все таковые действия Чернышевского доказывают участие его в составленном заговоре и приготовление к возмущению, причем, возвращаясь к выведенному в вышеприведенном вопросе обвинению, признать, что с присовокуплением к изложенным в оном уликам письма сего, в коем положительно выражено, что мы воспользовались случаем, чтобы напечатать свой манифест, каковое выражение не оставляет сомнения, что Чернышевский разумел под манифестом не иное что, как воззвание „К барским крестьянам“, составляет не только нравственное, но и совершенное юридическое доказательство вины его в сочинении и печатании сего воззвания? Должно.

7. Если должно, то **не следует ли** признать, что преступление его заключает в себе все условия, предвиденные (требуемые) 283 ст. кн. I том XV Св. зак. уголовн., но принимая во внимание, что злоумышления Чернышевского открыты правительством заблаговременно, при начале оных, и ни смятений, никаких вредных последствий от них не произошло, на точном основании 284 ст. подвергнуть его наказанию по 4 или 3 степ. 21 статьи? Следует.

8. И б) Обращаясь затем к выбору одной из сих двух степеней наказания, **не следует**

ли принять на вид, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала „Современник“, своею литературною деятельностию имел большое влияние на молодых людей, в коих посредством произведений своих старался развивать материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, коими проникнуты сочинения его, и вследствие сего признать его подлежащим строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3 ст. в мере, близкой по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него имеющихся, т. е. лишить его всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, поселив затем в Сибири навсегда? Следует.

31 октября 1863.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА

Приговор

ПРИКАЗАЛИ:

Из дела сего видно:

Отставной титулярный советник Николай Чернышевский, занимавшийся литературою, был одним из главных сотрудников журнала „Современник". Журнал этот своим направлением обратил на себя внимание правительства. В нем развивались по преимуществу материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала, а одновременно с сим открылись обстоятельства, которые указали правительству в Чернышевском одного из зловредных деятелей в отношении к государству. Обстоятельства сии состоят в следующем:

Управляющий III отд. собственной его императорского величества канцелярии получил безыменное письмо о Чернышевском, в коем предостерегают правительство от Чернышевского, этого коновода юношей, хитрого социалиста. Он сам сказал, что настолько умен, что его никогда не уличат. Его называют вредным агитатором и просят спасти от такого зловредного человека. Все бывшие приятели Чернышевского, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные, отдалились от него. Ежели не удалите Чернышевского,—пишет автор письма ,—быть беде, будет кровь. Это шайка бешеных демагогов, отчаянные головы, эта „Молодая Россия" высказала в своем проекте все зверские ее наклонности, может быть перебьют их, а сколько невинной крови за них прольется? В Воронеже, в Саратове, в Тамбове—везде есть комитеты из подобных социалистов и везде они разжигают молодежь. Николая Гавриловича (имя и отчество Чернышевского), куда хотите, поскорее отнимите у него возможность действовать. Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия.

В конце июня месяца 1862 года получено было в III отделении уведомление, что из Лондона в Петербург едет коллежский секретарь Ветошников, знакомый с Герценом и Бакуниным, и везет с собою запрещенные издания Герцена, Огарева и другие, а вместе с тем и корреспонденцию от пропагандистов. При арестовании Ветошникова между прочими письмами оказалось у него письмо изгнанника и пропагандиста Герцена к надворному советнику Серно-Соловьевичу, в коем он убеждает его распространять пропаганду в России, а в конце письма приписка: Мы здесь или в Женеве намерены издавать „Современник" с Чернышевским.

По поводу письма сего Чернышевский 7 июля был арестован, и у него сделан обыск, при коем найдены следующие относящиеся к делу бумаги:

Анонимная записка с уведомлением, что дело о манифестации в Думе по высочайшему повелению оставлено без рассмотрения, беспокоить по этому делу никого не будут. Переписка Чернышевского с профессором Андреевским, коему он предлагает быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами для разъяснения причины прекращения публичных лекций. Письмо И. Б. (по почерку — Ивана Бордюкова[1]), в котором замечательны слова: „Москва занята теперь тверскими происшествиями, — говорят, революция будет". Письмо Герцена без надписи, а потому неизвестно к кому адресованное, со многими выскобленными словами, где он опровергает совет Чернышевского не вовлекать юношество в литературный союз, потому что из этого ничего не выйдет, и предлагает в темных выражениях проект организации какого-то общества или союза, избрав центрами деятельности ярмарки Нижегородскую, которую-нибудь из Днепровских и Ирбитскую или иной Урало-Сибирский тракт. Анонимное письмо к Чернышевскому, в коем называют его пропагандистом, социалистом, Маратом, желающим ниспровергнуть существующий порядок и учредить демократию и затем угрожают ему самому гибелью; алфавитный ключ на 4-х картонных бумажках и, наконец, две тетрадки, написанные с сокращением слов, слогов и букв. Тетрадки эти заключают в себе дневник Чернышевского, относящийся к тому периоду времени, когда он не состоял еще в брачном союзе, а был женихом. В нем обращают на себя внимание следующие мысли, к делу относящиеся: „Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль. У меня ничего не найдут, но друзья у меня весьма сильные. Что могу я другое делать? Сначала я буду молчать и молчать, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться. Я не могу, не в праве связать чьей бы то ни было судьбы с моею".

Чернышевский, содержась в крепости, 5 октября написал жене своей письмо, в коем говорит, между прочим: „Наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о нас с благодарностию, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами". Объясняя жене своей, что он намерен составлять „Энциклопедию знания и жизни", он пишет: „Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель".

Между тем во время производства изысканий по делу Чернышевского, отставной корнет Всеволод Костомаров, судив-

---

[1] См. стр. 19.

шийся в Москве за печатание запрещенных сочинений и по высочайшему повелению разжалованный в рядовые с назначением на службу в Кавказский линейный баталион, при препровождении его к месту назначения, с жандармским офицером Чулковым, дорогою в Туле заболел, а 5 марта 1863 года написал письмо некоему Соколову в С.-Петербург. Письмо это Чулков представил начальнику III отделения с. е. и. в. канцелярии. Письмо это заключает в себе подробный рассказ Костомарова, каким образом он вовлечен был в преступление, за которое судился, Чернышевским, каким образом Чернышевский вместе с литератором, ныне государственным преступником Михайловым, сочинил воззвание к барским крестьянам, а полковник Шелгунов—воззвание к солдатам, и дали ему для напечатания через студента Сороко, с коим он приезжал в Петербург из Москвы. Описывая подробно личность Чернышевского, как агитатора, который совратил с пути истинного несколько юношей, он так характеризует его: сравнивая его с Самсоном, он говорит, что израильтянин был так непрактичен, что, расшатав столбы здания, втемяшился в самую средину его и повалил обломки на себя. Наш Самсон (т. е. Чернышевский) рассуждает иначе; он полагает: чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других развалить его, а сам посижу пока в стороне. Коли развалят, хорошо, я займусь постройкою нового, а не развалят, надорвутся, так мне-то что? Я-то всячески цел останусь.

Далее Костомаров пишет другу своему, что напрасно он будет укорять его за то, что не открыл в свое время всего, что в его руках были средства увязить Чернышевского на свое место, что он сам видел эти письма, что в его руках была возможность сделать то, чтобы текст сентенции за составление воззвания к барским крестьянам относился не к нему, а к Чернышевскому. Тогда он должен был молчать, но теперь, когда уже совершилось, говорит в нем горькая боль оскорбленного сердца. Выгораживая Чернышевского и Шелгунова из этого дела, он продал себя. Он виноват в этом перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чернышевского, принесла и приносит такие горькие, отравленные плоды. Затем Костомаров описывает, как Михайлов привез и рекомендовал его Чернышевскому, как они втроем в кабинете читали сочиненное Чернышевским воззвание к барским крестьянам, и как он не соглашался напечатать его, если Чернышевский не смягчит выражений этого воззвания, вызывающих к резне, как Чернышевский не соглашался сначала на это, но потом изменил несколько; как Шелгунов сочинил воззвание к солдатам, ходил в казармы читать это воззвание и уговаривал солдат; как Чернышевский диктовал ему, Костомарову, в Знаменской гостинице воззвание к раскольникам, которое он впоследствии уничтожил.

По распоряжению III отделения с. е. и. в. канцелярии Костомаров был возвращен из Тулы в Петербург, и при нем

найдены письма Михайлова и записка карандашом следующего содержания: „В. Д. вместо срочно обяз. (как это по непростительной оплошности поставлено у меня)—наберите везде „врем. обяз.“, как это называется в Положении. Ваш Ч.“. Костомаров объяснил, что записку эту написал Чернышевский, бывши у него в Москве, но не заставши его дома, когда уже дано было ему для печатания воззвание к барским крестьянам. Но по предъявлении этой записки Чернышевскому, он не признал ее своей.

По сличении почерка руки Чернышевского с его запискою, секретари сената нашли, что хотя в общем характере нет сходства с почерком Чернышевского, но многие буквы, а именно 12-ть из числа 25-ти, составляющих записку, имеют сходство, присутствие же Правительствующего сената нашло, что и в отдельных буквах сей записки, и в общем характере почерка ее есть совершенное сходство с почерком руки Чернышевского.

Воззвание к барским крестьянам, в сочинении коего обвиняет Костомаров Чернышевского, и экземпляр которого, переписанный неизвестно кем, находится в деле Костомарова, будучи писано языком простонародным, заключает в себе превратное толкование Положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян; в нем говорится, что государь обманул крестьян, и что на основании Положения они будут еще в большей кабале, чем были доселе, и окончательно разорятся; затем объясняется крестьянам, в чём именно состоит воля, приводятся в пример Франция, Англия, Швейцария, Америка, где нет будто ни подушных, ни рекрутства, ни паспортов, где всем управляет народ, где цари находятся под властию народа, который выбирает и сменяет царей, если они не нравятся ему. В заключении автор прокламации приглашает барских крестьян готовиться добывать себе волю втайне, подговаривать к тому же государственных и удельных крестьян и солдат, а когда все это будет готово, он обещает дать сигнал к общему восстанию. В этом воззвании везде упоминаются срочно - обязанные, каковую ошибку, как выше упомянуто, просил Костомарова Чернышевский запиской исправить при напечатании.

Кроме сего, жандармский капитан Чулков донес генерал-мажору Потапову, что во время остановки его с Костомаровым, по случаю болезни его, прежде приезда в Тулу, еще в Москве его посетил мещанин Яковлев, желавший проститься с ним. Из разговоров их он заметил, что Яковлеву хорошо известны все отношения Костомарова к Чернышевскому, и предложил Яковлеву подтвердить это письменно, на что Яковлев и согласился.

Показание Яковлева состоит в следующем: Летом 1861 г. он был переписчиком бумаг и сочинений у Костомарова. Занимаясь у него, он очень часто видел у него приезжавшего из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского. Раз, когда он занимался перепискою бумаг по случаю летнего времени в садовой беседке Костомарова, он слышал между ними, ходившими в саду под руку

друг с другом, следующий разговор: Чернышевский говорил: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла". Называя статью эту своею, Чернышевский просил Костомарова скорее напечатать ее.

Не находя в этих фразах ничего противозаконного и не понимая точного их смысла, он тогда оставил это без внимания. Но ныне, узнав, что Костомаров осужден за какие-то противозаконные действия и желая оградить себя от всякой ответственности, он долгом считает о слышанном им разговоре довести до сведения правительств.

На предложенные Костомарову высочайше утвержденною Следственною комиссиею вопросы, он подтвердил все изложенное им в письме к Соколову. Генерал-маиор Потапов препроводил в высоч. учр. Следств. комиссию полученную им чрез московского губернского прокурора докладную записку содержащегося в смирительном доме мещанина Яковлева и переписку конторы московского смирительного и рабочего домов. Из бумаг этих видно, что Яковлев отправился в Петербург для донесения об отношениях Костомарова к Чернышевскому, но на Тверской станции Николаевской железной дороги за пьянство и буйство был взят в полицию и препровожден к московскому обер-полициймейстеру, а от него в Дом градского общества, которое отправило его за вышеизъясненные проступки в смирительный дом на 4 месяца. По вытребовании Яковлева и студента Сороко в Петербург, они на данные им вопросы ответили: Сороко, что хотя он и приезжал с Костомаровым в Петербург и хотя знаком был с Михайловым, но воззвания к барским крестьянам Костомарову не передавал, а передал ему запечатанное письмо от Михайлова; с Чернышевским же лично знаком не был. Показание сие Сороко утвердил и на очных ставках с Костомаровым, несмотря на улики его. Яковлев подтвердил прежнее свое показание и по предъявлении ему Чернышевского утвердил, что он есть то самое лицо, о котором он свидетельствует.

Редактор журнала „Современник" Некрасов представил генерал-маиору Потапову полученное им по почте из Москвы письмо, в коем пишущие объясняют, что они находятся арестованными в смирительном доме. На страстной неделе к ним явился какой-то мещанин Яковлев и объяснил, что также содержится за политическое преступление, и обратился к ним за советом. Он поехал в Петербург по весьма важному делу, но на Тверской станции выпил и забуянил; за это общество посадило его в рабочий дом. На вопрос, по какому делу он ездил к генералу Потапову, Яковлев отвечал: „Я был знаком с Костомаровым, на-днях получил записку без подписи, в коей меня приглашают в гостиницу „Венеция" № 18. Явившись туда, я был изумлен, встретив Костомарова в солдатской шинели и с жандармским офицером. Он сделал мне следующее предложение: „вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу. Мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ее наставлениям, будешь хорошо награжден". „А

Костомаров не говорил вам, что именно вам придется делать?"— спросили они. „Говорили, что должен дать в III отделении показание, будто бы слышал, как Чернышевский в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: „Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!" Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание. Скажите, если я дам такое показание, может ли Потапов что-нибудь сделать для меня; может ли, например, освободить из рабочего дома?" „Ну, это вряд ли. Мы думаем, что за ложное показание Потапов вас будет скорее преследовать, потому что по закону ложный свидетель подвергается строгому наказанию". „Я уже подал Потапову отсюда прошение,—сказал Яковлев,—меня скоро потребуют в Петербург,—сам не знаю, что делать". Мы сказали, что лучше сказать правду. Мы не поверили Яковлеву, зная, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому что судился вместе с нами в сенате и приговорен к 6-ти месячному заключению в крепости и к ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля мы удивились, увидев Яковлева на дворе с жандармами. Нам сказали, что его отправляют в Петербург. Вспомнив разговор наш с ним, мы невольно пришли к предположениям, что Чернышевский действительно обвинялся в каком-либо политическом преступлении, что Костомаров и его семейство, с помощью Яковлева, хотят подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда". Все это заставило пишущих обратиться с просьбою к Некрасову, прося представить письмо это, куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда. Все это они готовы, в случае надобности, подтвердить перед судом присягою. Подписали: Гольц-Миллер, Ильенко, Новиков, Сулин и Ященко.

Комиссия положила: вследствие такового поступка Яковлева и безнравственного его поведения, не ожидая 4-х месячного срока, на который он присужден обществом, отправить его на жительство в Архангельскую губернию, на что испрошено высочайшее соизволение, каковое и последовало. Полковник Шелгунов против выводимых на него Костомаровым обвинений не сознался, утвердив запирательство свое и на очной с Костомаровым ставке. Литератор Михайлов, бывший губернский секретарь, судившийся в сенате за распространение привезенного им из Лондона возмутительного воззвания „К молодому поколению" и сосланный на каторгу, во время производства над ним в сенате следствия, между прочим, показал, что он имел в руках своих воззвания и к барским крестьянам и к солдатам, из которых последнее переписывал и исправлял, но не открыл никого из своих сообщников. Правительствующий сенат испрашивал высочайшее повеление, следует ли Михайлова судить отдельно за то преступление, за которое он был предан суду I отделения 5-го департамента сената, т. е. за распространение воззвания „К молодому поколению", или совокупно с падающим на него обвинением в отношении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам. Государь император высочайше повелеть соизволил: судить

Михайлова за распространение прокламации „К молодому поколению“ отдельно от других падающих на него обвинений.

По поступлении дела о Чернышевском в Правительствующий сенат, г. обер-прокурор по поручению управляющего министерством юстиции предложил на совокупное рассмотрение с делом о Чернышевском полученное в III отделении собственной е. и. в. канцелярии письмо Чернышевского к Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву). Письмо это следующего содержания[1].

Письмо сие предъявлено было в присутствии сената Чернышевскому, и по содержанию оного он был допрошен. Но Чернышевский в данных ответах объяснил, что письмо сие писано не им, и о содержании оного отозвался неведением.

Вследствие заключения сената, делаемо было секретарями сената сличение почерка руки Чернышевского с почерком, коим писано письмо сие, и секретари единогласно признали, что как это письмо, так и бумаги, в деле находящиеся, писанные Чернышевским и им не отвергаемые, писаны одною и тою же рукою; присутствие I отделения 5-го департамента, сличив с своей стороны почерк Чернышевского с письмом сим, признало вышеозначенное заключение секретарей сената правильным и посему определило заключение сие утвердить во всей силе. Рядовой Костомаров, быв вытребован в присутствие сената и подтвердив прежние объяснения свои касательно сношений своих с Чернышевским, о письме сем объяснил, что оно дано было ему Чернышевским для передачи Плещееву, но он его куда-то затерял, а после нашел его за подкладкой своего саквояжа, но как оно, быв измочено и разорвано (письмо это, действительно, получено в сенате разорванное и со следами подмочки), то отдать его Плещееву ему было уже совестно.

Подсудимый Чернышевский во всех вышеизложенных выведенных на него обвинениях ни на допросах в Следственной комиссии, ни на передопросах в Правительствующем сенате, ни на очной с Костомаровым ставке не сознался, не отвергая, впрочем, знакомства своего с Костомаровым, ни с Михайловым. На очной ставке с Костомаровым в комиссии он сказал: „Я поседею, умру, а не переменю своего показания“. Знакомство свое с Костомаровым он объяснил тем, что покровительствовал только ему, как молодому начинающему литератору. Чернышевский домогался пред Правительствующим сенатом, чтобы сличение почерка руки, коим писано было письмо к Алексею Николаевичу, дозволено было ему произвести самому с почерком Костомарова и чтобы ему дали для сего лупу, увеличивающую в 10 или 12 раз. Но Правительствующий сенат, имея в виду, что при сличении соблюдены были все требуемые законом обряды и формы, в домогательстве его отказал.

Коллежский регистратор Алексей Николаев Плещеев был вызван в сенат и, утверждая оному знакомство и литературные отношения свои с Чернышевским, ни в каком противозаконном

---

[1] См. выше стр. 268.

участии с ним не сознался, равно как и в получении от него письма, посланного через Костомарова, под заглавием: „Добрый друг Алексей Николаевич".

Из сведений о происхождении Чернышевского видно, что он сын священника, воспитывался первоначально в семинарии, а потом в университете, служил преподавателем во 2-м кадетском корпусе, был учителем гимназии в Саратове, потом причислился к С.-Петербургскому губернскому правлению и в 1859 году вышел в отставку. От роду ему 35 лет, женат, имеет двух детей.

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий сенат находит, что на подсудимого Чернышевского выводятся три следующие обвинения:

1. Противозаконные сношения с изгнанником Герценом, стремящимся пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, и участие с Герценом в сих преступных его замыслах.—В отношение сего обвинения из дела видно, что основанием к тому служит токмо приписка Герцена в письме к Серно-Соловьевичу о намерении его издавать с Чернышевским журнал здесь, т. е. в Лондоне, или Женеве, и письмо, найденное у Чернышевского, неизвестно к кому адресованное, которое, по словам его, получено им по городской почте, писанное Герценом или Огаревым, в коем возражают против убеждения Чернышевского не вовлекать юношество в литературный союз. Чернышевский с своей стороны не сознался ни в каких противозаконных сношениях с Герценом, объяснив, что, действительно, Михайлову, отправляющемуся в Лондон, он поручил сказать Герцену, чтобы он не вовлекал молодежь в его противузаконные планы. При таковых обстоятельствах нет основания признавать Чернышевского виновным в участии с Герценом в его стремлениях пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, а посему по обвинению этому, согласно 304 ст. 2 кн. т. XV Св. зак. уг., его следует признать недоказанным.

2. Сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам, переданного Костомарову для напечатания, с целию распространения.—В отношении сего обвинения из дела оказывается, что подтверждением оному служат: а) показание разжалованного из корнетов в рядовые Всеволода Костомарова, подробно и обстоятельно объяснившего весь ход переговоров его с Чернышевским о печатании воззвания к барским крестьянам; б) записка, найденная у Костомарова и оставленная у него Чернышевским, в которой последний просит исправить ошибку его в рукописи и напечатать вместо „срочно обязанные" — „временно обязанные" (крестьяне), как это значится в Положении, что подтверждается и рукописью, в деле находящеюся, в коей действительно написано „срочно-обяз.", и признанное присутствием Правительствующего сената совершенное сходство почерка сей записки с почерком Чернышевского, как в отдельных буквах, так и в общем характере; в) показание мещанина Яковлева, переписчика бумаг у Костомарова, слышавшего разговор Костомарова с Чер-

нышевским, который просил его скорее напечатать воззвание к барским крестьянам; г) показание бывшего под судом в Правительствующем сенате политического преступника Михайлова о том, что он имел у себя в руках воззвание к барским крестьянам и передал Костомарову, так как показание это совпадает с показаниями Костомарова, объяснившего об участии Михайлова в напечатании воззвания к барским крестьянам[1]; токмо Михайлов, пойманный и уличенный государственный преступник, не будучи в состоянии сам избавиться от заслуженного им наказания, скрывает своих сообщников. К опровержению вышеизложенных улик представлено токмо литератором Некрасовым письмо содержащихся в смирительном доме за политические преступления 5 лиц, доказывающих, будто бы Яковлев был подговорен Костомаровым к ложному против Чернышевского показанию, имеющее само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным, — представляет и ту несообразность, что извет на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое по горячим следам имело бы возможность раскрыть истину, а сообщено владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи. Сам Чернышевский против улик сих никакого опровержения не представил.

Из сих улик возникает полное нравственное убеждение, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению через тайное отпечатание оного.

и 3. Приготовление к возмущению. Вещественным доказательством сего преступления против Чернышевского служит находящееся в деле собственноручное (т. XV Св. зак. уг. кн. 2 ст. 326 и. т. X ч. 2 ст. 354) письмо Чернышевского к некоему Алексею Николаевичу (Плещееву). Таким образом, это письмо обращает нравственное убеждение виновности Чернышевского в юридическое тому доказательство (ст. 308 т. XV). В этом письме он, укоряя друга своего в медленности приобретения орудия к тайному печатанию и распространению возмутительных воззваний, пишет, что они воспользовались случаем, когда им подвернулись люди, занимающиеся тайным печатанием, напеча-

---

[1] Дальше в первой редакции было сказано так: токмо Михайлов, пойманный и уличенный государственный преступник, не будучи в состоянии сам избавиться от заслуженного им наказания, скрывает своих сообщников, как это введено в непременное условие между заговорщиками; все эти улики, к опровержению коих представлено токмо литератором Некрасовым письмо содержащихся в смирительном доме 5 лиц, будто бы Яковлев был подговорен Костомаровым к ложному против Чернышевского показанию, имеющее само по себе вид стремления заговорщиков подобными средствами спасти своего сообщника, а самим Чернышевским к опровержению их ничего не представлено, составляют полное нравственное убеждение в том, что воззвание к барским крестьянам сочинял Чернышевский и принимал меры к распространению через тайное отпечатание оного и 3. Участие в составленном противу правительства заговоре и приготовление к возмущению. Вещественным доказательством сего преступления против Чернышевского служит находящееся в деле вышеприведенное собственноручное письмо Чернышевского к некоему Алексею Николаевичу (Плещееву).

тать свой манифест. Несомненно, что здесь речь идет о Костомарове, Сулине, Сороке и о воззвании к барским крестьянам, которое они взялись напечатать. Из этого письма явствует, что ему были известны другие злоумышленники, возмущавшие общественное спокойствие распространением своих воззваний (Л. и 23 в Понизовьи).

Изложенные обстоятельства не допускают сомневаться в существовании злоумышления к ниспровержению правительства[1] и в принятии Чернышевским деятельного в том участия, с приготовлениями к возмущению. Таким образом, действия Чернышевского заключают в себе все условия преступления, предусмотренного в Св. зак. уг. кн. I т. XV в главе о госуд. преступл. в ст. 283, т. е. участие в злоумышлении противу правительства. Но принимая во внимание, что таковые злоумышления Чернышевского открыты правительством заблаговременно, при начале оных, и ни смятений, ни каких-либо других вредных от того последствий не произошло, Чернышевский на точном основании по-
следующей 284 ст. должен быть подвергнут наказанию по 3-ей или 4-ой степени 21 ст. Обращаясь затем к определению степени предлежащего Чернышевскому наказания, сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала „Современник“, своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих, со всею злою волею, посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3-ей степени в мере близкой к высшей по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся.

В сих соображениях и на основании вышеприведенных законов Правительствующий сенат полагает: отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление[2] к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет, и затем поселить в Сибири навсегда.

---

[1] В первой редакции: Изложенные обстоятельства несомненно доказывают существование противуправительственного заговора и принятие Чернышевским деятельного участия в сем заговоре и приготовлениях к возмущению. Таким образом, действия Чернышевского заключают в себе все условия преступления, предусмотренного в Св. зак. уг. кн. I т. XV в главе о государственных преступлениях в ст. 283, т. е. участие в составленном противу правительства заговоре.

[2] В первой редакции: за участие в составленном заговоре.

Решение это, на основании 617 ст. 2 кн. т. XV Св. зак. уголовных, представить на высочайшее его императорского величества усмотрение и ожидать утверждения.

Затем Правительствующий сенат определил: его же, Чернышевского, по обвинению в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и в участии в его преступных замыслах, *признать недоказанным.*

Читали 5 февраля

Матвей Карниолин Пинский 6 февраля.
Карл Венцель 6 февраля.
Алексей Веневитинов 6 февраля.
Граф Дмитрий Толстой 6 февраля.
Николай Лукаш 6 февраля.

Редакционные поправки министра юстиции к сенатскому приговору

Секретно.

Министерство юстиции
Департамент 7
Отделение II
Января 27 дня 1864
№ 1503

Г. обер-прокурору I отделения 5-го департамента Правительствующего сената.

По делу о Чернышевском.

При рапорте за № 1297 представлено на рассмотрение министерства юстиции определение Правительствующего сената об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, обвиняемом в государственных преступлениях.

Соглашаясь с заключением Пр. сената, я вместе с тем полагал бы для более точного изложения резолюции сделать следующие изменения:

1. Хотя никакого нет сомнения, что все агитаторы России состоят в сношениях между собою, следовательно образуют целое, но как нити, их соединяющие, еще не раскрыты, то следовало бы в резолюции по настоящему делу слово „заговор“ везде заменить словом „злоумышление“.

2. Помещенное в резолюции (л. 50] 3 об.) выражение, относящееся до Михайлова: „как это введено в непременное условие между заговорщиками“—следовало бы вовсе исключить.

3. Из определения третьего упадающего на Чернышевского обвинения, изложенного на л. 574 об., слова: „участие в составлении противу правительства заговора“ следовало бы также исключить, ограничив это определение словами „приготовление к возмущению“.

Согласно с сим надлежало бы заменить на л. 576 резолюции означение вины Чернышевского, со слов: „изложенные обстоятельства“ до слов: „приготовлениях к возмущению“ следующим: „изложенные обстоятельства не позволяют сомневаться

в существовании злоумышления к ниспровержению правительства и в принятии Чернышевским деятельного в том участия с приготовлениями к возмущению", а на л. 578 слова: „за участие в составленном заговоре" словами: „за злоумышление к ниспровержению существующего порядка".

5. Обстоятельства, относящиеся до обсуждения силы улик, представляющихся против Чернышевского по обвинению его в составлении возмутительного воззвания „К барским крестьянам" (л. 573 об., 574 и 574 об.) я полагал бы изложить так: „к опровержению вышеизложенных улик представлено токмо литератором Некрасовым письмо содержащихся в смирительном доме за политические преступления 5 лиц,—доказывающих будто бы Яковлев был подговорен Костомаровым к ложному против Чернышевского показанию,—имеющее само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным,—представляет и ту несообразность, что извет на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое, по горячим следам, имело бы всю возможность раскрыть истину, а сообщен владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи. Сам Чернышевский противу улик сих никакого опровержения не представил. Из сих улик возникает полное нравственное убеждение, что воззвание к барским крестьянам сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению чрез тайное отпечатание оного".

Об изменениях этих поручаю вашему превосходительству объясниться с г. г. сенаторами и в случае их на это согласия разрешаю вас на пропуск определения.

Вместе с тем поручаю вашему превосходительству, для полного изложения обстоятельств настоящего дела, сделать распоряжение о дополнении определения включением в записку показания б. губ. секретаря Михайлова, находящегося на 806 и 807 л. подлинного дела о Костомарове и других и письма Костомарова к его матери (394 л. подлинного дела о Чернышевском), а также о дополнении краткого изложения обстоятельствами дела, заключающимися во 2 томе определения, и об указании в конце определения, пред изложением резолюции сената, статей закона, на основании которых разрешается настоящее дело.

Рассмотренное определение при сем возвращается.

Министр юстиции Замятнин.
И. д. директора Хвостов.

Мнение Государственного совета

Государственный совет, в департаменте гражданских и духовных дел, по рассмотрении определения Правительствующего сената, 5-го департамента, об отставном титулярном советнике Чернышевском (35 лет), признав его, по уликам и обстоятельствам дела, виновным в сочинении возмутительного воззвания,

Выпит по сему, на Высочайше
повелѣнный Государственнаго Совѣта
Томъ собственноручно за тѣмъ

[redacted]

Въ С. Петербургѣ
7-го Апрѣля 1864-го года

Мнѣніе Государственнаго Совѣта

Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ по разсмотрѣніи опредѣленія Правительствующаго Сената 5-го Департамента объ отставномъ Титулярномъ Совѣтникѣ Николаѣ Чернышевскомъ (35 лѣтъ), признавъ его по уликамъ и обстоятель-

32.

передаче оного для тайного напечатания, с целью распространения, и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления, мнением положил: утвердить по настоящему делу заключение Правительствующего сената и, вследствие сего, отставного титулярного советника Николая Чернышевского, на основании приведенных в том заключении узаконений, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда.

Председательствующий в Государственном совете (подписал) князь Павел Гагарин.

Резолюция Александра II:

Быть по сему, но с тем чтобы срок каторжной работы был сокращен на половину.

В С.-Петербурге
7 апреля 1864 года.

Доклад Александру II о невозможности заточить Н. Г. Чернышевского в Шлиссельбургскую крепость и о порядке отправления его в Сибирь

За ссылаемыми в каторжную работу дозволяется по закону следовать женам их (тома XIV устав о ссыльных, ст. ст. 40, 98, 99, 278, 349, 760, 761 и 762).

Женам преступников [о]сужденных по делу 14 декабря 1825 года, также и политических польских преступников, равным образом было разрешено следовать за мужьями, или прибыть к ним после.

Находящимся на каторжных работах по особо установленным правилам разрешается переписка с родными (льгота эта при предстоящем рассмотрении вопроса о надзоре за ссыльно-каторжными, по мнению статс-секретаря графа Панина, должна быть расширена).

Заключенным же в секретный замок Шлиссельбургской крепости не дозволяется ни с кем свидание и переписка, без особого высочайшего разрешения; заключение их остается даже неизвестным их родственникам.

При заключении в секретном замке Шлиссельбургской крепости, согласно § 2 Инструкции коменданта, о каждом из секретных арестантов должна быть даваема особая инструкция от III отделения собственной его императорского величества канцелярии.

В инструкции этой следует определить правила содержания, дозволять ли переписку и чтение книг.

Заключение[1] в секретном замке преступника, законно осужденного, лишая его сношений с родными, предоставляемых законом ссыльно-каторжным, возбудит справедливое нарекание на пренебрежение законов самим правительством.

---

[1] В оригинале описка: заключенного.

Имея в виду, что преступник может встретить сочувствие в значительном числе своих единомышленников и во время его препровождения по железным дорогам и на пароходах невозможно отстранить какие-либо манифестации, я полагал бы более удобным, на точном основании правил, высочайше утвержденных в 1854 г., о пересылке политических преступников, отправить преступника на почтовых: на Шлиссельбург, Вологду, Вятку, Пермь до Иркутска с двумя жандармами, вменив в обязанность генерал-губернатору Восточной Сибири иметь строгое наблюдение за точным исполнением установленных правил для ссыльно-каторжных.

13 апреля 1864 г.

[В начале пометка на поле рукою шефа жандармов кн. В. А. Долгорукова: „Д. Е. В-тву (т. е. доложено Его Величеству) 15 апреля". Оригинал находится в деле Д-та Гос. полиции о Чернышевском (стр. 199—201). — *Н. А.*].

Постановление сената

По высочайшему повелению. Секретно.
1864 года мая 4 дня. Понедельник.
В собрание ПС 5-го деп. I отд. по полуночи прибыли господа сенаторы
Матвей Михайлович Карниолин-Пинский.
Карл Бургардович Фон Венцель.
Николай Евгеньевич Лукаш.
Алексей Владимирович Веневитинов.
Граф Дмитрий Андреевич Толстой.
Борис Иванович Бер. } в 11 часов.
Обер-прокурор Яков Яковлевич Чемадуров.

Слушали: 1. Предложение г. министра юстиции, который предлагает Правительствующему сенату для надлежащего исполнения высочайшее повеление, последовавшее на мнение Государственного совета по делу об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском. К сему присовокупляется, что настоящее высочайшее повеление и мнение Государственного совета, на основании высочайшего повеления от 4 марта 1863 года, подлежит припечатанию в Сенатских ведомостях. Мнение Государственного совета следующего содержания (см. стр. 453). На подлинном [следует резолюция Александра II]; и справку, по которой оказалось, что ПС, рассмотрев дело об отставном тит. советнике Чернышевском, нашел: (см. стр. 438—450).

Приказали: О точном и немедленном исполнении высочайшего повеления, последовавшего на мнение Государственного совета по делу о бывшем тит. сов. Николае Гавриловиче Чернышевском, сужденном за государственные преступления и заключения Правительствующего сената по предмету обвинения в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и участие в его противозаконных замыслах, г. с-петербургскому военному генерал-губернатору предписать указом с препровождением копии с

аттестата Чернышевского, а распоряжение о припечатании в Сенатских ведомостях означенного высочайшего повеления и мнения Государственного совета предоставить г. обер-прокурору, на каковой конец к делам его передать копию с сего заключения.

Из собрания г. г. сенаторы выбыли в три часа пополудни.

Подписка Н. Г. Чернышевского

1864 года мая 4 дня, я, нижеподписавшийся, бывший отставной титулярный советник Николай Гаврилов Чернышевский дал сию подписку в том, что решение обо мне Правительствующего сената, мнение Государственного совета и последовавшее на оное высочайшее его императорского величества повеление, коим присужден я к лишению всех прав состояния, ссылке в каторжную работу в рудниках на **семь** лет и затем к поселению в Сибири навсегда, сего числа при открытых дверях I отделения 5-го департамента правительствующего сената мне объявлено, в чем и подписуюсь.

Николай Гаврилов сын Чернышевский
При сем присутствовали: (подписи)

С.-Петербургский военный генерал-губернатор—шефу жандармов, 4 мая 1864 г.

Высочайше утвержденным 21 февраля сего года мнением комитета гг. министров преступники всех категорий из привилегированных классов, ссылаемые по судебным приговорам в Сибирь, должны быть отправлены на подводах порядком, указанным в 510 и 511 ст. XV Св. зак. о ссыльных, т. е. они препровождаются этапным порядком, но не с прочими ссыльными, а особыми партиями и без употребления оков и наручней.

Ныне состоялся приговор о судимом за политическое преступление дворянине Николае Чернышевском, который имеет быть отправлен в каторжную работу.

По особо уважительным причинам, известным вашему сиятельству, я полагал бы Чернышевского отправить не этапным порядком, *но на почтовых с двумя жандармами*, применяясь к правилам, высочайше утвержденным 10 января 1854 года.

При этом, согласно вышеприведенному высочайше утвержденному мнению комитета министров и ст. 96, 170, 171 и 224 XIV т. Св. зак. уст. о содер. под страж. и улож. о наказ. примеч. к ст. 19, я полагал бы отправить Чернышевского без оков и наручней, так как и губернское правление при отправлении этапным порядком лиц привилегированных сословий, осужденных в каторжную работу, не налагает оков и наручней; а также не исполнять над ним обряда, указанного в 541 ст. 2 кн. XV т. Св. зак. (о выставлении к позорному столбу), ибо Чернышевский, по приговору Правительствующего сената, не присужден к политической смерти.

Шеф жандармов—С.-Петербургскому военному генерал-губернатору, 5 мая 1864 г.

1. Высочайше утвержденным 21 февраля 1864 г. Положением комитета министров (соб. узак. 1864 г. № 26 стр. 217) дозволено всем арестантам привилегированных сословий, ссылаемым в Сибирь, как по политическим причинам, так и за общие преступления, отправляться на почтовых лошадях, буде они того пожелают и будут иметь к этому достаточные собственные средства, причем соблюдаются правила, высочайше постановленные 10 января 1854 г. (которые министерству юстиции неизвестны).

2. По точному смыслу 170, 171, 224 ст. XIV т. уст. содер. под стражею и ст. 96 т. XIV уст. о ссыльн., дворяне и чиновники, при препровождении в Сибирь, не должны быть заключаемы в оковы и идут под строгим надзором.

3. Установленный в 541 ст. 2 кн. XV т. Св. зак. угол. обряд (переламывание шпаги и выставление на эшафот к позорному столбу), по точному смыслу сей статьи, должен быть исполняем над всеми без исключения лицами, осужденными в каторжные работы (а не над теми только, кто, по ст. 75 Улож. о нак., приговорен к политической смерти).

Запрос коменданту крепости

Приговор Правительствующего сената отставному титулярному советнику Чернышевскому уже объявлен, и об исполнении оного ваше превосходительство изволите получить вслед за сим официальное сообщение; предварительно же сего сообщения, по поручению князя Александра Аркадиевича, имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, уведомить меня, когда Чернышевский будет переведен из равелина в обыкновенный каземат крепости, и не встретится ли завтрашний день, т. е. 6 мая, каких-либо препятствий к свиданию его с сыном и близкими родными.

Ответ коменданта, 6 мая 1864 г.

По установленному порядку, вообще перевод из Алексеевского равелина решенных преступников в обыкновенный каземат или на главную крепостную гауптвахту исполняется или накануне того дня, в который определено привести публично в исполнение конфирмацию, или же накануне отправления по назначению, если публичного объявления не назначено. Свидание допустится в течение дня не в месте заключения, а в особой комнате, в присутствии кого-либо из чинов комендантского управления. По пробитии вечерней зари (накануне отправления) осужденному стригут волосы на голове и бреют бороду и усы, а при самом отправлении одевают в казенное платье и сдают конвойным для следования по назначению на почтовых лошадях.

Обер-полициймейстер—С.-петербургскому военному генерал-губернатору 19 мая 1864 г.

Сего числа при публичном объявлении на Мытнинской площади приговора бывшему титулярному советнику Чернышевскому, всеми зрителями, которых было довольно значительное число, соблюдена была совершенная тишина и никакого случая беспорядка не было. Я должен обратить при этом внимание вашей светлости на то, что в самое то время, когда Чернышевский шел к экстраде, из толпы, в довольно дальнем расстоянии от него, был кинут букет, упавший тут же впереди зрителей, стоявших шагов за 20 за линиею войск. Женщина, бросившая букет, была подмечена одним из переодетых городовых и в ту же минуту надзирателем Агафоновым отправлена в дом обер-полициймейстера. Все это было сделано так скоро и осторожно, что мало кто заметил эту сцену. Женщина эта оказалась девица Михаэлис. Я имею еще сведение, что на возвратном пути, когда экипаж, в котором был Чернышевский, проехал всю длину 4-й улицы (на Песках) и подъехал к Лиговке, несколько извозчичьих экипажей с седоками, в числе которых были и женщины, догнали кортеж и намеревались ехать около его; но так как экипаж был конвоирован жандармами, то они должны были отстать и разъехаться.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пояснение ссылок Н. Г. Чернышевского в его заявлениях

Листы „Дела" Следственной комиссии и сенатской „Записки", на которые ссылается Чернышевский в своих заявлениях, содержат следующие документы:

Листы „Дела":

2. Анонимное письмо Потапову („Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия").

48—53. „Записка из частных сведений" о Чернышевском.

58—63. Письма Ч. проф. Андреевскому и ответы последнего.

64—65. Письмо Н. И. Костомарова Чернышевскому.

72—82. Найденное у Ч. письмо Герцена и Огарева.

83—86. Найденное у Ч. анонимное письмо к нему („Не вверимся же мы вам, человеку или совершенно непрактичному, или совершенно подлому: вспомните, в какую цену вы оценили наши имения. Кого вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого вы надеетесь! На полудикое сословие мужиков... Считаем не лишним заметить вам, г-н Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем вас, Искандера или кого-нибудь из вашего семейства, и вероятно вы не успеете еще запастись телохранителями").

154—155. Копия письма Ч. к жене, от 5. X 1862 („Наша с тобою жизнь принадлежит истории...").

164—164. об. Потапов Следственной комиссии, от 15. XI 1862, о заключении м-ва ин. дел о дневнике Ч. („В бумагах литератора Ч... оказались... две тетради, писанные шифром, которые для разбора препровождены были в м-во ин. дел, вместе с находящимся при оных указателем"); там нашли, что рукопись писана не шифром, а только с применением сокращений и условных обозначений, и „содержание разобранного имеет „условный смысл".)

167. Картонные полоски с буквами и цифрами, принятые за ключ к шифру дневника Ч.

181. Саратовский дневник Ч., тетрадь 2.

218. То же.

224. Расшифровка отрывка из дневника (разговор с О. С. Васильевой: „меня каждый день могут взять...")

225. То же („я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею...")

229. и теперь с огорчением вспоминаю, что было бы, если бы она поехала одна с ним.

247. Записка Ч. коменданту крепости, от 23.I. 1863.

252. То же, вечер, 24.I (получено 1 февраля 1863).

256. То же 6.II, 7.II (о приостановке голодовки).

257—259. Письмо Ч. кн. Суворову, от 7.II 1863.

261. Потапов С. комиссии о рапорте д-ра Океля коменданту крепости об отказе Ч. от пищи.

281. Сообщение III отделения Следственной комиссии об отобрании у Вс. Костомарова в Туле письма.

282—291. Письмо Вс. Костомарова Соколову.

283. То же („Ч. человек с самолюбием необъятным... считает себя самым умным человеком в мире...")

286. То же.

286. То же („яд аспидов под устнами их... скоры ноги их пролияти кровь... само собою разумеется, кровь чужую...")

287. Первый визит к Ч.

288. То же („Ч. лично передал Сороке и рукопись воззвания, и деньги для ее напечатания...").

290. То же („Поклон старообрядцам" был составлен тем же „доброжелателем" который составил и манифест к крестьянам. Он был писан мною под диктовку Ч...").
296. Дешифровка письма к Ал. Костомарову, сделанная Вс. Костомаровым.
297. Ключ к шифру этого письма, данный Вс. Костомаровым.
303. Сообщение III отделения Следственной комиссии, от 10.III 1863, об отобрании у Вс. Костомарова писем и карандашной записки при арестовании. в III отделении.
304. Карандашная записка, якобы писанная Чернышевским.
305. Письмо Ч. Вс. Костомарову, от 2.VII 1861.
306. То же, от 20.IV 1861.
311—312. Письмо А. Н. Плещеева Вс. Костомарову.
317—318. Рапорт жандармского капитана Чулкова № 12, от 11.III 1863, об отобрании письма у Вс. Костомарова в Туле.
321—342. Показание Вс. Костомарова, 13.III. 1863.
322. То же, п. 3.
323. об. то же
325. То же, п. 5.
326. То же, п. 6.
327. То же, п. 7.
329. То же, п. 9.
337. То же, п. 17.
339. То же, п. 19.
341. То же, п. 20.
342. То же, п. 21.
346. Дополнительное показание Вс. Костомарова. 14.III 1863, п. 4.
349—351. Письма Ч. коменданту крепости, от 12.III 1863.
352. Тоже, с просьбой доложить кн. Суворову.
355. Замечания Ч. на предписании коменданта смотрителю равелина по поводу объявленного выговора „за неуместные и неприличные выражения" о Следственной комиссии, от 13.III 1863.
376 след. Очная ставка с Вс. Костомаровым, 19.III 1863.
385. Выписка из журнала Следственной комиссии о Сороко и Яковлеве, от 3.IV 1863, п. XIII.
386. III отделение Следственной комиссии, с докладной запиской П. Яковлева,
390. Докладная записка П. Яковлева начальнику III отделения, от 20.III 1863, о задержании его в нетрезвом виде.
392. Рапорт жанд. капитана Чулкова Потапову, от 1 марта 1863 г., рекомендующий П. Яковлева „который очень может быть полезен во многих случаях".
394. Письмо Вс. Костомарова матери, от 1.III 1863.
396. Сообщение Московского градского общества конторе смирительного и рабочего домов о П. Яковлеве, от 14 марта 1863 г.
409. Допрос П. Яковлева в Следственной комиссии, 8.IV 1863.
411. То же, п. 3.
418. Заявление Ч. в Следственной комиссии, 12.IV 1863.
419. Протокол Следственной комиссии, от 12.IV 1863, об опознании Чернышевского П. Яковлевым.
434. Письмо Гольц-Миллера и др. Н. А. Некрасову, от 13.IV 1863, о подговоре П. Яковлева Вс. Костомаровым к даче ложных показаний против Ч.
436. Московский обер-полициймейстер Следственной комиссии, от 16.IV 1863, о Яковлеве, с черновым доносом П. Яковлева.
437. Донос П. Яковлева о разговоре Ч. с Вс. Костомаровым.
438. Выписка из журнала Следственной комиссии от 19.IV 1863.
446. Выписка из журнала Следственной комиссии. от 22.IV 1863, об утверждении Александром II высылки П. Яковлева в Архангельскую губернию.
448. Копия письма кн. Голицына от 24.IV 1863 м-ру вн. дел о высочайшем повелении о высылке П. Яковлева.
470. Рапорт жанд. капитана Чулкова, от 7.V 1863, об „услуге" П. Яковлева, т. е. готовности его выявить сношения Вс. Костомарова с разными лицами.

Листы сенатской „Записки" (зачеркнутой нумерации)

15. Об аресте Ветошникова и найденных у него письмах;

44. об. Копия письма Ч. жене, от 5.X.1862.
54. Выдержка оттуда же („Наша с тобою жизнь принадлежит истории")...
103. сл. Рассказ Вс. Костомарова в письме о визите Соколова к Ч. вместе с Михайловым.
111—113. Об уничтожении Вс. Костомаровым печатного станка.
131. Обыск Вс. Костомарова в III отделении.
141. Показание Вс. Костомарова (отказ представить доказательства на все, написанное в письме Соколову).
174. О карандашной записке, писанной якобы Ч-ским.
175. сл. Копия письма Вс. Костомарова Соколову.
265. Изложение письма, отобранного у Ветошникова („...Мы готовы издавать „Современник" здесь с Ч-ским или в Женеве...").
284. сл. Копия дополнительного объяснения Ч. сенату.
284. Там же, о неосновательных слухах о Ч.
287. О намерении Ч. уехать в Саратов и вернуться в Петербург весною 1863 г.
297. Ч. „не стал бы ждать июля 1862, а уехал бы за границу в октябре 1861 г.".
303. Ч. не мог бы издавать „Современник" за границей („Кем придуман такой невозможный для меня проект, я не постигаю").
312. Почему же не был привлечен раньше при наличии показаний Вс. Костомарова?
317. Характер отношений Ч. к Вс. Костомарову.
318. Отказ Ч. печатать перевод Шерра, сделанный Вс. Костомаровым.
342. Отношение Ч. к своим сочинениям.
349—355. О почерке карандашной записки, приписанной Ч-му.
346. О распознавании почерков.
376. О прокламации к барским крестьянам („Писанное в январе никуда не годится по своему содержанию в августе").
380. О визите к Вс. Костомарову в Москве („Зашел только покурить").
387. „Существо дела явилось только на первом мартовском допросе, более чем через 8 месяцев после моего ареста").
391. Об изустных показаниях Ч. в Следственной комиссии.
397. ислед. Копия письма к „Алексею Николаевичу".
400. об. Слово „некогда" в письме к А. Н.—через ять.
413. Показание Вс. Костомарова, 31.VII 1863.
413 об—414. Вс. Костомаров о свидании с Ч. в его квартире.
416. Показание Вс. Костомарова (слухи, что Сулин получил от Ч. его сочинение для печатания и т. д.).
417. То же, о получении от Ч. письма к А. Н. Плещееву.
418—418. об. Как Вс. Костомаров нашел письмо к А. Н.
420. Ч. будто бы уговаривал продолжать печатать манифест.

Из донесений агентов III отделения о Чернышевском

Литератор Николай Гаврилович Чернышевский живет в московской части по Большой московской улице в доме Есаулова, занимая в первом этаже по парадной лестнице большую квартиру. Семейство его состоит из жены, двух небольших детей, гувернантки, горничной, прачки и повара, который вместе с тем и лакей. В квартире этой Чернышевский живет с мая месяца. Жена его жила с детьми и прислугою все лето в Павловске, но он туда почти вовсе не ездил.

Летом ходило к нему много мужиков, которые получали от него работу для печатания; теперь же этих мужиков больше не видать. Прежде бывали у него многие лица—в том числе разные офицеры,—но ныне он велел допускать к нему ежедневно не всех, а принимать во всякое время только нижепоименованных лиц: Некрасов, Панаев, Антонович, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Огрызко (бывший содержатель типографии), Добролюбов (служит в Госуд. банке; нанимает одну комнату у маклера в Моховой), Кожанчиков, Боков, Воронов. Для остальных, которые его пожелают видеть, Чернышевский назначил каждую среду от 11 до 3 часов, и в этот день у него бывает чрезвычайно много посетителей, не исключая офицеров. Летом он имел для

своих занятий помощника, некоего Алексея Осиповича Студенского, который у него и жил, но теперь он у него более не занимается.

Чернышевский бывает почти постоянно дома и спит не более 2-3 часов в сутки. Иногда он уходит со двора рано утром, чуть свет, но в 10 часов уже бывает дома; по вечерам же постоянно уходит в 10 час. и возвращается в 12. Где он вечером бывает, еще неизвестно, но замечено, что часто приносит с собою бумаги. Писем получает он много, а также много рассылает, большею частью по почте, но иногда и с поваром или швейцаром. Еще вчера он отправил два довольно толстых письма в Москву, которые посылал на станцию железной дороги.

Добролюбов бывает у него три раза в неделю, но Шелгунова там не замечали.

За Чернышевским учрежден самый бдительный надзор, для облегчения которого признано необходимым подкупить тамошнего швейцара (отставного унтер-офицера волынского полка), который уже шесть лет занимает эту должность в доме и по той лестнице, где квартирует Чернышевский. По вечерам за ним приказано следить.

15 ноября 1861 г.

Приехавший к Чернышевскому из Нижнего Захарин до сих пор не прописан в доме, а потому неизвестно еще, кто он такой; имя же его узнано под рукою:— Чрез местного надзирателя Мадьянова будет сделано самым осторожным образом распоряжение, чтобы дворник дома, где живет Чернышевский, потребовал для прописки вид Захарина.

Чернышевский отпускает своего повара, которого он иногда употреблял для разноски посылок и писем. На место его он желает нанять кухарку. Этим обстоятельством поручено агенту воспользоваться, чтобы определить к Чернышевскому женщину, которая бы могла передавать все, что ей будет доступно в семействе Чернышевского. Подобная женщина уже имеется в виду, и теперь только будет зависеть от г-жи Чернышевской взять ее к себе в услужение. Когда отойдет повар, с ним приказано сблизиться.

Кроме Некрасова и студента Стралера, играющего, повидимому, в доме Чернышевского роль фактотума, он, по имеющимся сведениям, чаще всего видится с доктором Боковым, артиллеристом Рычковым и полковником Обручевым. За сим последним учреждено уже наблюдение, и, быть может, удастся сойтись с писарем, который у него постоянно бывает, а также с денщиком, служащим у него два года. — При надзоре за Чернышевским необходимо поступать с крайнею осторожностью, ибо г-жа Чернышевская, помещающаяся постоянно у второго окна от подъезда, ведущего в их квартиру, следит глазами за каждым, который входит в этот подъезд, а потому она, вероятно, сама отворяет всем посетителям двери. Студент Стралер приезжал вчера к Чернышевским около того времени, когда в университете кончились прения.

1 декабря 1861 г.

Студенты, бывавшие в последнее время у Чернышевского, не из числа содержавшихся в крепости, кроме студента Студенского, брата его жены, живущего теперь у него в доме, и еще одного студента, выпущенного из кронштадтской крепости и приходившего к нему вчера в 3 часа пополудни. Имя сего последнего еще неизвестно; быв выпущен самим Чернышевским на крыльцо, он встретился с Студенским, которого обнял, поцеловал и пригласил к себе.

Вчера вечером с 5½ часов до поздней ночи Чернышевский был у Панаева.—С 1 до 2 дня у него был Серно-Соловьевич, а в 7 часов вечера к нему приходил студент Медико-хирургической академии Скопин; не застав Чернышевского дома, он заходил к нему вновь сегодня утром в 10 часов и виделся с ним недолго. Вчера же Чернышевский получил из Парижа письмо следующего содержания: „Прошу вас, Николай Гаврилович, постарайтесь мне выслать деньги. Мне очень деньги теперь надобны. Пишу вам опять, на всякий случай, может быть, вы уже в Петербурге. Прошу вас, не медлите. Уважающая вас М. Маркович".

Приезжий из Нижнего Захарин нездоров и никуда не выходит.

9 декабря 1861 г.

По дошедшим сведениям служащие на главной телеграфной станции заготовили рапорт начальству, за подписанием слишком 30 человек, заключающий в себе просьбу о прибавке жалования или же, в случае отказа, об увольнении от должности.

Служащие при телеграфе все люди бедные. До определения они должны полгода быть на испытании и в это время не получают жалованья. Определившись, они получают первые годы 25, потом 35 и, наконец, самую большую плату 50 руб. в месяц. Знание языков: русского, немецкого и французского обязательно.

Сегодня утром у Чернышевского был какой-то телеграфный офицер или чиновник, в форме. Не имеет ли это обстоятельство связи с подачею телеграфистами вышеозначенного протеста?

15 января 1862 г.

Бывший студент Самарин рассказывал вчера одному из наших агентов, что он встретился на-днях у Некрасова с Чернышевским, который говорил, что к 26 августа готовятся по всей России манифестации, в которых будут выражены следующие желания всего образованного сословия: прощение политических преступников, всех без исключения, какие только находятся в живых; дарование конституции; свобода печати и уничтожение цензуры; ответственности министров; гласного судопроизводства и т. д. По словам Самарина, Чернышевский говорил, что он виделся со многими лицами—коноводами в провинциях этих будущих манифестаций, как то: из Киева, Харькова, Владимира и других городов, и что некоторые из них еще и теперь живут в Петербурге.

Насчет воззвания в пользу профессора Павлова Самарин положительно утверждает, что их выпустили студенты: Утин, Печаткин и Неклюдов, которые советовались по этому предмету с профессором П.

Студент Самарин знаком почти со всеми литераторами и пишет статьи для „Современника".

27 марта 1862 г.

Чернышевского с 18 мая посетили более 30 разных лиц, в том числе несколько студентов и экстернов Константиновского военного училища, один писарь военного министерства, один артельщик и несколько мужиков. Из известных уже у него были: Михаил Воронов—13 раз, Николай Утин—3 раза, студент Советов—4 раза, доктор Боков—8 раз, Антонович—7 раз, Свириденко—1 раз, Звонарев—6 раз, Лунин—1 раз, Иван Павлов—1 раз, Некрасов—1 раз. Кроме того, Чернышевского в это время посетили 4 новых лица: некто Иван Алексеевич Конопасевич—3 раза, какой-то Кривошев—1 раз, Салаев и Иван Иванович Кантович, занявший должность Студенского, который на-днях уехал в Саратов с семейством Пыпина. Были еще: какой-то адъютант и наборщик из типографии Вульфа, с которым Чернышевский и ездил куда-то.

В день пожара 28 числа, когда горел Толкучий рынок, к Чернышевскому приходило очень много лиц, в том числе Елисеев, Воронов, Боков, Антонович и 2 экстерна Константиновского военного училища. Собравшись вместе, они были чрезвычайно веселы и все время смеялись громко, так что возбудили удивление других жильцов дома, слышавших это через открытые окна.—Откуда могло явиться у швейцара подозрение?—но он выразился: „а ведь они должны знать, кто поджигает". У офицера Рачкова, живущего с Чернышевским, в продолжение сего времени было несколько офицеров, но за ними особенного ничего не замечено; надо полагать только, что у них есть что-нибудь общее с Чернышевским.

Денщик Рачкова, при всей скрытности своей, проговорился однако же, что у Чернышевского всегда секреты со всеми приходящими и что они постоянно говорят шопотом; двери все заперты; при приходе кого-либо разговор прерывается. Люди теряются в догадках и подозревают у них что-то недоброе, но наверное ничего не знают.

Чернышевская все еще на даче в Павловске и постоянно окружена студентами, которые часто ездят в Петербург.

5 июня 1862 г.

Вчера в одном магазине сошлось несколько литераторов; в том числе был и Кони. Разговор завязался о современных событиях, и все присутствовавшие с негодованием выражались об адской системе возмутителей—действовать посредством пожаров—и удивлялись слабости распоряжений со стороны правительства. „Неужели оно,—прибавил Кони,—не может еще убедиться, что главное зло заключается в Гиероглифове, Чернышевском и компании этих грязных негодяев!! Ведь, право, они не заслуживают никакого сожаления не только как литераторы, но как люди просто; с них следовало начать, а они все еще на свободе".

Вообще можно заметить, что последние события произвели сильную реакцию в литературном обществе;—в какой степени сильна выражаемая большинством литераторов симпатия к правительству и вследствие каких побуждений она стала выражаться, это вопрос другой,—вопрос, который разрешит время и уяснят обстоятельства.

13 июня 1862 г.[1]

Из „писем без адреса" Н. Г. Чернышевского[2]

... В какой журнал, в какую газету ни загляну я, везде я нахожу признаки того, что как будто бы почувствовалась надобность в наших объяснениях. Очень вероятно, что признаки эти обманчивы. Но пристрастие добиваться хороших результатов посредством объяснений так сильно в писателях, что я увлекаюсь им.

Это увлечение неизвинительно после стольких опытов. Но я усиливаюсь прикрыть в собственных глазах жалкую забавность его, твердя себе о фактах, которые действительно таковы, что вы, м. г., действительно могли бы желать объяснения. Вот некоторые из них: бывшие помещичьи крестьяне, называемые ныне срочно обязанными, не принимают уставных грамот; предписанное продолжение обязательного труда оказалось невозможным; предписанные добровольные соглашения между землевладельцами и живущими на их землях срочно обязанными крестьянами оказались невозможными; будучи поставлены в безысходное положение этою неисполнимостью предположенного решения, помещики ропщут и предъявляют требования, о которых не отваживались говорить не больше, как год тому назад; в государстве появилось и усиливается общее безденежье; курс падает, что равнозначительно возвышению ценности звонкой монеты сравнительно с бумажными деньгами, или, что то же, падению ценности бумажного рубля,—одних этих фактов внутренней жизни русского народа уже достаточно, и я не имею надобности касаться ни многих других значительных фактов ее, ни других менее верных явлений, принадлежащих отношениям русского народа к жизни других народов, входящих ныне в состав одного с ним целого.—

Крымская война сделала необходимостью освобождение крестьян. Связь этих двух фактов такова: военные неудачи обнаружили для всех слоев общества несостоятельность того порядка вещей, в котором оно жило до войны.—Многочисленность наших войск была безмерна; храбрость их несомненна. При тогдашнем непоколебимом и, смею сказать, беспечном до слепоты доверии к нашей денежной системе и к нашим кредитным учреждениям и при нашем порядке установления налогов не могло, повидимому, быть недостатка в денежных средствах. Потому русское общество нимало не превосходило мер возможного, когда ожидало в начале войны, что мы возьмем Константинополь и разрушим Турецкую империю. Когда война получила совершенно иной ход, этого разочарования нельзя было приписать ничему, кроме непригодности механизма, располагавшего нашими силами. Открылась надобность изменить

---

[1] Сводки донесений агентов III отделения о Чернышевском, представлявшиеся шефу жандармов, напечатаны в журнале „Красный архив", №№ 14/1/, 1926 г. стр. 87-122 и 29/4/, 1928 г., стр. 177—181.

[2] Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. X., стр. 296-304.

неудовлетворительное устройство. Самою заметною чертою его считалось тогда крепостное право. Конечно, оно было только одним частным приложением принципов, на которых был устроен весь прежний порядок; но внутренней связи этого частного факта с общими принципами большинство нашего общества тогда еще не понимало. Потому общие принципы, прежнего порядка были оставлены в покое, и вся реформационная сила общества обратилась против самого осязательного из его внешних проявлений.—Тяжела была для крепостных крестьян и вредна для государства законная сущность крепостного права. Но она была сообразна всему порядку нашего устройства; потому сам в себе он не мог иметь силы, чтобы отменить ее. А между тем, общество предполагало отменить крепостное право силою старого порядка.

Эта ошибка, столь заметная ныне для всех, показывает, что причина, заставившая общество приняться за опыт отменения крепостного права, была недостаточно сильна для возбуждения в обществе совершенно отчетливых понятий об основаниях прежней его жизни.—Неприятель едва коснулся наших границ на двух окраинах, далеких от коренных русских обитателей; можно сказать, что чувствительно было его прикосновение даже только к одной окраине, черноморской, так как стоянка союзного флота под Петербургом, бомбардирование Свеаборга и мелкие высадки на финляндском берегу не могли считаться серьезными нападениями и доставляли нам больше поводов к насмешкам, нежели к основательным беспокойствам. Но что же такое Крым, Таганрог и Керчь для жителей Великороссии! Это отдаленные колонии, о которых коренной русский народ никогда много не думал. Притом же благодаря характеру местности, своему незнанию, отчасти, быть может, и по расчету императора французов, неприятель и в этой окраине не проникал далее нескольких верст от берега. Самые его победы над нами не были окончательными разгромами военных сил, организованных старым порядком. Армии наши отступали, но не бежали; ослабевали, но не уничтожались, и все еще сохраняли твердость и могущество, внушавшие уважение неприятелю. Не могло исчезнуть и в нас уважение к старому порядку; оно только поколебалось, но не пало.

Такова была сила глубины впечатления, обратившего нас к заботам о реформах. Оно было мелко, поверхностно. Англо-французы (как мы называли тогда союзников) прорвали небольшую прореху в нашем платье, и мы думали на первый раз, что надобно только починить ее; но, начав штопать, мы постепенно замечали ветхость материи на всех местах, до которых приходилось нам дотрогиваться; и вот мы видим теперь, м. г., что все общество начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое,—штопать оно не хочет. Говоря проще, наше общество, занявшись отменением крепостного права, принялось за дело очень серьезное. Принялось оно за него с легкомысленностью и беспечною недальновидностью, думая, что отделаться от этой задачи можно столь же незначительными переделками прежних внутренних трактатов, сколь ничтожны были переделки прежних дипломатических трактатов, оказавшиеся достаточными для заключения Парижского мира. Но внутреннее дело вышло не таково, как внешнее. Над ним поневоле стало учиться наше общество серьезности.

В самом деле, каково было положение фактов при начатии крестьянского дела? Существовало четыре главные элемента в этом деле: власть, имевшая дотоле бюрократический характер; просвещенные люди всех сословий, находившие нужным уничтожение крепостного права; помещики, желавшие отсрочить это дело из опасения за свои денежные интересы, и, наконец, крепостные, тяготившиеся этим правом. В стороне от этих четырех элементов находилась вся остальная половина населения—государственные крестьяне, мещане, купцы, духовенство и то большинство беспоместных чиновников, которое не получало больших выгод от бюрократического порядка.—Не имея расчета поддерживать крепостное право, она готова была по естественному человеческому чувству симпатизировать его уничтожению; но, по своей неопытности в общественных делах, еще не замечала, что собственными своими интересами она будет принуждена принять участие в нем. Это едва начинает обнаруживаться для нее только теперь...

Крепостные крестьяне не поверили, чтобы обещанная им воля была ограничена теми формальными переменами, какими ограничило ее бюрократическое решение. Из этого повсюду произошли столкновения между крепостными крестьянами и властью, старавшеюся провести свое решение. Произошли сцены,

которых нельзя было видеть хладнокровно. Массою других сословий овладело сострадание к крепостным крестьянам. А между тем крепостные крестьяне, несмотря на все внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно им ждать другой, настоящей воли. От этого их расположения должны будут произойти новые столкновения, если надежда их не исполнится. Таким образом страна подвергалась смутам и опасается новых смут. А смутное время бывает тяжело для всех. Из этого стала развиваться в массе других сословий мысль, что нужно изменить решение крестьянского вопроса для отклонения смут. Раз будучи принуждены обстоятельствами думать об общественных делах, все сословия естественно перешли от частного вопроса, давшего их мыслям такое направление, к общему положению вещей и, разумеется, не затруднились сообразить, согласно ли оно с их собственными выгодами. Тотчас же заметили они, что находятся в настоящем порядке черты, одинаково невыгодные для всех сословий, и соединились в желании изменить эти черты.

Вам известно, м. г., каких общих перемен стали желать все сословия, которых прямо не касался частный вопрос о крепостном праве. Все они чувствовали обременение от произвольной администрации, от неудовлетворительности судебного устройства и от многосложной формалистичности законов. Дворянство точно так же страдало от этих недостатков, как и другие сословия. Таким образом, сам собою открывался ему способ найти нужную для него опору. Оно сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий.

Вот в каком положении находятся ныне дела. После сделанных мною объяснений, могу ли я надеяться, м. г., что вы избежите двух заблуждений, последствия которых были бы прискорбны?

Во-первых, м. г., вы не припишете каким-либо частным или сословным побуждениям дворянства тех желаний общей реформы, представителем которых оно теперь выступает. Эти желания не имеют ничего общего с раздражением некоторой части дворянства на власть за уничтожение крепостного права. С его уничтожением огромнейшее большинство дворянства уже совершенно примирилось, как с фактом безвозвратным. Если остаются в дворянстве особенные сословные желания по этому делу, не принадлежащие и всем другим сословиям, то эти желания относятся только к размеру выкупа. Тут возможен спор, и еще неизвестно, какой размер выкупа будет одобрен или допущен другими сословиями. Но совершенно иной характер имеют желания дворянства относительно предметов, выходящих за пределы этого частного вопроса. В мыслях о реформе общего законодательства, об основании администрации и суда на новых началах, о свободе слова,—дворянство только является представителем всех других сословий, и представителем их выступило оно даже не потому, чтобы в нем сильнее были эти желания, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно имеет при нынешнем порядке организацию, дающую возможность выражать желания. Если бы другие сословия имели законные органы для выражения своих мыслей, они высказались бы по этим предметам в том же самом смысле, как и дворянство, только с большею решимостью, потому что всякое другое сословие еще более дворянства чувствует обременительность тех общих недостатков нынешнего устройства, об устранении которых говорит дворянство.—

Если бы вы пожелали убедиться в этом, вы отстранили бы от себя всякую возможность другого важного заблуждения. Вы совершенно освободились бы от мысли, что можно принимать какие-нибудь меры против общего стремления, начинающего обнаруживаться. Его проявления еще кажутся слабыми, но ведь это потому только, что они еще первые. Присмотревшись к делу, вы заметите, что сила их очень быстро растет; очень жаль, что при отдаленности вашей от маленьких людей вы лишены удобств лично делать эти наблюдения. А мы, наблюдающие вблизи жизнь всех слоев общества, кроме вашего круга,—мы видим очень быстрое распространение мыслей, о которых я имею честь беседовать с вами, и замечаем, что общество уже недалеко от решительного или единодушного заявления их.

...Иной раз тянутся долгие годы, и незаметно никаких перемен в существующих отношениях. А то приходит такое время, что беспрестанно совершаются новости, и вся обстановка жизни быстро переделывается. Возьмите,

например, прошлый год. Смуты в Варшаве, смуты внутри России, загадочное появление программы, порицаемой одними, хвалимой другими, но принимаемой к сведению всеми, небывалое движение молодежи в самом Петербурге, страшная развязка этого движения, слухи о предполагаемых требованиях дворянства, приготовления его к занятию общественными вопросами,—вот сколько в один год новостей, из которых каждая передвигала общество все дальше и дальше по одному направлению...[1]

Н. Г. Чернышевский о посещении им Н. И. Костомарова

...Студенты не хотели демонстраций. Мне было известно это. На лекции Костомарова произошла бы, помимо воли студентов, демонстрация. Это было известно всякому, желавшему знать. Было известно и правительству. Намерения правительства мне не были известны. Но я имел случай убедиться, что оно не желает быть принуждено производить аресты. А демонстрация поставила б его, по его мнению, в необходимость принять меры подавляющего характера. Я решил, что если Костомаров не откажется от своего намерения продолжать чтение лекций, то надобно попросить Головнина запретить ему чтение.

Я уж не был в это время знаком с Костомаровым. Он дичился, робел, когда видел меня. Мне надоело это. И довольно давно мне уж не случалось встречаться с ним. Тем меньше мог я не попытаться теперь урезонить его: быть может, он рассудит, что когда я, не имевший желания возобновлять знакомство с ним, зашел к нему дать совет, то значит дело не может кончиться его отказом принять мой совет; вероятно я поведу дело по-своему, если он не уступит. Прямо с этого я начал, как вошел в комнату: „Здравствуйте, Николай Иванович; мы давно не видимся; и разумеется, если я зашел к вам, то считаю важным дело, о котором хочу поговорить с вами. Вы хотите читать лекцию. Будет демонстрация. Наперекор воле студентов будет. Они не хотят обидеть вас. Но большинство публики осуждает вас. И вы будете преданы позору публикою".—И так дальше, в этом роде.—„Вы имеете заслуги, не позорьте себя".—Я говорил долго. Он отвечал, что он будет читать.—Тогда я стал говорить точнее прежнего о том, какую роль хочет он разыграть.—„Результатом демонстрации будут аресты, процессы, ссылки. Люди, которые устраивают такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер,—это агенты-провокаторы. Не берите на себя роль агента-провокатора". На тему „агент-провокатор" я говорил долго.—„Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу",—отвечал он: „студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспотизм. Не подчинюсь деспотизму". На этом пункте засела его мысль, и никакими резонами нельзя было стащить ее с этой умной позиции.—„Не о деспотизме тут дело, а об арестах и ссылках тех людей, которые кажутся вам поступившими деспотически. Демонстрировать будут не они, а в ответе за демонстрацию будут они. Они погибнут, если вы будете читать лекцию". —Он твердил свое: „Это деспотизм; не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу".—„Хотите губить сотни честных людей!"—Твердил свое одно и то же: „Не хочу подчиняться" и т. д.—„В таком случае, скажу вам одно: от вас я еду к Головнину просить его, чтоб он запретил вам читать".—„Это деспотизм!" — „Думайте об этом, как вам угодно; но знайте: читать лекцию вы не будете ни в каком случае. То лучше скажите, что не хотите. Этим вы избавите ваше имя от позора. Не будьте человеком, которому запрещают играть роль агента-провокатора; откажитесь от нее сам".—„Нет, буду читать".—„Нет, не будете. Головнин запретит".—„Не запретит".--„Говорю вам: запретит".—„Почему запретит?"—„Он не захочет, чтобы произошли аресты и ссылки, когда от него зависит пре-

---

[1] „Письма без адреса" были написаны в феврале 1862 г. для очередного № „Современника", но не были пропущены цензором. Они весьма показательны для оценки Чернышевским тогдашнего внутреннего положения, насколько она могла быть дана в подцензурном журнале. Не названным адресатом „писем" был Александр II. Приведенные нами выдержки из них следует сопоставить с докладом шефа жандармов Долгорукова о напряженном положении государства, сделанным в конце апреля 1862 г.

дотвратить их".—„Не запретит!" — Уперся на том, что Головнин не запретит— и баста!—не собьешь его и с этой позиции.—Я посмотрел на часы. Тянуть разговор дольше было нельзя; иначе я не застал бы Головнина.

Вхожу к Головнину.—„Я пришел просить вас о том, чтобы вы запретили Костомарову продолжать чтение лекций".—„Вы думаете, что надобно запретить? почему вы так думаете?"—Я стал говорить: студенты не сделают демонстрации, но публика сделает; это будет иметь своим последствием аресты.—„Вы высказали все?".—„Все".—„Я совершенно разделяю ваше мнение. И я уже сделал распоряжение о запрещении лекций Костомарова".—Это было часа в два, в три дня. Вечером, часов в восемь, подают мне письмо.—Беру—по адресу вижу: от Костомарова. Читаю: „Через час или два после того, как вы ушли, мне принесли бумагу, запрещающую мне читать. О, как раскаиваюсь я в том, что не отказался сам!"—в этом роде все письмо, довольно большое. Соображая время, когда Костомаров получил бумагу, я видел, что распоряжение о запрещении ему читать действительно было сделано до моего приезда к Головнину...[1]

Посещение Н. Г. Чернышевского Ф. М. Достоевским

Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора „Бедных людей". Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: „Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими". Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: „Хорошо, Федор Михайлович, я исполню Ваше желание".—Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через несколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о первом попавшемся мне на мысль постороннем его болезненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как велят поступать в подобных случаях медики. Я спросил его, в каком положении находятся денежные обстоятельства издаваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникает ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал обременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю; я дал ему говорить о делах его журнала, сколько угодно. Он рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам запоздал к чтению корректур и вероятно задержал меня, встал, простился. Я пошел проводить его до двери, отвечая, что меня он не задержал, что правда я всегда занят делом, но и всегда имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими словами я раскланялся с ним, уходившим в дверь [2].

---

[1] Н. Г. Чернышевский, „Литературное наследие," т. III, М.—Л., 1930, стр. 515—517.

[2] Из письма к А. Н. Пыпину, от 26 мая 1888 г. Н. Г. Чернышевский, „Литературное наследие", т. III М.—Л., 1930, стр. 532—533.

Из воспоминаний Н. В. Шелгунова

...Зимою 1860 г. приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров с рекомендательным письмом от Плещеева. Когда Михайлов был сослан в каторгу, Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную рекомендацию.

Костомаров был уже немного известен как переводчик Гейне; но, не удовлетворяясь этой известностью и рекомендацией Плещеева, он отрекомендовал себя еще и сам. Он привез революционное стихотворение, напечатанное домашними средствами и с пропечатанною внизу фамилией „В. Костомаров". Это хвастовство оказалось лучшей рекомендацией. Костомаров служил уланом и стоял, кажется, в Твери, а его мать жила в Москве. Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел вниз или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским.—Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что, когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал работу в „Современнике", и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которые он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать, — у нас же оказалась готовность писать.

В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию „К солдатам", а Чернышевский прокламацию „К народу" и вручил их для печатания Костомарову. Я переписал прокламацию измененным почерком, и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву.

В ту же зиму я написал прокламацию „К молодому поколению", но мы решили печатать ее в Лондоне. Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня.—

Михайлов с рукописью прокламации уехал раньше меня и прямо в Лондон; у меня были другие дела за границей, и я приехал в Лондон, когда прокламация была уже напечатана. Ее было напечатано всего 600 экземпляров и по размеру она была похожа скорее на очень смелую и резкую журнальную статью. Теперь вопрос заключался в том, как ее провезти. Хотя таможни в то время еще не были особенно строги, но открыто везти пук прокламаций было все-таки очень доверчиво. Я отклеил в нижней части чемодана Михайлова подкладку, уложил ровно и тщательно все листы, потом прикрыл все листом папки и наклеил снова подкладку. Михайлов с прокламациями уехал в Россию— это было в августе (1861 г.), а я остался еще за границей.—

Возвратившись в Петербург, Михайлов застал в нем Костомарова. Костомаров привез одну форму прокламации „К народу", а прокламацию „К солдатам" еще не начинал набирать. Как и зимой, он опять плакался на своих братьев и сестер и опять повторял, что брат стращает его доносом. Все это уже наводило на подозрения и во всяком случае должно было заставить остерегаться Костомарова. Не знаю, сделал ли Михайлов ошибку, дав Костомарову прокламацию „К молодому поколению", но если бы он не дал, случилось бы совсем не то.

1860 год прошел еще сравнительно мирно, но роковым временем для петербургского университета был 1861 год. В мае этого года были утверждены новые правила для студентов, отменявшие форменную одежду и сдававшие в архив традиционный студенческий мундир с синим воротником, запрещавшие сходки и ограничивавшие число освобождаемых от платы за лекции.

В течение лета 1861 г., когда занятия в университете прекратились, составлялись новые правила для студентов. Правилами этими сразу вычеркивалось все, к чему студенты уже привыкли при князе Щербатове. Ими запрещались сходки, упразднялись публичные лекции, которые читали профессора для уве-

личения средств студенческой кассы, упразднялись концерты, которые тоже давали порядочный доход; библиотека и касса подлежали закрытию, студенческая корпорация упразднялась, наконец, каждый студент обязан был взять матрикул. Сами по себе матрикулы не заключали ничего такого, что могло бы привести университет в возбужденное состояние. Это были особые книжки, служившие видом на жительство и в которых помещались правила поведения студентов и вообще, так сказать, студенческая конституция. Но студенты обобщили матрикулы с теми ограничениями и запрещениями, которые были введены, и взять матрикулы значило признать новые стеснительные правила и им подчиниться.—

Уже до открытия курсов студенты знали о предстоящих переменах, но новые правила не были ни напечатаны, ни объявлены студентам. Когда курсы были открыты, студенты составили сходку и отправили депутацию к попечителю просить его придти на сходку, чтобы пояснить, в чем заключаются новые правила. Попечитель ответил иронически депутатам, что он не оратор, и советовал им заняться науками, а не сходками. Между тем лекции начались, а вместе с ними каждый день в пустых свободных аудиториях собирались сходки и с каждым разом волнение росло. Наконец начальство придумало успокоительную меру: оно велело запереть те аудитории, в которых собирались сходки. Найдя двери запертыми, студенты направились к актовому залу, но и двери актового зала были тоже заперты. Толпа заволновалась, зашумела, надавила на двери, не выдержавшие напора, и хлынула в зал. Началась сходка. Предметом обсуждения был вопрос о бедных студентах, которые по новым правилам не могли слушать лекции даром. Студенты, желая выяснить этот важный для них вопрос, послали просить на сходку ректора. Явился Срезневский; он старался успокоить студентов, просил их разойтись, но ничего из этого, конечно, не вышло. Затем к вечеру, когда университет опустел, попечитель вместе с инспектором и с суб-инспекторами освидетельствовали дверь актового зала и составили протокол о взломе, и по докладу попечителя лекции были прекращены, и университет на время закрыт. Все это случилось 23 и 24 сентября.

На другой день уже с раннего утра студенты собрались к университету огромной толпой, но в университет никого не пускали. Студенты знали, что университет закрыт, но сколько времени не будут читаться лекции, какие причины закрытия университета, что затем будет, куда деваться студентам—все это тревожило и волновало молодежь. Чтобы разрешить недоумение, студенты решили обратиться к попечителю. Хотя Филипсон и был тогда в университете, но велел сказать, что его нет, и кто-то предложил итти к Филипсону на квартиру. Он жил в Колокольной. Толпа как один человек тронулась в стройном порядке по набережной, на Дворцовый мост, по Невскому. Это было действительно еще никогда не виданное зрелище. Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется. Пока студенты медленно подвигались, полиция дала знать по начальству, и студенческую процессию встретили в Колокольной с.-петербургский военный генерал-губернатор Игнатьев, обер-полициймейстер Паткуль и рота солдат стрелкового баталиона. Рота эта явилась случайно, она шла занимать караулы, и ее вернули с дороги. Почему потребовалось привлечь в Колокольную вооруженную силу—неизвестно; и также неизвестно, чем все это могло бы кончиться, если бы не приехал попечитель, в первый раз, наконец, явившийся для объяснений. Филипсон понимал, как далеко он завел дело. Он старался успокоить студентов, просил полицию и военное начальство не вмешиваться и согласился принять студентов для объяснений, но не на квартире, а в университете, куда и обещал сейчас же приехать. Студенты, помня, как Филипсон уклонялся от объяснений, не поверили обещанию и просили его отправиться в университет вместе с ними. Шествие двинулось обратно с Филипсоном во главе; у Гостиного двора Филипсон сел на дрожки, но его просили ехать шагом, и вся процессия тем же путем, через Дворцовый мост, подошла к университету. Студенческая толпа осталась на улице и на дворе, и Филипсон принял для объяснения трех студентов. Объяснение заключалось в том, примут ли студенты матрикулы. Депутаты ответили, что если студенты и примут матрикулы, то только потому, что иначе нельзя, но будут ли исполняться правила, они не знают. Чтобы

успокоить студентов, попечитель сказал, что лекции начнутся на следующей неделе, и просил разойтись. Толпа разошлась. Ночью были аресты.

Университетское начальство думало, что, арестовав „зачинщиков" и отняв у движения предводителей, оно прекратит беспорядки. Но вышло, однако, не так. Шествие в Колокольную происходило в понедельник, 25 сентября, а во вторник оно было уже предметом общих разговоров. Арест тридцати студентов не уменьшил, а, напротив, увеличил волнение еще более, потому что некоторые были арестованы по недоразумению или по ошибке. Прекращение лекций, хоть и временное, тоже не заключало в себе ничего успокоительного. Наконец, полторы тысячи студентов, считавших себя участниками этого дела, внесли живой интерес к их судьбе, по крайней мере, в 4—5 тысяч семейств, более или менее близких к университетской молодежи и ей сочувствующих. Даже воспитанники других заведений были живо заинтересованы университетским делом, считая себя солидарными со студентами. Дело как бы принимало характер общеучебного дела и еще более расширяло симпатии к студентам. Молодежь (не учащаяся), в особенности офицеры военных академий, тоже принимала горячее участие в студентах. Говорили даже, что и воспитанники военноучебных заведений собираются на сходки и замышляют демонстрации. Что же касается студентов, то они волновались чуть ли еще не более, чем раньше, и решили опять собраться в университете. Вся эта подготовительная работа происходила во вторник.

По вторникам вечером у профессора Артиллерийской академии полковника Лаврова собирался кружок, преимущественно из артиллеристов; собрались и в этот вторник. Конечно, университетская история была главным предметом разговоров. Лавров откуда-то узнал, что сделано распоряжение, чтобы в среду у университета была наготове вооруженная сила. Это известие всех очень встревожило. Чтобы предупредить всякие случайности, Лавров думал, что было бы лучше, если бы между собравшимися студентами было побольше офицеров, что тогда и командиры войск и солдаты будут сдержаннее и не рискнут решительными действиями. План этот был приведен в исполнение таким образом: утром в среду два артиллерийских офицера встали по обеим сторонам Литейного моста у Литейной и всех офицеров (академистов) и студентов-медиков, шедших в город, останавливали, объясняли им, что у университета будет сходка, что явится войско, что студентов нужно выручить, и направляли идущих назад через мост, на Васильевский остров. Перед университетом действительно собралась толпа студентов и на этот раз более многочисленная: тут были и студенты, и штатские, и офицеры. Студенты явились, чтобы добиться освобождения арестованных товарищей, а если этого нельзя, то чтобы арестовали всех. Генерал-губернатор, обер-полициймейстер и министр народного просвещения находились в зале совета, а перед университетом стоял батальон Финляндского полка, жандармы и полицейские. Возбуждение в толпе было сильное, вид вооруженной силы приводил молодежь в экзальтированное состояние; чуть не дошло до столкновения; жандармского офицера, въехавшего в толпу, едва не стащили с лошади; полициймейстер полковник Золотницкий взял одного офицера за руку, и тот обнажил против него саблю; другого офицера генерал-губернатор арестовал и велел солдатам его отвести. Это было нарушением военной дисциплины. Отойдя несколько шагов, офицер скомандовал солдатам: „налево, кругом марш!" и солдаты исполнили команду, а офицер ушел. Ни до чего серьезного, впрочем, не дошло, и около трех часов студенты разошлись, а войско возвратилось в казармы. Усиленные патрули ходили до ночи по Васильевскому острову, а ночью снова были аресты. В следующие дни сходки продолжались, и так почти регулярно каждый день; приходила полиция, приходили войска; войска были поставлены в манеже 1-го корпуса, и наконец было сделано распоряжение, что университетский двор, сени и нижний коридор подчиняются генерал-губернатору. Университет как бы находился в осадном положении. Так продолжалось до октября. Государь был в Крыму, и все меры против университета принимались генерал-губернатором и графом Путятиным.

В начале октября явилось в газетах объявление министра, которым студенты, желающие продолжать занятия в университете, приглашались взять матрикулы и прислать прошение об этом по городской почте на имя ректора; не приславшие прошений признавались оставившими университет. Распоряжение это было задумано довольно ловко и не могло не внести смуты между студентами.

Было очевидно, что прошений поступит не мало, и действительно из 1500 студентов 500 обратились к ректору с просьбой о выдаче матрикул. Наступало начало конца, но конец был не простой, а с шумным финалом. В день открытия университета у дверей были поставлены сторожа, не пропускавшие никого без матрикул, но и матрикулистов явилось немного. Человек 40 — 50 ходили как потерянные по коридорам, в аудитории не заглядывали, и лекций не было. То же повторилось и на другой день, и в университете царила полная пустота. Но не то было перед университетом. Здесь собралась огромная толпа студентов матрикулистов и не-матрикулистов, и не-матрикулисты, как видно, не теряли надежды одержать верх. И действительно, их энергия и возбуждение оказались настолько заразительными, что более слабые, уже заявившие готовность подчиниться новым правилам, ощутили прилив мужества, стали рвать матрикулы и перешли на сторону непокорных. Конец волнению положила военная сила. Студентов, стоявших толпою у двери, как наиболее беспокойных, окружили тройною цепью солдат и увели на двор университета через задние ворота со стороны Малой Невы. Студенты шли, не оказывая никакого сопротивления, были веселы и даже довольны. На дворе полиция переписала имена арестованных, и затем их вывели под конвоем из ворот, чтобы вести в крепость. У ворот между тем собралась большая толпа публики и студентов, не попавших под арест. С шумом и возгласами встретила толпа арестованных, одни прощались с ними, другие с криком кидали вверх фуражки, махали платками, наконец, многие требовали, чтобы их тоже отвели в крепость. Вся эта шумящая толпа была окружена солдатами и уведена в крепость. К сожалению, этот арест не обошелся так спокойно: солдаты, вероятно, были возбуждены, так что пустили в ход приклады, и один из публики получил удар штыком по голове до крови.—Во время студенческой истории было арестовано человек триста, и так как для всей массы не нашлось места в Петропавловской крепости, то последние-арестованных отправили на пароходах в Кронштадт.—Для следствия над студентами была назначена особая комиссия, в которой депутатом от университета был профессор Андреевский. Следствие продолжалось месяца полтора и закончилось административным распоряжением: пятеро студентов были сосланы, 32 студента исключены из университета, остальные освобождены, а университет снова открыт. Но этот открытый официально университет не был уже живым организмом,—это был труп без души. Лекции хотя и начались, но их никто не посещал, и „матрикулисты" в аудитории не заглядывали; наконец и профессора перестали ходить на лекции.— Такой университет, конечно, не мог существовать, и 20 декабря он был закрыт окончательно до пересмотра университетского устава. Вслед за закрытием университета вместо графа Путятина был назначен министром народного просвещения А. В. Головнин [1].

Из „Записок" М. И. Михайлова

Я делал разные предположения, прежде чем меня арестовали; но мне ни разу не пришло в голову, что Костомаров — подлец. — А между тем Костомаров в последний приезд свой из Москвы произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно. Я думаю, что все это вздор, и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?

Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты не платят, и пр. Именно, в последнее свое свидание со мною он говорил, что если так будет продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валленрода и говорил шутя; но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня. —

---

[1] См. еще статью Чернышевского „Научились ли?", напечатанную в № 4 „Современника" за 1862 г. (Полн. собр. соч., т. IX, 174 — 185)

Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Москва—Ленинград. 1923, стр. 32-33, 34-35, 125 — 132.

Чиновник, стоявший теперь передо мною лицом к лицу, был еще почти молодой человек. Лицо у него было сухое, бесстрастное и не злое. В выражении было что-то напряженное, как будто он постоянно прислушивался к чему-то.

— Я очень уважаю ваш талант, г. Михайлов,—сказал он с возможно любезным видом,— и очень сожалею, что мне приходится познакомиться с вами при таких обстоятельствах.

— Да в чем дело?— спросил я.— В чем меня подозревают?

— На вас падает сильное подозрение, во-первых, в сочинении прокламации к крепостным людям, во-вторых, в привозе из-за границы другого печатного воззвания—„К молодому поколению" и в распространении его.

— Да на чем основываются эти подозрения?

— Против вас есть показание некоторых лиц и, кроме того,— вот-с!

— Он взял со стола письмо и подошел с ним ко мне. Я сел у окна.

— Известна вам это рука?

Довольно было взглянуть на рукопись, чтобы узнать почерк Костомарова.

В письме Костомарова, адресованном к Ростовцеву, говорилось, что на него, Костомарова, сделан донос его собственным братом и при этом украдены рукописи, из которых одна писана рукою М. Михайлова и может сильно его компрометировать. Далее он просил справиться у Михайлова о моем адресе и поехать или послать ко мне в Петербург предупредить меня, чтобы я (вот что было умнее всего) „принял все зависящие от меня меры уничтожить"... все, до единого, экземпляры „К молодому поколению".

Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс. И добро бы оно обличало торопливость, состояло из набросанных наскоро беглых строчек! Нет, оно было довольно длинно и написано спокойной рукой.

Дальнейшее содержание письма просто озлобило меня своею подлостью. Костомаров прямо говорил, что он ничего не скроет про московских студентов, потому, видите ли, что они не стоят того, чтобы их беречь![1]

Из писем Е. Н. Пыпиной родителям

2 октября 1862 г.:

...Дело Николи, по слухам, даже не начиналось. Теперь думают, что история с письмами вздор и что поэтому они не знают, что с ним делать, и допросов ему до сих пор не было. Говорят, что теперь они решили обвинить его на основании всех его статей, и разбирают их с самого поступления его в „Современник".

27 ноября 1862 г.:

...Дело, говорят, решается таким образом: все похватанные разделены на три категории. 1-ая будет судиться и, вероятно, сошлется. 2-ая — дело пойдет административным обыкновенным порядком, и подсудимые, вероятно, вышлются отсюда. 3-ья — подсудимые, оказавшиеся ни в чем не виновными, выпустятся на свободу и даже останутся здесь. К этой-то категории причисляют Николю.

26 февраля 1863 г.:

...Ольга Сократовна просидела с Николей около 2 часов. Говорит, что он очень весел, говорил все шутя, но очень, очень похудел. Борода у него потешная, а волосы на голове сделались не такие густые, как прежде. Он будто бы повторил то, что говорили здесь слухи,— что сидит он именно потому, что с ним не знают, что делать. Взяли его по ошибке, обвинения не могли доказать, а между тем шуму наделали. На допросе был будто бы только раз.— Николя говорил, что со времени заключения совсем не знает, что делается на свете. Он думал, первое время особенно, что многие, многие взяты.

16 марта 1863 г.:

...Дня два назад Сережа отправлялся к Потапову просить о свидании для Ольги Сократовны. Ему отказано под тем предлогом, будто Следственная комиссия сделала постановление о запрещении свиданий до окончания следствия. А при той неподвижности дела, о какой рассказывали, это следствие окончиться

---

[1] М. И. Михайлов. Записки. Петроград, 1922, стр. 27, 35—36.

может хоть ко второму пришествию. В последнее время за верное говорили, что привозили сюда Костомарова, который послужил Михайлову. Думали, что его изобретательности станет на то, чтобы придумать что-нибудь на Николю, но несмотря на все разговоры с ним, добиться ничего не могли. Предполагавшейся по слухам очной ставки Костомарова с Николей не было. Так он и отправился назад.

20 мая 1863 г.:

...Как видно, иногда ему уж слишком тяжело становится его положение, хоть только кажется и нужно в его деле одно терпение, без особенных беспокойств, но терпение и терпение в продолжение такого длинного времени, конечно, тяжело. Теперь дело его передано в сенат. Он обвиняется, во-первых, в том, что будто бы (даже по его сознанию, как рассказывают) писал к Герцену через Михайлова и советовал ему быть умереннее в своих статьях; во-вторых, по показанию В. Костомарова, что он будто бы давал Кост. 200 р. на тайную типографию; в-третьих, будто бы участвовал в составлении какой-то прокламации. Обвинений Кост. Ник. Гавр. не признает, а после истории с мещанином Яковлевым, о которой вам могут рассказать Поля и Сережа, всякий должен заподозрить показания Кост. в каком бы то ни было отношении. Есть также доставленная Кост. какая-то бумага, писанная будто бы рукою Н., но он признает в этом почерке только сходство с своим, что признали и секретари присутственных мест, не признавшие тождества почерков. Скоро ли все это кончится, бог знает. Ник. пишет, что занимался Сводом законов для ведения своего дела, но что не нашел там ничего для себя, несмотря на свое незнание законов, что́ бы сказало ему новое что-нибудь; что по простому здравому рассуждению выходило то же, что могли придумать в его защиту законы.

4 ноября 1863 г.:

...Дело Николи должно, как говорят, кончиться на этой или будущей неделе. Для всех составляет огромный интерес, как его кончат, т. е. чем. Многие говорят, что кончится оно каторжной работой, многие, — что ничего подобного сделать не могут, как можно судить по делу, многие говорят, что мало ли что желают сделать, — все-таки делать это слишком скандалезным образом нельзя. Я никак не могу объяснить, откуда столько различных слухов. Первый слух, вероятно, распускается нарочно. Николе, по его словам, бояться нечего, и если угодно дело кончить первым способом,— пусть, только бы кончали, но ему не верится, чтобы дошли до такой степени в своем неправосудии. — В его глазах дело тут в том: значит ли сенат что-нибудь и сознает ли он свое достоинство, — или он такое же орудие, как последний жандарм.

25 ноября 1863 г.:

...О Николе нет ничего нового. Все также продолжают говорить о дурном конце дела. Он сам думает, что конец будет такой, как можно ему судить о деле по его ходу вообще. Только он сам удивляется, как и все, как оно решается подобным образом на основании таких вещей, какие были для его обвинения. Говорит, что, верно, действительно в России настали другие времена, что прежде подобных фактов не было,— т. е. обвинений, основанных на ложных доносах. А это дело на том и держится. Он думает, что если бы и было решено дело таким образом, невозможно ему долго остаться в таком положении, т. е. что правда должна же обнаружиться. Когда Николя был последний раз в сенате для чтения докладной записки по делу, то после этого стал благодарить г. г. сенаторов за их правильные действия и выражать свое полное этим удовольствие. Конечно, можно понять, что слова были одни, а смысл другой. Это поняли и они, и им видимо сделалось совестно, а один даже не мог вынести этой речи до конца и ушел.— После этого уже почти месяц и приговора еще нет. За приговором сената дело перейдет в Госуд. совет.

9 декабря 1863 г.:

В среду мы с Сашей опять видели Николю. Он как всегда — покоен и весел. О решении отзывается , что ему странно, как это у г. г. сената недостает решимости подписать решение. Что, ведь, вероятно, не они придумывали его, следовательно рассуждать им нечего. Вообще он видит в своем деле преднамеренность и вследствие этого считает его выходящим решительно из ряда всяких политических дел.

26 декабря 1863 г.:

....Говорил мне в последнее свидание, что это еще хорошо для него, такое событие, как вся его история, что теперь во всяком случае он имеет полное сознание несправедливости и пристрастия в его деле господ, решавших его; но что не будь этого, очень вероятно, что он **не выдержал** бы, и тогда эти господа были бы в своем праве. И большая разница в том, как смотрят теперь на это дело (хотя, разумеется, не все) и как бы смотрели тогда. — Я ему сказала, что хоть он и считает, что это хорошо, но что сколько тут неудобств! — „Да, семейных, это правда, — но только семейных". Приговорен он в сенате на 14 лет каторжной работы.

12 апреля 1864 г.:

...Говорили нам на-днях, что дело Николи кончено в Государственном совете и передано государю. Он сбавил наполовину срок ссылки. Не знаем, так ли это, или еще придется написать вам что-нибудь другое. Я, признаться, не думаю, чтобы воспоследовала такая милость; все говорили, что против него существует такое озлобление в наших аристократических кружках, какое, говорят, питает к нему и саратовская аристократия. Я, судя по Боклю, да и не по Боклю, правда, а и по самой глупой даже истории, кем бы она ни была написана, вижу из этого, что действительно голова Николи — умнейшая из всех нынешних голов. Со всеми передовыми людьми всех стран и веков повторялась его история. У нас на Руси, кажется, он первый возбудил **всю** российскую знать и дворянство, и когда будет у нас свой Бокль, то, конечно, он обратит внимание на это явление.

22 мая 1864 г.:

...Много ходит теперь рассказов о том, что происходило на площади во время чтения приговора. Несколько дам бросили ему цветы, и двух взяли. Полиции было очень много, и обер-полициймейстер должен был беспрестанно бросаться то в ту, то в другую сторону унимать шум. Кричали и прощались с Николей. Он и тут оставался замечательно спокоен. Говорил нам в последний день: как сначала я имел право говорить, так и теперь его имею, что против меня у них не было никаких оснований вести так дело.[1]

Рассказ В. Фрея о гражданской казни Н. Г. Чернышевского

Высокий черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба, множество людей хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины, — все показывало, что происходит нечто чрезвычайное.

Какая-то старуха предложила мне скамейку. „Надо сиротам хлеб заработать", — говорила она мне. Если бы она взяла с меня не 10 копеек, а 50, то и тогда я с удовольствием взял бы скамью, потому что публики набралось слишком много — и мне уже приходилось стоять в третьем ряду.

Три четверти часа мне пришлось стоять на скамейке, дожидаясь приезда Чернышевского. Но для меня это время прошло быстро. Я жадно вглядывался во всякую подробность. Хозяйка моей скамьи, стоя вместе со мной, рассказывала мне, как новинку, что будут делать с преступником. Показала саблю, заранее подпиленную и стоящую внизу эстрады. Заметила, между прочим, что в прежние разы столб был гораздо ближе к народу, чем теперь, но, все-таки, будет слышно, что прочтет арестанту Григорьев (помощник надзирателя)...

Ряд грустных мыслей был прерван каким-то шумом толпы; „едут", — сказала старуха. „Смирно!" — раздалась команда, и вслед затем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, подъехала к солдатам. Карета остановилась шагах в пятидесяти от меня; я не хотел сойти с своей скамьи, но видел, что в этом месте толпа ринулась к карете; раздались крики „назад!"; жандармы начали теснить народ; вслед затем три человека быстро пошли по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: „уберите зонтики!" — и все замерло. На эстраду взошел какой-то полицейский. Скомандовали солдатам „на-караул". Палач снял с Чернышевского фуражку,

---

[1] См. „Н. Г. Чернышевский", 1828—1928 „Саратов", 1928, стр. 301 — 317.

и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три. Наконец, чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь; палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку за руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание. Старуха, сошедшая со скамьи, беспрерывно задавала мне разные вопросы в роде таких: „в своем ли он платье или нет? как он приехал — в карете или в телеге?". Я беспрерывно душил свои слезы, чтобы можно было ей кое-как отвечать. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, ухвативших друг друга за руки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда (это я знаю наверное, хотя не видел сам) были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Карета повернула назад и, по обыкновению всех поездок с арестантами, пошла шагом. Этим воспользовались многие, желающие видеть его вблизи. Кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: „прощай, Чернышевский!" Этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом „до свидания". Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричавшим. Положение полиции было затруднительным, но на этот раз она поступила весьма благоразумно и, против своего обыкновения, не арестовала публику, а решилась попросту удалиться. Было скомандовано „рысью", и вся эта процессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та кучка, которая была возле, еще некоторое время бежала; возле еще продолжались крики и махание платками и фуражками. Лавочники (ехали мимо рынка) с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что это кучка горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз с самою веселою улыбкою (видно было, что уезжал в хорошем настроении духа), он погрозил пальцем. Толпа начала мало-по-малу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой[1].

Список бумаг Н. Чернышевского [1]

Черновые бумаги, в трех конвертах: в первом, полулисты 1—100-й, во втором 101—200-й, в третьем 201—279; двести семьдесят девять полулистов. Некоторые из этих бумаг имеют денежную цену; ее имеют все следующие бумаги, вложенные в бумажный мешок:

1. Отрывок из ромона „Повести в повести": А) Отрывок, отмеченный надписью „продолжение повести Алферьев", нумерованный цифрами от 19 до 36, осьмнадцать полулистов; В) начало второй части, полулисты 1—53, пятьдесят три полулиста.

2. Сокращенный перевод второй части „Confessions" Руссо, тридцать полулистов.

3. Мелкие рассказы, тридцать два полулиста.

4. Начало ученого сочинения, с надписью „Заметки о состоянии наук", шестьдесят семь полулистов.

5. Выписка из сочинений Руссо, с надписью „Заметки для биографии Руссо", сорок шесть полулистов, и продолжение этих выписок, не вложенное в мешок.

Н. Г. Чернышевский.

---

[1] „Русская Старина", 1905, II, 460 — 462.

Эти бумаги, точно так же, как и книги, список которых занимает другой полулист этого листа, прошу передать г-ну А. Н. Пыпину или тому лицу, которому он поручит взять их. Н. Г. Чернышевский.

Список книг, находящихся у Н. Чернышевского[1]

Эти книги, против которых проведена черта, перешли мне при случае, милый Сашенька, остальные не нужны[2].

1. Bleak House, 4 тома } by Dickens
2. Little Dorrit, 4 тома
3. Hunted down
4. Great Expectations, 2 тома
5. A Tale of two cities, 2 тома.
6. Master Humphrey's Clock, 3 тома
7. Sentimental Journey } by Sterne
8. Tristram Shandy
9. Yeast
10. La comtesse de Rudolstadt, 2 тома } par G Sand.
11. Ricciinino, 2 тома
12. La dernière Aldini
13. Diderot, два тома
14. J. J. Rousseau, восемь томов
15. Confessions, de J. J. Rousseau
(16. Bibliothèque dez Mémoires, томы 1-й, 2-й, 3-й, отдано, для передачи А. Н. Пыпину)
17. History of England, by Macaulau, 10 томов
18. The Invasion of the Crimea, by Kinglake, 4 тома
19. Einleitung, von Gervinus
20. Geschichte der englischen Literatur
21. Deutsche Culturgeschichte
22. Vogt, Vorlesungen über die Stellung des Menschen, 3 выпуска
23. Фохт, Физиологические письма, два выпуска
24. Дарвин, О происхождении видов
25. Гексли, О человеке
26. Лайелль, О человеке, один выпуск
27. Сочинения Гоголя, 4 тома
28. Сочинения Лермонтова, 2 тома
29. Стихотворения Кольцова
30. Стихотворения Тютчева
31. Стихотворения Фета, 2 тома
32. Песни Беранже
33. Генрих Гейне
34. Бурсацкие типы, 4 отрывка } Помяловского (листы, вырванные из журналов)
35. Мещанское счастье
36. Молотов
37. Современник 1863 года № 1-й
38. Месяцеслов на 1864 год
39. Horatius (изорванная книга)
40. Ovidius, три тома
41. Louis Reybaud, Le Coton
42. Стихотворения Некрасова
43. Die Identität v. Löwenhardt
44. Christmas Stories, by Dickens
45. The Life of Charlotte Brontë, 2 тома
46. Westward, Ho, 2 тома
47. Professor, by Carrer Bell
48. Vincenzo, by Ruffini, 2 тома

---

[1] Опись, составленная Н. Г. Чернышевским накануне отправления из Петропавловской крепости в Сибирь. Упомянутой в п. 4 большой работы не удалось разыскать.

[2] В оригинале эти слова стоят на поле.

В деле есть еще списки книг, возвращенных раньше:

I (без даты).

Книги, возвращаемые Н. Чернышевским для передачи А. Н. Пыпину.

1. Lesage Gil Blas
2. Lesage Di (a) ble Boiteux
3. Owen, 2 тома
4. Smollett Humphrey Clinker
5. Dickens Pictures from Italy

II.

Книги для возвращения Александру Николаевичу Пыпину от Чернышевского.

1. Исторические монографии Костомарова, 2 тома
2. Севернорусские народоправства, Костомарова, 2 тома
3. Essays de Montaigne
4. Gustave Flobert. Madame Bovari, 2 тома
5. Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes von Freytag

16 декабря 1863 г. Н. Г. Чернышевский.

III.

Книги для возвращения А. Н. Пыпину

1. Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus, 2 тома
2. Economie politique, par Cibrario, 2 тома
3. Elle et lui, par George Sand
4. Oeuvres de Bèranger

30 декабря 1863 г. Н. Г. Чернышевский.

Литературная деятельность Н. Г. Чернышевского во время заключения в Петропавловской крепости

12 октября 1862 г. Чернышевский писал жене: „Я, мой дружочек, занялся теперь работою—перевожу XV и XVI томы Шлоссера. Кроме того, я могу теперь покупать книги по своему выбору и некоторые уже купил". Таким образом три месяца спустя после ареста ему была разрешена литературная работа. Все написанное и отсылавшееся им для печати представлялось комендантом крепости в III отделение, а оттуда—в Следственную комиссию (позднее—обер-прокурору сената), просматривалось лицом, которому это поручалось, для установления, не содержит ли рукопись чего-либо подозрительного с следственной точки зрения, и затем пересылалось через обер-полициймейстера по принадлежности для напечатания после надлежащего цензурного просмотра. Так обстояло дело с переводами Шлоссера, Гервинуса, Маколея, с романом „Что делать?", рукопись которого была отослана Чернышевским в редакцию „Современника" в несколько приемов, с первой главой романа „Алферьев", с первой половиной „Рассказа о Крымской войне, по Кинглеку". Роман „Что делать?" был напечатан в мартовской, апрельской и майской книжках „Современника" за 1863 г. после предварительного просмотра цензором. Мнение, будто цензор считал излишним просмотр рукописи, побывавшей в III отделении и Следственной комиссии и пропустил этот роман, не читая его, совершенно неосновательно: если бы подобная служебная оплошность и была им допущена по отношению к началу романа, напечатанному в мартовском № журнала, то была бы затем исправлена. „Алферьев" не появился в „Современнике", вероятно, потому, что редакция ждала продолжения рукописи, а „Рассказ о Крымской войне" потому, что само сочинение Кинглека, по которому он был написан, было запрещено цензурой.

Когда процесс Чернышевского подходил к концу, III отделение стало оставлять произведения Чернышевского у себя, не считаясь с благоприятными отзывами о них официальных лиц, предварительно их просматривавших: так был задержан роман „Повести в повести" и перевод „Истории Соединенных штатов" Неймана.

До сих пор не все, написанное Чернышевским в крепости, напечатано, поэтому трудно в точности подсчитать, сколько же он написал в заключении, тем более, что густота почерка разных рукописей далеко неодинакова; по

грубо приблизительному подсчету выходит листов 250 печатных, т. е., принимая во внимание, что разрешение писать было дано только в октябре 1862 г., а 20 мая 1864 г. Чернышевского уже повезли в Сибирь,—свыше 12 печатных листов в месяц.

18 декабря 1862 г. Чернышевский отослал перевод XV тома „Всемирной истории" Шлоссера, 28 декабря—перевод XVI тома. 14 декабря он начал писать роман „Что делать?", переписывая набело и отсылая в редакцию „Современника" по частям. Над этим романом Чернышевский работал по 4 апреля 1863 г., переводя в то же время „Историю XIX века" Гервинуса. Вслед за окончанием „Что делать?" Чернышевский стал писать „Алферьева"; первая глава была закончена 26 мая, вторая—14 августа; этот роман оборвался на начале третьей главы. Как и „Что делать?", он чередовался с другими работами: „Из автобиографии" (8 июня—30 июля), „Объективными очерками А. А. Сырнева" (21—27 июля), переводом VII и VIII томов „Истории Англии" Маколея (отослан 9 и 24 июля). С 1 августа по 6 сентября 1863 г. Чернышевский написал первую половину „Рассказа о Крымской войне, по Кинглеку", с 5 сентября по 26 октября—вторую половину. С 7 сентября 1863 по 1 января 1864 г. Чернышевский работал над новым романом—„Повести в повести", в который предполагал включить и сокращенный вариант начала своей автобиографии, писанный с 28 октября по 6 ноября 1863 г. Первая часть романа была направлена в два приема в редакцию „Современника", но III отделение задержало рукопись у себя.

С 21 по 27 ноября 1863 г. Чернышевский переводил „Племена и народы" Крика, с 14 декабря 1863 г. по 4 января 1864 г.—„Историю Соединенных штатов" Неймана. Этот перевод тоже был задержан III отделением.

С 6 ноября 1863 г. по 16 февраля 1864 г. Чернышевский делал сокращенный перевод Confessions Ж. Ж. Руссо, затем вплоть до отправления в Сибирь делал выписки из сочинений и переписки Руссо, озаглавив их: „Материалы для биографии Руссо". "С 21 февраля по 21 марта 1864 г. он написал 29 мелких рассказов.

С 31 января по 14 апреля 1864 г. Чернышевский писал „Заметки о состоянии наук. Очерк истории элементов нашей цивилизации". Было написано 67 полулистов этого труда. К несчастью, рукопись эта, побывав в руках покойного П. Е. Щеголева, куда-то затерялась (на наш запрос П. Е. Щеголев ответил, что она, должно быть, где-нибудь в архиве не на своем месте).

Из работ 1864 г. отметим еще мелкие отрывки из мемуаров герцога Сен-Симона и биографии Баранже и два автобиографических рассказа: „Наша улица. Корнилов дом" и „Жгут".

О „Шифре" Н. Г. Чернышевского

Так называемый „шифр" Н. Г. Чернышевского, которым писаны тетради его саратовского дневника, фигурировавшие в его деле, представляет собою придуманный им способ сокращенного писания: выбрасываются буквы и слоги то начала, то средины, то конца слова, некоторые слова обозначаются одной буквой, для немногих слов придуманы особые знаки, для обозначения глагольных форм тоже употребляются особые знаки. Свой метод скорописи Чернышевский выработал еще в семинарии, затем пользовался им для записывания университетских лекций, при писании своего дневника, черновиков сочинений, писем, части черновиков романов „Что делать?" и „Алферьев", писанных в крепости. Цифры при этом методе не употребляются, поэтому и нельзя тут говорить о шифре в точном смысле слова, на что и указало министерство иностранных дел в своем отзыве при возвращении посылавшейся ему для разбора рукописи части дневника Чернышевского. Что касается картонных полосок с буквами и цифрами, принятых Следственной комиссией за ключ к „шифру" Чернышевского, то они вовсе не являются ключем к нему. В доказательство этого Чернышевский сопостовляет их с подлинным ключем к подлинному шифру, каким писано письмо Шиповалова (т. е. самого Вс. Костомарова) к Вс. Костомарову. На всех этих четырех картонных полосках буквам соответствуют одни и те же цифры, тогда как в настоящем цифры меняются.

Приводим ключ к шифру Костомарова, данный им самим, в сопоставлении с мнимым „ключем" на упомянутых картонных полосках.

КЛЮЧ К ШИФРУ ВС. КОСТОМАРОВА

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а	1	33	3	7	15	24	22	1	10	1
б	2	32	2	8	16	25	21	2	11	33
в	3	31	1	9	17	26	20	3	12	32
г	4	30	33	10	18	27	19	4	13	31
д	5	29	32	11	19	28	18	5	14	30
е	6	28	31	12	20	29	17	6	15	29
ж	7	27	30	13	21	30	16	7	16	28
з	8	26	29	14	22	31	15	33	17	27
и	9	25	28	15	23	32	14	32	18	26
і	10	24	27	16	24	33	13	31	19	25
к	11	23	26	17	25	1	12	30	20	24
л	12	22	25	18	26	2	11	29	21	23
м	13	21	24	19	27	3	10	28	22	22
н	14	20	23	20	28	4	9	27	23	21
о	15	19	22	21	29	5	8	26	24	20
п	16	18	21	22	30	6	7	25	25	19
р	17	17	20	23	31	7	6	24	26	18
с	18	16	19	24	32	8	5	23	27	17
т	19	15	18	25	33	9	4	22	28	16
у	20	14	17	26	1	10	3	21	29	15
ф	21	13	16	27	2	11	2	20	30	14
х	22	12	15	28	3	12	1	19	31	13
ц	23	11	14	29	4	13	33	18	32	12
ч	24	10	13	30	5	14	32	17	33	11
ш	25	9	12	31	6	15	31	16	1	10
щ	26	8	11	32	7	16	30	15	2	9
ъ	27	7	10	33	8	17	29	14	3	8
ы	28	6	9	1	9	18	28	13	4	7
ь	29	5	8	2	10	19	27	12	5	6
ѣ	30	4	7	3	11	20	26	11	6	5
э	31	3	6	4	12	21	25	10	7	4
ю	32	2	5	5	13	22	24	9	8	3
я	33	1	4	6	14	23	23	8	9	2

КАРТОННЫЕ ПОЛОСКИ, ПРИНЯТЫЕ ЗА КЛЮЧ К ШИФРУ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

(на каждой—одни и те же буквы и цифры)

1	а	1	а	1	а	1	а
2	е	2	е	2	е	2	е
3	о	3	о	3	о	3	о
4	н	4	н	4	н	4	н
5	т	5	т	5	т	5	т
6	с	6	с	6	с	6	с
7	и	7	и	7	и	7	и
8	р	8	р	8	р	8	р
9	м	9	м	9	м	9	м
10	в	10	в	10	в	10	в
11	д	11	д	11	д	11	д
12	у	12	у	12	у	12	у
13	л	13	л	13	л	13	л
14	б	14	б	14	б	14	б
15	п	15	п	15	п	15	п
16	я	16	я	16	я	16	я
17	к	17	к	17	к	17	к
18	ж	18	ж	18	ж	18	ж
19	ш	19	ш	19	ш	19	ш
20	ы	20	ы	20	ы	20	ы
21	з	21	з	21	з	21	з
22	г	22	г	22	г	22	г
23	х	23	х	23	х	23	х
24	щ	24	щ	24	щ	24	щ
25	ц	25	ц	25	ц	25	ц
26	ю	26	ю	26	ю	26	ю
27	ф	27	ф	27	ф	27	ф
28	ч	28	ч	28	ч	28	ч
29	ё	29	ё	29	ё	29	ё
30	ь	30	ь	30	ь	30	ь
31	й	31	й	31	й	31	й
32	э	32	э	32	э	32	э
33	ъ	33	ъ	33	ъ	33	ъ

ОПИСЬ
ВЕЩАМ СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ПОКОЕ № 12

№	название вещей	число вещей
1.	Пальто драповое черное на темной фланелевой подкладке	1
2.	Сюртук черного сукна на черной шелковой подкладке	1
3.	Брюки черного трико	1
4.	Жилетка гарусной материи	1
5.	Галстук шелковый черный	1
6.	Фуражка шелковая черная	1
7.	Халат серой байки	1
8.	Сюртук летний черного казинета	1
9.	Рубашек полотняных	3
10.	Подштанников полотняных	3
11.	Карпеток бумажных	2
12.	Полотенцо салфеточное	1
13.	Салфетка	1
14.	Носовых платков	2
15.	Полусапожек, пар	1
16.	Очков в футляре	2
17.	Печать стальная с вензелем	1
18.	Портсигар с 8-ю записками и тремя фотографическими портретами (у коменданта)	1
19.	Денег шестьдесят пять рублей	65 р.
20.	Контрамарка Государственного банка от 25 апреля 1862 года за № 12, на 600 руб. с процентами (взята в III отделение 26 июля 1862 г.)	1
21.	Запонок бронзовых, пар	2

По этой описи все вещи показаны верно. Отставной титул. сов. Н. Чернышевский. 8 июля 1862 года.

Пересланы 4 сентября 1863 года

1.	Рубашек полотняных	3
2.	Подштанников	3
3.	Полотенцов	3
4.	Носовых платков	3
5.	Чулков, пар	4
6.	Денег: кредитными билетами двадцать пять руб. серебр., присланные при письме от 27 августа	25 р. с.
	Пальто теплое на куньем меху с бобр. вор:	1
	Калош, пара	1
	Шапка меховая	1
	Валенки поярковые	1
	Денег кредитными билетами двадцать пять рублей, данных при личном свидании 22 февраля 1864 г.	25

Духовное завещание протоиерея кафедрального собора Гавриила Чернышевского от 5 июля 1858 года

Свидетельство от 15 марта 1862 г. за № 2061, данное Саратовской духовной консисторией коллежскому ассесору Пыпину.